ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА

НАПОЛЕОН I БОНАПАРТ

В ранце каждого солдата лежит жезл маршала



Глеб Благовещенский

Наполеон I Бонапарт

Предисловие

Мы сегодня по большей части склонны проявлять скепсис по отношению к гадалкам, магам, прорицателям – иными словами, к тем, кто дерзает предсказывать будущее. С одной стороны, среди них встречается (да и всегда встречалось!) немало проходимцев и мошенников, однако, с другой стороны, под неказистой внешностью гадалки вполне может скрываться Парка, прядущая нить Судьбы. И тогда грань между предсказанием и жизнью может исчезнуть!

Собственно говоря, именно так и случилось с Наполеоном I Бонапартом.

В своем знаменитом психологическом этюде-исследовании, посвященном Наполеону, профессор П. И. Ковалевский (1850–1930) отмечает:

«Существует рассказ, что появление Наполеона I было предсказано за сотни лет, и это предсказание принадлежит Филиппу Дьедонне Ноэлю Оливатусу (Philippe Dieudonne Noel Olivatius). Этот доктор и археолог, занимавшийся некромантией и вызыванием духов, оставил после своей смерти рукопись, которая после революции была найдена генеральным секретарем Парижской Коммуны Франсуа де Мецом (Francois de Metz). Во время производившихся последним обысков в библиотеках бенедиктинских или неневьевских монахов Франсуа де Мец снял копию с манускрипта и обозначил ее 1793 годом. После коронования Наполеона I эта копия была ему представлена и вызвала следующий эпизод. Однажды вечером Наполеон, немного взволнованный, пришел к Жозефине. „Прочтите это, – сказал Наполеон. – „Франция и Италия (la Franco-Italie) произведет на свет сверхъестественное существо. Этот человек, еще совсем молодой, придет с моря и усвоит язык и манеры франкских кельтов. В период своей молодости он преодолеет на своем пути тысячи препятствий, при содействии солдат, генералиссимусом которых он сделается впоследствии. Этот извилистый путь будет для него сопряжен со многими страданиями. Он будет в течение пяти и более лет воевать вблизи от места своего рождения. По всем странам света он будет руководить войною с великой славой и доблестью; он возродит заново романский мир. Он дарует законы германцам; он положит конец смутам и ужасам в кельтской Франции и будет впоследствии провозглашен не королем, как практиковалось раньше, а императором, и народ станет приветствовать его с превеликим энтузиазмом. Он в продолжение десяти лет и более будет обращать в бегство принцев, герцогов и королей. Затем он создаст новых принцев и новых герцогов и с вершины своего высокого трона он воскликнет: „О sidera, o sacra!“ („О небо, о боги!“) У него будет войско, численность которого можно обозначить как 20 000, умноженное на 49; у солдат будет оружие и трубы из железа. У него будет семью семь тысяч лошадей, будут всадники с саблями, пиками и кирасами из стали. У него будет семижды две тысячи человек для управления ужасными машинами, которые станут изрыгать серу, огонь и смерть. В правой руке у него будет орел, символ

победы и войны. Он даст народам многие земли и каждому из них дарует мир. Он придет в великий город, создавая и осуществляя великие проекты, здания, мосты, гавани, водостоки и каналы. У него будет две жены…““

Жозефина прекратила чтение.

– Читайте дальше, – сказал император, не любивший прерывать дело.

„И только один сын! Он отправится воевать в продолжение пятидесяти пяти месяцев в страну, где скрещиваются параллели долготы и широты. Тогда его враги сожгут огнем великий город, и он войдет в него со своими войсками. Он покинет город, превратившийся в пепел, и наступит гибель его армии. Не имея ни хлеба, ни воды, его войска подвергнутся действию такого страшного холода, что две трети его армии погибнут, а половина оставшихся в живых никогда больше не вернется под его начальство. Тогда великий муж, покинутый изменившими ему друзьями, окажется в положении защищающегося и будет тесним даже в своей собственной столице великими европейскими народами. Вместо него будут восстановлены в своих правах короли старинной крови Капетингов.

Он же, приговоренный к изгнанию, пробудет одиннадцать месяцев на том самом месте, где родился и откуда вышел; его будут окружать свита, друзья и солдаты, число которых некогда было семь раз семижды два раза больше (7 x 2 x 7). Через одиннадцать месяцев он и его сторонники войдут на корабль и станут снова на землю кельтской Франции. И он вступит в большой город, где восседал король старинной крови Капетингов, который обратится в бегство, унося с собой знаки королевского достоинства. Возвратясь в свою прежнюю империю, он даст народу прекрасные законы. Тогда его снова прогонит тройной союз европейских народов, после трех с третью лун, и снова посадят на место короля старинной крови Капетингов. И его сочтут умершим как народ, так и солдаты, которые на этот раз, против своей воли, останутся дома. Кельты и французы снова станут поедать друг друга, как тигры и волки. Кровь старинного короля Капетингов будет вечной причиной самых черных измен. Злые будут обмануты и будут уничтожены огнем, и еще огнем. Лилия (la Fleur de Lys, эмблема французского королевского дома) будет существовать, но последние остатки старинной крови будут вечно в опасности. Тогда они станут биться между собою.

Тогда к великому городу подойдет молодой воин. У него на гербе будет петух и лев. И пика будет ему дана великим принцем Востока. Ему чудесным образом поможет воинственный народ бельгийской Франции (la France-Belgique), который соединится с народом Парижа, чтобы положить конец смуте, успокоить солдат и покрыть все оливковыми ветвями.

Они будут сражаться с такой славой в продолжение семи раз семи лун, что тройной союз европейских народов в ужасе и с криками и слезами предложит своих сыновей в качестве заложников, и сами тогда введут у себя законы совершенные, справедливые и любимые всеми.

Тогда мир просуществует двадцать пять лун. Сена, покрасневшая от крови бесчисленных битв, разольется по стране развалин и чумы. Появятся новые смуты от других сеятелей.

Но их прогонит из дворца королей доблестный муж, и после этого он будет признан всей Францией, всеми великими нациями и его нацией – матерью. И он сохранит последние остатки старинной крови Капетингов, чтобы управлять судьбами мира. Он будет выслушивать руководящие советы всей нации и всего народа. Он положит основание (?) плоду, которому не будет конца, – и умрет“.

Чтение манускрипта кончилось. Жозефина спросила императора его мнение о пророчестве. Наполеон дал уклончивый ответ. „Предсказания всегда говорят то, что хотят заставить их предсказать. Однако признаюсь, что это пророчество сильно меня изумляет“».

Подобная двойственность применительно к предсказаниям судьбы, как правило, была присуща великим людям. Например, тот же Леонардо да Винчи, хуливший днем гадалок и отмечавший в своих тетрадях, сколь негодно и бессмысленно их убогое ремесло, с приходом ночи совершенно менял свое к ним отношение: он тайно принимал у себя под покровом тьмы всевозможных вещуний и пророков, жадно выпытывая мельчайшие подробности, могущие пролить хоть какой-то свет на события грядущего…

Есть все основания полагать, что Наполеон и в самом деле не остался равнодушен к предсказанию.

Да и как иначе?

Судьба Наполеона на тот момент блестяще подтверждала слова пророчества, что и говорить.

Только вот внял ли он пророчеству в полной мере?

Пожалуй, вряд ли.

На сей счет История не позволяет нам сделать иного вывода.

«Молодой воин» Наполеон Бонапарт на удивление быстро добился невероятного взлета своей карьеры. Прославившись в баталиях, он снискал горячие симпатии народа. Его невероятная популярность позволила ему войти во дворец монархов и самому стать монархом. Только он на этом отнюдь не остановился. Словно претворяя слова давнего пророчества в жизнь, Наполеон неистово стремился стать владыкой – и не одной отдельно взятой страны, а целого мира! Он стирал с лица земли одни народы, позволяя возникнуть другим. И настал тот миг, когда демиург в нем властно возобладал над человеком, которого к кормилу власти некогда привел простой народ. И тогда император Бонапарт, пожалуй, наверняка перестал «выслушивать руководящие советы всей нации и всего народа». Отмахнувшись от народа, презрев его чаяния, он и впрямь стал мнить себя владыкой целого мира. Да что там – мира! Очень может статься, что своими помыслами он уже начинал стремительно возноситься к Небесам, намереваясь в итоге бросить дерзкий вызов самому Творцу всего Сущего…

И это стало началом конца Наполеона Бонапарта.

Описанию удивительной жизни человека, наделенного высокой и мятежной душой, познавшего невероятные взлеты и сокрушительные падения и осмелившегося низвергнуть все понятия и установки обыденного мира, и посвящена эта книга.

Часть первая. Детство на Корсике

Наполеон I Бонапарт родился на Корсике, в Аяччо, 15 августа 1769 года.

Известный отечественный историк Е. В. Тарле, автор целого ряда работ о Наполеоне, описывает это знаменательное событие так: «

…19-летняя жена одного местного дворянина, занимавшегося адвокатской практикой,

Летиция Бонапарте, находясь вне дома, почувствовала внезапное приближение родовых мук, успела вбежать в гостиную и тут родила ребенка. Около родильницы никого в этот момент не оказалось, и ребенок из чрева матери упал на пол ».

Поистине знаменательное появление на свет! Оно словно бы предвещало, что этому младенцу суждена особенная судьба. Наполеон Великий. Карт. Буше-Деснуайе по оригиналу Ф. Франсуа-Паскаля-Симона-Жерара

Итак, Корсика…

Корсика – четвертый по величине остров в Средиземном море. Пожалуй, поэтичнее всех о нем поведал в романе «Счастье» (1884) знаменитый французский писатель Ги де Мопассан: «

Мир еще в хаосе, буря гор, разделяющих узкие овраги, где бушуют потоки; ни одной равнины, – только исполинские волны гранита или такие же волны земли, поросшие колючим кустарником и высокими лесами каштанов да сосен. Все девственно, дико, пустынно, хотя кое-где и мелькает селение, подобное куче скал на вершине горы. Никакого земледелия, никакого промысла, никакого искусства. Нигде не увидишь куска резного дерева или изваянного камня; ни одного воспоминания о ребяческом или утонченном вкусе предков к милым и прекрасным вещам. Вот что поражает больше всего в этой великолепной и суровой земле: наследственное равнодушие к тому исканию соблазнительных форм, которое называется искусством ».

Подобная природа не могла не найти отражения в характере местных жителей. «Островитяне, – говорит Наполеон, – всегда имеют в себе нечто самобытное, благодаря

уединению , предохраняющему их от постоянных вторжений и смешений, которым подвергаются жители материков». Это свидетельство героя нашего повествования приводит в своей монографии о Наполеоне легендарный писатель и философ Дмитрий Мережковский, развивая его далее следующим образом:

«„Остров“ значит „уединение, а „уединение“ значит „сила“. Это лучше, чем кто-либо, знает Наполеон.

Точно сама Пречистая Матерь оградила двойною оградою – высью гор и ширью вод Свой возлюбленный Остров от нашей нечисти – „прогресса“, „цивилизации“. Все дико, девственно, пустынно, невинно, не тронуто, не осквернено человеком; все так, как вышло из рук Творца. Чувства людей чисты и свежи, как родники, бьющие прямо из гранитных толщ. Незапамятная древность – юность мира. Так же блеют овцы, пчелы жужжат, как в те райские дни, когда Бога Младенца коза Амалфея кормила молоком, а пчелы Мелиссы – медами горных цветов. То же солнце, то же море, те же скалы: все, как было в первый день творения и будет – в последний.

Вот главная, вечная, единственная учительница Наполеона – Мать-Земля».

Итак, наш герой был корсиканцем.

Что же это за народ такой – корсиканцы?!

Для ответа нам лучше всего обратиться к сочинению швейцарского ученого-энциклопедиста

Фридриха Кирхейзена, одного из наиболее авторитетных биографов Наполеона. В своем фундаментальном труде он предлагает нашему вниманию поистине исчерпывающую характеристику обитателей Корсики:

«Изучение этих островитян, из среды которых вышел великий завоеватель мира, во всем их физическом и психическом своеобразии, в их тогдашних привычках, представляет собою не только огромный интерес, но и настоятельную необходимость для понимания личности Наполеона.

Типичный корсиканец – низкого роста, приземистый, но все же стройный и очень гибкий. Кожа его, как кожа всех южан, смугла, а маленькие, почти всегда темные глаза проницательны и живо сверкают. Волосы, на недостаток которых не может пожаловаться ни один корсиканец, почти всегда черны – плешивого корсиканца встретить почти невозможно.

В корсиканском характере объединяются меланхолия со страстностью темперамента. Корсиканец может воспламеняться внезапно, точно вулкан, а через мгновение он уже печален и сентиментально опускает голову. Вообще же он скуп на слова, молчалив, но не лишен красноречия, если представляется случай поговорить. Он сдержан из осторожности, недоверчиво замкнут в общественной жизни, но откровенен и искренен в дружбе. От природы чрезвычайно восприимчивый, он способен на столь же большие страсти и чувства, как и на большие пороки.

В некоторых отношениях чрезвычайно честолюбивый, корсиканец считает величайшим достоинством показать другим свою храбрость или силу, хотя бы в качестве бандита. Он невыразимо страдает, когда видит, что другие подле него превосходят его, и непрестанно стремится уподобиться им или превзойти их. Больше всего он любит оружие – нет ни одного корсиканца, у которого бы его не было. Он скорее откажется от скота, от земли и от плуга, лишь бы купить себе ружье, кинжал и пистолет.

В обращении с оружием корсиканцы были всегда на высоте положения, непрестанная борьба с внутренними и внешними врагами сделала их мужественными и бесстрашными людьми, которых не пугает никакая опасность. Каждый из них был готов постоянно стать жертвой вендетты. Последняя играла когда-то кровавую роль на скалистом острове. Безграничное горе причинила она целому ряду семейств. Корсиканец, находившийся в какой-либо связи с вендеттой, был способен на все: он не боялся ни опасности, ни страданий, ни смерти. Чтобы дать волю своим страстям, он приносил в жертву все: жену и детей, дом и землю, репутацию и положение. Семейные распри тянулись иногда в течение нескольких поколений, и сила их страстности нисколько не ослабевала.

Когда у корсиканца в такой семейной войне убивали кого-либо из его родственников, он клялся отомстить за кровь убитого и не успокаивался до тех пор, пока не находил удовлетворения в вендетте. Исполнив свое дело, он бежал в горы и вел там жизнь бандита, чтобы избегнуть рук сбиров (сбиры – в бывшей Папской области судебные и полицейские служители), ибо попасться к ним считалось величайшим позором. Вендетта была неотвратима. Оставшиеся в живых родственники и другие мстители не могли считать свою жизнь вне опасности: они должны были вести непрестанную оборонительную борьбу с врагом. Чувство мести все больше и больше охватывало людей. Уже детям в раннем возрасте внушалась эта неизгладимая ненависть. Корсиканская женщина, у которой убивали мужа, сохраняла до тех пор его окровавленное платье, пока ее дети не подрастали настолько, что могли понять значение вендетты. Тогда она показывала им одежду отца и воодушевляла на месть убийце. Перед детьми стояла всегда альтернатива: либо вести бесчестную и позорную жизнь, либо же стать убийцами, и, преклоняясь перед честью, они обычно выбирали последнее.

К счастью, в наши дни вендетта почти совершенно исчезла на Корсике. Во времена же Наполеона еще много корсиканских фамилий вели непримиримую войну друг с другом.

Но, насколько страшны корсиканцы в своей ненависти к врагам, настолько же искренне преданы и верны они к друзьям. Дружба и гостеприимство – их лучшие добродетели. Тем не менее они нелегко сближаются между собою: тот, кого они называют своим другом, должен сперва заслужить это. В своем доме они очень щедры даже к чужим, но за порогом едва ли не скупы. Для них священно гостеприимство, и горе тому, кто его нарушает!

Столь же страстны и пламенны, как в ненависти, они и в любви, которая, несмотря на всю пылкость, таит в себе что-то детски-наивное. Молодая девушка, утратившая свою честь, никогда не найдет человека, если на ней не женится соблазнитель. И горе ему, если он этого не сделает! Родственники девушки объединяются между собою, чтобы отомстить тем или иным способом за позор семьи. Корсиканская женщина редко обманывает мужа: прелюбодеяние весьма редкое явление в Корсике. Корсиканский народ чрезвычайно терпеливо и упрямо переносит всякие страдания и лишения, чему немало способствует его умеренность в употреблении алкоголя. Пьянство считается величайшим позором на острове: там действительно трудно встретить пьяного человека.

Несмотря на то что корсиканцы благодаря свойствам своей страны должны были бы стать земледельческим, винодельческим или рыболовным народом, они стали в гораздо большей степени военным племенем. К сельскому хозяйству у них не было склонности. Когда удовлетворялось их желание иметь оружие, других потребностей у них уже больше не было, и поэтому они работали лишь столько, сколько нужно было им для пропитания. Вследствие этого денежный капитал редкое явление на Корсике. Еще даже теперь многие подати уплачиваются натурою. Корсиканец считал унижением своего достоинства работать за деньги: у него было слишком высокое мнение о своем превосходстве над другими. Ввиду этого среди корсиканцев очень мало служащих. Поденщики и прислуга по большей части итальянцы. Лишь в солдатской профессии видели корсиканцы свой идеал. Мужественный, смелый человек, отважно сражавшийся за свое отечество, ценился гораздо больше того, кто оказывал значительные услуги науке или искусству. Военные люди пользовались успехом у женщин, мужчины преклонялись перед ними, а юноши брали с них пример.

Корсиканцы обладают чрезвычайно сильно развитым семейным чувством. Чем больше детей в семье, чем больше родных, тем большим уважением пользуются они у сограждан. Узы родства связывают корсиканские семьи с самыми отдаленными их членами.

Женщина даже в знатной корсиканской семье играла довольно второстепенную роль. Наибольшим уважением пользовалась та, которая производила на свет наибольшее количество детей. Она была подчинена мужчине и не знала другого времяпрепровождения, как служить ему, кормить, беречь и воспитывать его детей. Недостаточно развитая и образованная, она была очень хорошей хозяйкой: экономная, она старалась и сама умножить достояние семьи. С дочерьми отец был большею частью строг и суров, по отношению же к сыновьям выказывал всегда известную слабость. Тем не менее все дети одинаково любили и уважали его как главу семейства.

В своем мышлении корсиканец обнаруживает много логики и рассудительности, если только дело не идет об его собственных интересах. Когда же на сцену появляются они, он становится софистом. Он обладает проницательным умом и умеет блестяще пользоваться им при всяком удобном случае. Он говорит изысканно, старается постоянно пополнить свое образование; манеры его очень мягки, лжи он не терпит, но, тем не менее, не всегда говорит правду.

В потребностях своих он прост и непритязателен. Быть может, в этом и заключается разгадка его нелюбви к работе: ему не нужно много трудиться, потому что он не стремится к богатству.

Он не знает ни роскоши, ни излишеств, питается и одевается он очень просто – никакой роскоши не допускает, разве только в оружии.

Его недоверие ко всему, что означает собою культуру и прогресс, тесно связано с историей его отечества. Вековая ожесточенная борьба с угнетателями не проходила бесследно для нации! „Все это сообщает жителю острова, – говорит один анонимный бытописатель Корсики, – перенесенный в нашу эпоху характер итальянца-кватроченто, мужественная гордость которого приводит в восторг художника и возмущает спокойного, честного жителя континента“».

Все эти качества, впитанные Наполеоном прямо с молоком матери, в полной мере проявятся в дальнейшей жизни юного героя и окажут на его судьбу несомненное влияние.

Что же нам известно о детстве Наполеона? Дом, в котором родился император

Он родился в семье дворян Шарля и Летиции Бонапартов. Помимо него, в семье были еще и другие дети. Впоследствии Наполеон назначил трех своих братьев королями, а четвертого – имперским принцем. Трое сестер, впрочем, тоже не остались внакладе: одна получила статус королевы, другая – титул герцогини, а третью Бонапарт сделал княжной.

Отец Наполеона был социально пассивен, недалек и неразвит. В юности он, будучи высоким красавцем и дамским угодником, еще вел себя достаточно активно, даже участвовал в партизанской войне, что вели корсиканцы против французов. Но потом как-то постепенно сник, смирился со своим убогим положением. Его неоднократные попытки прибиться к той или иной влиятельной политической партии даровали подчас крайне мимолетное процветание, вновь сменявшееся беспросветной нуждой. Увы, Шарль Бонапарт оказался решительно не в состоянии обеспечить должным образом свое достаточно многочисленное семейство. Являясь ходатаем по судебным делам, он растрачивал вырученные деньги на радости собственной плоти, мало заботясь о семье.

Кстати, юному и гордому корсиканцу Наполеону пришлось жестоко страдать от сознания того бедственного положения, в котором находилась Бонапарты. Сохранилось горькое и страшное своей фактической безысходностью письмо, которое школьник-Бонапарт, учившийся в Бриенне, адресовал своему отцу: «Отец, если вы или мои покровители не в состоянии дать мне средств содержать себя лучше, возьмите меня к себе. Мне тяжело показывать мою нужду и видеть улыбки насмешливых школьников, которые выше меня только деньгами, потому что ни один из них не лелеет в себе тех благородных и святых чувств, которые волнуют меня. И что же, сударь, ваш сын будет постоянною мишенью для нескольких благородных болванов, которые, гордясь своими деньгами, издеваются над его бедностью?! Нет, отец, если Фортуна отказывается улыбнуться, чтобы улучшить мою судьбу, возьмите меня из Бриенна. Если нужно, сделайте меня механиком, чтобы я мог видеть вокруг равных себе. Поверьте, я превзойду их всех. Судите о моем отчаянии, если я готов на это. Но, повторяю, я предпочитаю быть первым на фабрике, чем артистом, презираемым академией. Поверьте, это письмо не диктовано глупым желанием каких-либо удовольствий и развлечений. Я вовсе не стремлюсь к ним. Я чувствую только потребность доказать, что располагаю средствами не меньшими, чем у моих товарищей». Но что мог поделать отец Бонапарта? Практически ничего – даже если бы пожелал. Он был слишком слаб и безволен.

Другое, совсем другое дело – мать Бонапарта, Летиция. Как вспоминает сам Наполеон: «…

это была голова мужчины на теле женщины ». Летиция происходила из древнего и некогда знатного корсиканского рода. Ее выдали замуж в возрасте 14 лет; Шарль был старше ее на 4

года. У Д. С. Мережковского о ней сказано:

«Синьора Летиция славилась красотой даже на Корсике, где красавиц множество. Сохранился ее портрет в молодости. Прелесть этого лица, с таинственно-нежной и строгой улыбкой, напоминает Мону Лизу Джиоконду или родственных ей, так же, как она, улыбающихся этрусских богинь, чьи изваяния находятся в незапамятно древних могилах Тосканы – Этрурии. Как будто из той же темной древности светит нам и эта улыбка второй Джиоконды, этрусской Сибиллы, – Наполеоновой матери». Она, хоть и происходила из дворянского рода, практически ничем не отличалась от простой поселянки. «Грамота, письмо да первые правила арифметики – вот все, что она знала. Даже говорить по-французски не научилась как следует: коверкала слова грубо и смешно, на итальянский лад. На пышных тюльерийских выходах являлась в простом, почти бедном, платье: бережлива была до скупости. „Люди говорят, что я скаредна, vilaine; пусть говорят… Может быть, когда-нибудь дети мои будут мне благодарны, что я для них берегла“. Все копила – coumoulait, на черный день, а когда он пришел, готова была для Наполеона продать все до последней рубашки».

Она изначально была готова ради Наполеона на любое самопожертвование, словно чувствовала, кого суждено ей произвести на свет. Когда корсиканцы подняли антифранцузский мятеж, она бесстрашно примкнула к восставшим наряду со своим супругом. Потрясенный ее мужеством, Д. С. Мережковский с восхищением пишет:

«Восемнадцатилетняя синьора Летиция, беременная по шестому месяцу вторым сыном Наполеоном – первым был Иосиф, – сопровождала мужа в этой трудной и опасной войне. В диких горах и дремучих лесах, то верхом, то пешком, карабкаясь на кручи скал, пробираясь сквозь чащи колючих кустов – корсиканских „маки“, переходя через реки вброд, слыша над собой свист пуль, неся одного ребенка на руках, а другого под сердцем, она ничего не боялась… Однажды едва не утонула в реке Лиамоне. Брод был глубокий; лошадь потеряла дно под ногами и поплыла, уносимая быстрым течением. Спутники Летиции перепугались, бросились за нею вплавь и закричали ей, чтобы она тоже кинулась в воду – спасут. Но бесстрашная всадница укрепилась в седле и так хорошо управилась с лошадью, что благополучно добралась до берега. Вот когда, может быть, уже передавала Наполеону свое чудесное мужество – крепость Святого Камня, Pietra-Santa.

Ничего не боялась за него; носила младенца под сердцем так же спокойно и радостно, как потом на руках: посвятила его Пречистой Деве Марии и знала, что Она его сохранит».

«Это была деятельная, ловкая и разумная женщина, с суровой сдержанностью и вместе с нежностью управлявшая своей семьей, заботливо исправлявшая в Наполеоне все детские выходки его независимой гордой души», – отмечает французский биограф будущего императора Франции Пеэр. Характерно, что сам Наполеон, вспоминая впоследствии о временах своего детства, признается: «Моей матери, ее твердым принципам обязан я своим положением и всем, что я успел сделать доброго… Моя мать обладала твердым характером, была хорошо воспитана и горда. Низкие чувства были далеки от нее. Она окружала своих детей всем, что было великого и славного…» И в другом месте: «Моя превосходная мать – женщина с умом и сердцем, – говаривал он. – Нрав у нее мужественный, гордый и благородный. Ей обязан я всем моим счастьем, всем, что сделал доброго… Я убежден, что все добро и зло в человеке зависит от матери».

Эти признания говорят о многом.

Наполеон всегда бесстрастно придерживался фактов – в этом его кардинальное отличие от знаменитых деятелей, обожающих манкировать словами и чувствами. Его слова всегда шли от сердца, а потому они – истинны. Именно влиянию матери, ее присутствию в своей жизни был обязан юный Наполеон тому, что смог устоять и не сломаться под тягостным бременем сознания собственной социальной ущербности и презрения, что выказывали ему другие школьники.

Вдобавок и внешностью он обладал весьма характерной; это также препятствовало ему быть принятым в школьное сообщество, сойти за «своего». Он походил не столько на человека, сколько на какого-то неведомого зверька. «

Цвет лица смуглый, волосы на голове торчком, вся фигура до крайности худощава. Он не обладал особенно располагающей внешностью, не имел приятных манер и не умел изящно выражаться. Мало того, он даже плохо владел французским языком, проявляя резкий итальянский выговор. Грубые задирания и насмешки, которыми учащаяся молодежь имеет привычку встречать новичков, приводили Наполеона в величайшее озлобление. Он оставался одиноким, избегал товарищей и всецело предался изучению наук. Он презирал игры и забавы своих товарищей, если же ему приходилось быть в обществе товарищей, то он высказывал к ним такое презрение, что оно приводило их в справедливое негодование… » – так свидетельствуют биографы, и у нас есть все основания им верить.

На что мог рассчитывать Наполеон?

Исключительно на свои способности.

А они имелись, причем изрядные! С раннего детства он демонстрировал, что интеллектуально и духовно развит гораздо сильнее своих однокашников. П. И. Ковалевский пишет:

«…учение Наполеону давалось легко. Он имел прекрасную память, быстро схватывал предметы и твердо их удерживал. Его фантазия питалась всеми открытиями и приключениями, о которых ему приходилось читать, причем все это он перерабатывал по-своему и создавал свой особенный мир. Лишенный, по недостатку средств, тех удовольствий, которые доставляли себе его товарищи, он весь уходил в книги. Его гордость страдала, и он искал ей удовлетворения в занятии и знаниях. Постепенно, работая в тиши и уединении, Наполеон сделался одним из первых учеников. Он читал все, что попадалось ему под руку: и древних авторов, и исторические сочинения, и географические описания, и даже запрещенные книги. Его ум стремился все обнять и все узнать».

Согласитесь, даже в юном Наполеоне властно проступает личностная харизма!

С течением времени его упорное желание удержаться, захватить плацдарм, выделиться среди сверстников принесло свои плоды. Он проявил невероятные успехи в учебе, пленив тем самым сердца учителей. Дикий же и дерзкий нрав Наполеона, его сила, бесстрашие и готовность воздать сторицей за любую насмешку, а тем более за попытку унизить его физически завоевали ему, в конце концов, и долгожданное признание со стороны учеников.

Он зарекомендовал себя отменным бойцом. Что ж, истинный талант проявляется сызмальства!

Многие задиры откровенно боялись Наполеона.

И неспроста!

Сегодня, когда некто выражает желание овладеть основными приемами восточных единоборств, чтобы выжить в современном мире, наставник изначально приучает его к тому, что в руках мастера любой предмет (даже потешная точилка для карандашей) становится смертельным оружием. У Наполеона, увы, не было возможности пройти профессиональный курс обучения навыкам самообороны, но он действовал интуитивно. Когда на него нападали, Наполеон хватал первое попавшееся под руку (осколок кирпича, палку и т. д.) и яростно бросался на обидчика, красноречиво демонстрируя, что будет биться до конца. Очень скоро число желающих утратить способность нормально функционировать сошло на нет. Наполеона признали. Он стал школьным лидером, или, как говорят англичане, «королем на горке».

Между прочим, раз уж мы заговорили о рано проявившихся силе личности и военном таланте Наполеона, будет целесообразно привести здесь два характерных эпизода с его участием, зафиксированные в памяти обитателей бриеннской школы и подтверждающие все ранее сказанное.

Первый эпизод таков. Воспользуемся для его изложения описанием Д. С. Мережковского:

«Ректор школы отвел детям под садовые работы довольно большую площадь земли, разделив ее на участки. Наполеон соединил три участка, свой и два уступленных ему соседями, окружил их высоким частоколом и насадил на них деревца; ухаживал за ними в течение двух лет, пока они не разрослись так, что начали давать тень и образовали зеленую келийку, „пустыньку“ – „эрмитаж“, по-тогдашнему. Это и был его „уголок“. Сюда уходил он, так же как некогда в свою дощатую келийку, позади айяччского дома, – мечтать и считать, заниматься математикой, потому что он уже строил свою безумную химеру с математической точностью; уже ледяные кристаллы геометрии преломляли огонь воображения в чудесную радугу.

„Горе тем из нас, кто из любопытства или желания подразнить его осмеливался нарушать его покой! – вспоминает один из его товарищей. – Он яростно выскакивал из своего убежища и выталкивал непрошеных гостей, сколько бы их ни было“.

В этом убежище он возвращался к „естественному состоянию“, „etat naturel“, по завету Руссо; уходил от людей к природе: „человек природы счастлив на лоне чувств и естественного разума“, – скажет впоследствии [Бонапарт]. Здесь испытывал он то же, что в будущей повести его пловец, заброшенный бурею на необитаемый островок Горгону: „Я был царем моего острова; я мог бы здесь быть если не счастлив, то мудр и спокоен“. Или то же, что двойник Наполеона, Жюльен Сорель, – в своей пещере: „Спрятанный, как хищная птица в скалах, он мог видеть издали всякого человека, который подходил бы к нему… «Здесь люди не могут мне сделать зла, – проговорил он, с глазами, заблестевшими от радости. – Я свободен!» И, при звуке этого великого слова, душа его загорелась восторгом“.

Этот первый завоеванный клочок земли – уже начало Наполеоновой империи – всемирного владычества. Здесь он так же один, как потом на высоте величия и на Св. Елене».

Второй эпизод не менее показателен. Согласно П. И. Ковалевскому:

«…однажды (а случилось это в необыкновенно снежную зиму 1783 года. – Г. Б.)

Наполеон предложил воспользоваться выпавшим снегом, чтобы построить из него укрепления, которые можно будет штурмовать и защищать, действуя в качестве оборонительного и наступательного оружия снежками. Игра эта в Бриенне появилась впервые. Воздвигнутые, по его указанию, форты, бастионы и редуты приводили в изумление всех видевших их. Наполеон, командуя то тою, то другою партией, выказал такое понимание и распорядительность, что в Бриенне долго еще вспоминали зимние его игры в крепость».

Вот такие эпизоды…

Пожалуй, комментарии излишни!

Нельзя не сказать и об удивительном свободолюбии Наполеона, проявившемся еще в самом раннем детстве. Оказавшись затем в бриеннской школе, он, уже достаточно проявив себя и многого достигнув, все равно был готов пожертвовать своим статусом во имя справедливости. Его стихией был бунт, восстание. Мережковский пишет:

«Первым был также во всех бунтах против начальства, маленьких школьных революциях. Очень любил произносить перед революционной толпой зажигательные речи, как настоящий народный трибун, говоря, по Жан-Жаку (Руссо. – Г. Б.)

, о свободе и равенстве, о Правах Человека. Дело, однако, кончалось, большею частью, тем, что струсившие в последнюю минуту школьники отступали перед начальством, изменяя своему вождю, и он один отвечал за всех; шел в карцер или под розгу, молча, гордо, без жалоб, без слез; никого не выдавал; а когда возвращался к товарищам, не упрекал их, но по лицу его видно было, что он презирает их, смотрит на них как на дрожащую тварь. „Я всегда один среди людей, – скажет он скоро. – Как они подлы, низки, презренны! Жизнь мне в тягость, потому что люди, с которыми я живу и, вероятно, всегда буду жить, так не похожи на меня, как лунный свет на солнечный“.

Раз, когда учитель выговаривал ему за что-то, он отвечал ему рассудительно, вежливо, но так самоуверенно, что тот посмотрел на него с удивлением и сказал:

– Кто вы такой, сударь, чтоб так отвечать?

– Человек, – ответил Наполеон».

Итак, вчерашний изгой стал отличником в учебе и предводителем в играх. Начав практически с нуля, он обрел, а точнее добился всего. Между прочим, мало кто в школе добивается подобного – и это даже при жизни в режиме полного благоприятствования! Другой бы на месте Наполеона Бонапарта, скорее бы всего, успокоился и с удовольствием почивал на лаврах.

Но только не он!

Юноша мечтал о подвигах и славе, неистово стремился вырваться из глуши, познать мир. В

его мятежной душе звучало лишь одно: двигаться дальше! Осуществлению заветной мечты подчас недостает самой малости – протекции. И тут она неожиданно возникла, причем в лице генерала Марбёфа, французского губернатора Корсики.

Марбёф был пленен красотой Летиции Бонапарт, однако предпочитал ухаживать за нею, как прокомментировал эту деликатную ситуацию Стендаль, на «итальянский манер». Благодаря общению с Летицией, он был знаком и с незадачливым отцом Наполеона, Шарлем Бонапартом, которого великодушно соизволил пристроить к должности. Не сильно уважая Бонапарта-старшего, он, тем не менее, озаботился участью Бонапарта-младшего (конечно же, после просьбы Летиции Бонапарт). Тем не менее именно благодаря Марбёфу мальчик смог начать учиться в Бриенне. Генерал и в дальнейшем заботился о Наполеоне, помогал ему деньгами, прекрасно зная, что Шарль Бонапарт не в состоянии толком помочь своему сыну. Когда вольнолюбивый нрав Наполеона приводил к серьезным конфликтам в стенах школы (чего стоит хотя бы одна дуэль, на которую Наполеон вызвал ученика, осмелившегося дурно высказаться о Шарле Бонапарте), генерал на правах губернатора всегда заступался за своего любимца. Без его постоянного заступничества Наполеон Бонапарт был бы исключен из бриеннской школы еще на первом году обучения. Позднее Марбёф представил Наполеона госпоже де Бриенн – хозяйке края. Эта владетельная дама обитала в собственном замке. Она благожелательно отнеслась к протеже генерала Марбёфа и приняла в нем деятельное участие. Появление госпожи де Бриенн в жизни Бонапарта отразилось не только в увеличении суммы, прежде выделявшейся ему генералом на карманные расходы. Женщина тонкая и обходительная, владычица замка была к тому же еще и мудра. Она сумела распознать в подростке гордую и ранимую душу и постаралась смягчить ее. В известном смысле она явилась для Бонапарта второй матерью. И в том для него было великое благо! Когда сердце Наполеона впервые познало любовь, именно она, подобно верной наперснице, деликатно направляла Бонапарта.

Д. С. Мережковский трогательно повествует о двух главных пристрастиях в жизни юного Наполеона:

«В восемь влюбился в семилетнюю школьную подругу свою, Джьякоминетту. Вспоминал потом всю жизнь эту первую и, может быть, лучшую свою любовь. Джьякоминетта была одной из двух возлюбленных, а другой – Математика. Занимался ею так страстно, что жалко было ему мешать: выстроили позади дома дощатую келийку, где проводил он целые дни, погруженный в свои исчисления, а по вечерам выходил из нее, рассеянный, задумчивый, и шел по улице, не замечая, что чулки – кальцетты – сползли у него до самых пят. Уличные дети дразнили его:

Милый друг Джьякоминетты,

Подыми свои кальцетты .

Однако он их даже не слышал, будучи погружен в свои, лишь ему ведомые мечтания.

А время между тем неумолимо двигалось…

Настал день, когда обучение в Бриенне для Наполеона Бонапарта завершилось. Из ожесточенного маленького зверька он превратился в уверенного в себе юношу.

Существенная метаморфоза произошла и с внутренним обликом Наполеона. Если вначале он ненавидел Бриенн, особенно же – саму школу, то, покидая ее стены, Наполеон, возможно, даже испытал некоторое сожаление. Некогда всецело замкнутый в себе суровый индивидуал покидал первое в своей жизни учебное заведение общительным человеком с позитивным настроем. И в этом есть немалая заслуга бриеннской школы. Наполеон и сам не скрывает этого: «Для моей мысли, – пишет он, – Бриенн – мое отечество… Здесь моя голова стала мыслить, я почувствовал потребность учиться и все знать. Книги я пожирал. Скоро в школе заговорили обо мне. Мне удивлялись. Мне завидовали. Я сознавал свою мощь и гордился этим превосходством».

За годы учебы в школе Наполеон был удостоен рядом наград за примерное прилежание. Из всех же предметов он уделял особенное предпочтение математике; впрочем, жаловал и историю. А вот ту же латынь терпеть не мог (хотя и вполне постиг). Генерал Марбёф и госпожа де Бриенн постарались, чтобы Наполеон был направлен для продолжения учебы в… Париж! Да, да – именно в столицу! Правда, аттестат Наполеона говорил сам за себя; а за талантливого ученика и похлопотать не грех.

Что же руководство школы нашло необходимым отразить в сопроводительном письме, которое было вручено Наполеону?

История сохранила для нас этот любопытный документ!

«Наполеон Буонапарт 9 лет, 8 мес. и 5 дней. Он провел в ней (т. е. в школе. – Г. Б.)

5 лет, 5 месяцев и 27 дней и вышел из нее 15 лет, чтобы поступить в высшую школу в Париже. 27 апреля 1779–1784 гг. Г. де Буонапарт (Наполеон) родился 15 августа 1769 г., ростом 4 фута 10 дюймов 10 линий [1]

. Хорошего сложения. Характер добрый. Здоровье превосходное. Честен и благороден. Поведения очень хорошего. Отличался всегда прилежанием в математических науках. Посредственно знает историю и географию. Слаб в танцах, музыке и других предметах изящного образования. Заслуживает поступления в парижскую военную школу».

Завидный вердикт, право! Правда, П. И. Ковалевский, детально изучивший сопроводительные документы Наполеона, особенно обращает наше внимание на небольшую деталь – речь идет о характеристике, содержащейся в кондуитном списке, а именно: «

Характер властолюбивый, требовательный и упрямый ». В близорукости и неопытности обвинять бриеннских менторов никак не приходится. Они явно не питали особых иллюзий по поводу того, кто именно направляется из Бриенна в Париж под благонравной личиной прилежного ученика.

То, чего так страстно желал Наполеон, свершилось.

Он покидал Бриенн, держа путь в столицу Франции.

А что же его однокашники?

Они остались в Бриенне. Скорее всего, выросли, обзавелись какими-нибудь правильными профессиями и семьями, породили, как полагается, потомство, а потом состарились и умерли. И вероятно, свидетельств того, что они вообще когда-либо были, не осталось. Однако невеселая участь забвения постигла не всех: пять учеников счастливо избегли ее. Спрашивается, каким образом?

Ответ прост: они упомянуты Наполеоном в его записях детских лет!

Их имена: Демези, Гуден, Нансути, Фелипо и Бурриена. Именно они стали Наполеону добрыми приятелями, и он воздал им по-императорски, даровав условное бессмертие.

Не правда ли, поучительно?!

Наполеон мечтал о большом мире, и его мечта сбылась. Он попал в столицу и добился всего, а его соученики так и остались в Бриенне, бесследно канув в Лету.

Остались они, не он!

А Наполеон, душа которого трепетала перед долгожданным свиданием с Парижем, 30 октября 1784 года ступил на путь – тот, что был избран им самим (но куда более вероятно – изначально ему уготован!).

Последуем же за ним и мы.

Часть вторая. «Все постигается упражнением…»

Наверное, самое первое, что ощутил Наполеон, прибыв в Парижскую военную школу, это чувство… досады и разочарования. Некогда, в Бриенне, ему уже пришлось столкнуться с подобным.

С чем именно?

С сознанием своей социальной ущербности.

Только вот если раньше в основе этого ощущения лежало скверное финансовое положение семьи Бонапартов, то теперь возникла новая проблема: сословная. Казалось бы, Бонапарт, будучи дворянином, мог быть избавлен от этого.

Пожалуй, но… только не в Париже!

В числе его соучеников оказались, как пишет Д. С. Мережковский: «…

юные потомки древних родов, князья Роганы-Геменеи, герцоги Лавали-Монморанси ». Эти исполненные собственного достоинства барчуки «..

.поглядывали с высоты величия на… захудалого корсиканского дворянчика ». И вновь пошли в ход насмешки, убогие остроты и откровенные задирания. Однако к этому Наполеон был готов. Бриенн явился для него неплохой школой, что и говорить. Когда его оскорбляли, он не оставался в долгу, а если чувствовал угрозу физического нападения, норовил наброситься на потенциального обидчика первым. Ему было уже далеко не девять лет, а потому рискнувшим на него напасть завидовать не приходилось! Его скоро оставили в покое, но раскрывать ему свои объятия не спешили. Наполеон вновь оказался словно бы за линией отчуждения. «

„Он всегда один, с одной стороны, а с другой – весь мир“, – скажет впоследствии о великом человеке – о себе самом », – замечает Мережковский. Естественно, он был готов к одиночеству. Более того, он знал неплохое средство, позволяющее с ним надежно совладать.

Убежище.

«Свой „уголок“ старался отвоевать и здесь, – пишет Мережковский.

– Раз, когда заболел и лег в лазарет сожитель его по комнате, Наполеон тоже сказался больным, получил позволение не выходить, запасся провизией, запер дверь на ключ, закрыл ставни, занавесил окна и прожил так два-три дня, в совершенном уединении, в темноте и безмолвии, читая, мечтая днем при огне. Эта парижская темная комната – метафизический затвор, „пещера“, „остров“ – святая ограда личности».

24 февраля 1785 года отец Наполеона Шарль Бонапарт скончался от рака желудка. Фридрих Кирхайзен оставил любопытную запись, приоткрывающую завесу над финальными минутами жизни отца Наполеона Бонапарта:

«Последние слова Карло (так, на итальянский манер, Кирхайзен величает Шарля Бонапарта) были обращены к детям и к жене, которая за время его болезни родила его младшего сына Джираломо (Иеронима).

„Сын мой, – сказал Карло Бонапарт Жозефу, который, плача, опустился на колени перед его постелью, – сын мой, подражай мне в моей вере, но не впадай в ошибки моей молодости! Будь покровителем твоих братьев и сестер и окружай твою несчастную мать всей заботой и уважением, которыми ты ей обязан… Мне бы хотелось увидеть еще раз моего любимого маленького Наполеона. Его ласки усладили бы мои последние мгновения жизни, но Бог не захотел этого!“

Так умер Карло Бонапарт, произнося в последнюю минуту имя Наполеона, до блеска и славы которого ему не суждено было дожить.

Он был похоронен в церкви Кордельеров. В 1802 году жители Монпелье захотели воздвигнуть памятник отцу Первого Консула, но Наполеон ответил очень разумно, что его отец умер уже пятнадцать лет назад и что никто не помнит о том незначительном в то время происшествии: лучше поэтому памятника не воздвигать. В 1802 году Луи без ведома Первого Консула перенес останки отца в свой замок и похоронил их в парке. Во время Реставрации они еще раз тайно ночью были вырыты наполеонидами и скрыты в пещере, пока, наконец, в день перевезения праха Наполеона в Дом Инвалидов, тело отца не было погребено в церкви Сен-Ле».

Когда Шарль Бонапарт скончался, ему было всего 39 лет. Наполеон, хотя между ним и отцом, увы, никогда не было подлинной близости (уж слишком разнились их темпераменты!), тяжело переживал постигшую его утрату. Вместе с тем он нашел в себе достаточно сил, чтобы обратиться к матери своей со словами утешения. Более того, он твердо уведомлял ее о том, что отныне возлагает заботы об осиротевшей наполовину семье Бонапартов на свои юные плечи.

«Утешьтесь, маменька, этого требуют обстоятельства, – пишет Наполеон Летиции

. – Мы удвоим наши заботы о вас, нашу благодарность, и будем счастливы, если наше послушание вознаградит вас хоть немного за незаменимую потерю возлюбленного супруга». Да не введет вас в заблуждение пафосный тон его обращения к матери. Наполеон очень

рано начал ощущать свою ответственность за тех, чьи судьбы, как он полагал, вверены ему Господом. Уже ребенком он проявлял себя как великий человек. Но только мать действительно ведала о его далеко не мнимом величии. «Мать знала, кто ее сын. „Вы чудо, вы феномен, вы то, чего и сказать нельзя!“ – говорила ему в глаза простодушно. – „Синьора Летиция, вы мне льстите, как все!“ – „Я вам льщу? Нет, сын мой, вы несправедливы к вашей матери. Мать сыну не льстит. Вы знаете, государь: я оказываю вам всяческое уважение на людях, потому что я ваша подданная“. При этом Летиция отнюдь не собиралась умалять свое материнское достоинство: „…наедине я ваша мать, а вы мой сын. Когда вы говорите: „хочу“, я говорю: „не хочу“, потому что у меня тоже гордый характер“».

Наполеон не раз обсуждал с матерью свое военное будущее. Любезнее всего его сердцу была карьера моряка. Но в конце XVIII столетия попасть на флот могли лишь дети не только богатых, но и весьма влиятельных родителей. После кончины отца достаток семьи Бонапартов сошел почти что на нет. Знакомых среди столичного бомонда у них тоже не было. Поэтому о флоте Наполеону мечтать, увы, даже не приходилось.

Что же ему оставалось?

Воспользоваться привилегией бедняков и служить в войсках, не пользовавшихся большой популярностью, например в артиллерийских.

Так Наполеон и поступил.

На момент кончины Шарля Бонапарта «

Наполеону… оставалось выдержать только одно испытание, чтобы получить жалованье , – сообщает Андре Моруа, еще один знаменитый биограф Наполеона. –

Он был произведен в лейтенанты в шестнадцать лет и пятнадцать дней от роду. Это было почетно. Он ничем особо не поразил своего экзаменатора (знаменитого Лапласа), но мог быть доволен собой. От корсиканского мальчишки, говорящего только на диалекте, до лейтенанта королевской армии путь был проделан немалый ».

Право же, с Андре Моруа нельзя не согласиться!

По завершении годичного курса обучения в Парижской военной школе Наполеон был направлен на 3-месячную стажировку в городок Валенсе (или Валанс) – в глубокую провинцию. В противном случае о получении Бонапартом офицерского чина не стоило и мечтать. Именно там у него и состоялось знакомство с практическими основами военного дела. Ведь до сих пор ему приходилось наращивать лишь свою базу теоретических познаний.

«Трудные дни начались для Наполеона, труднее, чем в школе, – признает Мережковский

. – Надо было всему учиться с азов: дворяне-кадеты выпускались из военной школы без всяких практических знаний: не то что пушки, и ружья зарядить не умели как следует.

Артиллерийское учение, по военному уставу, начинаясь с низших чинов – простым рядовым канониром, унтер-офицером, капралом, сержантом, продолжалось столько времени, сколько полковой командир считал нужным, сообразно с умом и прилежанием ученика.

Бонапарт в течение трех месяцев прошел всю эту школу. Целые дни учился на Валенском полигоне маневрам, устройству батарей, фейерверочному делу и стрельбе из гаубиц,

мортир, фальконетов; в теоретических классах слушал курсы высшей математики, тригонометрии, интегрального и дифференциального исчисления, прикладной физики, химии, фортификации, тактики. Наскоро закусывал в плохонькой гостинице „Трех Голубей“ или просто в пекарне съедал два пирожка, запивал их стаканом воды, молча кидал два су на прилавок и шел опять на учение. Работал по шестнадцать часов в сутки».

После такого изнурительного труда Наполеону было просто необходимо существенно подкреплять свои силы. Но что он мог себе позволить? Ведь о ту пору он был беден как церковная мышь. «Знаете, как я жил тогда? – вспоминает он. – Носу не показывал в кафе и в общество; ел сухой хлеб, сам чистил платье, чтобы носилось подольше. Не желая отличаться от своих товарищей бедностью, я жил как медведь, всегда один в своей маленькой комнатке, с единственными друзьями – книгами. Да и те чего мне стоили! Сколько надо было урезывать себя в самом необходимом, чтобы купить эту радость. Когда же, ценою долгих лишений, я накапливал наконец франков десять, то бежал в книжную лавку. Но часто, пересматривая книги на полках, я впадал в грех зависти и долго томился желанием, прежде чем мой кошелек позволял мне купить книгу. Таковы были порочные наслаждения моих юных годов!»

Что касается естественных наслаждений юности, то он их, в сущности, и вовсе не познал. Когда ему было семнадцать, в его жизнь проникла юная девушка по имени Каролина. Влюбленные зашли настолько далеко, что дерзали устраивать ночные свидания – под покровом строжайшей тайны. Однако на этих трепетных и невинных свиданиях они лишь сообща лакомились крадеными вишнями.

С Каролиной у Наполеона все кончилось так же быстро и просто, как и началось. Что он мог ей предложить? Ему даже некуда было привести свою возлюбленную. Ввиду страшной нужды Наполеон ютился в жалкой сквозной комнатушке (скорее уж чулане!) рядом с бильярдной – ее он заполучил исключительно благодаря состраданию, каковое ему удалось пробудить в сердце владелицы скромного кафе, где Бонапарт «столовался» – когда ему удавалось разжиться парой медяков. Это вовсе не походило на гнездышко влюбленных.

Впрочем, не только беспредельная нужда была виной тому, что это чувство Наполеона не развилось далее. Ему тогда приходилось очень несладко. В полку друзей у него не было – его предпочитали сторониться, словно угадывая интуитивно, что он не такой как все остальные. Если на момент расставания с Бриенном Наполеон Бонапарт из озлобленного, дикого и нелюдимого зверька превратился в благожелательного и общительного юношу, теперь все беды прошлого вернулись. Постигая азы артиллерийского искусства, он почти постоянно пребывает в дурном настроении, всех сторонится. Вместе с тем он по-прежнему стоек внутренне и даже свои жизненные злоключения пытается использовать в качестве плацдарма для становления духа. Так, например, возможность принимать пищу лишь один раз в день он приветствует, поскольку, как он твердо убежден, это невероятно полезно для здоровья.

И так далее…

Поистине звериное одиночество Наполеона избавило его на сей раз от необходимости подыскать себе новое убежище.

«

Всегда один среди людей , – пишет он в дневнике своем, ночью. –

Я возвращаюсь домой, чтобы мечтать наедине с самим собой и предаваться меланхолии. О

чем же я буду мечтать сегодня? О смерти. На заре моих дней я мог бы надеяться еще долго прожить… и быть счастливым. Какое же безумие заставляет меня желать конца?.. Правда, что мне делать в этом мире?.. Как люди далеки от природы! Как подлы, низки, презренны! Что я увижу, вернувшись на родину? Людей, отягченных цепями, и дрожащих, и целующих руки своих угнетателей… Если нет больше отечества, патриот должен умереть… »

Таковы мысли семнадцатилетнего Наполеона, уже поручика (лейтенанта) артиллерии.

Однако если мы обратимся к его биографам, то нам станет ясно, что его жизнь в то время была не столь уж и беспросветна.

Как пишет П. И. Ковалевский:

«…Период жизни Наполеона от получения им первого офицерского чина и до тулонского успеха исполнен массы приключений. Французские жизнеописатели Наполеона, ему сочувствующие, обыкновенно упоминают об этих восьми годах жизни Наполеона вскользь, напротив, противники уснащают этот период слишком густыми мрачными красками. Мы будем придерживаться в данном случае преимущественно изложения американца Слоона, более беспристрастно относящегося к личности Наполеона.

В первое время по выходе в офицеры и у Наполеона немножко закружилась юношеская головка. Он появился в обществе, был весел, танцевал, увлекал и увлекался. Вот как описывает Сальванди личность Наполеона в ту пору.

„Краткая, отрывистая речь, остроумная, иногда блестящая, поражающая, выделяла из толпы молодого корсиканского офицера. Он был маленького роста, строен, и в манере держать себя сказывалась смесь решимости, серьезности и грубоватости… Желтоватый цвет лица, впалые щеки, поразительная худоба имели что-то привлекательное. Задумчивый взор дополнял общее выражение физиономии“.

В Валансе он был введен в дом де Коломбье, где пользовался покровительством матери и стал неравнодушен к красавице дочери. С товарищами Наполеон плохо сходился не потому, что они его чуждались, а потому, что у него вообще был плохо развит дух товарищества. Вместе с тем Наполеон не покидал и своих друзей – книг. В ту пору он особенно увлекался сочинениями Руссо и аббата Рейналя. Мало того, он рискнул и сам пуститься в литературу. Он написал первые две главы „Истории Корсики“ и послал их на суд Рейналя. Ответ получился милый, хотя автору советовали получше ознакомиться с источниками и строже, критически относиться к авторам.

Вообще, усердие Наполеона к умственным занятиям поразительно. Ознакомившись в детстве с Плутархом, он зачитывается Геродотом, Страбоном и Диодором Сицилийским. Особенно он увлекается Китаем, Японией и Индией. Затем он переходит к истории Германии, Англии и Франции. Вместе с этим он усердно изучил философию и образцовые произведения французской литературы.

Вскоре, однако, на Наполеона посыпались невзгоды. Покровитель, генерал Марбёф, скончался [2]

. Брата Луи не приняли в училище. Матери не платили субсидии на разведение тутовых растений. Дядя серьезно заболел. Все это так повлияло на Наполеона, что он впал в какой-то сплин. В довершение всех бед он схватил болотную лихорадку. У Наполеона развивается тоска по родине, и он уезжает в отпуск на Корсику».

Возможность отпуска подвернулась Наполеону неожиданно, и он немедленно ею воспользовался. Подумать только: он может вернуться домой, на Корсику! Кратковременная, как то мыслилось его начальством, побывка растянулась на… долгие два года! Столь вопиющая вольность по отношению к военному уставу могла закончиться для Наполеона достаточно скверно, однако он сумел убедить своих командиров, что после смерти отца все тяготы содержания матери, а также братьев и сестер легли на его плечи. Покуда он старался добиться звания поручика артиллерии, финансовые дела Летиции, его матери, пришли в совершенное запустение. И вот теперь он просто обязан уделить им должное внимание. Когда же он со всем разберется, то непременно вернется в полк для продолжения службы. И это будет полезно как для него, так и для армии: будучи совершенно убежден в благополучии семьи, он сможет полностью отдаться службе. Его резоны были сочтены армейским начальством вполне убедительными, и ему позволили продлить его своеобразные «каникулы».

Вот как описаны эти события у П. И. Ковалевского:

«Дома Наполеона поглощали три главных занятия: ходатайства по семейным делам, научно-философские занятия и литературная деятельность. Первые и последняя шли из рук вон плохо. Лихорадка продолжала мучить юношу. Срок отпуска был ему продлен. Наконец, Наполеону пришлось возвращаться во Францию. Но возвратился он не к своему полку, а в Париж, где является ходатаем по делам матери, причем не стесняется извращать обстоятельства дела и допускать бесцеремонную неправду. Вместе с этим он просит у военного министра нового отпуска в Корсику, причем опять-таки обращается с правдою очень свободно. Новый отпуск получается. Но положение Наполеона представляется безотрадным. Будучи корсиканцем в душе, он состоял на службе у Франции, поработившей Корсику. Отдав одной тело, он душой принадлежал другой. Не более завидно и материальное его положение. Глава и опора большой семьи, он был почти без средств и без возможности добыть их. Исполненный кипучей мозговой деятельностью, он разряжался негодными литературными произведениями. Находясь в том возрасте, когда другие создают себе карьеру, Наполеон вынужден был идти по самой обычной дороге артиллерийского офицера. Все это крайне его тяготило и очень дурно отражалось на его физическом и душевном состоянии. Наполеон совершенно запутался, метался из стороны в сторону и ни на чем не мог долго останавливаться. Единственное его увлечение и удовольствие – умственный труд. Он выработал проекты укреплений для обороны Сен-Флорана, Ламортиллы и залива Аяччо, составил доклад об организации корсиканского ополчения и записку о стратегическом значении Маделенских островов. Но главное внимание свое он обратил на историю Корсики. Вскоре он окончил ее. Вся история пропитана была ненавистью к Франции, на службе у которой он состоял. Сочинение страдало недостатками знакомства с фактическими данными, неспособностью критически отнестись к изучаемым авторам и даже громадными грамматическими неправильностями. Нужно заметить, что орфография для Наполеона осталась на всю жизнь серьезным камнем преткновения. Несмотря на то что сочинение было посвящено известному епископу Марбёфу, оно и до сих пор не увидело типографского станка, ибо никто не хотел его издавать. Расчет Наполеона поправить свои финансовые обстоятельства продажею сочинения не удался».

Когда минуло два года его добровольного отлучения от службы, Наполеону все-таки пришлось вернуться обратно в армию. Артиллерийский полк, к которому он был приписан, перевели к тому времени в Оксонн – снова захолустная провинция, еще более удручающая, нежели прежде. Легко представить себе, как неприятно было Наполеону возвращаться!

Любопытно, догадывался ли он, что до грандиозного взлета его судьбы остается лишь один миг?

Наверное, нет.

Наполеон свято верил в свою звезду, в свою избранность, но знать, что случится в августе 1789 года в Оксонне, он, скорее всего, никак не мог.

Что же, собственно, там случилось?

16 августа 1789 года Оксонн стал центром… военного бунта! Как пишет Мережковский: «..

.солдаты вышли из казарм, с революционными песнями, окружили дом полкового командира, потребовали выдачи полковой казны; перепившись, лезли к офицерам целоваться и принуждали их пить за свободу, плясать фарандолу.

Бонапарт смотрел на бунт с тем отвращением, которое всегда внушала ему революционная чернь ». Он вполне откровенен с самим собой: «Если бы мне приказали стрелять в них из пушек, то привычка, предрассудок, воспитание, уважение к имени короля заставили бы меня повиноваться без колебания».

Но… увы, всегда есть хотя бы одно «но».

Вы помните, как Бонапарт-школьник стремился восставать против школьного руководства – стоило ему лишь ощутить малейший намек на несправедливость по отношению к ученикам? Несмотря на то что учителя к нему благоволили, Наполеон в любой миг был готов обрушиться на них с беспощадными обвинениями. И эта двойственность по отношению к власть придержащим была присуща ему, как и прежде. Ему откровенно претил животный разгул солдатни, но он признается: «

…революция мне пришлась по душе, и равенство, которое должно было меня возвысить, соблазняло меня». «„Человек! Человек! Как ты презрен в рабстве, как велик в свободе… Возрожденный, ты воистину царь Природы!“ – бредит Наполеон, пьяный или только притворяясь пьяным от вина Революции ».

Итак, революция свершилась.

Все мгновенно стали «царями Природы».

И что же, их жизнь от этого изменилась?

Да ни в коей мере!

Герой нашего повествования, как отмечает Мережковский:

«…живет по-прежнему, в бедной комнатке оксонских казарм, как будто никакой революции не было. Комнатка в одно окно, со скудной мебелью: узкая кровать без занавесок, заваленный книгами и бумагами стол, на полу дорожный сундук, тоже с книгами, одно старое просиженное кресло и шесть соломенных стульев. Рядом, в еще более бедной комнатке, с тюфяком на полу вместо постели, живет двенадцатилетний брат его, Людовик, взятый им на воспитание, чтобы облегчить обузу мамы Летиции. Старший брат любит младшего с отеческой нежностью; тратит на него последние гроши: оба живут на три франка пять сантимов в день. Наполеон сам варит суп, а иногда оба сыты одним молоком с хлебом. Учит брата истории, географии, французскому языку и катехизису; каждый день водит в церковь к обедне и готовит к конфирмации, хотя сам уже не верит ни во что: „Теология есть клоака всех

предрассудков и всех заблуждений“».

Думаете, у других «царей Природы» дела обстояли иначе?

Отнюдь.

Когда схлынул пьяный угар, и люди стали постепенно приходить в себя, они очень скоро ощутили недовольство и раздражение. Они ж ведь теперь вроде бы «цари», а в карманах пусто; у многих даже крыши над головой нет.

«Детский» бунт остался в прошлом, и назревал уже бунт «взрослый».

И как раз когда Наполеон вновь отправился в отпуск в родные пенаты, на Корсику, во Франции наступило царство разнузданной анархии. Повсюду – лишь террор и кровь. Корсика, увы, также не стала исключением.

Наполеон вдруг ощутил, что судьба дарует ему шанс осуществить свою мечту. Если ранее он и впрямь мог лишь мечтать о том, чтобы завоевать весь мир, то теперь, когда все основы старого государственного порядка рухнули, и на крови тех, кто пал жертвой революции, неспешно возводились новые, можно было реально развернуться.

Наполеон «

очертя голову кидается в революционные клубы, комитеты, заговоры и уже не из книг, а на деле учится войне и революции. Избранный в полковники аяччского батальона волонтеров национальной гвардии, на Пасхальной неделе 1792 года, он раздувает искру в пожар – уличную стычку солдат с горожанами, из-за пустяков – опрокинутых кеглей, – в гражданскую войну. Запершись в своих казармах, волонтеры, по приказу будто бы двух своих полковников, Кверца и Бонапарта, стреляют из окон в прохожих, убивают женщин и детей, делают вылазки, грабят дома, овладевают целым кварталом, возмущают окрестных поселян и пастухов, которые осаждают город и прекращают подвоз съестных припасов. Цель Бонапарта – захватить Аяччскую крепость. Цели этой он не достиг, но в течение трех дней подвергает город всем ужасам неприятельского нашествия – голоду, грабежу, убийству, террору. Долго помнили граждане и никогда не прощали ему кровавой Пасхи 1792 года ».

Вот так – причем, наверное, совершенно неожиданно для себя – и пролил Наполеон первую кровь, загубил первые человеческие жизни, впервые прошел по головам людским во имя достижения своей величественной цели…

«В том ужасном положении, в каком мы тогда находились, – оправдывает он себя,

– нужна была сила духа и отвага; нужен был человек, который, исполнив свое назначение, мог бы ответить, как Цицерон и Мирабо, на требование клятвы, что он не преступил закона: „Клянусь, что я спас Республику!“».

Именно так он объясняет мотивы проявленной им невероятной жестокости в записке, поданной на имя пары ответственных комиссаров, отряженных революционным комитетом

для дознания причин происшедшего.

Кого-то он убедить сумел, а кого-то нет. На него живо состряпали кляузу. Явственно запахло революционным судом. Тогда финал каждого из подобных судов был, по сути, предрешен заранее. А тут еще и в полку его хватились. Вновь Бонапарт безбожно просрочил отпуск! В сложившейся ситуации мешкать было недопустимо. Прекрасно отдавая себе отчет в том, что с судом ему связываться никак нельзя, Наполеон решает вернуться в армию и замолить свои грехи. Корсиканское землячество, представленное его сторонниками, даже направило специальное ходатайство, в котором превозносились заслуги Наполеона и то благо, что он якобы принес Корсике. В итоге он настолько смог расположить к себе полковника, что тот милостиво соизволил его простить и принял обратно в лоно армии. Более того! Наполеон был представлен к новому чину. Отныне он являлся капитаном артиллерии! Вдобавок ему было выплачено все жалованье за те месяцы, когда он насаждал революционный порядок на Корсике. Анализируя происшедшее, Наполеон сильно досадовал на себя: ему казалось, что он использовал не все шансы. И, конечно же, он непрестанно мечтал о реванше. «Сначала Корсика, а потом – весь мир!» – так он шептал самому себе долгими бессонными ночами.

И хотя память о том, что он едва избежал военного трибунала, была еще куда как свежа, это не помешало ему через несколько лет вновь вернуться обратно для завершения начатого.

Уж очень хотелось Наполеону стать диктатором Корсики!

Однако все прошло совсем не так гладко, как он предполагал. В смуте гражданской войны, в которую Наполеон угодил по своей воле, он поссорился с престарелым генералом Паоли, прежде его кумиром, а теперь – непосредственным руководителем; тот, кстати, до некоторой степени обладал теми самыми полномочиями, на которые нацелился Наполеон. Последствия этого были устрашающими: Наполеону и его семье (их всех объявили изменниками!), чтобы не погибнуть, пришлось бросить дом со всем имуществом и спасаться в горах. Летиция Бонапарт, мать Наполеона, просто и мужественно приняла этот жребий.

«Синьора Летиция, с младшими детьми, так же бежала в горы, как двадцать четыре года назад, когда носила Наполеона под сердцем, – пишет Мережковский

. – Беглецы вышли из города ночью и утром были на первых высотах, откуда он еще виден. Кто-то, обернувшись, заметил клубы дыма над ним и указал на них синьоре Летиции: „Вон горит ваш дом!" – „Пусть горит, лучше построим!"»

Даже когда могло показаться, что все кончено, и отныне им предстоит скитаться по миру, испрашивая себе подаяния, Летиция Бонапарт свято верила в гений Наполеона. Она была убеждена, что счастливая звезда Наполеона поможет им с достоинством пережить этот ужасный удар судьбы. И как вы понимаете, она не ошиблась!

Бонапарты счастливо избегли преследования и добрались до побережья.

Нужно уточнить: бегством в горы спасалась Летиция с детьми. Наполеон же, которого сопровождал его брат Жозеф, пытался раздобыть корабль, чтобы покинуть Корсику.

Последние дни пребывания на родине оказались для Наполеона весьма насыщенными. За несогласие с Паоли Бонапарт, как отмечает Стендаль: «…

был заключен в тюрьму. Он бежал, скрывался в горах, но наткнулся там на крестьян, приверженцев враждебной ему партии, и был отведен ими к Поццо ди Борго (знатный

соратник генерала Паоли. – Г. Б.).

Тот, чтобы избавиться от опасного противника, решил выдать его англичанам. Если бы этот приказ был исполнен, Бонапарту, вероятно, пришлось бы провести в тюрьме несколько лет своей молодости; но крестьяне, которым было поручено стеречь его, движимые состраданием или, быть может, подкупленные им, дали ему возможность бежать. Это вторичное бегство произошло ночью, накануне того самого дня, когда его должны были доставить на английский корабль, крейсировавший вдоль берега ». Счастливо избежав грозящей ему печальной участи, Наполеон, все время помня о том, что его первостепенная задача – позаботиться о семье, кинулся срочно искать судно, которое доставило бы его семью к берегам Франции.

Тем временем Летиция Бонапарт с детьми была вынуждена скитаться по побережью, не имея ни еды, ни денег. Впрочем, ее любимец Наполеон недолго мешкал с поисками корабля и вскоре приплыл к ним на выручку. Так счастливо воссоединилась семья Бонапартов, на краткий миг обретя душевный покой.

11 июня 1793 года они отплыли на французском военном корабле в Кальви.

Часть третья. Тулон: начало триумфа

Кальви встретил Бонапартов не особенно приветливо, и Бонапарт решил перебраться в Тулон. Там им тоже не удалось зацепиться, и Бонапарты уехали в Марсель. Там было принято решение остановиться. Наполеон едва успел позаботиться об обустройстве на новом месте, как ему пришлось оставить семью по делам службы (что бы там ни творилось в Европе, а Наполеон по-прежнему был приписан к артиллерийскому полку, стоявшему на тот момент в Ницце).

В его отсутствие Бонапарты, и прежде не сильно процветавшие, бедствуют страшно.

Андре Моруа отмечает:

«И тут приходит нужда, почти нищета. Какими, собственно, средствами располагают Бонапарты? Одно капитанское жалованье и скудное репатриантское пособие, которое французы выплачивают корсиканским беженцам».

Фридрих Кирхайзен оставил более пространную характеристику того положения, в котором пребывала в Марселе семья Бонапартов:

«В Марселе Летиция жила более чем скромно. В конце концов она подавила свою корсиканскую гордость и обратилась в благотворительное общество, прося вспомоществования себе и детям; скудного офицерского жалованья, которым Наполеон должен был покрывать все потребности, семье далеко не хватало. Теперь же Летиция имела, по крайней мере, обеспеченный кусок хлеба. В общем, у Бонапартов было ровно столько, чтобы не умереть с голода.

Летиция не слишком страдала от этих плачевных обстоятельств – гораздо больше ее три

красивые дочери, из которых Марианне (Элизе) было восемнадцать лет, Марии-Аннунциате (Полине) – пятнадцать и Марии-Шарлотте (Каролине) – тринадцать. Мать заставляла их усердно работать: будущие королевы и княгини должны были мыть посуду и вытирать пыль. В скромных платьях и дешевых шляпах за четыре су ежедневно делали они скромные покупки по хозяйству. Дома же мать и дочери шили и штопали: они были в то время для себя и портнихами, и модистками.

Благодаря чрезвычайной расчетливости Летиции и ее беспрестанным поискам поддержки, положение несколько улучшилось. Они могли вскоре взять приличную квартиру и переехали на улицу Римского предместья, чтобы сделать одолжение Наполеону, который начал уже иметь некоторое влияние на окружающих. Комиссары благотворительного общества выдали Бонапартам единовременное пособие, давшее Летиции возможность купить для себя и дочерей немного одежды и белья, в котором они так нуждались».

И это было только начало!

Не стоит забывать, кем была Летиция, и чья кровь текла в ее жилах.

«Но г-жа Летиция мужественная женщина, а ее сыновья хороши собой, – восхищается Андре Моруа

. – Ей удается породниться с одним марсельским купцом, торгующим тканями, по имени Клари: Жозеф женится на его дочери Мари-Жюли; в один прекрасный день она станет королевой Испании. Наполеон охотно сделал бы своей женой вторую дочь, Дезире. Но, говорят, Клари счел, что на семью довольно одного Бонапарта. В будущем Дезире выйдет замуж за Бернадота и станет королевой Швеции. Клари допустил ошибку, отказав второму Бонапарту. Но кто мог предвидеть, каким невероятным образом повернется история? В то время как другие делали карьеру и добивались почета и уважения, двадцатичетырехлетний Наполеон был всего лишь заштатным капитаном, казалось, не имевшим будущего».

Как вы помните, Наполеону Бонапарту надлежало явиться в свой полк в Ниццу.

Наполеон ехал туда, обуреваемый тревожными размышлениями о том, каким образом он сможет обеспечить своей семье достойные условия существования, имея всего-навсего капитанский чин. Ему было ясно одно: необходимо что-то срочно придумать, иначе быть беде. Догадывался ли он, что не за горами его звездный час?

Стендаль пишет:

«Ему был поручен надзор за береговыми батареями между Сан-Ремо и Ниццой. Вскоре его послали в Марсель и близлежащие города; он раздобыл для армии различные боевые припасы. С такими же поручениями его посылали в Осони, Ла-Фер и Париж. Поездки его по Южной Франции совпали с гражданской войной, происходившей в 1793 году между департаментами и Конвентом. Получить от городов, восставших против правительства, необходимые для войск этого правительства боевые припасы было делом весьма нелегким. Наполеон сумел с ним справиться, то взывая к патриотизму повстанцев, то искусно пользуясь их опасениями. В Авиньоне несколько федератов пытались уговорить его присоединиться к ним. Он ответил, что никогда не согласится принять участие в гражданской войне. За то

время, которое ему для выполнения возложенной на него задачи пришлось провести в Авиньоне, он имел случай убедиться в полной бездарности генералов обеих враждующих сторон, как роялистов, так и республиканцев. Известно, что Авиньон сдался Карто, который из плохого живописца стал еще более плохим генералом. Молодой капитан написал памфлет, где высмеял историю этой осады; он озаглавил его: „Завтрак трех военных в Авиньоне" (1793).

По возвращении из Парижа в Итальянскую армию Наполеон получил приказ принять участие в осаде Тулона. Этой осадой опять-таки руководил Карто, смехотворный генерал, на всех смотревший как на соперников и столь же бездарный, как и упрямый».

Но, спрашивается, при чем же здесь Тулон и что это вообще за осада?

У Е. В. Тарле мы читаем: «

На юге Франции разразилось контрреволюционное восстание. Роялисты Тулона в 1793 г. изгнали или перебили представителей революционной власти и призвали на помощь крейсировавший в западной части Средиземного моря английский флот. Революционная армия осадила Тулон с суши. Осада шла вяло и неуспешно ».

Да, именно «вяло и неуспешно»!

Впрочем, могло ли быть иначе?

Без Наполеона Бонапарта – едва ли.

Однако, к счастью для Конвента, он был именно там, у стен Тулона.

Позднее Наполеон напишет теоретический военный труд «Осада Тулона». Его творение разительно отличается от скучных академических штудий, которые чаще всего выходят из-под пера известных стратегов. Наполеон пишет о себе в третьем лице. Его детальное изложение событий завораживает. При всей беспристрастности повествования время от времени встречаются исполненные горечи абзацы, в которых неоднократно упоминается бестолковость генералитета.

Нужно помнить, что в начале кампании у Наполеона был всего-навсего чин майора (правда, он был очень скоро произведен в полковники). Не было ничего удивительного в том, что его предложения, планы, блестящее предвидение того, как будут разворачиваться события, – все это было воспринято генералами в штыки. Слава богу, после отзыва пары бездарных генералов, армией стал командовать Дюгоммье – он был куда более толков и сведущ в военном деле, а главное – смог беспристрастно отнестись к Наполеону и оценить того по достоинству.

А теперь давайте предоставим слово главному герою – Наполеону Бонапарту. Поскольку труд его («Осада Тулона») достаточно пространен, нами была сделана специальная выборка ключевых мест; нас в первую очередь интересовали все ситуации, в которых Наполеон описывает свои планы и действия на поле боя. Наиболее важные моменты специально выделены полужирным шрифтом.

«…Английский и испанский адмиралы заняли Тулон с 5000 человек, которые были выделены из судовых команд, подняли белое знамя и вступили во владение городом от имени Бурбонов. Затем к ним прибыли испанцы, неаполитанцы, пьемонтцы и войска с Гибралтара. К концу сентября в гарнизоне находилось 14 000 человек: 3000 англичан, 4000 неаполитанцев,

2000 сардинцев и 5000 испанцев. Союзники разоружили тогда тулонскую национальную гвардию, которая казалась им ненадежной, и распустили судовые команды французской эскадры. 5000 матросов – бретонцев и нормандцев, – причинявших им особое беспокойство, были посажены на четыре французских линейных корабля, превращенных в транспорты, и отправлены в Рошфор и Брест. Адмирал Худ почувствовал необходимость, чтобы обеспечить себе стоянку на рейдах, укрепить высоты мыса Брен, господствовавшие над береговой батареей того же имени, и вершины мыса Кэр, господствовавшие над батареями Эгильетт и Балагье, с которых простреливались большой и малый рейды. Гарнизон был размещен в одну сторону до Сен-Назера и Олиульских теснин включительно, в другую – до Ла-Валетты и Иера. Все береговые батареи от Бандольских до батарей Иерского рейда были разрушены. Иерские острова были заняты противником.

…Измена, отдавшая англичанам флот Средиземного моря, город Тулон и его арсенал, потрясла Конвент. Он назначил генерала Карто главнокомандующим осадной армией. Комитет общественного спасения потребовал указать артиллерийского офицера старой службы, способного руководить осадной артиллерией. В качестве такого офицера был назван Наполеон, в то время майор артиллерии. Он получил приказ срочно отправиться в Тулон, в главную квартиру армии, для организации артиллерийского парка и командования им. 12 сентября он прибыл в Боссэ, представился генералу Карто и скоро заметил его неспособность. Из полковника – командира небольшой, направленной против федералистов (т. е. контрреволюционеров) колонны – этот офицер на протяжении трех месяцев успел сделаться бригадным генералом, затем дивизионным генералом и, наконец, главнокомандующим. Он ничего не понимал ни в крепостях, ни в осадном деле.

…Артиллерия армии состояла из двух полевых батарей под командой капитана Сюньи, только что прибывшего из итальянской армии вместе с генералом Лапуапом, из трех батарей конной артиллерии под командой майора Доммартена, отсутствовавшего после раны, полученной в бою под Олиулем (вместо него в ту пору всем руководили артиллерийские сержанты старой службы), и из восьми 24-фунтовых пушек, взятых из марсельского арсенала. В течение 24 дней – с тех пор как Тулон находился во власти противника, – ничего еще не было сделано для организации осадного парка. На рассвете 13 сентября главнокомандующий повел Наполеона на батарею, которую он выставил для того, чтобы сжечь английскую эскадру. Эта батарея была расположена у выхода из Олиульских теснин на небольшой высоте, несколько правее шоссе, в 2000 туазах [3]

от морского берега. На ней было восемь 24-фунтовых пушек, которые, по его мнению, должны были сжечь эскадру, стоявшую на якоре в 400 туазах от берега, т. е. в целом лье [4]

от батареи. Гренадеры Бургундии и первого батальона Кот-д’Ора, разойдясь по соседним домам, были заняты разогреванием ядер при помощи кухонных мехов. Трудно представить себе что-нибудь более смешное.

Наполеон приказал убрать в парк эти восемь 24-фунтовых орудий. Им были приняты все меры для того, чтобы организовать артиллерию, и менее чем в шесть недель он собрал 100 орудий большого калибра – дальнобойных мортир и 24-фунтовых пушек, в изобилии снабженных снарядами. Он организовал мастерские и пригласил на службу нескольких артиллерийских офицеров, ушедших с нее вследствие революционных событий. Между ними был и майор Гассенди, которого Наполеон назначил начальником марсельского арсенала. На самом берегу моря Наполеоном были построены две батареи, названные батареями Горы и Санкюлотов, что после оживленной канонады вынудило корабли противника удалиться и очистить малый рейд. В этот начальный период в осадной армии не было ни одного инженерного офицера. Наполеон должен был действовать и за начальника инженерной службы, и за начальника артиллерии, и за командира парка. Каждый день он отправлялся на батареи.

…14 октября осажденные в числе 4000 человек сделали вылазку с целью овладеть батареями Горы и Санкюлотов, беспокоившими их эскадры. Одна колонна прошла через форт Мальбоске и заняла позицию на полдороге от Мальбоске к Олиулю. Другая шла вдоль морского берега и направлялась на мыс Брега, где были расположены эти батареи. Когда был открыт огонь, Наполеон поспешил на передовые позиции вместе с Альмейрасом, адъютантом Карто, прекрасным офицером, впоследствии дивизионным генералом. Он уже успел внушить войскам такое доверие, что, как только они его увидели, солдаты стали единодушно и громко требовать от него приказаний. Таким образом, по воле солдат он стал командовать, хотя при этом присутствовали генералы. Результаты оправдали доверие армии. Противник сначала был остановлен, а затем отброшен к крепости. Батареи были спасены. С этого момента Наполеон понял, что представляют собой коалиционные войска. Неаполитанцы, составлявшие часть этих войск, были плохи, и их всегда назначали в авангард.

…В конце сентября в Олиуле собрался военный совет для решения вопроса, с какой стороны вести главную атаку – с восточной или с западной?

…Наполеон… выдвинул тезис, что, если блокировать Тулон с моря таким же образом, как с суши, крепость падет сама собой, ибо противнику выгоднее сжечь склады, разрушить арсенал, взорвать док и, забрав 31 французский военный корабль, очистить город, чем запереть в нем 15-тысячный гарнизон, обрекая его, рано или поздно, на капитуляцию, причем, чтобы добиться почетной капитуляции, этот гарнизон будет вынужден сдать невредимыми эскадру, арсенал, склады и все укрепления. Между тем, принудив эскадру очистить большой и малый рейды, блокировать Тулон с моря – легко. Для этого было бы достаточно выставить две батареи: одну батарею из тридцати 36– и 24-фунтовых пушек, четырех 16-фунтовых орудий, стреляющих калеными ядрами, и десяти мортир системы Гомер на оконечности мыса Эгильетт, а другую, такой же силы, – на мысе Балагье. Обе эти батареи будут отстоять от большой башни не далее как на 700 туазов и смогут обстреливать бомбами, гранатами и ядрами всю площадь большого и малого рейдов. Генерал Мареско, в то время капитан инженерных войск, прибывший для командования этим родом оружия, не разделял подобных надежд, однако изгнание английского флота и блокаду Тулона он находил вполне уместными, видя в этом необходимые предпосылки быстрого и энергичного ведения атак.

…На третий день после прибытия в армию Наполеон посетил кэрскую позицию, не занятую еще противником, и, составив тотчас же свой план действий, отправился к главнокомандующему и предложил ему войти в Тулон через неделю. Для этого требовалось прочно занять позицию на мысе Кэр, чтобы артиллерия могла тотчас же выставить свои батареи на оконечностях мысов Эгильетт и Балагье. Генерал Карто не был способен ни понять, ни выполнить этот план, тем не менее он поручил отважному помощнику генерала Лаборду, впоследствии генералу императорской гвардии, отправиться туда с 400 человек. Но через несколько дней противник высадился на берег в числе 4000 человек, отбросил генерала Лаборда и приступил к возведению форта Мюрграв. В течение первых восьми дней начальник артиллерии не переставал просить о подкреплении для Лаборда, чтобы можно было отбросить противника с этого пункта, но не добился ничего. Карто не считал себя достаточно сильным для удлинения своего правого фланга, или, вернее, он не понимал важности этого. К концу же октября положение вещей сильно изменилось. Нельзя было больше думать о прямой атаке этой позиции. Нужно было ставить хорошие пушечные и мортирные батареи, чтобы смести укрепления и заставить замолчать артиллерию форта. Все эти соображения были приняты военным советом. Начальник артиллерии получил приказание принять все необходимые меры, касающиеся его рода оружия. Он немедленно принялся за работу.

Однако Наполеону ежедневно ставил препятствия невежественный штаб, всячески пытавшийся отвлечь его от выполнения принятого советом плана и требовавший то

направить пушки совсем в противоположную сторону, то обстреливать бесцельно форты, то сделать попытку забросить несколько снарядов в город, чтобы сжечь пару домов. Однажды главнокомандующий привел его на высоту между фортом Мальбоске и фортами Руж и Блан, предлагая расположить здесь батарею, которая сможет обстреливать их одновременно. Тщетно пытался начальник артиллерии объяснить ему, что осаждающий получит преимущество над осажденным, если расположит против одного форта три или четыре батареи и возьмет его, таким образом, под перекрестный огонь. Он доказывал, что поспешно оборудованные батареи с простыми земляными укрытиями не могут бороться против тщательно сооруженных батарей, имеющих долговременные укрытия, и, наконец, что эта батарея, расположенная между тремя фортами, будет разрушена в четверть часа и вся прислуга на ней будет перебита. Карто, со всей надменностью невежды, настаивал на своем; но, несмотря на всю строгость воинской дисциплины, это приказание осталось неисполненным, так как оно было неисполнимо.

В другой раз этот генерал приказал построить батарею опять-таки на направлении, противоположном направлению общего плана, притом на площадке перед каменной постройкой, так что не оставалось необходимого пространства для отката орудий, а развалины дома могли обрушиться на прислугу. Снова пришлось ослушаться.

На батареях Горы и Санкюлотов сосредоточилось внимание армии и всего юга Франции. Огонь с них велся ужасный. Несколько английских шлюпов было потоплено. С нескольких фрегатов были сбиты мачты. Четыре линейных корабля оказались настолько сильно поврежденными, что пришлось ввести их в док для починки.

Главнокомандующий же, воспользовавшись моментом, когда начальник артиллерии отлучился на 24 часа для посещения марсельского арсенала и ускорения отправки некоторых необходимых предметов, приказал эвакуировать эту батарею под предлогом, что на ней гибло много канониров. В 9 часов вечера, когда вернулся Наполеон, эвакуация батареи уже началась. Опять пришлось не повиноваться. В Марселе была одна старая кулеврина, давно служившая предметом любопытства. Штаб армии решил, что сдача Тулона зависит только от этой пушки, что она обладает чудесными свойствами и стреляет, по меньшей мере, на два лье. Начальник артиллерии убедился, что эта пушка, к тому же чрезвычайно тяжелая, вся перержавела и не может нести службы. Однако пришлось затратить немало сил и средств, извлекая и устанавливая эту рухлядь, из которой сделали лишь несколько выстрелов.

Раздраженный и утомленный этими противоречивыми распоряжениями, Наполеон письменно попросил главнокомандующего ознакомить его с общими предначертаниями, предоставив ему исполнение их в деталях по вверенному ему роду оружия. Карто ответил, что согласно плану, принятому им окончательно, начальнику артиллерии надлежит обстреливать Тулон в продолжение трех дней, после чего главнокомандующий атакует крепость тремя колоннами. По поводу этого странного ответа Наполеон написал доклад народному представителю Гаспарену, изложив все то, что следовало предпринять для овладения городом, то есть повторив сказанное им на военном совете. Гаспарен был умным человеком. Наполеон очень уважал его и многим был обязан ему в течение осады. Гаспарен отослал переданный план с нарочным в Париж, и оттуда с тем же курьером было привезено приказание, чтобы Карто тотчас же покинул осадную армию и отправился в Альпийскую. На его место был назначен генерал Доппе, командовавший армией под Лионом, который был только что взят.

…Главнокомандующий Доппе прибыл к осадной армии 10 ноября. Он был савоец, медик, умнее, чем Карто, но такой же невежда в области военного искусства; это был один из корифеев общества якобинцев, враг всех людей, у которых замечался какой-либо талант. Через несколько дней после его прибытия английская бомба вызвала пожар порохового погреба на батарее Горы. Находившийся там Наполеон подвергался большой опасности. Было убито несколько канониров. Явившись вечером к главнокомандующему для доклада об этом случае, начальник артиллерии застал его за составлением протокола в целях

доказательства, что погреб был подожжен аристократами.

…На следующий день батальон котдорцев, находившийся в траншеях против форта Мюрграв, взялся за оружие и двинулся на форт, возмущенный дурным обращением испанцев с одним попавшим в плен французским волонтером. За ним направился Бургундский полк. В дело оказалась вовлеченной вся дивизия генерала Брюле. Началась ужасающая канонада и оживленная ружейная перестрелка. Наполеон находился в главной квартире; он отправился к главнокомандующему, но и тот не знал причины всего происходящего. Они поспешили на место происшествия. Было 4 часа дня. По мнению начальника артиллерии, раз вино было откупорено, надо было его выпить [5]

. Он считал, что продолжение атаки будет стоить меньше, чем прекращение ее. Генерал разрешил ему принять атакующих под свое командование. Весь мыс был покрыт нашими стрелками, окружившими форт, и начальник артиллерии построил в колонну две гренадерские роты с целью проникнуть туда через теснину, как вдруг главнокомандующий приказал ударить отбой вследствие того, что вблизи от него, но довольно далеко от линии огня, был убит один из его адъютантов. Стрелки, заметив отступление своих и услышав сигнал отбоя, были обескуражены. Атака не удалась. Наполеон с лицом, покрытым кровью от легкой раны в лоб, подъехал к главнокомандующему и сказал ему: „…Велевший играть отбой не дал нам взять Тулон“. Солдаты, потеряв при отступлении немало своих товарищей, выражали недовольство. Они громко говорили о том, что пора покончить с генералом. „Когда же перестанут присылать для командования нами живописцев и медиков?“

…Власти, находившиеся в Марселе и знавшие о плане осады только по слухам, боясь все усиливающегося голода, предлагали Конвенту снять осаду, очистить Прованс и отступить за Дюранс.

…Батареи были построены. Все было готово для атаки форта Мюрграв. Начальник артиллерии считал необходимым поставить одну батарею на Аренской высоте, против форта Мальбоске, так, чтобы с нее на другой день после взятия Малого Гибралтара можно было открыть огонь; он рассчитывал, что огонь этой батареи произведет большое моральное воздействие на военный совет осажденных, который соберется для принятия решения.

Для того чтобы поразить, нужно действовать внезапно, и, значит, следовало скрывать от врага существование батареи; с этой целью она была успешно замаскирована оливковыми ветками. 29 ноября в 4 часа дня ее посетили народные представители. На батарее находилось восемь 24-фунтовых пушек и четыре мортиры. Она называлась батареей Конвента. Представители спросили канониров, что мешает им начать стрельбу. Канониры ответили, что у них все готово и что их орудия будут действовать весьма эффективно. Народные представители разрешили им стрелять.

Начальник артиллерии, находившийся в главной квартире, с изумлением услышал пальбу, что противоречило его намерениям. Он отправился к главнокомандующему с жалобой. Зло было сделано непоправимое.

На другой день, на рассвете, О’Хара во главе 7000 человек сделал вылазку, переправился у форта Сент-Антуан через ручей Ас, опрокинул все посты, защищавшие батарею Конвента, овладел ею и заклепал орудия. В Олиуле забили тревогу. Поднялось сильное смятение. Дюгоммье поехал по направлению атаки, собирая на своем пути войска и послав приказания придвинуть резервы.

Начальник артиллерии выставил на различных позициях полевые орудия с целью прикрыть отступление и сдержать движение противника, угрожавшее олиульскому парку. Сделав эти распоряжения, он отправился на высоту, находившуюся напротив батареи. Через небольшую долину, разделявшую их, от этой высоты до подножия насыпи пролегал ход сообщения,

сделанный по приказанию Наполеона для подноса к батарее боеприпасов. Прикрытый оливковыми ветвями, он был незаметен. Войска противника стояли в боевом порядке справа и слева от него, а группа штабных офицеров находилась на батарейной платформе. Наполеон приказал батальону, занимавшему высоту, спуститься с ним в этот ход сообщения.

Подойдя к подножию насыпи незаметно для противника, он приказал дать залп по войскам, стоявшим вправо от нее, а затем по стоявшим влево. По одну сторону находились неаполитанцы, по другую – англичане. Неаполитанцы подумали, что их обстреливают англичане, и тоже открыли огонь, не видя врага.

В ту же минуту один офицер в красном мундире, хладнокровно прогуливавшийся по платформе, поднялся на насыпь с целью разузнать о происшедшем. Ружейный выстрел из хода сообщения поразил его в руку, и он свалился к подножию наружного откоса. Солдаты подняли его и принесли в ход сообщения. Это оказался главнокомандующий О’Хара. Таким образом, находясь среди своих войск, он исчез, и никто этого не заметил. Он отдал свою шпагу и заявил начальнику артиллерии, кто он такой. Наполеон заверил его в том, что он не подвергнется оскорблениям.

Как раз в эту минуту Дюгоммье с собравшимися войсками обошел правый фланг противника и угрожал прервать его коммуникации с городом, что и привело к отступлению. Вскоре оно превратилось в бегство. Противника преследовали по пятам до самого Тулона и по дороге к форту Мальбоске. Дюгоммье в этот день получил две легкие раны. Наполеон был произведен в полковники.

…Отборный отряд из 2500 человек егерей и гренадер, затребованный Дюгоммье из Итальянской армии, прибыл. Все говорило за то, чтобы не медлить больше ни минуты с захватом мыса Кэр, и было решено штурмовать Малый Гибралтар.

…14 декабря французские батареи открыли беглый огонь бомбами и ядрами из пятнадцати мортир и тридцати пушек большого калибра. Канонада продолжалась день и ночь с 15-го по 17-е, до момента штурма. Артиллерия действовала очень удачно.

…Главнокомандующий приказал двинуться на приступ в час ночи, рассчитывая подоспеть к редуту либо до того, как гарнизон, предупрежденный об атаке, успеет туда вернуться, либо, по крайней мере, одновременно с ним. Целый день 16-го шел проливной дождь, и это могло задержать движение некоторых колонн. Дюгоммье, не ожидая от этого ничего хорошего, хотел было отложить атаку на следующий день, но, побуждаемый, с одной стороны, депутатами, образовавшими комитет и исполненными революционного нетерпения, а с другой – советами Наполеона, считавшего, что плохая погода не является неблагоприятным обстоятельством, продолжал подготовку к штурму.

…Ночь стояла очень темная. Движение замедлилось, и колонна расстроилась, но все же добралась до форта и залегла в нескольких флешах. Тридцать или сорок гренадер проникли даже в форт, но были оттеснены огнем из бревенчатого укрытия и принуждены вернуться назад. Дюгоммье в отчаянии отправился к четвертой колонне – резерву. Ее вел Наполеон. По его приказанию впереди шел батальон, который был вверен им Мюирону, капитану артиллерии, в совершенстве знавшему местность.

В 3 часа утра Мюирон проник в форт через амбразуру; за ним последовали Дюгоммье и Наполеон. Лаборд и Гильон проникли с другой стороны. Канониров перебили у орудий. Гарнизон отошел к своему резерву на холме, на расстоянии ружейного выстрела от форта. Здесь противник перестроился и произвел три атаки с целью вернуть форт.

Около 5 часов утра к противнику были подвезены два полевых орудия, но, по распоряжению начальника артиллерии, уже подоспели его канониры, и орудия форта повернулись против врага. В темноте, под дождем, при ужасном ветре, среди валявшихся в беспорядке трупов,

под стоны раненых и умирающих, стоило большого труда изготовить к стрельбе шесть орудий. Лишь только они открыли огонь, противник отказался от продолжения атак и повернул назад.

Немного спустя стало светать.

…Оба занятых форта представляли собою лишь простые батареи, выложенные из кирпича на морском берегу, с большой башней на горке, которая служила вместе и казармой, и укрытием. Над башней, в 20 туазах от нее, возвышались холмы мыса. Эти батареи совсем не предназначались для обороны против неприятеля, наступающего с суши и располагающего пушками. Наши шестьдесят 24-фунтовых пушек и 20 мортир находились у деревни Сены на колесном ходу и передках, на расстоянии пушечного выстрела, так как было важно без малейшего замедления начать из них стрельбу. Однако начальник артиллерии отказался от огневых позиций обеих батарей, брустверы которых были из камня, а башня находилась в такой близости, что рикошетные снаряды и обломки ее могли поражать канониров. Он наметил огневые позиции для батарей на высотах. Остаток дня пришлось затратить на их оборудование.

…Штурм обошелся республиканской армии в 1000 человек убитыми и ранеными. Под Наполеоном была убита лошадь выстрелом с батареи Малого Гибралтара. Накануне атаки он был сброшен на землю и расшибся. Утром он получил от английского канонира легкую колотую рану в икру.

…Наметив огневые позиции для батарей и отдав все приказания, необходимые для парка, Наполеон отправился на батарею Конвента с целью атаковать форт Мальбоске. Он заявил генералам: „Завтра или самое позднее послезавтра вы будете ужинать в Тулоне“. Это тотчас же сделалось предметом обсуждения. Некоторые надеялись, что так и будет, большая же часть на это не рассчитывала, хотя все гордились одержанной победой.

…Тем временем [в Тулоне] был созван военный совет. Протоколы его [впоследствии] попали в руки Дюгоммье, сравнившего их с протоколами французского военного совета в Олиуле 15 октября. Дюгоммье нашел, что Наполеон все предвидел заранее. Старый и отважный генерал с удовольствием об этом рассказывал. В самом деле, в этих протоколах говорилось, что „совет спросил у артиллерийских и инженерных офицеров, имеется ли на большом и малом рейдах такой пункт, где могла бы стать эскадра, не подвергаясь опасности от бомб и каленых ядер с батарей Эгильетт и Балагье; офицеры обоих родов оружия ответили, что не имеется. В случае, если эскадра покинет Тулон, сколько следует ей оставить в нем гарнизона? Сколько времени сможет он держаться? Ответ: нужно 18 000 человек; держаться они смогут самое большее 40 дней, если будет продовольствие. Третий вопрос: не соответствует ли интересам союзников немедленно очистить город, предав огню все, чего нельзя захватить с собой? Военный совет единодушно настаивает на оставлении города: у гарнизона, который можно оставить в Тулоне, не будет возможности отступить, и ему нельзя будет более посылать подкреплений, он будет ощущать недостаток в необходимых припасах. Сверх того, двумя неделями раньше или позже он принужден будет капитулировать, и тогда его заставят сдать невредимыми и арсенал, и флот, и все сооружения“.

…Военный совет распорядился взорвать форты Поме и Ла-Мальг. Форт Поме был взорван в ночь с 17-го на 18-е. Очищение фортов Фарон, Мальбоске, редутов Руж, Блан и Сент-Катрин произошло в ту же ночь. 18-го все эти форты были заняты французами.

…Англо-испанская эскадра, сумевшая выйти с рейдов, крейсировала за их пределами. Море было покрыто шлюпками и малыми судами противника, направлявшимися к эскадре. Им приходилось двигаться мимо французских батарей; несколько судов и значительное число шлюпок были пущены ко дну.

Вечером 18-го по страшному взрыву узнали об уничтожении главного порохового погреба. В то же мгновение в арсенале показался огонь в четырех-пяти местах, а полчаса спустя весь рейд был объят пламенем. То были подожжены девять французских линейных кораблей и четыре фрегата. На несколько лье кругом горизонт находился как бы в огне; было видно как днем. Зрелище было величественное, но ужасное.

Каждую секунду ждали взрыва форта Ла-Мальг, но его гарнизон, боясь быть отрезанным от города, не успел заложить мины. Той же ночью в форт вошли французские стрелки. Тулон был объят ужасом. Большая половина жителей поспешно покинула город. Те, кто остался, забаррикадировались в домах, опасаясь мародеров. Армия осаждающих стояла в боевом порядке на гласисе.

…18-го, в 10 часов вечера полковник Червони взломал ворота и с патрулем в 200 человек вошел в город. Им был обойден весь Тулон.

Повсюду царила величайшая тишина. В порту валялись груды багажа, на погрузку которого у бежавших жителей не хватило времени. Разнесся слух, что подложены фитили для взрыва пороховых погребов. Были посланы дозоры из канониров, чтоб проверить это. Затем вошли в город войска, назначенные для его охраны. В морском арсенале оказался чрезвычайный беспорядок. 800–900 галерных каторжников с величайшим усердием занимались тушением пожара. Ими была оказана громадная услуга; они противодействовали английскому офицеру Сиднею Смиту, которому был поручен поджог судов и арсенала. Этот офицер очень плохо исполнил свою обязанность, и Республика должна быть ему признательна за те весьма ценные предметы, которые сохранились в арсенале.

Наполеон отправился туда с канонирами и оказавшимися в наличии рабочими. В течение нескольких дней ему удалось потушить пожар и сохранить арсенал. Потери, которые понес флот, были значительны, но имелись еще огромные запасы. Были спасены все пороховые погреба, за исключением главного.

Во время изменнической сдачи Тулона там находился 31 военный корабль. Четыре из них были использованы для перевозки 5000 матросов в Брест и Рошфор, девять были сожжены союзниками на рейде, а тринадцать оставлены разоруженными в доках. С собой союзниками было уведено четыре, из которых один сгорел в Ливорно. Боялись, как бы союзники не взорвали док и его дамбы, но на это у них не хватило времени. Тринадцать кораблей и фрегатов, сгоревших на рейде, образовали ряд заграждений. В течение восьми или десяти лет производились попытки их удалить, и, наконец, неаполитанским водолазам удалось это исполнить при помощи распиливания остовов, удаляя их кусок за куском.

Армия вошла в город 19-го. Семьдесят два часа она находилась под ружьем, в дождь и слякоть. В городе ею было произведено много беспорядков как бы с разрешения начальства, надававшего солдатам обещаний во время осады. Главнокомандующий восстановил порядок, объявив все имущество Тулона собственностью армии, и приказал снести все в центральные склады как из частных складов, так и из покинутых домов. Впоследствии Республика конфисковала все это, выдав в награду каждому офицеру и солдату годовой оклад жалованья.

…Весть о взятии Тулона в тот момент, когда этого менее всего ожидали, произвела огромное впечатление на Францию и на всю Европу. 25 декабря Конвент устроил национальный праздник. Взятие Тулона послужило сигналом для успехов, ознаменовавших кампанию 1794 г. Несколько времени спустя Рейнская армия овладела Вейссембургскими линиями и сняла блокаду с Ландау. Дюгоммье с частью войск отправился в Восточные Пиренеи, где Доппе делал одни только глупости. Жак Луи Давид. Генерал Бонапарт

…Дюгоммье отдал приказ Наполеону следовать за ним; но из Парижа были получены другие распоряжения, возлагавшие на него обязанность заняться сперва перевооружением Средиземноморского побережья, в особенности Тулона, а затем отправиться в Итальянскую армию в качестве начальника артиллерии (т. е. бригадного генерала!).

С этой осады утвердилась репутация Наполеона. Все генералы, народные представители и солдаты, знавшие о мнениях, которые он высказывал на различных советах за три месяца до взятия города, все те, кто были свидетелями его деятельности, предрекали ему ту военную карьеру, которую он потом сделал. Доверием солдат Итальянской армии он заручился уже с этого момента. Дюгоммье, представляя его к чину бригадного генерала, написал в Комитет общественного спасения буквально следующее: „Наградите и выдвиньте этого молодого человека, потому что, если по отношению к нему будут неблагодарны, он выдвинется сам собой“. В Пиренейской армии Дюгоммье беспрестанно говорил о своем начальнике артиллерии под Тулоном и внушил высокое мнение о нем генералам и офицерам, отправившимся впоследствии из Испанской армии в Италию. Находясь в Перпиньяне, он посылал Наполеону в Ниццу курьеров с известиями об одержанных им победах».

Таким оказался первый реальный триумф Наполеона Бонапарта.

Итог налицо: он стал бригадным генералом в 25 лет!

Часть четвертая. Вчера генерал – сегодня Первый консул!

Триумф Наполеона оказался не столь уж и долгим. Правда, это была не его вина, а следствие изменений в политической жизни Франции.

Как вдохновенно пишет Мережковский:

«6 февраля 1794 года Конвент подтвердил производство Бонапарта в чин бригадного генерала от артиллерии. Вместе с генеральским чином он получил хлопотливое, ответственное и ничтожное назначение по инспекции береговых отрядов Итальянской армии, получил и кое-что похуже.

Войсковой депутат Конвента Робеспьер Младший, очарованный Бонапартом, как все в Тулонском лагере, звал его в Париж, обещая ему, через брата, главнокомандование внутренней армией. Соблазн был велик. Но Бонапарт знал – помнил, что час его еще не пришел – „груша не созрела“. Огненный юноша поступил как охлажденный опытом старик. „Что мне делать на этой проклятой каторге?“ – т. е. в Терроре, ответил он Робеспьеру и отказался решительно. В этом отказе – весь Наполеон, с тем, что он потом называл „квадратом гения“ и что можно бы назвать, по Гераклиту, „сочетанием противоположностей“ – ледяного расчета и огненной страсти, Аполлона и Диониса. Он строит свою безумную химеру с геометрической точностью. Пленник. Бонапарт в тюрьме Антибского форта в августе 1794 г. К. Мотте по оригиналу Д. Вебера

Наступило 9 Термидора. Максимилиан Робеспьер был казнен и младший брат его вместе с ним. „Я был немного огорчен его несчастьем, потому что любил его и считал непорочным, pur, – писал Бонапарт о своем недавнем друге все так же холодно-расчетливо. – Но если бы

даже отец мой пожелал быть тираном, я заколол бы его кинжалом“. Скоро эта записка ему пригодилась.

Пало правительство, которому служил Бонапарт. Вспыхнул новый террор. Якобинцы доносили друг на друга, чтобы спасти свои головы. Салицети, тоже недавний друг Бонапарта, сделал на него донос в Конвент, будто бы он вступил в заговор с обоими братьями Робеспьерами, составлял для них военные планы, чтобы предать Республику ее врагам, генуэзцам, и хотел восстановить разрушенные укрепления Марселя, гнезда контрреволюции.

Конвент постановил предать Бонапарта суду. 12 августа он был арестован и посажен в Антибскую крепость. Знал, что один шаг из тюрьмы на плаху, мог бы легко бежать, но помнил, что этого делать не надо.

„От начала Революции не был ли я всегда ей предан? – писал он в своем оправдании Конвенту. – Я всем пожертвовал, все потерял для Республики… Я заслужил имя патриота… Выслушайте же меня, снимите с меня тяжесть клеветы… Если же злодеи хотят моей жизни, я так мало дорожу ею, так часто презирал ее. Да одна только мысль, что жизнь моя может быть полезной отечеству, заставляет меня нести бремя ее с мужеством!“

Через две недели он был освобожден, но не восстановлен в прежней должности, а назначен командиром пехотной бригады в Западную армию, в глухую и кровавую Вандею, – в ссылку, и за отказ ехать туда выключен из списка боевых генералов. Такова была награда за Тулон».

В мае 1796 года Наполеон возвратился в Париж.

У него был генеральский чин и… совершенно непонятная репутация. Наполеон – генерал. Жиру. Гравюра на стали

Это означало лишь одно: все нужно начинать сначала!

Наполеону было не привыкать.

Бригадный генерал, ничтоже сумняшеся, поступает на ничтожное место в типографию при военной канцелярии.

«Это было самое тощее, самое странное существо, какое я когда-либо видела, – вспоминает Бонапарта тех дней одна умная женщина.

– Он носил по тогдашней моде собачьи уши

, непомерно длинные, до плеч, волосы… Мрачный взгляд его внушал мысль о человеке, которого нехорошо встретить под вечер, на опушке леса… Платье тоже не внушало доверия: потертый мундир имел такой жалкий вид, что мне сначала трудно было поверить, что это генерал; но я скоро увидела, что он человек умный, или, по крайней мере, необыкновенный. Если бы он не был так худ, что казался больным и что жалко было смотреть на него, можно было бы заметить, что черты его лица удивительно тонки; особенно рот был прелестен… Иногда он много говорил и оживлялся, рассказывая об осаде Тулона, а иногда угрюмо молчал… Мне теперь кажется, что в очерке рта его, таком тонком, нежном и твердом, можно было прочесть, что он презирает опасности и побеждает врага без гнева». Не приходится удивляться отношению к нему со стороны начальства. Трудясь в типографии, он разработал гениальный план Итальянской кампании. Когда он ознакомил с ним генерала Шерера, тот его

высмеял.

Наполеон, чье новое и беспримерное восхождение должно было начаться менее чем через год, решает покинуть Париж. Но тут происходит восстание сразу 48 провинций Франции. Конвент на грани краха. О Наполеоне тут же вспоминают! Его призывает к себе все тот же Баррас и предлагает… возглавить вооруженные силы Конвента. Наполеон, понимая, что, возможно, решается вся его дальнейшая судьба, соглашается. «Мне надо было увидеть этого маленького человека с монументальным лицом, чтобы узнать того, кто некогда в аллее Фейанов явился мне „как жертва“, – вспоминает генерал Конвента Тьебо. – Беспорядок в одежде, длинные, висящие волосы и ветхость всего жалкого убора по-прежнему обличали его нищету… Но он изумил всех своею деятельностью: был вездесущ; только что исчезал в одном месте, как появлялся в другом; изумил еще больше краткостью, ясностью и быстротой своих распоряжений, в высшей степени повелительных; наконец, верность его диспозиции сначала поразила, а потом восхитила всех».

Работа в типографии отнюдь не притупила военного чутья Наполеона. Его нисколько не смущало, что ему противостоят в несколько раз превосходящие силы противника. «

Против тридцати тысяч штыков национальной гвардии у Конвента было только тысяч семь-восемь довольно сомнительного войска. Чтобы увеличить его, открыты были тюрьмы и выпущены самые опасные террористы. Пока болтуны болтали в Конвенте, солдаты братались с бунтовщиками на улицах. Бонапарт положил этому конец: вооружил самих депутатов, 800 человек, и болтуны умолкли, оробели, как будто вдруг поняли, что царству их наступает конец », – пишет Мережковский. Итог стратегии Бонапарта: двух часов оказалось достаточно, чтобы шестью тысячами штыков разогнать тридцать тысяч. К шести часам вечера все было кончено! «

Слава Богу, все кончено , – пишет Бонапарт брату Иосифу. –

Мы перебили много народу и обезоружили секции… Теперь все спокойно. Я, по обыкновению, цел. Счастье за меня ».

Мережковский отмечает, что первым делом после своего триумфа он «

…поспешил отправить 60 000 франков в Марсель, маме Летиции, у которой тогда оставалась в кармане последняя пятифранковая ассигнация.

В тот же день он произведен в главнокомандующие армией. Теперь уже никто не спросит: „Бонапарт, это еще что за черт?“ Над Парижем, над Францией вставал во весь рост „маленький человек с монументальным лицом“ ».Жозефина, первая жена Наполеона. Художник Т. Готьер

Профиль Жозефины

Вскоре Бонапарт знакомится с прекрасной креолкой Жозефиной. Она была существенно старше Бонапарта и мечтала выйти за банкира. Нравом подчас напоминала юную гимназистку. Поскольку банкир все не подворачивался, Жозефина решила выйти за генерала. Собственно, вся инициатива исходила с ее стороны. Брак состоялся. Впоследствии обе стороны вели себя весьма двусмысленно, но очевидцы констатируют, что Наполеон питал к Жозефине подлинную страсть. О справедливости этого мнения можно судить хотя бы по фрагменту одного из писем Наполеона, отправленного его новоявленной супруге: «

Меня интересуют почести лишь потому, что ты ими интересуешься; стремлюсь к победе, потому что это тебя обрадует; в противном случае я покинул бы все, чтобы самому броситься к твоим ногам. Милый друг, будьте уверены и смело уверяйте других, что я люблю вас превыше всякого воображения! Знайте, что каждое мгновение моего времени посвящено вам; что не бывает такого часа, когда бы я о вас не думал; что мне никогда не случалось думать о другой женщине; что все они кажутся мне некрасивыми, неграциозными и лишенными остроумия. Вы, вы одна, такая, какой я вас вижу мысленными своими очами, можете мне нравиться и поглотить все способности моей души, пучины которой вы измерили. В моем сердце не осталось затаенных складок, которые бы не остались перед вами открытыми. Все мои мысли подчинены вам, так как в вас заключается вся моя умственная и физическая энергия. Моя душа связана с вами до такой степени, что день, когда вы перестанете меня любить или когда жизнь ваша прекратится, будет также и днем моей смерти. Природа и весь земной шар облечены в моих глазах прелестью единственно лишь потому, что вы здесь живете. Если вы не поверите всему этому, если ваша душа не убеждена до полного насыщения уверенностью в моей любви, то вы приведете меня в отчаяние, так как у меня родится предположение, что вы меня не любите. Между любящими сердцами устанавливается как бы магнетическая связь. Вам известно, что я не могу вынести даже и мысли о том, что у вас завелся любовник. Еще более невозможным было бы терпеть его присутствие. Увидеть его и вырвать сердце из его груди было бы для меня делом одного мгновения, и тогда, чего доброго, я мог бы в гневе наложить руку и на вашу священную особу. Впрочем, нет, я никогда не решился бы этого сделать, но тотчас же покинул бы мир, где даже и добродетельнейшая из женщин меня обманула. На самом деле я верю в вашу любовь и горжусь ею. Несчастия являются ведь только испытаниями, еще более увеличивающими силу нашей взаимной привязанности. Младенец столь же милый, как и его мать, увидит свет в ваших объятиях. Подумаешь, до чего доходит моя слабохарактерность! Я пожертвовал бы, кажется, всем за возможность увидеться с тобою хоть один день. Тысячу раз целую ваши глазки и губки. Восхитительная женщина! Каким могуществом ты обладаешь! Зная, что тебе нездоровится, я положительно чувствую себя больным. Впрочем, у меня действительно лихорадочный жар. Не задерживай у себя курьера долее шести часов и отправь его сейчас же ко мне с драгоценным письмом от царицы моего сердца ».

Конвент преподнес Наполеону характерный дар к свадьбе: утверждение его главой Итальянской кампании.

«10 апреля начата кампания, а 26-го он говорит в воззвании к армии: „Солдаты! В пятнадцать дней вы одержали шесть побед, взяли двадцать одно знамя, пятьдесят пять орудий и несколько крепостей; вы завоевали богатейшую часть Пьемонта… Лишенные всего, вы все наверстали: выигрывали сражения без пушек, переходили через реки без мостов, делали форсированные марши без сапог, стояли на бивуаках без водки и часто без хлеба. Только республиканские фаланги, солдаты свободы, способны были терпеть, что вы терпели. Благодарю вас, солдаты!.. Но вы еще ничего не сделали по сравнению с тем, что вам остается сделать“», – сказано у Мережковского.

Вот лишь один из примеров героических деяний армии Наполеона в Италии:

«Бонапарт шел на Милан. Чтобы попасть туда, незачем было переходить через Адду, по Лодийскому мосту, и, уж во всяком случае, этого, казалось, нельзя было сделать играючи: мост охраняли десять тысяч австрийских штыков с тридцатью пушками. Но Бонапарт знал, что делает. Он построил своих гренадеров в две колонны: спрятал одну в засаду, а другую пустил на мост. Добежав до середины его, под страшным картечным огнем, голова ее остановилась, хотела было повернуть назад. Остановилось и сердце Бонапарта, замерло, как

у игрока, который поставил на карту слишком много. Но это был только миг между двумя биениями сердца: снова забилось оно, уже от радости. Голова колонны страшно поредела, но не вернулась назад. Люди сползли по мостовым быкам в реку, нащупали брод, вышли на берег и рассеялись по полю цепью застрельщиков, делая вид, что обходят австрийскую линию в тыл, и отвлекая на себя огонь батареи. В ту же минуту вторая колонна, выпущенная из засады на мост, побежала стремительно, и не успели австрийцы опомниться, как французы ударили в штыки, захватили и батарею, и мост был перейден». Мережковский отмечает:

«Подвиг прост, но только Бонапарт был способен к такой простоте». Бонапарт в сражении при Арколе 17 ноября 1796 г.

Прекрасно сказано!

Триумфы Наполеона в Италии были обусловлены не только его блестящим военным гением и отвагой.

«Немалою любовью, – пишет П. И. Ковалевский

, – Наполеон пользовался и среди большинства итальянского народонаселения. Этому прежде всего помогло то обстоятельство, что он сам был корсиканец. Кроме того, он хорошо знал дух итальянского народа, его желания, потребности, нужды, надежды и идеалы; он хорошо изучил его благосостояние и богатство страны, характер населения и взаимные отношения отдельных владений. Появляясь в той и другой части Италии, Наполеон прежде всего через своих агентов разыскивал недовольных положением дела; теми и другими способами и приемами склонял их на свою сторону и подготовлял почву для воздействия; а затем объявлял, что он явился представителем от Франции с целью освобождения порабощенной страны от рабства и для проведения в жизнь начал свободы, равенства и братства. Все это так ослепляло доверчивый народ, что он без рассуждения бросался в пасть акулы. Поэтому неудивительно, если этому новому Аттиле в завоеванных странах устраивались такие торжества и овации, каких не имели и законные владыки стран. Итальянские народы преклонились перед необыкновенным человеком, который одновременно их и парализовал, и очаровывал. Австрия упала духом, а ее армии уже вперед считали себя побежденными и уничтоженными».

Последовало еще несколько тяжелейших сражений. В одном из них, под Риволи, Наполеон, будучи взят в кольцо 45-тысячным войском австрийцев, мог легко погибнуть. Силой своего духа он увлек солдат за собой и одержал очередную фантастическую победу. 17 октября 1797 года был подписан мир в Кампо-Формио, и 5 декабря Бонапарт вернулся в Париж. «

В Итальянской кампании он проявил наибольшее величие , – говорит генерал Лассаль в 1809 году, уже в вечерние дни Наполеона. –

Тогда он был героем; теперь он только император. В Италии у него было мало людей, да и те без оружия, без хлеба, без сапог, без денег, без администрации; наружность его была незначительна; репутация математика и мечтателя; никакого дела еще не было за ним и ни одного друга; он слыл медведем, потому что был всегда один и погружен в свои мысли. Он должен был создать все, и создал. Вот где он был всего изумительнее! »

При этом Наполеон вел себя исключительно скромно. Зато «

военные специалисты , – как замечает П. И. Ковалевский, –

были подавлены необыкновенным величием наполеоновской кампании и ее результатов. Они не были в состоянии разгадать истину и охватить гений Наполеона. Этот гений наводил на них ужас и порождал мысль о том, что Бонапарту помогали сверхъестественные силы. На деле же это была битва гения с тупостью, необыкновенной энергии со спячкою, живых принципов с безжизненною рутиною и отжившею ходульностью. Успех Наполеона обусловливается не случайностью и не счастьем, а гениальной предусмотрительностью и тщательнейшим расчетом.

Будучи идеалом воссозданной и прославленной им армии и примером, достойным подражания для своих генералов, Наполеон делал со своей армией что хотел. Целый ряд блестящих побед и завоеваний покрыли его имя необыкновенной славой – и во всей Франции Наполеон стал предметом обожания. С этой стороны Наполеон был покоен. Умелые публицисты постарались все деяния Наполеона не только оповестить по всей Франции, но и преувеличить их. Наполеон был глубоко убежден, что вся Франция стоит столь же крепко за него, как и армия ».

Характеристика Наполеона, данная ему именно в то время д’Антрегом, весьма показательна:

«Бонапарт – человек маленького роста, с болезненным цветом лица. Он обладает проницательным взглядом, в котором, равно как и в выражении рта, можно подметить что-то жесткое, скрытное, изменническое. Он скуп на слова, но оказывается очень сообщительным, когда затронуто тщеславие или когда он считает себя чем-нибудь обиженным.

Здоровье его очень плохо. Кожа Бонапарта покрыта лишаями, и это болезненное состояние держит его в постоянном раздраженном состоянии, словно усиливая его природную стремительную энергию. Он всегда разрабатывает какие-нибудь проекты, не дозволяя себе никаких развлечений, спит только три часа в сутки и не принимает лекарств, за исключением тех случаев, когда страдания становятся уже положительно невыносимыми.

Этот человек хочет владычествовать над Францией, а через нее и над всей Европой. Все остальное, даже в нынешних блестящих успехах, представляется ему единственно только средством к достижению цели. Он крадет совершенно открыто и грабит решительно все, накопляя себе громадные сокровища золотом, серебром, драгоценными вещами и самоцветными камнями, но смотрит на все эти богатства как на орудие для осуществления своих замыслов. Генерал Бонапарт, способный ограбить какую-нибудь деревню до последнего гроша, не задумываясь подарит миллион человеку, который может ему пригодиться. Если такой человек питает к кому-нибудь ненависть и жаждет мести, Бонапарт даст ему случай утолить эту жажду.

Вообще, Бонапарт сделает решительно все для человека, который может, по его мнению, оказаться ему полезным. Сделка с ним может состояться в две минуты и в двух словах, так велика его способность очаровывать и обольщать людей, с которыми он хочет поладить. Затем, однако, обнаруживается и оборотная сторона медали: оказав кому-нибудь услугу, он требует у человека полнейшего его подчинения или же становится непримиримым ему врагом. Подкупив кого-нибудь и заставив его изменить, Бонапарт, по миновании надобности в изменнике, не заботится о том, чтобы сохранить его тайну. Человек этот ненавидит прежний монархический режим и его представителей – Бурбонов. Он всячески старается отвратить от них свою армию. Если бы во Франции, тем не менее, царствовал кто-нибудь, кроме его самого, то Бонапарт согласился бы, пожалуй, играть роль полководца, возводящего королей на престол с тем, чтобы власть короля всегда опиралась на его собственный меч. Этот меч он ни под каким видом не отдаст и не задумается пронзить им сердце короля при первой же

попытке монарха выйти из полного ему подчинения».

Какое же влияние оказала Итальянская кампания на мир и на судьбу Наполеона?

П. И. Ковалевский отмечает: «

Итальянская война дала Франции очень многое. Дала она еще больше Наполеону. Но не осталась она бесследною и для всего мира. Гений тем и велик, что он порождает великие мировые события бессознательно для себя. Так было и здесь. Пребывание и войны Наполеона в Италии дали толчок к национальному объединению итальянских народов. Мало того, они дали толчок и первый импульс к национальному возрождению в Греции и даже в Польше ».

Триумфу Бонапарта бешено завидовали. П. Сегюр свидетельствует, что слышал, будто бы враги итальянского триумфатора даже предпринимали определенные шаги для поиска наемного убийцы с целью физического устранения Наполеона.

Однако в Париже Наполеон вновь стал задыхаться. Его военному гению был необходим простор. 19 мая 1798 года Бонапарт вышел из Тулона на стодвадцатипушечном фрегате «Ориент» во главе флота из сорока восьми военных и двухсот восьмидесяти транспортных судов, с тридцативосьмитысячной армией, направляясь через Мальту в Египет. «

Все вероятности были против нас, а за нас ни одной. С легким сердцем мы шли почти на верную гибель. Надо признаться, игра была безумная и даже самый успех не мог ее оправдать », – вспоминает участник Египетской кампании генерал Мармон. Казалось, изначально даже морская стихия была против французов. Начало движения эскадры Наполеона было ознаменовано грандиозной бурей, которая в один миг разметала растянувшийся на 7 километров караван судов. В довершение всего в этих водах несла дозор эскадра вездесущего адмирала Нельсона. Лишь благодаря туману адмирал не углядел флагман Наполеона и не пустил его на дно…

«Вскоре, – пишет Мережковский,

– Мальта сдается французам в девять дней, почти без сопротивления. А тем временем Нельсон, опять верно угадав путь Бонапарта, идет на Александрию; но, не найдя его и там, продолжает идти дальше, на Сирию; если бы только еще день остался в Александрии, захватил бы французский флот наверняка: с мачты авангардного фрегата, посланного Бонапартом для разведки, видна была английская эскадра, уходившая в море. И потом, в течение целого месяца, Нельсон гоняется по всему Средиземному морю за исчезающим флотом-призраком, и за этот месяц происходит французская оккупация Египта».

«Приступая к экспедиции в Египет, – отмечает П. И. Ковалевский,

– Наполеон и на этот раз остался верен своему всеобъемлющему гению. Он взял с собою лучшие войска и лучших генералов. Его соратниками были генералы: д’Иллье, Воуба, Дезе, Клебер, Мену, Ренье, Дюгуа, Ланн, Даву, Мюрат, Андреосси, Маршон, Жюно, Лефер, Денцентт и Бессер. Вооружения были достойны полководца. Но в этот поход Наполеон шел как начальник экспедиции, имеющей назначение изучить край во всех его мелочах и дать научно освещенное представление о земле, которая давно интересовала всех, но которую знали все-таки мало. Поэтому в составлении египетской экспедиции Наполеон проявил не только военный гений, но и гений познания и света науки и просвещения. В его отряде находились не только лучшие полководцы, но и лучшие ученые того времени по всем

отраслям естествознания, археологии, истории и проч. Имена Бертолета, Конте-Долимье, Деженера, Ларрея, Женара, Манта и других служили тому ручательством. Ученая экспедиция была обставлена прекрасными приспособлениями по части инструментальной и библиотеки, а музеи она составила уже сама на месте. Сам Наполеон, отправляясь в добровольное изгнание, был полон мечтами о восточном великолепии, грезами об империи, раскинувшейся на трех материках, о могуществе и власти, затмевавших собою все, что существовало ныне. Витая, однако, лично в облаках, он знал, что фантазией и идеалами солдат увлечешь ненадолго. Им нужно было нечто посущественнее. Поэтому при посадке солдат на суда Наполеон без стеснения им заявил, что каждый солдат вернется из похода с капиталом для покупки не менее трех акров земли. В изданном воззвании Наполеон обещал солдатам полный успех похода при соблюдении, однако, трех условий: уважать жен, имущество и веру мусульман».

Высадка в Египте прошла достаточно благополучно. Правда, солдаты Наполеона не слишком хорошо представляли, что их ожидает. А впереди им было суждено маршировать по пустыне в полном военном облачении! Шестидневный египетский марш – это просто адовы муки. Если бы во главе армии не было Наполеона, солдаты наверняка бы учинили бунт. Но присутствие Наполеона действовало магически. Солдаты привыкли слепо ему повиноваться, полностью вверяя его гению свою судьбу. Двигаться по пустыне пешком, даже без конницы! Кто еще, кроме Наполеона, мог решиться на подобное?! Мамелюки, «храбрые сыны пустыни», восседая на прекрасных бедуинских конях, накатали лавиной на армию Наполеона. Они полагали, что вскоре уже будут срезать французские головы подобно арбузам на бахче.

«Солдаты, сорок веков смотрят на вас с высоты пирамид!» – сказал Бонапарт и построил пять дивизий каре, с четырьмя по углам, орудиями, – пять живых крепостей, ощетиненных стальною щетиной штыков.

«Всадники кружились вокруг них и жалко о них разбивались, как волны о скалы; налетали и отскакивали, как пес от взъерошившего иглы дикобраза.

Скоро бой превратился в бойню. Мамелюки, когда поняли, что участь их решена, точно взбесились: сделав последний выстрел из пистолета, нанеся последний удар ятаганом, кидали оружие в лицо победителей и сами кидались на штыки, хватали их голыми руками, грызли зубами и, падая и умирая у ног солдат, все еще старались укусить их за ноги. Так издыхала дикая вольность Азии у ног просвещенной Европы», – пишет Мережковский.

24 июля французы триумфально вступают в Каир.

Наполеон мечтает уже, как он двинется на Индию и покорит ее. Подвиги Александра Македонского тревожат и мучительно ранят его воображение. Но тут приходит страшная весть: французская эскадра полностью уничтожена адмиралом Нельсоном. Положение Наполеона и его армии, еще мгновение назад бывшее триумфальным, становится катастрофическим. Они все отрезаны от Франции! «У нас больше нет флота; нам остается только погибнуть или выйти отсюда великими, как древние!» – говорил в те дни Наполеон.

И вот тут солдаты уже не выдержали.

Открыто бунтовать они, правда, не осмеливались, но уже начинали подумывать о том, чтобы схватить Наполеона и доставить его в Александрию для выдачи англичанам. И все это лишь для того, чтобы спастись… Их же гениальный предводитель вынашивал невероятные планы

марш-броска через Сирию в Индию. Он мечтал добраться до Индии, а потом поднять всю Азию и двинуться с этими несметными ордами обратно, в Европу, желая навсегда поставить ее на колени. На досуге Наполеон посвящал себя занятиям теологией. За ним в то время укрепилась многозначительная кличка:

Огненный султан .

Как бы то ни было, но Наполеону удалось подвигнуть своих солдат следовать за собой в Сирию. Египетская кампания завершилась, отныне начиналась Сирийская. Скорость передвижения впечатляла! Всего за какой-то месяц с небольшим армия прошла почти семьсот километров от Каира, до Акра, с боями и крепостными осадами. Акр выдержал два месяца свирепой осады. Когда же с моря подошли подкрепления, посланные англичанами, Сирийская кампания для Наполеона завершилась. «Песчинка остановила мою судьбу, – скажет Наполеон на Св. Елене. – Если бы Акр был взят, французская армия кинулась бы на Дамаск и Алеппо и в одно мгновение была бы на Евфрате. Шестьсот тысяч друзов-христиан присоединилось бы к нам, и, как знать, что бы из этого вышло? Я дошел бы до Константинополя, до Индии… я изменил бы лицо мира!»

По той же пустыне, под тем же жестоким и палящим солнцем армия потянулась обратно в Египет. А что еще оставалось делать?

У французов помимо всего прочего были теперь и обозы с ранеными. Это затрудняло движение. Уже было отмечено несколько случаев чумы. Это известие вселило во всех ужас. Во всех, кроме Наполеона. Он, желая продемонстрировать, что страх перед чумой не слишком-то и обоснован, свободно общался с заболевшими и даже помогал переносить их с одного места на другое.

15 июня французы вновь вступили в Каир.

Каковы же были итоги этих месяцев?

Несмотря на героические марши и ряд блестящих побед, обе кампании – Египетскую и Сирийскую – следовало считать неудачными, проигранными.

«С тридцатитысячным корпусом, – констатирует П. И. Ковалевский,

– Наполеон отправился завоевать едва ли не весь свет: он имел против себя море, англичан, мамелюков и турок, а главное, безводную, знойную песчаную пустыню, неимоверное утомление, бесконечную площадь, чуму и отсутствие всяких подкреплений родины. И при всем том, чтобы сделать то, что Наполеон сделал в Египте, нужно действительно обладать гениальным умом, энергией и деятельностью.

Нужно добавить, что армия Наполеона не только не получала никаких подкреплений из Франции, но она была совершенно отрезана морем и англичанами от родины и даже не получала никаких известий о ней. Единственные сведения имелись из английских газет, которые умышленно рисовали дела Франции в очень плачевном виде, причем такие газеты в очень большом количестве сваливались к сведению отрезанных от мира французов.

Эта замкнутость французов имела и свою хорошую сторону для Наполеона. Франция тоже не ведала того, что делается с горстью ее детей, закинутых в Африку. Все, что имелось, получалось из донесений Наполеона, а Наполеон знал, что и как доносить.

Несмотря, однако, на поражающее неблагоприятное положение армии Наполеона, он сумел сделать все, что только мог сделать гениальный человеческий ум, в пользу армии и Франции.

Прежде всего, Наполеон не являлся для народа хищником и разорителем. Напротив, он употреблял все усилия к тому, чтобы на деле показать, что он является защитником и покровителем униженных и обиженных. Французы в Египте не только не запятнали себя, а, напротив, оставили после себя очень много добрых воспоминаний, и, почему-то, мы не теряем надежды, что во Франции явится новый гений, который закончит дело Наполеона, пожнет плоды его посева и освободит страну от зверства и алчности современных цивилизованных мамелюков Англии.

Прибавим к этому, что представители науки, участвовавшие в экспедиции, вывезли неоценимые сокровища знания и положили основу современному необыкновенно богатому изучению страны фараонов и вообще Востока.

Одно из этой экспедиции осталось для Наполеона непростительным – это небрежение и непонимание окончательного урока, который дала ему экспедиция. Наполеон не обратил внимания на то, что бороться даже гению с стихийными силами природы не под силу. С этими стихийными силами бороться можно и должно, но единичная мощь в этих случаях является ничтожною.

Этого урока Наполеон не понял и за то жестоко поплатился. Если зной, пустыня и пески Наполеона пощадили, то стужа, бесконечные степи и снег погубили даже Наполеона-императора».

В Каире до Наполеона доходят известия о том, что Франция вновь охвачена смутой, а все завоеванные им позиции в Италии – бездарно сданы. Он, рискуя стать во мнении всей своей армии дезертиром, тайно добирается до Александрии и, следуя на двух чудом уцелевших от разгрома французских кораблях, плывет на родину. После почти двухмесячного плавания Наполеон достиг Корсики, вот уже его течением стало увлекать к Тулону, но там его уже поджидал английский флот. Начинается погоня. И тут судьба вновь улыбается Наполеону. Поднимался вечерний туман; англичанам пришлось плыть навстречу лучам заходящего солнца. Это помешало им правильно сориентироваться. Полагая, что корабли французов движутся в открытое море, англичане двинулись в соответствующем направлении, тогда как Наполеон на всех парусах устремился к берегу. Проходит немного времени, и он уже в Париже.

«В отсутствие Наполеона главным его агентом во Франции была Жозефина и братья Наполеона, – читаем мы у П. И. Ковалевского.

– Дом жены Бонапарта сделался центром блестящего кружка. В нем постоянно обитали лучшие представители тогдашнего парижского общества. Этот кружок на деле доказал свою искреннюю преданность интересам отсутствующего хозяина. Он вербовал ему друзей и приверженцев во Франции, интриговал в его пользу за границей, старался извлечь пользу для Наполеона от всякого случайного политического обстоятельства и организовал могущественную партию, исповедующую ту идею, что спасение Франции единственно только в Наполеоне. Нужно добавить, что жизнь этого кружка шла очень весело и беззаботно, даже разнузданно, и душою всего этого была Жозефина. Деньги лились щедрою рукою, и богиня нравственности смотрела на веселье этого кружка сквозь пальцы. Приятели Наполеона не прочь были, между прочим, пустить в общество и ту идею, что Наполеон является жертвою политической зависти, сосланною в политическую ссылку, подальше от людей, которые в это время обделывают свои дела.

И вот этот мученик за славу родины явился в Париж. Париж не был так увлечен почетом герою Египта, как провинция, но и здесь ему было воздано должное. Главное, однако, для

Наполеона заключалось не в народных овациях, торжествах и восхвалении, а в деле. И он принялся за дело. Самые разнообразные партии протянули руку к Наполеону. И он не отталкивал этих рук. Напротив, он схватил все эти руки при лозунге: не нужно больше партий, долой все партии! Идея Наполеона воплотилась в его тосте на торжественном банкете, данном ему народными представителями: „За согласие между всеми французами!“»

Почти сразу же Наполеон становится в центре заговора, имеющего своей целью совершить государственный переворот. Впрочем, все пошло совершенно непредсказуемым путем. Попытка договориться с депутатами миром провалилась, и Наполеону не оставалось ничего другого, кроме как бросить клич своей армии.

«Двери залы заседаний распахнулись настежь, и на пороге показался Бонапарт, окруженный гренадерами. Это вызвало невообразимый хаос. Депутаты повскакали с мест. Некоторые из них устремились к окнам, другие с угрожающими жестами бросились навстречу генералу, осмелившемуся явиться с вооруженною силою в залу заседания. Многие принялись кричать: „Объявим его вне закона!“ – и требовать, чтобы это заявление немедленно же было подвергнуто голосованию. Беспорядок все более усиливался… Возбуждение умов дошло до того, что раздраженные представители перешли от слова к делу и бросились на Бонапарта с кулаками. Взволнованный до крайности Бонапарт, которого, без сомнения, истомили опасения, естественные у человека, поставившего решительно все на ставку в таком рискованном деле, внезапно побледнел и лишился чувств. Солдаты подхватили его на руки и вынесли на свежий воздух, где он тотчас же пришел в себя и сел на коня. По выходе Наполеона из совета пятисот Сийес, человек более покойный и выдержанный, заявил: „Они хотят вывести вас из-под охраны закона, а вы должны вывести их из залы“. И. Мюрат. Литография Греведона

Наполеон отправился к войскам. В то же время к войскам прибыл и Люсьен Бонапарт и объявил, что большинство совета пятисот люди порядочные, заслуживающие уважения, но в числе их имеется несколько убийц, английских наемников, которые держат всех остальных в страхе; они вздумали умертвить его брата – генерала, на которого возложено было поручение. В войске поднялся крик: „Ура, да здравствует Бонапарт!“ Тогда Мюрат обратился к Наполеону: „Прикажете нам войти в залу заседания?“ „Да, – отвечал ему Бонапарт, – если они будут сопротивляться, колите их насмерть! Да, следуйте за мною, я должен быть для вас сегодня божеством!“ К счастью, эти необдуманные слова, вырвавшиеся у Бонапарта словно в припадке, удалось услышать лишь немногим. „Замолчи же наконец, – сказал Люсьен брату, – уж не воображаешь ли ты, что говоришь с мамелюками?“ Раздалась команда, и гренадеры, предводимые обоими братьями, ехавшими на конях, двинулись вперед… Вскоре зал совета пятисот опустел. Видели, как несколько довольно тучных тел вылетело из окон оранжереи. Бонапарт, Первый консул

Вечером в этот день Люсьен Бонапарт созвал в Париже верных членов совета старейшин и некоторых членов совета пятисот, которым представлен был проект новой конституции. При этом было постановлено: отменить директорию, исключить 60 членов законодательного корпуса, учредить временное правительство из трех консулов: Бонапарта, Сийеса и Дюко, распустить законодательный корпус, учредить две временных комиссии для пересмотра конституции и законов и выразить благодарность отечества Бонапарту, генералам и солдатам.

Наполеон теперь стал полным владыкою Франции. Однако это стоило ему недешево в буквальном смысле слова. По мнению людей, хорошо знающих дело, этот переворот обошелся ему в полтора миллиона. Было не секретом, что 18 брюмера каждый солдат парижского гарнизона получил от Бонапарта по 12 франков, новый мундир и чарку водки. А сколько роздано было другим, более важным лицам, трудно и сосчитать.

Тем не менее дело было сделано. Наполеон был избран первым консулом, и семья его перебралась в Люксембургский дворец», – констатирует П. И. Ковалевский.

Часть пятая. Властелин мира

«Власть за мир – таков был безмолвный договор между ним и Францией. Но, чтобы заключить мир, надо было сначала победить – отвоевать Италию: для того ведь он и вернулся во Францию, покинув Египетскую армию как „дезертир“. Долгая война была невозможна как по отчаянному состоянию финансов, так и по слишком сильному в стране желанию мира; надо было нанести врагу внезапный удар, пасть на него, как молния», – пишет Мережковский.

Многих крайне удивило, что Бонопарт, став в мгновение ока фактически первым лицом государства, не выказал никакой робости или смущения перед лицом не столько своих вновь открывшихся полномочий, сколько новых и весьма обременительных обязанностей. Однако Наполеон незамедлительно приступил к вершению государственных дел, продемонстрировав всем, что не только является великим воином и замечательным стратегом, но еще и блестящим государственным деятелем. Он с поразительной скоростью разрешил самые наболевшие внешнеполитические проблемы Франции, не забыв и о внутренних надобах вверенного ему государства.

«Будучи великим военным гением, – пишет П. И. Ковалевский,

– Наполеон оказался столь же великим и в деле внутреннего благоустройства государства. Разумеется, выбор консулов, министров и лиц первых важнейших должностей принадлежал первому консулу, – остальных избирают лица, соподчиненные Наполеону, но почти всегда под его контролем и с его ведома. А ведал Наполеон всех и все. И Сийес (тот самый Сийес, что некогда порекомендовал Наполеону прибегнуть к услугам армии для получения власти) был прав, говоря Талейрану после избрания Наполеона: „У нас теперь есть повелитель; он все знает, он все видит, все может“.

При выборе людей на должности принимались во внимание: характер человека, большая или меньшая степень его честности и пригодности к делу и преданности самому консулу. Политические убеждения принимались мало в расчет. И действительно, у Наполеона на службе находили место и республиканцы, и роялисты, и жирондисты, и радикалы, и умеренные республиканцы, и антифрюктидорцы. Достаточно указать на первых ближайших сотрудников Наполеона, чтобы найти оправдание данному положению. Таковы были: министр военный – знаменитый Карно, министр полиции – Фуше, министр иностранных дел – Талейран и т. д. Несомненно, что у многих из этих деятелей совесть и нравственность находились в латентном состоянии, зато все они отличались прекрасным знанием дела, блестящим умом и образцовой исполнительностью.

Первым делом Наполеона по вступлении в должность первого консула, было улучшение финансов Франции. Нужно было исправить государственную доходность, финансовые обороты государства, поднять ценность бумаг, улучшить благосостояние и промышленность края, уменьшить задолженность и т. д. Для всего этого нужно было найти подходящих людей. И Наполеон их нашел. В этом отношении ближайшими его помощниками были: Лекуте-де-Кантле, Годен, Молльен и др.

С первых же шагов своей деятельности Наполеон сократил периодические издания. Он оставил только тринадцать газет, причем подверг их строжайшей цензуре. Вместе с этим Наполеон стремится все упорядочить, все умиротворить. Он отменяет нелепый закон о заложниках и лично освобождает заключенных. Отменяет и другой закон, по которому родственники эмигрантов лишались политических прав и удалялись из государственной и общественной службы. Священникам, сосланным 18 фримера, разрешено возвратиться на родину. Эмигрантам, попавшим вследствие кораблекрушения на берег Франции и потом заключенным, дарована была свобода. Многим эмигрантам дозволено было возвратиться на родину.

Вместе с финансовыми предприняты были административные и судебные реформы, настолько совершенные и законченные, что они и ныне признаются едва ли не образцовыми.

Наполеон обратил также особенное внимание на умиротворение Вандеи и Бретани и вскоре в этом достиг полного успеха.

Проекты всех реформ предварительно весьма тщательно изучались самим Наполеоном; причем последний, будучи вначале учеником, скоро становится полным обладателем и руководителем данного дела. Все отрасли администрации действовали легко и плавно, что обусловливалось опять-таки непосредственным внимательным надзором самого Наполеона. Все сношения с иностранными державами велись не иначе как с ведома Наполеона, причем Талейран сознается, что почин выяснения самой хитросплетенной сети дипломатических интриг, а равно и составления такой сети производился всегда по инициативе Наполеона. Несмотря на то что военным делом ведал гениальный Карно, тем не менее и здесь Наполеон делал все мелочи относительно каждой отдельной части, каждого полка, батальона, даже роты – в пехоте, артиллерии и кавалерии. Он знал везде число старослужащих солдат и конскриптов и в то же время имел самые подробные сведения о составе и численности национальной гвардии… „Все это в совокупности производит такое впечатление, как если бы в Европе в критический момент появилось существо, которое нельзя было бы признать ни человеком, ни демоном, ни ангелом. Это был человек со сверхъестественной выносливостью, сообразительностью и способностью к труду. Он напоминал ангела без совершенств или же демона без зложелательства. Все, совершенное Наполеоном, оказалось в конце концов благодетельным, созидающим и прочным по отношению не только к Франции, но тоже ко всей Европе и к остальному миру“. Бонапарт, Первый консул. Гравюра А. Тадье

Одним из важнейших шагов первого консула был, однако, конкордат, заключенный с папой. Со времени революции религия во Франции была очень не в фаворе. Правда, мало-помалу острые отношения между правительством и представителями церкви с верующими сглаживались. Уже во времена директории фактически установилась свобода совести и вероисповедания, но законные отношения государства к церкви остались в прежнем виде. Мы видели уже, что Наполеон, главнокомандующий Итальянской армией, отнесся к Риму очень снисходительно и даже покровительственно. „Милый сын“ мог стереть Рим с лица земли и сохранил не только духовную и физическую целость его, но и политическую. Шаг весьма важный для человека дальновидного. Теперь первый консул видел ясно, что без религии он обойтись не может. Армия – великая сила. С нею можно повелевать народами; но управлять народами можно только при свободе совести и душевной привязанности. Нужно

было эту свободу совести для верующих легализировать. И Наполеон с первых же дней пошел по этому пути. Прежде всего, по смерти папы Пия VI во Франции назначена была панихида. Этот акт со стороны Наполеона послужил наилучшим доказательством его сочувствия и отзывчивости к чувствам народных масс. Далее. По избрании нового папы, Пия VII, Наполеон поспешил уведомить его, что светские владения его предшественников, за исключением легатств, могут поступить в его ведение, но, разумеется, на известных условиях.

Ответом на этот шаг Наполеона к папе был приезд папского секретаря, кардинала Гонзальви, в Париж, где обе стороны скоро сговорились и заключили договор, по которому первый консул отменил законы 1790 года и признал папу главою церкви; папа же обязался утвердить епископов, назначенных правительством, и согласился на положение духовенства в денежной зависимости от правительства. Этот конкордат имел весьма важные последствия: 1) французский народ в делах совести становился под контроль папы, зато 2) в государстве признавалась духовною властью ныне существующая гражданская законом и Богом дарованною, через что все притязания Бурбонов падали сами собою. Таким образом, гений Наполеона уже давно прозрел силу и значение папской власти, и для него папа – мелкий владетельный князь был гораздо удобнее папы – главы церкви. Папа – державец весь во власти Наполеона, папа – глава церкви является властителем и Наполеона. Этот шаг Наполеона дал ему мир и спокойствие с Римом и Италией, а главное, упрочил его положение не только в настоящем, но и в будущем. Пользуясь случаем, папа просил об увеличении своих владений, на это Наполеон ответил посылкою в Рим останков папы Пия VI. Вообще, в дипломатическом отношении Наполеон показал себя вполне достойным дипломатических представителей римской курии».

Уже тогда сразу же определились основные противники Наполеона на европейской арене: германский император и английский король. Они весьма косо посмотрели на новоявленного правителя Франции и, когда тот послал им учтивейшие грамоты с предложением разрешить все имеющиеся между ними разногласия путем подписания мирных договоров, ответили презрительным отказом.

Наполеону стало совершенно понятно, что войны избежать не удастся. Интересно, задаются подчас историки вопросом, а если бы вдруг монархи все-таки соблазнились предложением мира? Ведь тогда Наполеону, возможно, и не пришлось бы устраивать грандиозные военные походы, сделавшие его имя великим и позволившие ему стать властелином мира. Не исключено, что он бы ограничился пределами Франции… Что ж, все может быть. Только вот ограничился ли бы? С его-то беспредельной жаждой власти, с неистребимым стремлением завоевать весь мир? Да полноте! Все было предначертано его судьбой заранее. Он лишь исполнил свое предначертание…

Военные действия велись Наполеоном на территории Австрии и Италии. Главнокомандующим австрийской армии Бонапарт назначил Моро, а главнокомандующим итальянской армией – Массену. Если у Моро ситуация была достаточно благоприятна, то маршалу Массене пришлось тяжко. Наполеон решает прийти к нему на помощь. Чтобы осуществить задуманное в кратчайший срок, следовало пересечь горные высоты, среди которых особенно выделялся пик Сен-Бар. Прежде он считался непроходимым. Но это лишь потому, что Наполеону прежде не случалось там бывать. Зато теперь первому консулу представилась прекрасная возможность исправить положение.

У П. И. Ковалевского сказано:

«Наполеон был гений, имел готовую резервную армию и перешел Сен-Бернар. Находясь у Сен-Бернара, Наполеон пригласил инженерного генерала Мареско и спросил его о возможности перехода через этот хребет, на что получил ответ, что переход будет очень трудный. „Трудно – это ничего, но возможно ли?“ – спросил первый консул. „Я считаю это возможным, но для этого понадобятся необычайные усилия“. „В таком случае в путь“, – сказал Наполеон».

О переходе через Сен-Бернар читаем у Мережковского:

«Главный переход был через Сен-Бернар, от Мартиньи на Аосту. В тесном ущелье, на линии вечных снегов, по обледенелым, скользким тропинкам, над головокружительными пропастями, где и одному человеку трудно пройти, шла бесконечным гуськом пехота, конница, артиллерия. Снятые с лафетов пушки вкладывались в выдолбленные сосны, округленные спереди и плоско обструганные снизу, чтобы могли скользить по снегу; канониры запрягались в них и тащили на веревках, сто человек каждую. Снежная буря била в лицо; изнемогали, падали, вставали и снова тащили.

В самых трудных местах играла музыка, барабаны били в атаку, и солдаты штурмовали кручи, как крепости; становились друг другу на плечи, образуя живую лестницу, и карабкались на отвесные скалы; хватаясь за острые камни руками, сдирали с них кожу, ломали ногти, окровавливали руки. И все это делали весело, с революционными песнями, – славили победный путь человечества: per aspera ad astra, „через кручи к звездам“. Переход Бонапарта через перевал Сен-Бернар. Гравюра Обертена

Спуск был еще труднее подъема: на северном склоне – зима, с крепким снегом, а на южном – уже весна, со снегом талым, рыхлым. Неосторожно ступая на хрупкий наст, люди, лошади, мулы проваливались в глубокие ямы с мокрым снегом и тонули в нем; или, срываясь с обледенелых и оттаявших, особенно скользких, круч, падали в пропасти.

Так едва не погиб сам Бонапарт: мул оступился под ним на краю бездны и, если бы проводник не удержал его за повод, полетел бы в нее вместе с всадником. 27 мая французская армия вступила на беззащитные равнины Ломбардии. Этот главный маневр всей кампании сразу дал Бонапарту стратегическое превосходство над австрийской армией, оказавшейся в положении неестественном, повернутой тылом к Франции, фронтом к Ломбардии, застигнутой врасплох и отрезанной от своей операционной базы. Дверь во вражий дом была взломана, и Бонапарт в него вошел; пал на Италию, как молния. 2 июня уже вступил в Милан, а генерал Мелас все еще думал, что он в Париже». Переход через Сен-Бернар

«В этом переходе через Сен-Бернар сказался весь гений Наполеона, – отмечает П. И. Ковалевский

. – Он видел и знал все, он не упустил из виду ничего. Провиант был заготовлен. Носильщики были готовы. У ущелий были запасены артели кузнецов. Здесь же устроена была шорная мастерская для упряжи. Словом, не было той мелочи, которой бы не предусмотрел прозорливый глаз Наполеона. В силу этого армия Наполеона не только вполне удачно вошла в Италию, но даже очень скоро достигла Милана. Результатом этого посещения Милана Наполеоном была постановка прекрасной статуи Наполеона на Миланском соборе, в числе

остальных шести тысяч находящихся там статуй. Переход Наполеона через перевал Сен-Бернар. Жак Луи Давид

Можно себе представить весь ужас Меласса (австрийский генерал, чья группировка ранее успешно теснила маршала Масену. – Г. Б.)

, когда он узнал, что Наполеон уже в Италии и армия его не миф. Это последнее вскоре он испытал на опыте под Маренго, оставив Наполеону 7000 убитых, 40 пушек и 3000 пленных. Мелас был уничтожен и просил перемирия.

Теперь первый консул-победитель вновь обратился к германскому императору с предложением мира. Между прочим, он пишет: „Я имел возможность взять всю армию вашего величества; но я довольствовался перемирием, в надежде, что это будет первый шаг к миру, мысль о котором тем более близка моему сердцу, что я могу навлечь на себя подозрения в нечувствительности к ужасам войны… Прошу ваше величество читать это письмо с теми чувствами, какие меня заставили писать его, и быть уверенным, что после мыслей об интересах и счастии моего народа ничто не будет меня занимать столь живо, как благосостояние воинственной нации, мужество и военные качества которой возбуждают уже в течение восьми лет мой неизменный восторг. Бонапарт“.

К сожалению, за несколько часов до предложения Наполеона подписан был Австрией договор с Англией – не вступать с Францией ни в какие сепаратные предложения. Война продолжалась. Зато Наполеон успел заключить почетный мир с Неаполем. В силу этого договора порты Неаполитанского королевства закрывались для Англии.

Оставив армию на попечение полководцев, Наполеон уехал во Францию. Его возвращение в Париж было триумфальным шествием от французской границы и до Парижа».

Тогда еще был жив русский император Павел. Несмотря на то что в нем был отменно силен прусский дух, Павел I крайне отрицательно относился к австрийцам. Причиной такого отношения явилось неэтичное поведение австрийцев к царскому любимцу – генералиссимусу Суворову. Наполеон был в деле политики изрядным докой. Он моментально (еще загодя) сообразил, какие преимущества сулит ему союз с Павлом I.

Как пишет П. И. Ковалевский:

Бонапарт

«…всеми мерами старался склонить императора Павла на свою сторону. При этом он совершил целый ряд авансов, действительно могших понравиться императору Павлу. Он признал за императором Павлом звание гроссмейстера Мальтийского ордена и прислал ему гроссмейстерский меч, взятый французами на острове Мальте.

Затем Наполеон обмундировал 7000 русских пленных и приказал их отправить императору Павлу. Ввиду этих и других любезностей Наполеона император Павел написал ему следующее письмо: „Гражданин первый консул! Я пишу вам не с тем, чтобы вступать в прения по поводу прав человека и гражданина; каждая страна управляется по своему усмотрению. Повсюду, где бы я ни встречал человека, умеющего управлять и сражаться, мое сердце склоняется к нему. Я пишу вам, чтобы довести до сведения вашего о моем неудовольствии против Англии, которая нарушает все международные права и которая

руководствуется единственно своим эгоизмом и собственными интересами. Я хочу соединиться с вами, чтобы положить предел несправедливостям этого государства“.

В это же время последовали новые военные неудачи в Австрии, и последняя волей-неволей вынуждена была заключить с Францией сепаратный договор как за себя, так и за мелкие германские государства. Условия этого мира были уже далеко не столь благоприятны для Австрии и нанесли тяжелый удар завоевательным стремлениям, которыми Австрия до сих пор слишком широко пользовалась.

Несомненно, что моневильский договор с Австрией дал очень многое Франции, но еще более он важен был для Наполеона, которому предстояло сделать весьма многое для упрочения своего положения».

Его отношения с Павлом между тем укреплялись.

«Император Павел не только вошел в мирный договор с Францией, но и проникся воззрением Наполеона на отношения к Англии. Он ей объявил вооруженный нейтралитет. Вместе с этим совместно вырабатывался проект похода на Индию. Предполагалось отправить туда две армии. Одна из них – русская, сосредоточившись на Дону и в низовьях Волги, должна была пройти через Хиву и Афганистан на Инд, а оттуда выйти в долину Ганга; другая, франко-русская, двигаясь по Дунаю, Черному морю, Дону и Волге, должна была выйти в Каспийское море, высадиться в Персии, а затем войти в связь с первою армией и двинуться вместе в Индию. Планы были рассмотрены и одобрены самим Наполеоном.

Император Павел писал Наполеону собственноручное письмо, чтобы тот скорее принимал королевское звание, дабы скорее приступить к исполнению проекта похода в Индию».

Удивительное дело! Ну, то что сам Наполеон по-прежнему лелеял мечту сравниться в своих трофеях и достижениях с Александром Македонским, – это понятно. Но вот подвигнуть Павла I на подобный вояж – Павла I, не рисковавшего покидать пределов Михайловского замка, отделенного ото всех водными каналами, – это уже талант. И не просто талант, а истинный гений. Судите сами: совсем еще недавно, казалось бы, Наполеон был опальным бригадным генералом. Проходит совсем немного времени, и он уже прославленный главнокомандующий, всенародно признанный первым консулом. Только Наполеон – не совсем обычный консул Франции.

Этот первый консул в кратчайшие сроки обрел некий магический статус, позволявший ему отдавать распоряжения всем без исключения монархам Европы! И что удивительно: они ему беспрекословно подчинялись…

К тому времени уже были заключены мирные договоры с Испанией и Португалией. Вместе с этим в Италии были созданы новые республики и новые королевства (вы поглядите только: без году неделя как первый консул, а уже творит новые страны и народы!). Англия, упорно не желавшая идти на попятный, оказалась вскоре в полной изоляции. С учетом этого ей не оставалось ничего другого, как подписать с Наполеоном мирный договор. Бонапарт вновь добился своего!

Андре Моруа откровенно им восхищается:

«…начало Консульства было как в свое время восшествие на престол Генриха IV, золотым веком в истории Франции. Единство и процветание – все возрождалось. В глазах всех Бонапарт становился посланцем Провидения. Естественно, он стремился, чтобы национальное примирение шло ему на пользу. Кто еще мог сказать убийцам короля: „Вы сохраните головы и посты, но забудете о ненависти; вы позволите католикам мирно совершать свои религиозные обряды“; бывшим изгнанникам: „Вы вернетесь; список эмигрантов будет уничтожен; вы получите своих священников, но откажетесь от мести“. Сохранить принципы Революции, возобновив при этом связь с прошлым, – задача сверхчеловеческая. Достойная сверхчеловека. И он действительно был сверхчеловеком, стоящим над страстями, которых не разделял».

Казалось бы, все обстоит благополучно. Но происходит неожиданное. 23 марта 1801 года разносится дикая весть: убит Павел I! Французы, начинавшие уже считать своего первого консула кем-то вроде полубога, постепенно свыкались с мыслью, что пора войн для Франции, слава Богу, позади. Убийство Павла I вносило определенные коррективы в расстановку политических сил на европейской арене. Военных конфликтов теперь было уже не избежать…

Впрочем, у Наполеона пока что все было под контролем. Он в полной мере ощущал себя триумфатором, стремясь облагодетельствовать Францию. Для этого, конечно же, ему надлежало крепко потрудиться. Однако уж к этому Наполеону было точно не привыкать!

У П. И. Ковалевского сказано:

«Наполеон ежедневно трудился от двенадцати до пятнадцати часов. При таком количестве дела ему не было времени самому заняться полировкою собственного поведения, поэтому неудивительно, если в дамском обществе он являлся совершенно невыносимым. Общество людей, доводивших искусство нравиться и пользоваться наслаждениями жизни до степени художества, – людей, признававших удовольствие главной целью существования, производило в большинстве случаев раздражающее, неприятное впечатление на человека, смотревшего на молодую хорошенькую женщину как на орудие для удовлетворения физической страсти. В качестве полководца Бонапарт в каждой женщине видел мать одного или нескольких солдат. С научной точки зрения, семья и дети представлялись ему, как политическому деятелю, простыми данными определенной математической задачи. Наконец, в качестве властного диктатора, он не выносил даже мысли о преобладании женщины в законной сфере его веления. Это не мешало ему относиться с уважением к женщинам, обладавшим развитым сознанием долга. Вообще Наполеон так серьезно был сосредоточен на своих делах, что был нечувствителен по отношению к женским чарам. Наполеон не чуждался общества приятелей своей жены, но он не дозволял друзьям своей жены вмешиваться в его дела, а также, по-видимому, не забыл и того, что ее собственная нежная и ревнивая преданность имела много основы в его славе и могуществе.

В это время Наполеон был много занят составлением свода законов. Лучшие юристы того времени, как Тронше, Биго де Преамене, Порталис, Адриаль, Берлье, Буле, Камбасерес и Лебрен, принимали самое деятельное участие в этом деле, но душой этого дела был сам Бонапарт. Простота, ясность, понятность и целесообразность, характеризовавшие способ мышления Наполеона, являются выдающимися чертами всего Наполеоновского кодекса. Кодекс Наполеона в некоторых странах Европы и до настоящего времени служит основным законом жизненных отношений.

Одновременно с этим Наполеон очень был занят улучшением народного образования, причем ему обязан существованием Парижский университет.

Наконец, Наполеон учредил орден Почетного легиона. Когда ему возражали, что это не больше как детская игрушка, то Наполеон совершенно основательно возразил: „Вы называете это детскою игрушкою! Пусть так, но с помощью этих именно игрушек легче всего управлять людьми“.

По заключении Амьенского договора, с которым Франция вступала в полный мир и на путь внутреннего благоустройства и преуспевания, друзья Наполеона подняли пропаганду о вознаграждении первого консула за все благодеяния, доставленные им Франции.

Когда Амьенский договор был объявлен в трибунате, то председатель трибуната предложил выразить первому консулу, Бонапарту, какую-нибудь осязательную благодарность. Предложение было передано в комиссию. Своевременно комиссии были выражены желания Бонапарта, почему она скоро внесла в сенат свое предложение: в знак благодарности объявить Наполеона Бонапарта пожизненным консулом и сделать эту должность наследственной в его семье. Это предложение сенату не понравилось и было отвергнуто большинством. Вместо этого сенат 11 мая 1802 г. постановил: продлить консульство Наполеона еще на десять лет.

Наполеон страшно был взбешен нелепой щепетильностью собственных креатур и едва было не скомпрометировал себя; но успел удержаться и выразил признательность сенаторам, сообщившим ему о решении сената. На следующий день Наполеон явился в сенат и заявил, что он не может принять предложения полномочий, предоставленных ему сенатом, так как на это требуется народное голосование, почему он предлагает произвести плебисцит по вопросу: надлежит ли Наполеону Бонапарту быть пожизненным консулом; когда же один из сенаторов внес добавление „с правом назначать себе преемника“, то генерал Бонапарт объявил, что это было бы посягательством на державные права народа, и собственноручно вычеркнул поправку. Результаты плебисцита были самые благоприятные: 3 568 000 за назначение и только 8374 против назначения». Коронация Наполеона. Гравюра Лавале

Церемония коронации Наполеона. Гравюра Симоне

Итак, теперь Наполеон, можно сказать, пожизненный Первый консул Франции. Отсюда уже рукой подать до императорского титула. Жаль, бедный Павел I не дожил до этой минуты, он бы очень порадовался…

Кончина же Павла I, как и предвидел Наполеон, возымела серьезные последствия. На престол российский взошел Александр I. Он открыто симпатизировал Англии и немедленно отменил все договоренности и постановления, утвержденные его предшественником. Англия мигом приободрилась и тут же отказалась от условий ранее подписанного мирного договора с Францией. Война была неминуема.

Казалось, Наполеон мало озабочен происходящим. Что его заботило? Отнюдь не участившиеся покушения на его жизнь. Он стремился сделать Францию истинно великой державой. Его потрясающая работоспособность вошла в легенду.

Редерер свидетельствует:

«Наполеон мог провести восемнадцать часов за одной и той же работой или за многими занятиями одновременно. Я никогда не видал его умственно уставшим, никогда мысль его не

находилась в бездействии, даже при самом большом физическом изнеможении. Никогда ни один человек не был до такой степени способным предаться всецело тому, чем он в данную минуту был занят, и никто не умел лучше распределять своего времени для разнообразных дел, которые ему предстояли». Наполеон же свои поразительные способности объяснял в присущей ему оригинальной манере: «Когда я желаю прервать какое-нибудь занятие, я запираю ящик и отпираю другой. Поэтому все дела у меня не перепутываются между собою и не утомляют меня. Когда я хочу спать, я запираю все ящики, и этого достаточно, чтобы немедленно заснуть».

И он не лукавил!

«Несмотря на присущее гениальной, полуварварской и полуцивилизованной натуре Бонапарта презрение ко всяческим установленным рамкам и ограничениям, он в глубине сердца обладал ясным сознанием, что добро порождается только добром, и задавался совершенно определенною целью сделать все, что может, для возрождения общества в добрых началах. У него лично не было отечества, так как все его патриотические стремления погибли в неудачной попытке корсиканцев возвратить себе самостоятельность. Быть может, именно поэтому он и придавал так мало значения территориальным границам и оказывался не в состоянии понять могущества национальных уз. Не обладая в настоящем искренней верой и благочестием, он с детства не лишен был религиозного чувства и теперь сознавал его значение как для отдельного лица, так и для общества. Во время экспедиции в Сирию он велел служить обедню в церкви Назарета; когда ж он стал главой государства и когда ему пришлось рассматривать религию как один из элементов, необходимых для благоустроенного общества и как орудие правления, он не замедлил воспользоваться удобным случаем и ярким образом высказать те чувства, которые всегда питал к религии.

Будучи в Милане, Наполеон обратился с следующей речью к духовенству: „Я желал вас видеть всех вместе, дабы высказать вам свои чувства по поводу религии, религии апостольской, римской, которая одна может принести истинное счастие благоустроенному обществу и укрепить основы разумного правления“», – сообщает П. И. Ковалевский.

Обретя статус Первого консула, Наполеон, как и следовало ожидать, не оставил без внимания религиозную сферу!

Как пишет Андре Моруа:

«…Первый Консул чувствовал себя достаточно сильным, чтобы восстановить во Франции религиозный мир. 8 апреля 1802 года конкордат (подписанный еще в январе 1801-го) был вынесен на голосование, и 18 апреля, в день Пасхи, в соборе Парижской Богоматери состоялась торжественная служба, ознаменовавшая одновременно возврат к миру и восстановление религии. На паперти собора под звон всех колоколов архиепископ и тридцать епископов встретили Первого Консула. Он приехал в карете с ливрейными лакеями, весь в красном, что оттеняло „серистую“ бледность его красивого лица».

Некоторые офицеры из его окружения были не в восторге от этого решения Наполеона, но тот был вполне удовлетворен содеянным. Вообще же, будучи избран пожизненно, Первый

консул ощущал себя всемогущим и всерьез начинал задумываться о короне. И вот, в марте 1804 года, его волею всего народа избирают императором Франции! Жак Луи Давид. Коронующийся Наполеон

Этюд к портрету Наполеона в парадном одеянии

Жак Луи Давид. Этюд к портрету Наполеона в императорском одеянии

«Став императором, – отмечает П. И. Ковалевский,

– Наполеон, однако, понимал под империей нечто иное, чем весь остальной род человеческий. Империя для Наполеона – это не была Франция. Франция – это географическая единица, составлявшая только частицу того великого, рисовавшегося в фантазии Наполеона целого, к которому он стремился. „Все сделанное мною до сих пор, собственно говоря, еще ничтожно, сравнительно с тем, что предстоит сделать. В Европе водворится мир только тогда, когда в ней установится единоначалие, когда в ней будет император, царствующий над королями и распределяющий королевства между своими помощниками. Одного он назначит итальянским, другого – баварским королем, третьего – швейцарским ландманом, четвертого – голландским штатгальтером, и все они будут занимать соответственные должности при императорском дворе… Вы скажете, что это лишь подражание плану, по которому была построена Карлом Великим германская империя; но вспомните, что ничто не ново под луною, что политические учреждения описывают сомкнутые орбиты, в которых зачастую надо возвращаться к прежним комбинациям…“»

Папа римский оказал Наполеону высочайшую честь, прибыв в Париж для свершения помазания. Даже сам Карл Великий должен был прибыть в Ватикан для прохождения этой церемонии! Ритуал помазания прошел в соборе Парижской Богоматери 2 декабря 1804 года. Отныне этот день стал всенародным празднеством во Франции. Бонапарт едет в Нотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)

Миропомазание Наполеона. Гравюра Дельво

Наполеон I. Гравюра Р. Мергбена

Но едва минуло торжество, как против Наполеона восстала коалиция европейских стран. Наполеон не побоялся принять их вызов. Вскоре он уже вовсю заправлял на полях военных баталий.

Итак:

«…началась новая война. На этот раз Наполеон впервые вел войну по собственному своему усмотрению, без всякой помехи и без необходимости давать кому бы то ни было отчет в своих действиях. Его армия состояла из молодых, хорошо обученных солдат, между которыми находилось также много старослуживых солдат, и, несомненно, была лучшею в Европе. Все генералы, несмотря на свою строгую боевую известность, были еще люди молодые, полные ума, энергии, знаний и жажды славы и добычи. Сам Наполеон забыл о своем императорском достоинстве и со всею силою ума и энергии проявил себя гениальным главнокомандующим и начальником штаба.

Через три недели от начала похода Наполеон писал Жозефине: „Я уничтожил неприятеля без боя, одними только маршами“. Это была правда. Вена увидела на своих улицах французскую армию. Вся Австрия была в руках Наполеона.

Но решающим моментом был Аустерлицкий бой. После этого Австрия смирилась. Смирились и другие государства. Наполеон стал фактическим повелителем на континенте Европы. Он предписывал условия мира. Он чертил новую карту Европы. Неудачи на море в борьбе с Англией не смущали Наполеона, так как, в свою очередь, он был неуязвим на суше, нанося, однако, существенный урон интересам торговой Англии…

Теперь Наполеон мог фактически осуществить создание новой римской империи под верховным владычеством французского императора, на развалинах старой римской империи с австрийским императором во главе».

После этого настала очередь Пруссии.

«До сих пор прусский король старался держаться нейтралитета. Напрасно его старались уговорить принять активное участие в войне Австрия и Россия, напрасно и Наполеон соблазнял Фридриха III принять его сторону. Прусский король оставался нейтральным, желая тем, с одной стороны, сохранить целыми войска, а с другой – оставить страну полную сил и могущества. Кончилось, однако, тем, что он должен был выйти из своего нейтралитета и вступить в борьбу с Наполеоном. Только теперь его положение было хуже, нежели раньше. Прежде Пруссия могла войти в коалицию против Наполеона с Австрией и Россией, теперь же только лишь с Россией, так как Австрия была разгромлена, бессильна и бездеятельна.

Несмотря на то что при войне с Пруссией французские войска на пути не встречали ни труднопереходимых рек, ни неприступных скал, ни недоступных вершин, тем не менее Наполеон готовился очень серьезно к этой войне. За прусской армией были хорошие традиции, и с ними приходилось считаться. К сожалению, полководцы прусской армии были люди отсталые и мало научившиеся войнами Наполеона. Война эта была непродолжительна. Русская армия не успела прийти Фридриху на помощь, а прусская армия была быстро уничтожена. Берлин был взят, и королю пришлось скитаться в северных пределах своего королевства, доселе французами не занятых.

Французы не постеснялись и Пруссии, как Италии. Картинные галереи, музеи и дворцы были разграблены. Наполеон не постеснялся даже такими драгоценными предметами, как шпага, портупея и шляпа покойного Фридриха Великого, и послал их в Париж. Маршалы не уступали главнокомандующему. Особенно на этом поприще успешно действовали Массена и Даву. Французские солдаты не нуждались в примерах и поощрениях, дабы хозяйничать в завоеванном крае по-своему. Особенно сильно пострадал Любек, отданный Наполеоном солдатам на разграбление. Вообще, требования победителей не отличались скромностью. Наполеон снисходительно относился ко всему этому, а потому солдаты могли проявлять самую безграничную алчность. Император полагал, что все такие мелкие отступления от кодекса общепризнанной нравственности должны увеличивать верноподданническую преданность к нему войск… Это же удерживало и маршалов в должном повиновении.

Уничтожив Пруссию, Наполеон обратился теперь к разрушению России и Англии. Первым серьезным шагом на этом пути было обещание восстановления Польши. Это была угроза в такой же мере России, как и Пруссии и Австрии». Наполеон, император Франции и король Италии. Ф. Арнольд по оригиналу Г. Делнига

Что касается Австрии, то она еще все-таки осмелилась в 1809 году вступить в очередную коалицию против Наполеона! Это был на редкость нелепый шаг. Кроме Австрии, в коалицию вошло еще 2 страны. Коалиция просуществовала всего около полугода.

После сокрушительного разгрома, который им учинил Бонапарт, был заключен Шенбруннский мир – на крайне скверных условиях для стран коалиции. Впрочем, взаимодействие с королевским домом Австрии дало шанс Наполеону обратить внимание на очаровательную дочь императора Австрии Франца I Марию-Луизу. К тому времени Наполеон уже принял решение о расторжении брака с Жозефиной. После того как были соблюдены все необходимые формальности, в 1810 году состоялось бракосочетание Наполеона и Марии-Луизы. Для Франца I это был, конечно же, страшный удар, но император вполне оценил создавшуюся ситуацию.

Ему теперь уже все было нипочем.

Европа полностью была под пятой Наполеона.

Он чувствовал, что границ для него не существует.

Правда, оставалась еще Россия…

Столкновение с ней было неизбежным.

Часть шестая. Россия: начало конца

Можно лишь гадать, как сложилась бы судьба самого Наполеона и его невероятной империи, не решись он затеять войну с Россией. В принципе, наверное, все и так было предрешено. В великом начале всегда уже заключен великий конец. Прозорливая мать Бонапарта, эта вездесущая и мудрая Летиция, догадывалась, а точнее знала о том, что ее любимый сын принимает фатальное решение. Стендаль замечает: «

Твердо знала всегда, что все рушится ». Однако пред гласом Рока беззащитны даже избранные. «…

Сын ее знал, слышал голос Судьбы и покорно шел на него, как дитя – на голос матери. Знал, что близок час его – Двенадцатый год », – убежден Мережковский.

П. Сегюр в книге «История и память» отмечает, что Наполеон отнюдь не вынашивал намерения нападать на Россию. Во всяком случае, в 1812 году он этого делать точно не собирался: «

Целыми часами, лежа на софе, в долгие зимние ночи 1811 года он погружен был в глубокую задумчивость; вдруг вскакивал, вскрикивал: „Кто меня зовет?“ – и начинал ходить по комнате, бормоча: „Нет, рано еще, не готово… надо отложить года на три…“

Впоследствии, уже будучи пленником на острове Святой Елены, Наполеон признается: „Я не хотел войны, и Александр ее не хотел; но мы встретились, обстоятельства толкнули нас друг на друга, и Рок довершил остальное“ ». «

Русская кампания – неизбежное следствие континентальной блокады, поединка Франции с Англией. Разрушив Австрию и Пруссию, эти естественные оплоты Европейского Запада,

Наполеон оказался лицом к лицу с Русским Востоком », – делает вывод П. Сегюр.

Итак, все свершилось по воле Рока…

Самое забавное заключается в том, что Наполеон предложил российскому императору Александру стать его союзником. Тот же понимал прекрасно, что если Наполеон окончательно сломит Англию при помощи России, то тем самым будет утрачен своего рода последний громоотвод. Война станет неизбежной. И финал ее очень непросто предсказать. Блистательно воплощая в жизнь заветы Юлия Цезаря и Николо Макьявелли, Александр пообещал на словах Наполеону оказать всемерное содействие, а сам начал действовать.

«С января 1811 года Александр потихоньку мобилизует двести сорок тысяч штыков к западной границе. Он обманывает Наполеона беззастенчиво: готовит на него внезапный удар, и нанес бы его, если бы Польша согласилась».

В пользу того, что это не пустые домыслы, говорит любопытнейший документ, который приводит в своем фундаментальном исследовании жизни Наполеона Альберт Вандаль, «один из немногих справедливых судей Наполеона» (такую характеристику ему дает Д. С. Мережковский).

Документ этот – тайное послание графа Нессельроде императору Александру, отправленное еще в октябре 1811 года:

«Государь, приступая по приказанию Вашего Величества к изложению мыслей, которые я имел честь представить вам в воскресенье, думаю, что было бы бесполезно подробно перечислять события, которые привели нас к тому положению, в каком находятся в настоящее время наши отношения к Франции. Достаточно сказать, что они уже не таковы, какими были после Тильзита и Эрфурта, и что уже с начала сего года между обоими государствами создалось поистине натянутое положение, которое с минуты на минуту заставляет предусматривать возможность войны. Эта перемена отношений побудила Ваше Величество собрать и организовать значительные средства обороны. Ваши армии сильнее, чем когда-либо; они ограждают вашу империю от неожиданного нападения, а так как в ваши планы не входит мысль о нападении даже с чисто оборонительной целью, то цель нашей политики тем самым была бы уже не достигнута, если бы это положение не обострилось вследствие отказа обсуждать интересы Ольденбургского дома, каковой отказ возбудил в императоре Наполеоне чрезмерное беспокойство и заставил его подозревать задние мысли. Поэтому это положение может сделаться если не причиной, то предлогом к войне, которой Ваше Величество желает, насколько возможно, избегнуть, однако, не принося жертв, несовместимых с достоинством Вашего Величества и интересами вашей империи. Это желание основано на бесспорных данных, но, если бы таковых и не было, все-таки, смотря на дело с широкой точки зрения, всякая война, предпринятая при настоящих обстоятельствах, не обещает надежны на успех.

Действительно, более чем доказано, что крушение старой, политической системы – все печальные перевороты, свидетелями коих мы были, все зародившиеся и укоренившиеся перед нашими взорами ужас наводящие нововведения, все испытываемые нами притеснения и предстоящие всевозможные перевороты, которые заставляют нас дрожать за будущее – все это является результатом тех одиночных, спешно начатых и плохо задуманных войн, в которые с 1792 г., а главное, с 1805 г. великие державы бросались одна за другой, правда, в силу крайне справедливых и достойных похвалы причин, но со столь плохо рассчитанными

средствами, что они не могли обеспечить за ними не только успеха, но даже гарантировать их от непоправимых неудач. К этой же категории пришлось бы, к несчастью, причислить и нашу войну, если бы мы пожелали предпринять ее теперь. Но, судя по всему, что было, судя по определенным заявлениям императора Наполеона в разговоре 15 августа, мы можем льстить себя надеждой избегнуть ее при условии принятия предлагаемых нам переговоров. Продолжать же отказываться от них – значило бы доставить ему возможность свалить на нас ответственность за войну и, в некотором роде, дать ему право приступить к приготовлениям к войне с нами. Его приготовления потребовали бы усиления и наших. Кризис с каждым днем начал бы принимать все более тревожный характер, и, в конце концов, единственным средством выйти из него сделалась бы война. Истинная цель переговоров должна состоять в том, чтобы выяснить, искренно ли высказываемое императором Наполеоном желание прийти к соглашению, не выдвигает ли он таковое при всяком удобном случае только потому, что убежден, что мы отринем его, или же он думает, что время для приведения в исполнение враждебных нам планов, существование коих у него, к несчастью, более чем подтверждается неопровержимыми данными, еще не приспело. При последнем предположении можно было бы воспользоваться настоящим положением вещей, чтобы достигнуть соглашения, сущность и характер которого способствовали бы улучшению нашего теперешнего положения и обеспечению нам на некоторое время спокойствия, которое, если им мудро воспользоваться, могло бы подготовить гораздо более прочные выгоды, чем какое-нибудь выигранное в настоящее время у французов сражение. Ради этого следовало бы, не колеблясь и вполне доброжелательно воспользоваться предлагаемым нам средством кончить настоящие споры и как можно скорее послать в Париж такого человека, который был бы пригоден для ведения столь важного дела, который пользовался бы доверием Вашего Величества и, зная в совершенстве ваши измерения, был бы формально уполномочен заключать все, что согласуется с ними, и в то же время мог бы вступить с императором Наполеоном в откровенные и точные объяснения вроде тех, какие давал ему до сих пор только герцог Виченцы, но которые не произвели особого впечатления потому, что император Наполеон не находит нужным смотреть на них как на имеющие официальный характер. Достойно сожаления, что этот шаг не был предпринят еще весной, когда неудачи, истощившие французские войска в Испании, сделали бы императора Наполеона более уступчивым относительно условий подобного соглашения. Впрочем, блестящие победы генерала Кутузова в Турции исправили в настоящее время этот недочет, и, если, как надо надеяться, результатом этих побед будет почетный и умеренный мир, возможно, что настоящий момент еще более благоприятен. Всякий сделанный после этого мира миролюбивый шаг непременно произведет хорошее впечатление и разрушит поддерживаемые во Франции опасения, что мы ждем только этого результата, чтобы начать войну.

Главные предметы, подлежащие обсуждению во время этих переговоров, суть:

1. Интересы герцогов Ольденбургских.

2. Уменьшение боевых сил России и Франции на границе.

3. Положение герцогства Варшавского – теперешнее и в будущем.

4. Положение Пруссии – теперешнее и в будущем.

5. Торговые отношения России.

1. На первом месте я ставлю ольденбургские дела не потому, чтобы этот вопрос имел большое значение по сравнению с остальными, а потому, что он единственный, который выдвигался до сего времени как предлог к неудовольствию французским правительством, и потому, что достоинство Вашего Величества требует, чтобы нам было дано удовлетворение

за обиду, нанесенную принцам, родственникам вашего дома. Но так как мы не могли и не хотели протестовать против деяний, в которые, между прочим, входил и захват территории этих принцев, и так как без счастливой войны с Францией мы не можем надеяться заставить ее восстановить в прежнем виде Ольденбургское герцогство, то нам остается только одно – принять принцип вознаграждения.

Но выбор такового труден. Эрфурта или всякой другой расположенной между государствами Рейнской Конфедерации территории было бы недостаточно, и, сверх того, она постоянно была бы под страхом подвергнуться одинаковой с герцогством Ольденбургским участи. К тому же Франция ничего не имеет в своем распоряжении, а Ваше Величество держится слишком либеральной политики, чтобы желать, чтобы Франция обобрала кого бы то ни было. Поэтому единственный способ устроить это дело был бы обмен наших прав на Ольденбург, передачи которых желает Наполеон, на такие уступки, которые доказали бы, что он действительно хочет мира, – одним словом, на те сделки, какие будут изложены ниже.

2. Уменьшение боевых сил России и Франции на границе.

Я далек от мысли ослабить в каком бы то ни было отношении наше военное положение или желать прекращения мудрых работ, предписанных для создания новой системы укреплений! Но, отведя от наших границ часть наших войск, мы всегда имели бы возможность расставить их эшелонами на позициях, где они могли бы быстро сосредоточиться и прийти вовремя на угрожаемое место всякий раз, когда распоряжения Франции укажут нам на близость нападения, на действительную опасность. Следовательно, если установить полную взаимность мероприятий, мы дадим мало, а выиграем много, ибо, если император Наполеон твердо намерен прекратить настоящий кризис, он не может отказаться:

1. От сокращения наличного состава гарнизона Данцига, причем в одной из статей будет точно определен его минимум;

2. От обязательства не посылать французских войск в герцогство Варшавское.

Если бы можно было прибавить третью статью, по которой армия герцогства была бы ограничена более отвечающим денежным средствам этого государства количеством войск, это, без сомнения, было бы выгодно. Мне кажется, попытка достигнуть этого не представит никаких неудобств.

3. Я никогда не придавал большого значения ни формальному заявлению, ни договору, по которому император Наполеон раз навсегда обязался бы отказаться от того, что называется восстановлением Польши, ибо, пока мы будем жить с ним в мире, он не будет об этом думать, если же будет война, никакая конвенция не помешает ему сделать это. Но, так как он во многих случаях высказывался по поводу этого весьма определенно, можно было бы воспользоваться его словами, чтобы включить в договор статью, содержащую эту декларацию, конечно, при условии, что она не будет сочтена за большее, чем она стоит, и что она не послужит предлогом к большей уступчивости по другим, более важным вопросам, ибо единственной выгодой, какая отсюда может последовать, может быть только впечатление, какое эта статья произведет на умы поляков.

4. Гораздо большее значение я придаю статье, по которой на некоторое время могло бы быть обеспечено политическое существование Пруссии; более того, я считаю эту статью главным предметом соглашения. Ваше Величество не может отнестись безразлично к судьбе государства, на которое, невзирая на теперешнее его слабое состояние, следует смотреть или как на авангард сил, с которыми Наполеон рано или поздно обрушится на Россию, или как на таковой же России, который она противопоставит его планам. Так как истинная цель соглашения, о каковой цели нужно было бы громогласно объявить перед лицом Франции, – есть поддержание всеобщего спокойствия, то всякое по этому поводу постановление будет

бесплодно и безрезультатно, доколе прусская территория не будет свободна. Франция заявила, что всякое с нашей стороны вторжение в герцогство Варшавское повлечет за собой войну. Отчего бы и нам не ответить, что всякое с ее стороны нападение на Пруссию, всякая посылка войск в эту страну сверх нормы, установленной договорами для гарнизонов крепостей по р. Одеру, равносильны объявлению войны? К тому же от Франции требовалось бы только добросовестное выполнение обязательств, принятых ею на себя по отношению к Пруссии в 1808 г., притом менее выгодных для этой страны, чем обязательства, включенные в Тильзитский договор. Она должна была бы дать нам обязательство очищать крепости на Одере по мере того, как прусское правительство будет уплачивать оставшуюся за ним контрибуцию, а так как половина таковой уже уплачена, то Глогау следовало бы уже теперь возвратить Пруссии. Чтобы облегчить Пруссии возможность расплатиться с Францией, может быть, можно было бы воспользоваться статьей Тильзитского договора, по которой выговаривается в пользу Пруссии уступка в триста тысяч душ, в случае если Ганновер не будет возвращен Англии. Между тем Франция распорядилась этой страной, и я не понимаю, зачем прощать ей нарушение этой статьи – ей, которая никогда, ничего не прощает. Вообще, всякий способ отнять у Наполеона повод занимать долее крепости на Одере хорош и должен быть проведен с полной энергией. Только при условии, что на прусской территории не будет больше французских войск. Пруссия при всяких обстоятельствах будет иметь возможность принять решение, отвечающее ее истинным интересам, а так как этим она будет обязана нам, то нужно надеяться, что она последует тому направлению, на которое ей уже теперь указывает настроение ее народа, а главным образом, ее армии.

5. Торговые сношения России.

Ваше Величество отказал уже Наполеону в его последних настояниях, как относительно новых, более распространительных мер так называемой континентальной системы, так и в принятии трианонского тарифа[6], и в изгнании нейтральных кораблей. Вам не следует уступать ни по одному из этих вопросов. Этот отказ, как и все, что может отличить Россию от толпы слабых союзников, слепо повинующихся произволу и капризам Франции, хорошо обдуман и делает ей честь, и лучше разрыв и, быть может, даже война, чем несколько статей, которые лишат нас возможности держаться системы, которой мы следовали в нынешнем году по отношению к торговле!

Вот начала, на которых должны быть установлены переговоры и должно быть основано вытекающее из оных соглашение. Но если и допустить, что соглашение состоится наиудовлетворительнейшим образом, остается еще один капитальный пункт, который следует рассматривать почти как краеугольный камень: следует, чтобы Австрия была приглашена гарантировать соглашение.

Император Наполеон, сам когда-то предлагавший эту гарантию[7], не имеет основания отклонить ее. У венского же двора не может быть весьма веских причин согласиться на нее; ибо отсюда и для него, и для нас проистекли бы крупные выгоды.

Россия и Австрия, т. е. две единственные континентальные державы, единение которых в настоящее время могло бы еще оказать существенный противовес непомерному могуществу Франции, впервые после шести лет были бы связаны не только общими интересами, которые никогда не переставали существовать, но и надежными и открыто признанными узами. Во всем кругу политических отношений нет предмета, по которому бы правильно понимаемые интересы обоих государств не были бы в полном согласии. Я не исключаю отсюда даже турецких дел, ибо, хотя относительно этого единственного пункта и может возникнуть между Россией и Австрией несходство во взглядах, которое прибавляет ко всем другим соображениям столь важный повод желать скорой развязки войны с Турцией, я, тем не менее, убежден, что при нынешних обстоятельствах истинный государственный человек в России скорее согласится пожертвовать крупной территориальной выгодой, чем вызвать неудовольствие Австрии. Равно как и в Австрии истинный государственный человек скорее

согласится примириться с последствиями при обычных условиях, не отвечающими его политической системе, чем разойтись с Россией или быть простым зрителем при нанесении ущерба ее достоинству заключением мира на основах, слишком далеко расходящихся с теми, о которых говорилось до сего времени. Этот мир представил бы необъятные выгоды: он устранил бы между Россией и Австрией все существующие поводы к зависти, тогда как статья о гарантии в договоре, заключенном с Францией, узаконила бы, так сказать, между ними доверительные и непрерывные сношения, приучила бы оба двора думать и действовать относительно всех существенных интересов Европы в одном и том же духе и сделалась бы зародышем формального союза, задачей которого было бы установить как меры, которые пришлось бы принять против возможных посягательств Франции на гарантированное соглашение, так и помощь, которую следовало бы взаимно оказывать друг другу. Я смотрю на соглашение России с Австрией как на единственное, остающееся после стольких крушений, средство спасения. Если, считая с сегодняшнего дня, через известный промежуток времени, оно не будет установлено на твердых началах и если Австрии не удастся восстановить свои финансы и свою армию так, чтобы соглашение не было бессильным и, следовательно, бесполезным, тогда рушатся наши последние надежды и все погибнет безвозвратно. Самое роковое следствие преждевременного разрыва между Францией и Россией будет заключаться в том, что таковое соглашение сделается невозможным; величайшее же благодеяние мирного соглашения с Францией будет состоять в том, что оно даст возможность подготовить союз с Австрией и будет ему благоприятствовать.

За время более или менее устойчивого мира, который последует за указанным соглашением, Россия и Австрия будут иметь время заняться своими внутренними делами, приведением в порядок своих финансов и армий. Их союз и взаимное доверие облегчат эти дела. В самых опасных обстоятельствах много значит знать, что все планы, все поступки, все усилия соседа направлены к общей цели, что можно рассчитывать на его преданность, не бояться диверсии на наших флангах и быть глубоко уверенным, что успехи обоих государств в деле восстановления их сил могут возбудить беспокойство только в том, на кого они в глубине души смотрят как на своего единственного врага.

Если во время этого мира император Наполеон задумает какой-нибудь новый захват, Россия и Австрия найдут в акте о гарантии законный предлог воспротивиться этому. Тот день, когда оба государства в первый раз дерзнут высказать одни и те же принципы и заговорят с французским правительством одним и тем же языком, будет днем, в который возродится из пепла свобода Европы. Этот день будет предвестником воскрешения политического равновесия, без которого, что бы ни делали, достоинство государей, самостоятельность государств и благосостояние народов будет только грустным воспоминанием.

Таким образом, от одной хорошо рассчитанной меры получится целый ряд выгод, и Ваше Величество, отвратив грозу, увидит плоды своей мудрой политики – зачатки истинного мира, которого – если он только совместим с существованием императора Наполеона, – при том жалком положении, в каком находятся все государства, как в моральном отношении, так и в отношении их материальных средств, можно добиться только этим путем.

Может быть, возразят, что все эти прекрасные мечты – ибо они зиждутся только на добросовестном отношении французского правительства – испарятся в тот момент, когда окажется, что, предлагая начать переговоры, оно хотело только замаскировать свою игру, выиграть время или поставить нам западню. Но даже в таком случае нашей отзывчивостью на его миролюбивые демонстрации мы ничего не теряем. Ввиду того, что война не была объявлена весной, всякая отсрочка послужит нам только на пользу. Настоящий момент, несмотря на все, что можно сказать относительно войны в Испании, был бы самым роковым, какой мы могли бы избрать. Старинное правило, что все, чего хочет избежать наш противник, уже в силу этого служит нам на пользу, недопустимо без ограничений. Мой противник может иметь весьма серьезные причины не желать того, что в конечном результате целиком обратится в его пользу. Думаю, что нет надобности распространяться по этому поводу, так

как мне кажется, что мысли Вашего Величества о пользе избежать войны, как и о средствах достигнуть этого, уже вполне установлены. На мысли, которые я имел смелость представить вам, вы возразили, что, если кончить теперешнюю распрю соглашением, то исчезнет и та обида, которую Франция нанесла нам, присоединив к себе Ольденбург, а что вы желали бы оставить за собой право воспользоваться ею для открытия своих гаваней в тот момент, когда император Наполеон не будет в состоянии вести с нами войну только из-за этой причины. Думаю, что в этом отношении Ваше Величество может положиться на всем известный характер императора; ибо, наверное, император не замедлит дать вам новые поводы к жалобам и упрекам. К тому же ваши обязательства с ним не вечны, и, если в течение еще некоторого времени они не окажут на Англию воздействия, которого он тщетно надеется при помощи их добиться, Ваше Величество всегда будет вправе заявить Франции, что не может долее жертвовать интересами своей империи ради идеи, нелепость которой доказал шестилетний опыт.

Никто не усмотрит в этом заявлении нарушения договоров, и, если к тому времени нам удастся упрочить нашу оборону и довести ее до тех размеров и усовершенствований, которые она должна иметь при жизни Наполеона, я даже сомневаюсь, чтобы ваше заявление могло вызвать войну».

Да, иезуитской ловкости и умению убеждать, выказанным графом в этом послании, можно только позавидовать иным дипломатам! Даже при беглом прочтении видно, что Нессельроде прямо наводит на мысль о целесообразности двойной игры с Наполеоном, которая неминуемо завершится военным конфликтом. Впрочем, на тон и суть послания оказала безусловное влияние личность писавшего.

Карл Васильевич Нессельроде (урожденный Карл Роберт фон Нессельроде) – был в то время русским посланником в Париже. Он – протеже убитого заговорщиками русского самодержца Павла I (тот был просто одержим всем прусским!) и ученик блестящего дипломата Меттерниха, представлявшего во Франции интересы Австрии. Меттерних, конечно же, ненавидел Наполеона и вообще французов; его настроения были горячо переняты учеником, чуть ли не боготворившим своего старшего коллегу. Что любопытно: до того как начал стремительно зарождаться конфликт с Наполеоном, Нессельроде, изводивший императора нескончаемыми депешами антифранцузского содержания, был не слишком-то популярен при дворе Александра I. Как только Александр начал ощущать, что, разобравшись с Европой, Наполеон вполне может взяться за Россию, его симпатии к корсиканскому гению заметно сошли на нет.

Это обстоятельство крайне благотворно отразилось на карьере Нессельроде. Он был возвращен в Москву, принят при дворе и изрядно обласкан (пригодились его депеши!). Всего через пять лет после этого Нессельроде станет министром иностранных дел и продержится на своем посту… 40 (!!!) лет. Поистине более искусного царедворца сложно себе вообразить. Когда человек, подобный Нессельроде, выступал в качестве советника Александра I, будучи ярым врагом французов, война была неизбежна. И хотя в итоге русские выиграли войну, но победа эта впоследствии обусловила ущемление политических интересов России.

Альберт Вандаль справедливо отмечает:

«Получив от Александра недоброкачественную помощь, Наполеон вынужден был позаботиться о своей безопасности и принять против царя некоторые меры предосторожности, вследствие чего он несоразмерно распределил доли и вознаградил преданность поляков в ущерб России. В этот день союзу был нанесен смертельный удар.

Наполеон сделал некоторые усилия вернуть союз к жизни; Александр приложил старания избегнуть войны; но их попытки могли кончиться только неудачей. Их вина была не в том, что они объявили друг другу войну, а в том, что поставили себя в такое положение, при котором неминуемо должна была вспыхнуть между ними война. С того момента, как они захотели разделить между собою власть, они осуждены были оспаривать ее друг у друга, и результатами борьбы, роковой для Наполеона и Франции, были: спасение Англии, усиление ее мощи и возвышение Пруссии, т. е. подготовка для России грозных соперников, тогда как осуществление естественных задач ее политики не подвинулось вперед ни на шаг».

Кстати, то, что на посту министра иностранных дел Российской империи после разгрома Наполеона на долгих 40 лет оказался ловкач, даже и не помышлявший о благе столь высоко вознесшего его отечества, – вполне закономерный факт! Александр I. Гравюра Ф. Вендрамини

Итак, до того как интрига Александра I сработала, Наполеон предпочитал видеть русского монарха союзником, не помышляя о военном нашествии. Можно даже сказать, что его заставили пойти на это. Причем русская сторона еще крепко надеялась вдобавок обогнать Наполеона в процессе подготовки необходимых для противостояния военных сил!

«Но Наполеон все-таки предупреждает Александра: к весне 1811 года собирает в Германии армию небывалую в новые времена – шестьсот семьдесят тысяч штыков, – соединяющую две трети военной Европы, дисциплинированную железной рукой, образованную и движимую волей одного человека. Он решает напасть на Россию в 1812 году», – пишет Мережковский

. Наполеону явно начинает казаться, что Рок – на его стороне. Как всегда, перед началом новой военной кампании он выходит к своим солдатам и обращается к ним: «Солдаты! – говорит он в воззвании к Великой Армии. – Война начинается… Россия увлекаема Роком; судьбы ее должны совершиться… перейдем же Неман!»

Еще мгновение назад все еще можно было остановить, повернуть Историю вспять.

Но Наполеон был непреклонен.

Наверное, он все понял уже тогда, когда его Великая Армия стала переправляться 22 июня 1812 года через Неман, ступив на русскую землю. Понял и ощутил в душе великий ужас.

«Армия переходила через Неман по трем понтонным мостам, тремя колоннами, – пишет Мережковский

. – Русские переходу не мешали. Этому радовались все, кроме императора. Стоя на том берегу и следя за движением войск, он часто поглядывал вдаль, как будто ждал кого-то. Вдруг вскочил на коня и один, без конвоя, помчался в лес. Скачет версту, две, три – ни души. Остановился, оглянулся, прислушался: тишина, пустота, бесконечная – бесконечная тайна – Россия. „Кто меня зовет?“ – воскликнул и поскакал назад к Неману.

Армия шла на Россию через Литву – Ковно, Вильно, Витебск, нигде не встречая врага и углубляясь все дальше и дальше, в тишину, пустоту бесконечную. Точно падала в пропасть,

тонула в воде, шла, как ключ, ко дну. Ужас овладел людьми. Это была уже не война, а что-то неизвестное: люди воюют с людьми или с природой, но как воевать с невещественным, неосязаемым – с Пространством?»

Сражаться с Пространством и надеяться победить – это утопия…

Наполеон не мог не знать этого – и все же он не повернул назад.

Мережковский замечает по этому поводу: «

Но если бы и могла остановиться армия, он сам бы не мог: ужасает пространство и притягивает, как бездна; должен идти все вперед и вперед, проваливаться в бездну, уходить в глубину, в тишину бесконечную – бесконечную тайну – Россию ». Видимо, Наполеон внутренне осознал, причем осознал глубоко и бесповоротно, что он должен пройти через это, пусть даже в конце пути его ждет смерть…

Русский художник Василий Верещагин (1842–1904), чьи полотна донесли до нас мятежный образ Наполеона и страшную судьбу, выпавшую на долю его Великой Армии, был убежден, что решение Наполеона напасть на Россию было продиктовано не только политическими соображениями, но еще и имело своей целью оказание социального блага.

Кому именно?

Ну как же… русскому крестьянству!

Верещагин пишет:

«Наполеон шел в Россию с намерением восстановить Польшу, а если император Александр не смирится, то и освободить крестьян – эта последняя мера должна была, впрочем, только служить одним из средств обуздать противника, так как завоеватель далеко не имел сентиментальной любви к свободе вообще.

Он полагал найти в России народ, готовый сбросить рабство, и если до некоторой степени не ошибся, в том смысле, что о воле народ действительно толковал, ждал ее, то не понял, что средства для приведения этой мысли в исполнение должны были быть радикально противоположны средствам, пущенным им в ход.

Несправедливо было бы сказать, что при движении Наполеона внутрь России вовсе не было смуты и измены – они были, только сравнительно невелики и вскоре покрылись общим единодушным негодованием, которому немало способствовало варварское поведение французских и особенно союзных им войск.

Внушения неприятеля жителям о том, что во всех занятых местностях русские власти, чиновники и помещики не будут допущены, – настолько поколебало умы, что местами крестьяне помогали неприятелю отыскивать фураж и скрытое имущество, а то так даже и пускались на открытый грабеж господских домов. Тут и там крестьяне отказывались давать лошадей под господ: „Как же, станем мы лошадей готовить про господское добро; придет Бонапарт, нам волю даст, – мы господ знать не хотим!“ – говорили местами».

Целесообразно здесь заметить, что не только мысли и выводы, но и сами факты, приводимые Василием Верещагиным настолько порой неожиданны, что, поверьте, способны пролить новый свет на общепринятую версию изложения событий Отечественной войны 1812 года. Именно поэтому мы еще не раз будем обращаться здесь к его удивительной и откровенной книге «Наполеон в России».

Между прочим, согласно Верещагину, наполеоновское нашествие пришлось по душе… части русского духовенства: «

Особенно непонятно поведение могилевского и витебского духовенства, настолько поверившего рассказам о непринадлежности более завоеванных губерний к России, что епископ Варлаам и сам принес присягу на верность Наполеону, и разослал через консисторию указ всем священникам своей паствы: принявши ту же присягу, поминать в церквах вместо императора Александра Наполеона. „Я, нижеподписавшийся, клянусь Всемогущим Богом в том, что установленному правительству от его императорского величества французского императора и италийского короля Наполеона имею быть верным и все повеления его исполнять, и дабы исполнены были – стараться буду“.

За архиереем священник Добровольский и многие другие, отправляя литургию и молебны, вовсе не упоминали никого из фамилии Императорского Русского Дома, а молились „о здравии французского императора и италийского короля великого Наполеона“ ».

Не правда ли, такое необычное поведение со стороны крестьян и особ духовного звания разительно контрастирует с традиционной подачей фактов?

Ведь принято считать, что, стоило Наполеону оказаться на русской территории, его хитростью завлекли вглубь страны, заставили сражаться при Бородино на невыгодных для французов позициях, а потом, намеренно отступив и сдав Бонапарту столицу – Москву, генералиссимус Кутузов объединился с партизанами (вчерашними крестьянами) и полностью прервал снабжение продовольствием. Когда немногие запасы, что были в русской столице, истощились, Наполеон понял, что его Великая Армия обречена умереть с голода. Тогда он предал Москву огню и решил прорываться с боями на родину. Он сумел вырваться, чудом избежав плена, но его Великая Армия практически была уничтожена.

Все вышеизложенное – правда, но далеко не все было так просто и однозначно.

Давайте же обратимся к фактам.

Прежде всего, надо отметить, что беды наполеоновской рати начались еще до того, как они достигли исконно русских земель. Вообще, поход Наполеона был скверно подготовлен в хозяйственном отношении, да и время для выступления было выбрано неудачно.

Мы читаем у Мережковского:

«В зное зрела гроза недаром: разразилась потопными ливнями, и сразу, после палящего зноя, наступили холода – в июле – октябрь. Десять тысяч лошадей пало от плохих кормов и внезапного холода; тлеющие трупы их валялись по дорогам, заражая воздух. Непролазная грязь остановила подвоз провианта. В армии начался голод, гнилая горячка и кровавый понос. Люди мерли как мухи, бежали из-под знамен. И это только начало – Литва еще не пройдена.

„Я знаю, положение армии ужасно, – говорит Наполеон. – С Вильны у нас половина отсталых, а теперь – две трети. Времени терять нельзя: надо вырвать мир; он в Москве. К тому же армия уже не может остановиться: ее поддерживает только движение; с нею можно идти

вперед, но не останавливаться и не отступать. Это армия для нападения, а не для обороны“». На бивуаке у Лиозны 4 августа 1812 г. Литография Э. Эменже

Естественно, наполеоновские солдаты привыкли совсем к другому. Но если раньше все было ясно (почти всегда): привычные европейские территории, привычный характер военных действий и т. д., то теперь все было иначе. Россия предстала французам как неведомая загадочная планета. Теперь уже ни в чем нельзя было быть уверенным. Страх и ужас, царившие в душах французских вояк, сменились отчаянием; отсюда было уже рукой подать до проявления той беспримерной жестокости, примеры которой отражены во многих документальных свидетельствах того времени. Характерно, что французы находились в столь смятенном состоянии и действовали столь безотчетно, что та к ним приязнь, родившаяся в сердцах многих русских граждан, истаяла мгновенно и без следа!

«В народе, бесспорно, было недовольство, – говорит A. F. de-B., бывший офицер русской службы, свидетельствует Верещагин

, – и, чем далее шел неприятель, тем оно сказывалось сильнее. Расположение умов было очень и очень сомнительное, но Наполеон, или, вернее, войска его, сами позаботились о том, чтобы вырвать из среды крестьян слабые зачатки веры в его освободительные намерения. Скоро стали расходиться в народе слухи, что неприятель грабит и обращает церкви в конюшни, святые иконы топчет, рубит на дрова, не щадит жителей, ни жен их, ни девиц, ни даже детей, все добро крестьянское забирает, а воли объявлять и не думает… Тогда крестьяне стали поголовно уходить в леса со своим добром и жечь то, чего нельзя было спрятать».

Известно, какие обиды терпели обыкновенно жители стран, подвергавшихся французскому нашествию, но никогда, вероятно, они не доходили до такой степени неистовства, как в эту кампанию. О разорениях и грабежах по дороге многие беспристрастные очевидцы-французы дают интересные подробности.

Лябом (Labaume) приводит несколько случаев самого варварского обращения войск с частною собственностью: «

Мы вошли, – говорит он, – в большое поместье Введенское – прелестное место с прекрасно отделанным внутри и снаружи домом; в несколько минут все было разбито и разнесено так, что даже не успели ничем воспользоваться…» Другой раз «мы остановились в богатом доме, с чудесным садом. Видимо, помещение только недавно было отделано, но уже разорено самым ужасным образом: везде по дорожкам валялась разбитая мебель, обломки дорогого фарфора и многоцветных гравюр, вырванных из рам и разбросанных по ветру… »

Буржуа (Bourgeois) говорит, что «

жители, выгоняемые из домов пожаром, бросались куда попало. Иногда они искали спасения у бесчеловечных солдат, которые их дочиста грабили… Все женщины хватались и подвергались последним оскорблениям… Даже разрывали могилы, ища спрятанных сокровищ. После этого стало понятно, почему французы встречали одни пылающие города, стало понятно, что русские хотели заставить их идти по пустыням без жилья, без пищи, даже без воды: перед тем как жечь дома, жители засоряли колодцы нечистотами и падалью, жгли запасные магазины, гумна и стога сена – словом, не щадили ничего ».

Известно, как ответили москвичи на призыв императора Александра. Много ратников предложено было дворянами, много денег купцами. Хотя часть ратников была доставлена поздно, а часть денег вносилась силком еще в 1814 году – нет сомнения, что народ московский, не допуская и мысли о какой-нибудь уступке Наполеону, решился воевать с ним до крайности. Нашлось, правда, несколько дворян и немало купцов, согласившихся поступить на службу в наполеоновскую администрацию, но эти отдельные случаи не изменяют общего патриотического характера отношений Москвы к завоевателю. Наполеон Бонапарт

Между тем приближался день битвы при Бородино – битвы, в известной степени решившей судьбу всей кампании. Армия Наполеона уже приближалась к заветным русским городам. А никакого мало-мальски значимого сражения так и не происходило! Французы уже извелись, а Наполеон – и того пуще. Впрочем, он, как обычно, постарался использовать даже эту ситуацию к выгоде своей – насколько это было возможно в сложившихся обстоятельствах.

Вот несколько записей из захватывающей хронологии событий, созданной пером Дмитрия Мережковского:

«28 июля – Витебск. Император входит в приготовленную для него комнату, снимает шпагу; кладет ее на стол с картой России и говорит: „Я остановлюсь здесь, подожду, осмотрюсь, дам отдохнуть армии, устрою Польшу, соберусь с силами. Кампания 1812 года кончена; кампания 1813 года довершит остальное“. – „В 1813-м мы будем в Москве, в 1814-м – в Петербурге. Русская кампания – трехлетняя“». Но теперь все шло вопреки воле Наполеона. Не получилось ничего с остановкой, да и силами собраться не удалось. Какое там – внутри один непрерывный ад: «Говорит для других, а про себя знает, что не остановится – дойдет до Москвы – коснется дна пропасти.

17 августа – Смоленск. Город взят приступом, сожжен. Думали было французы, что русские не отдадут без боя святых ворот Москвы, с древней иконой Богоматери. Нет, отдали, только увезли Владычицу.

„Отдали Смоленск – отдадут и Москву! – кричит Наполеон в бешенстве. – Трусы, бабы, люди без отечества. Мы их голыми руками возьмем!“

„Ну-ка – попробуй возьми!“ – отвечают, без слов, угрюмые лица маршалов.

Бой, наконец бой! 5 сентября французы увидели русскую армию. Защищая подступы к Москве по Можайской дороге, она заняла укрепленные высоты Бородина». Около стен Смоленска. Литография Э. Эменже

Перед стенами Смоленска 18 августа 1812 года в 5 часов вечера. Литография Э. Эменже

Что ж, давайте подытожим.

22 июня 1812 года Великая Армия переправилась через Неман.

И лишь 5 сентября 1812 года, почти два с половиной месяца спустя (!), у французов состоялось первое сражение с регулярными частями русской армии! Собственно говоря, приключилась даже не настоящая военная баталия; это и пробой сил-то нельзя было назвать. Так, нечто вроде… Но даже эта небольшая, но невероятно, пронзительно долгожданная для французов стычка, предвещавшая близость решающего сражения, была для них подобна бесценному дару небес! «

Встрепенулась Великая Армия, снова поверила в звезду Вождя, поняла, что это первый и последний, все решающий бой, в котором надо победить или погибнуть », – пишет Мережковский.

«

Весь день 6 сентября прошел в приготовлениях. Вечером перед полками читалось воззвание Наполеона: „Солдаты, вот битва, которой вы так желали! Впредь победа зависит от вас! Она нам необходима, она нам даст изобилие, хорошие зимние квартиры, быстрое возвращение на родину. Поведите себя так, как под Аустерлицем, под Фридландом, под Витебском, под Смоленском, и пусть самое отдаленное потомство говорит о вашем поведении в этот день. Пусть о вас скажут: он был в великой битве под стенами Москвы!“ Читался этот приказ Наполеона и в другой редакции на рассвете 7 сентября: „Солдаты! День, которого вы так желали, настал. Неприятельская армия, которая бежала перед вами, теперь стоит перед вами фронтом. Вспомните, что вы – французские солдаты! Выигрыш этого сражения открывает перед вами ворота древней русской столицы и даст нам хорошие зимние квартиры. Враг обязан будет своим спасением только поспешному миру, который будет славным для нас и наших верных союзников! Дано в главной квартире перед Можайском 7 сентября 1812 г. Наполеон“ » – так описывает происходившее Е. В. Тарле.

До сражения оставалась одна лишь ночь. Но если раньше Наполеон с радостным нетерпением ожидал наступления битвы, предчувствуя заведомо очередной свой триумф, то теперь все было иначе. Наполеон I на Бородинских высотах. Художник В. Верещагин

«Ночь накануне боя император плохо спал: простудился, сделалась лихорадка с кашлем и насморком. В дни осеннего равноденствия – поворот годового дня к ночи, солнца к зиме – он всегда себя чувствовал плохо, как будто слабел и хирел вместе с солнцем.

Все просыпался, спрашивал, который час, и посылал узнать, не уходят ли русские; бредил, что уйдут.

В пять утра, когда ему доложили, что маршал Ней все еще видит неприятеля и просит позволения начать атаку, император встал, встряхнулся, как будто ободрился и проговорил: „Наконец-то мы их держим! Идем же, откроем дверь в Москву!“ [Ibid. P. 373.]

Вышел на занятый позавчера Шевардинский редут; подождал, чтобы солнце взошло, и, указывая на него, воскликнул: „Это – солнце Аустерлица!“ – но таким равнодушным голосом, что лучше бы совсем не говорил.

Да и солнце всходило против него, со стороны русских, ослепляя французов и открывая их ударам врага», – свидетельствует со слов П. Сегюра Мережковский.

Еще ночью, когда начало битвы было уже в принципе не за горами, Наполеон встрепенулся. Стоял час Быка – «наиболее томительное для человека время незадолго до рассвета, когда властвуют демоны зла и смерти» (по определению Ивана Ефремова). Бонапарт неожиданно обратился с вопросом к одному из своих адъютантов. У Тарле об этом упомянуто так:

«Он (т. е. Наполеон. – Г. Б.

) внезапно спросил дежурного генерала Раппа, позванного в палатку: „Верите ли вы в завтрашнюю победу?“ – „Без сомнения, ваше величество, но победа будет кровавая“. Тут Наполеон невольно выдал, играя цифрами, свою мысль не пускать завтра в ход ни гвардию, ни часть кавалерии, т. е. уберечь от битвы около 50 тысяч человек из 130, которые составляли тут его войско: „У меня 80 тысяч, я потеряю 20 тысяч, а с 60 тысячами войду в Москву. К нам там присоединятся отставшие, потом и маршевые батальоны, и мы будем сильнее, чем до сражения“».

Генерал Рапп, увы, был совершенно прав.

В день Бородина было пролито целое море человеческой крови…

«…самый кровавый из всех моих боев», – скажет о нем Наполеон.

Е. В. Тарле справедливо утверждает: «

Во всемирной истории очень мало битв, которые могли бы быть сопоставлены с Бородинским боем и по неслыханному до той поры кровопролитию, и по ожесточенности, и по огромным последствиям. Наполеон уничтожил в этом бою почти половину русской армии и спустя несколько дней вошел в Москву, и, несмотря на это, он не только не сломил дух уцелевшей части русского войска, но не устрашил и русского народа, который именно после Бородина и после гибели Москвы усилил яростное сопротивление неприятелю ».

По поводу реального соотношения сил перед боем, как это ни странно, бытуют самые различные мнения. Давайте же обратимся к монографии все того же Е. В. Тарле, известного своей скрупулезностью при изложении фактов. М. Б. Барклай де Толли

П. И. Багратион. Гравюра Ф. Вендрамини

«Русская армия под верховным начальством Кутузова располагала перед Бородинским сражением следующими силами.

Правым крылом и центром командовал Барклай де Толли. Правым крылом непосредственно командовал Милорадович, в расположении которого было два пехотных корпуса: 2-й и 4-й (19 800 человек) и два кавалерийских – 1-й и 2-й (6 тысяч человек), а в общем – 25 800 человек. Центром непосредственно командовал Дохтуров, у которого был один пехотный и один кавалерийский корпус (в общей сложности 13 600 человек). Резерв центра и правого крыла состоял в непосредственном распоряжении самого Кутузова (36 300 человек), а всего на этом правом крыле и в центре с резервами было 75 700 человек. Вся эта масса войск (правое крыло и центр) носила название „1-й армии“, потому что ядром ее была прежняя 1-я армия Барклая.

Левым крылом командовал Багратион, и так как ядром войск этого левого крыла была та 2-я армия, которой командовал Багратион до Смоленска, то и все левое крыло, сражавшееся под Бородином, называлось по старой памяти „2-й армией“, а Багратион – „вторым главнокомандующим“. Левое крыло состояло из двух пехотных корпусов (22 тысячи человек) и одного кавалерийского – 3800 человек, в общем же у Багратиона было 25 тысяч человек, а резервы багратионовского левого крыла насчитывали 8300 человек. Следовательно, у Багратиона в общей сложности было к началу боя 34 100 человек, т. е. в 2,5 раза меньше, чем в 1-й армии.

Кроме этих регулярных войск с резервами, составлявших в общем 110 800 человек, к русской армии под Бородином присоединились 7 тысяч казаков и 10 тысяч ратников (смоленского и московского ополчения).

В общем у Кутузова под ружьем было (без казаков) 120 800 человек. В его артиллерии было 640 орудий. Эти цифры даются во многих источниках. Однако цифра, даваемая Толем, несколько меньше: „В сей день российская армия имела под ружьем линейного войска с артиллерией 95 тысяч, казаков 7 тысяч, ополчения московского 7 тысяч и смоленского 3 тысячи. Всего под ружьем 112 тысяч человек; при сей армии 640 орудий артиллерии“».

Кстати, попутно следует заметить, что артиллерия русских не только превосходила по численности французскую, но использовала ядра чуть ли не в два раза более тяжелые!

А что же у Наполеона?

А у Наполеона и в помине не было того колоссального перевеса в силе, о котором нам столь часто приходится слышать!

С чем же он пришел к Бородину? Вновь обратимся к данным Е. В. Тарле:

«…когда Наполеон подошел к Смоленску, у него было 182 тысячи человек, а когда он подошел к Бородинскому полю, у него было 130 тысяч и 587 орудий. Остальные 52 тысячи были потеряны для Бородинского сражения: 36 тысяч Наполеон потерял в боях под Смоленском, на Валутиной горе, в мелких боях и стычках от Смоленска до Шевардина, а также больными и отставшими, 10 тысяч отправил в подкрепление витебского гарнизона, 6 тысяч оставил в Смоленске. Цифры эти даются также французскими военными историками похода, у которых после критической проверки, собственно, и взял их Клаузевиц». Авторитет Клаузевица для нас поистине несомненен! Это стратег видный, суждения его весомы и истинны.

Но каков же вывод из всего этого?!

Получается любопытно: 120 800 человек противостоят на своей земле 130 000 захватчиков, имея перевес в артиллерийской мощи! В сущности, у Кутузова были, таким образом, все возможности для того, чтобы покончить с Наполеоном там же, у Бородина. Почему же, спрашивается, этого не произошло? Наверное, нам будет проще ответить на этот вопрос, если мы детально познакомимся с ходом самой битвы.

Как уже отмечалось, в этот раз все у Наполеона шло не так, как обычно. «Первый раз в жизни Наполеон в бою не участвовал, – отмечает Мережковский

. – Шевардинский редут, где пробыл он весь день, находился в тылу французской армии, поле сражения, заслоненное холмами, плохо было видно оттуда. Император то садился на складной походный стул, то ходил взад и вперед по площадке редута. Каменная скука была на лице его – „летаргический сон“. Жаждал боя, а, когда он начался, едва смотрел на него, едва слушал о нем донесения. Узнавая о гибели храбрых, только уныло отмахивался, как будто думал о другом, другим был занят. Чем? Или просто болен. „С телом моим я всегда делал все, что хотел“. Но теперь ничего не мог сделать. Мир хотел победить и не победил насморка. Сгорбившись, понурив голову, сидел и кашлял, чихал, сморкался. Одутловато-белое, бабье лицо его напоминало „старую гувернантку Марии-Луизы“. Люди и боги ему не простят, что в такую минуту он, Человек, оказался „мокрой курицей“. Но, может быть, ему и не надо, чтобы прощали, – ничего не надо; мир уже не хочет победить: понял, что

игра не стоит свеч. „Лет до тридцати победа может ослеплять и украшать славою ужасы войны, но потом…“ – „Никогда еще война не казалась мне такою мерзостью!“

Мог победить и не захотел; оттолкнул Победу, как пресыщенный любовник – любовницу: этого она ему не простит».

Суровый приговор, но справедливость его оспорить сложно.

Картина Бородинской битвы, пожалуй, наиболее детально воссоздана Е. В. Тарле.

Предоставим же ему слово:

«Битва началась с нападения дивизии Дельзонна на деревню Бородино. Деревня была в расположении правого крыла русской армии, которым командовал Барклай. Французы вытеснили из деревни стоявших там егерей, и на берегу реки Колочи произошла очень жаркая схватка. Барклай велел сжечь мост через Колочу. Деревня осталась за французами, но это стоило очень больших потерь не только русским егерям, но и пехоте Дельзонна ».

Заметим, что еще даже толком не рассвело, а начало битве уже было положено.

«С пяти часов утра самый яростный бой завязался на левом крыле русской армии, где у Семеновского оврага стоял Багратион. Наполеон направил сюда Даву, Мюрата и Нея, которому был подчинен корпус Жюно. Первые атаки были отбиты русской артиллерией и густым ружейным огнем. Маршал Даву упал, контуженный в голову, лошадь под ним была убита».

Это было очень недоброе знамение!

Даву Луи Николя, герцог Ауэрштедтский, был именно тем маршалом Наполеона, чей корпус некогда выстоял под чудовищным напором русских войск на позиции французов в сражении под Аустерлицем, обеспечив тем самым Наполеону самую главную победу в его жизни. Наполеон крайне высоко ценил его, полагая его присутствие исключительно важным для войска. Даву, впрочем, остался жив при Бородино. Маршал скоро оправился от контузии и вернулся в строй, но у императора все же остался крайне неприятный осадок от этого инцидента. Даву, между прочим, был одним из тех, кто сохранил верность Наполеону до конца. Скончался же он 11 лет спустя – и не от боевых ран, а от туберкулеза легких. Л. Н. Даву. Л. Шарон по оригиналу Л. Обри

Вообще же, согласно Е. В. Тарле: «.

..в первых же атаках на позиции Багратиона у французов было перебито очень много начальников – несколько генералов и полковых командиров ».

Но давайте посмотрим, каким образом разворачивались события в дальнейшем.

«Укрепления вокруг Семеновского, так называемые „Багратионовы флеши“, были сделаны

наспех и с технической стороны очень неудовлетворительно, но защита была такой яростной, что об эти флеши с пяти часов утра до 11.30 безуспешно и с ужасающими потерями разбивались все отчаянные нападения французов. Наполеон приказал уже к семи часам утра выдвинуть почти 150 орудий и громить этим огнем Багратионовы флеши. После долгой артиллерийской подготовки Ней, Даву и Мюрат с огромными силами (один Мюрат бросил на флеши три кавалерийских корпуса) бросились на Семеновский овраг и на флеши. Подавляющие силы налетели на дивизию Воронцова, опрокинули и смяли ее, налетели на дивизию Неверовского, смяли и ее тоже. Дивизия Воронцова была истреблена почти полностью, и сам Воронцов был ранен и выбыл из строя. Неверовский сопротивлялся отчаянно, и его батальоны не раз бросались в штыковой бой против напиравшей громадной массы французов.

Мюрат, Ней, Даву послали к Наполеону за подкреплением. Но он отказал, выражая неудовольствие тем, что флеши еще не взяты. Тогда на этом месте закипел кровопролитнейший бой. Багратион и французские маршалы несколько раз отбивали друг у друга покрытые трупами людей и лошадей Семеновские флеши. Для людей, наблюдавших в эти страшные часы князя Багратиона, хорошо знавших его натуру, помнивших всю его карьеру, в которой самое изумительное было то, что он каким-то образом прожил до сорока семи лет, не могло быть сомнений, что на этот раз третьего решения быть не может: или флеши останутся в руках Багратиона, или он сам выбудет из строя мертвым или тяжелораненым. Наполеон тоже не мог и не хотел отступить от своего намерения, твердо решив сначала прорвать русское построение с его левого фланга, а потом направить все усилия на центр. На Багратионовы флеши император направил уже не 130 и не 150, как до сих пор, а 400 орудий, т. е. больше двух третей всей своей артиллерии. Велено было идти на новый общий штурм флешей. Багратион решил предупредить врага контратакой». Маршал Нэй. Гравюра Г. Паркера

«„Вот тут-то и последовало важное событие, – говорит участник боя Федор Глинка

. – Постигнув намерение маршалов и видя грозное движение французских сил, князь Багратион замыслил великое дело. Приказания отданы, и все левое крыло наше по всей длине своей двинулось с места и пошло скорым шагом в штыки“.

Русская атака была отброшена, и Даву отвечал контратакой.

Французские гренадеры 57-го полка с ружьями наперевес, не отстреливаясь, бросились на флеши. Они не отстреливались, чтобы не терять момента, и русские пули косили их. „Браво, браво!“ – с восторгом перед храбростью врага крикнул навстречу 57-му полку князь Багратион».

Однако недаром ведь говорят, что на войне ситуация может измениться в одно мгновение. Казалось бы, совсем недавно Наполеону выпало потрясение, поскольку он посчитал, что утратил одного из самых верных и талантливых своих маршалов. Теперь настала очередь Кутузова.

«Град картечи ударил с французской батареи в русских защитников флешей. В этот момент в Багратиона попал осколок ядра и раздробил берцовую кость. Он еще силился скрыть несколько мгновений свою рану от войск, чтобы не смутить их. Но кровь лилась из раны, и он стал молча медленно валиться с лошади. Его успели подхватить, положили на землю, затем унесли. То, чего он опасался, во избежание чего пересиливал несколько секунд страшную

боль, случилось: „В мгновение пронесся слух о его смерти, и войско невозможно удержать от замешательства… одно общее чувство – отчаяние! – говорит участник битвы Ермолов

. – Около полудня (уже после исчезновения Багратиона. – Е. Т.) 2-я армия (т. е. все левое крыло, бывшее под начальством Багратиона. – Е. Т.) была в таком состоянии, что некоторое части ее, не иначе как отдалясь на выстрел, возможно было привести в порядок“.

Сейчас после атаки 2-й армии, отброшенной контратакой французов, Федор Глинка увидел у подошвы пригорка раненого генерала. Белье и платье на нем были в крови, мундир расстегнут, с одной ноги снят сапог, голова забрызгана кровью, большая кровавая рана выше колена. „Лицо, осмугленное порохом, бледно, но спокойно“. Его сзади кто-то держал, обхватив обеими руками. Глинка узнал его. Это и был „второй главнокомандующий“, смертельно раненный Багратион. Окружающие видели, как он, будто забыв страшную боль, молча вглядывался в даль и как будто вслушивался в грохот битвы. „Ему хочется разгадать судьбу сражения, а судьба сражения становится сомнительной. По линии разнеслась страшная весть о смерти второго главнокомандующего, и руки у солдат опустились“. Багратиона унесли, и это был критический, самый роковой момент битвы. Дело было не только в том, что солдаты любили его, как никого из командовавших ими в эту войну генералов, исключая Кутузова. Они, кроме того, еще и верили в его непобедимость. „Душа как будто отлетела от всего левого фланга после гибели этого человека“, – говорят нам свидетели.

Ярое бешенство, жажда мести овладели теми солдатами, которые были непосредственно в окружении Багратиона».

Крайне любопытна ремарка Дмитрия Мережковского, которую он делает, говоря о той ярости, с которой сражались при Бородине: «

…люди вообще никогда не дрались с таким ожесточением и с такою равною доблестью, потому что за святыни равные: французы – за мир и Человека, русские – за отечество и еще за что-то большее, сами не знали за что; думали: „За Христа против Антихриста“ ».

Именно: за Христа!

«Когда Багратиона уже уносили, кирасир Адрианов, прислуживавший ему во время битвы (подававший зрительную трубу и пр.), подбежал к носилкам и сказал: „Ваше сиятельство, вас везут лечить, во мне уже нет вам надобности!“ Затем, передают очевидцы, „Адрианов в виду тысяч пустился, как стрела, мгновенно врезался в ряды неприятелей и, поразив многих, пал мертвым“.

В позднейшем донесении генерала Сен-При императору Александру взятие французами Багратионовых флешей и редутов тоже объясняется тяжкой раной Багратиона и исчезновением его, смертельно раненного, с поля. У русских было в начале нападения на Семеновское всего 50 орудий, у французов же с самого начала больше сотни. Чем больше свирепела борьба вокруг флешей, тем больше французских орудий подъезжало к маршалам, а русских к Багратиону. Атакуемые французами пункты так быстро переходили из рук в руки, что артиллерия обеих сторон не всегда успевала приноровиться и иногда обстреливала по нескольку минут своих.

Перед гибелью Багратиона и последним штурмом Багратионовых флешей этот небольшой

участок поля битвы обстреливался 400 французскими орудиями и 300 русскими. Теперь Наполеон повернул эти орудия против батареи Раевского, стоявшей в центре позиций.

Левое крыло было сломлено. Багратион погиб. Кутузову доносили с разных пунктов битвы о тяжких потерях. Были убиты два генерала братья Тучковы, Буксгевден, Кутайсов, Горчаков. Солдаты дрались с поразительной стойкостью и падали тысячами.

„В это время кавалерийские атаки беспрерывно сменялись одна другой и были столь сильны, что войска сходились целыми массами, и потеря с обеих сторон была ужасная; лошади из-под убитых людей бегали целыми табунами“, – пишет очевидец генерал Никитин. Как и под Смоленском, раненые до последней возможности терпели муки и не уходили из строя, не слушаясь офицеров, которые отправляли их в лазарет.

Командный состав ничуть не уступал в этот день солдатам.

Принц Евгений Вюртембергский, находившийся в русской армии в день Бородина, передает поразивший его случай: генерал Милорадович приказал своему адъютанту Бибикову отыскать в разгаре битвы Евгения Вюртембергского и передать, чтобы Евгений ехал к Милорадовичу. Мы знаем из всех свидетельств, что артиллерийский грохот в течение всего этого дня был ужасающий, больше, чем при Эйлау, больше, чем при Ваграме, больше, чем в любой битве всей наполеоновской эпопеи. Даже ружейные выстрелы не были слышны, совершенно терялись в этом оглушительном орудийном громе и треске. Очевидно, Бибиков не мог прокричать Евгению то, что было велено, и он поднял руку, показывая, где находится Милорадович. В этот момент ядро оторвало у него руку. Бибиков, падая с лошади, поднял другую руку и показал снова, куда только что показывал».

Поистине, того, что творилось тогда на поле брани при Бородино, прежде еще никому из участников сражения видеть не приходилось!

«После взятия флешей вторым центральным моментом Бородинской битвы стала борьба за так называемую курганную батарею, или батарею Раевского, стоявшую в центре русского фронта, между левым и правым крылом. После взятия деревни Бородино французами русские егеря выбили их, но затем сами были выбиты. Бородино осталось за французами, и тогда вице-король Италии Евгений перешел через реку Колочу и повел атаку на курганную батарею. Эта центральная батарея Раевского уже с 10 часов утра подвергалась ряду последовательных атак.

Генерал Бонами штурмовым натиском овладел батареей Раевского, но был выбит оттуда русскими. Второй раз он овладел ею и второй раз был выбит. Начальник штаба 6-го корпуса Монахтин получил две раны штыком и успел еще крикнуть солдатам перед третьим натиском французов, указывая на батарею: „Ребята, представьте себе, что это – Россия, и отстаивайте ее грудью!“ В этот момент пуля попала ему в живот, и Монахтина унесли с поля битвы. (Этот полковник, тяжко израненный, прожил еще несколько дней. Узнав, что Кутузов велел оставить Москву неприятелю, Монахтин сорвал со своих ран все повязки и вскоре скончался.)

Ермолов выбил дивизию Брусье из батареи Раевского и от подступов к батарее. Раненый, исколотый штыками генерал Бонами был взят в плен. Наполеон приказал во что бы то ни стало отобрать батарею Раевского.

С двух часов дня Наполеон велел занять артиллерией те позиции вокруг Семеновских флешей, которые были отняты французами после гибели Багратиона. Страшный артиллерийский огонь с этого пункта косил русские войска. Ядра рыли землю, сметая людей,

лошадей, зарядные ящики, орудия. Разрывные гранаты выбивали по десятку человек каждая. А одновременно уже не только с бывших Багратионовых флешей, но и с правого фланга французская артиллерия била по батарее Раевского и по отходившим от батареи русским войскам. Никогда до этого дня русские солдаты и командный состав не проявляли такого полнейшего пренебрежения к опасностям, к витавшей вокруг них и косившей их огненной смерти. Барклай (явно для всех искавший смерти в этот день) поехал вперед, к месту, где страшнее всего был огонь, и остановился там. „Он удивить меня хочет!“ – крикнул Милорадович солдатам, перегнал Барклая еще далее по направлению к французским батареям, остановился именно там, где скрещивался французский огонь слева (от взятых уже французами Багратионовых флешей) с огнем справа (от позиций вице-короля), слез с лошади и, сев на землю, объявил, что здесь он будет завтракать. Такое отчаянное молодечество было вообще свойственно Милорадовичу». М. А. Милорадович. Гравюра И. Г. Мансфельда

Это «молодечество» погубит его 13 лет спустя, когда он, будучи уже генерал-губернатором Петербурга, отважно выйдет к восставшим и станет убеждать их отказаться от присяги, данной ставленнику декабристов, и переприсягнуть Николаю. Каховский сразил его пулей в легкое, а Оболенский добил штыком. Когда псевдочеловеческая мразь волокла Милорадовича с Сенатской площади якобы в лазарет, эти нелюди, воспользовавшись тем, что он впал в беспамятство, украли все его ордена – несчастный вздумал обращаться к мятежникам, будучи при полном параде… Милорадович пользовался невероятной популярностью за свою беззаветную храбрость и отчаянный характер. Оцените восхищение, с которым описывает его поведение во время Бородинской битвы Федор Глинка, личный биограф:

«Вот он, на прекрасной, прыгающей лошади, сидит свободно и весело. Лошадь оседлана богато: чепрак залит золотом, украшен орденскими звездами. Он сам одет щегольски, в блестящем генеральском мундире; на шее кресты (и сколько крестов!), на груди звезды, на шпаге горит крупный алмаз… Средний рост, ширина в плечах, грудь высокая, холмистая, черты лица, обличающие происхождение сербское: вот приметы генерала приятной наружности, тогда еще в средних летах. Довольно большой сербский нос не портил лица его, продолговато-круглого, весёлого, открытого. Русые волосы легко оттеняли чело, слегка подчеркнутое морщинами. Очерк голубых глаз был продолговатый, что придавало им особенную приятность. Улыбка скрашивала губы узкие, даже поджатые. У иных это означает скупость, в нём могло означать какую-то внутреннюю силу, потому что щедрость его доходила до расточительности. Высокий султан волновался на высокой шляпе. Он, казалось, оделся на званый пир! Бодрый, говорливый (таков он всегда бывал в сражении), он разъезжал на поле смерти как в своем домашнем парке; заставлял лошадь делать лансады, спокойно набивал себе трубку, еще спокойнее раскуривал ее и дружески разговаривал с солдатами… Пули сшибали султан с его шляпы, ранили и били под ним лошадей; он не смущался; переменял лошадь, закуривал трубку, поправлял свои кресты и обвивал около шеи амарантовую шаль, которой концы живописно развевались по воздуху.

Французы называли его русским Баярдом; у нас, за удальство, немного щеголеватое, сравнивали с французским Мюратом. И он не уступал в храбрости обоим…»

Между тем ужасное сражение продолжалось.

«Солдаты бросались вперед, часто не ожидая приказа. Вот показание очевидца, рисующее наступление второй легкой роты гвардейской артиллерии в тот момент, когда эту роту двинули вперед в самое страшное место, в сердцевину побоища. „Люди роты были гораздо веселее под этим сильным огнем, чем в резерве, где их даром били“.

Русская артиллерия отвечала убийственным огнем. Но французский огонь все более и более свирепел: становилось очевидно, что Наполеон решил, во-первых, добиться взятия батареи Раевского, а затем кончить дело победой в артиллерийском поединке, расстроить огнем русскую армию и обратить ее в бегство. Но ничего из этого не выходило. Русская армия отодвигалась в полном порядке.

Платов с казаками и командир 1-го кавалерийского корпуса Уваров с кавалерией произвели по приказу Кутузова в самом почти тылу Наполеона большую диверсию, которая на несколько часов спасла батарею Раевского. Платов и Уваров перешли через Колочу, обратили в бегство французскую кавалерийскую бригаду, стоявшую довольно далеко от центра битвы и вовсе не ожидавшую нападения, и атаковали пехоту в тылу Наполеона. Однако атака была отбита с потерями для русских. Уварову велено было отступать, Платов был отброшен. И все-таки этот рейд русской кавалерии не только задержал конечную гибель батареи Раевского, но и не позволил Наполеону удовлетворить хоть отчасти вторую просьбу Нея, Мюрата и Даву о подкреплении. Наполеон отвечал на эту просьбу словами, что он не может на таком расстоянии от Франции отдавать свою гвардию, что он „еще недостаточно ясно видит шахматную доску“. Но одной из причин отказа императора маршалам явилось, бесспорно, чувство некоторой необеспеченности тыла после дерзкого, смутившего французов налета Уварова и Платова. Сравните у Мережковского: „«Гвардии! Гвардии! – молят, требуют маршалы. – Пусть только появится издали, и мы одни кончим все!» – «Нет, я еще недостаточно ясно вижу на моей шахматной доске… Если завтра будет новый бой, с чем я останусь?» – отвечает император.

«Я его не узнаю!» – вздыхает Мюрат с грустью. «Что он там делает в тылу? – кричит в бешенстве Ней. – Если он хочет быть не генералом, а императором, пусть возвращается в Тюильрийский дворец, – мы будем воевать за него!»“ М. И. Платов. Гравюра Г. Кука

Тотчас после отбития налета Платова и Уварова Наполеон велел вице-королю Евгению и части кавалерии Мюрата во что бы то ни стало штурмовать и взять батарею Раевского. Последовала атака, встреченная отчаянным сопротивлением русских. Раненые солдаты не уходили из строя, ожесточение было с обеих сторон неистовое, битва шла на самой батарее и между батареей и тем местом, где утром стоял Багратион: теперь левый русский фланг был уже сильно отодвинут сначала Коновницыным, который сменил смертельно раненного Багратиона, и потом Дохтуровым, сменившим Коновницына.

В начале четвертого часа русские защитники батареи на три четверти были перебиты, остальные отброшены. Батарея осталась за французами. Но русские не уходили с поля битвы, и их артиллерия не умолкала. Русские ядра уже начали падать вблизи от императора и летать над его головой. Наполеон тогда приказал выдвинуть ближе к русскому огню несколько новых батарей гвардейской артиллерии. Но прошло несколько времени, и русские ядра снова начали летать над Наполеоном и его свитой. Некоторые ядра на излете подкатывались к ногам Наполеона. „Он их тихо отталкивал, как будто отбрасывал камень, который мешает во время прогулки“, – говорит дворцовый префект де Боссэ, бывший в эти часы в свите Наполеона.

Угрюмое настроение и плохо скрываемое беспокойство императора не проходили, и ни гибель Багратиона и взятие Семеновских флешей, ни победа над редутом Раевского нисколько не улучшали его настроение. Никому не рассказал Наполеон о том, что он

чувствовал, когда кровавый день стал наконец потухать и солнце начало скрываться за тучами. И Боссэ, и маршалы, и свита, и непрерывно подлетавшие галопом с отчетами и за приказами адъютанты – все видели мрачное и суровое лицо властелина, но никого он не удостоил откровенности».

Гвардейский полковой врач французов доктор де ла Флиз вспоминает:

«Русские хотели отнять взятые редуты, но они оставили только груды тел, пораженных нашей картечью. Во все время сражения Наполеон не садился на лошадь. Он шел пешком со свитой офицеров и не переставал следить за движением на поле битвы, ходя взад и вперед по одному направлению. Говорили, что он не садился на лошадь оттого, что был нездоров. Адъютанты беспрестанно получали от него приказания и отъезжали прочь.

Позади Наполеона стояли гвардия и несколько резервных корпусов. Мы были выстроены в боевой порядок, оставаясь в бездействии и выжидая приказаний. Полковая музыка разыгрывала военные марши, напоминавшие победные поля первых походов революции: „Allons, enfants de la patrie!“ (Марсельезу), когда дрались за свободу. Тут же эти звуки не воодушевляли воинов, и некоторые старшие офицеры посмеивались, сравнивая обе эпохи. Я отдал лошадь свою солдату и пошел вперед к группе офицеров, стоявших за спиной императора. Канонир при наведении орудия. Рисунок и литография Лещинского

Перед нами расстилалось зрелище ужасного сражения. Ничего не было видно за дымом из тысячи орудий, гремевших беспрерывно. В воздухе подымались густые облака одно за другим вслед за молниями выстрелов. По временам у русских взлетали ракеты, должно быть, сигналы, но значение их для меня было непонятно. Бомбы и гранаты лопались в воздухе, образуя беловатое облачко; несколько пороховых ящиков взлетели на воздух у неприятеля, так что земля вздрогнула. Такого рода случаи гораздо реже встречаются у нас, нежели у русских, потому что ящики у них дурного устройства.

Я несколько придвинулся к императору, который не переставал смотреть в трубку на поле сражения. Он одет был в свою серую шинель и говорил мало. Случалось, что ядра подкатывались к его ногам: он сторонился, так же как и мы, стоявшие позади». Обер-офицер гренадерских полков. Литография Л. Белоусова и П. Жаркова

Унтер-офицер егерских полков. Литография П. Ферлюнда

Е. В. Тарле отмечает:

«Очевидцы не могли никогда забыть бородинских ужасов. „Трудно себе представить ожесточение обеих сторон в Бородинском сражении, – говорит основанная на показаниях солдат и офицеров „История лейб-гвардии Московского полка“. – Многие из сражавшихся побросали свое оружие, сцеплялись друг с другом, раздирали друг другу рты, душили один другого в тесных объятиях и вместе падали мертвыми. Артиллерия скакала по трупам, как по бревенчатой мостовой, втискивая трупы в землю, упитанную кровью. Многие батальоны так перемешались между собой, что в общей свалке нельзя было различить неприятеля от своих. Изувеченные люди и лошади лежали группами, раненые брели к перевязочным пунктам, покуда могли, а выбившись из сил, падали, но не на землю, а на трупы павших раньше. Чугун и железо отказывались служить мщению людей; раскаленные пушки не могли

выдерживать действия пороха и лопались с треском, поражая заряжавших их артиллеристов; ядра, с визгом ударяясь о землю, выбрасывали вверх кусты и взрывали поля, как плугом. Пороховые ящики взлетали на воздух. Крики командиров и вопли отчаяния на десяти разных языках заглушались пальбой и барабанным боем. Более нежели из тысячи пушек с обеих сторон сверкало пламя и гремел оглушительный гром, от которого дрожала земля на несколько верст. Батареи и укрепления переходили из рук в руки.

Ужасное зрелище представляло тогда поле битвы. Над левым крылом нашей армии висело густое черное облако от дыма, смешавшегося с парами крови; оно совершенно затмило свет. Солнце покрылось кровавой пеленой; перед центром пылало Бородино, облитое огнем, а правый фланг был ярко освещен лучами солнца. В одно и то же время взорам представлялись день, вечер и ночь“.

Стремясь ускорить разгром и бегство русских, Наполеон приказал кавалерии (кирасирам и уланам) ударить на русскую пехоту, на корпус графа Остермана. Тяжко контуженный, Остерман выбыл из строя одним из первых, но его пехотинцы встретили атаку французской кавалерии таким огнем, что атакующие дрогнули. В этот момент на помощь пехотинцам подоспели свежие гвардейские полки (кавалергарды и конный полк), и французы были отброшены. Но затем последовал новый общий штурм батареи Раевского, французская кавалерия (саксонцы) ворвалась на батарею с тыла, а пехота вице-короля Евгения бросилась на батарею густыми массами прямо в лоб. Последовало страшное побоище, русские штыками сбрасывали в ров взбиравшуюся пехоту. В плен на этот раз не брали ни с той, ни с другой стороны. Забравшись на батарею, французы перекололи всех, кого нашли там еще в живых.

Это был последний большой акт Бородинской битвы.

Артиллерия продолжала греметь. Отдельные частичные конные атаки отбивались русскими. Так, польская кавалерия Понятовского была отброшена с тяжкими потерями. Речи не было не только о бегстве русской армии, но даже об ее отступлении, несмотря на страшно поредевшие ряды.

Наступал вечер. Величайшая битва всей наполеоновской эпопеи шла к концу, но как назвать этот конец? Это не было ясно ни Наполеону, ни маршалам. Они на своем веку видели столько настоящих, блистательных побед, как никто до них не видел, но как назвать победой то, что произошло только что в этот кровавый день 7 сентября?

Бюллетень можно было написать какой угодно.

Вот что писал, например, Наполеон императрице Марии-Луизе, своей жене, на другой день после битвы: „Мой добрый друг, я пишу тебе на поле Бородинской битвы, я вчера разбил русских. Вся их армия в 120 тысяч человек была тут. Сражение было жаркое; в два часа пополудни победа была наша. Я взял у них несколько тысяч пленных и 60 пушек. Их потеря может быть исчислена в 30 тысяч человек. У меня было много убитых и раненых“».

Невероятно! Всегда дотошный и скрупулезно отмечающий малейшие детали император изменяет своей откровенной манере и совершенно искажает события и факты. Отчего же Наполеон поступил подобным образом? Как пишет Е. В. Тарле, в действительности «.

..пленных было всего около 700 человек. А письма к Марии-Луизе были тоже своего рода маленькими „бюллетенями“, рассчитанными на широкую огласку, и церемониться с истиной в них так же не приходилось, как и в больших бюллетенях ».

Вот так-то!

«Чувство победы решительно никем не ощущалось. Маршалы разговаривали между собой и были недовольны… С обеих сторон до вечера гремела артиллерия и продолжалось кровопролитие, но русские не думали не только бежать, но и отступать. Уже сильно темнело. Пошел мелкий дождь. „Что русские?“ – спросил Наполеон. – „Стоят на месте, ваше величество“. – „Усильте огонь, им, значит, еще хочется, – распорядился император. Дайте им еще!“

Угрюмый, ни с кем не разговаривая, сопровождаемый свитой и генералами, не смевшими прерывать его молчания, Наполеон объезжал вечером поле битвы, глядя воспаленными глазами на бесконечные груды трупов…»

Перед началом рассказа о Бородинской битве мы специально привели перечень людских и огневых ресурсов, подготовленных каждой из сторон. Теперь, когда битва практически приблизилась к завершению, самое время поведать точную информацию о потерях.

Е. В. Тарле пишет:

«Император еще не знал вечером, что русские потеряли из своих 112 тысяч не 30 тысяч, а около 58 тысяч человек; он не знал еще и того, что и сам он потерял больше 50 тысяч из 130 тысяч, которые привел к Бородинскому полю. Но что у него убито и тяжко ранено 47 (не 43, как пишут иногда, а 47) лучших его генералов, это он узнал уже вечером. Французские и русские трупы так густо устилали землю, что императорская лошадь должна была искать места, куда бы опустить копыто меж горами тел людей и лошадей. Стоны и вопли раненых неслись со всех концов поля. Русские раненые поразили свиту: „Они не испускали ни одного стона, – пишет один из свиты, граф Сегюр, – может быть, вдали от своих они меньше рассчитывали на милосердие. Но истинно то, что они казались более твердыми в перенесении боли, чем французы“. На 58 тысяч убитых и тяжко раненных, потерянных русской армией, пленных русских оказалось всего 700 человек…

„Самое страшное из всех моих сражений – это то, которое я дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские оказались достойными быть непобедимыми“, – так говорил Наполеон уже незадолго до своей смерти».

Е. В. Тарле продолжает:

«…потери оказались в самом деле неслыханными, ужасающими. Темнота окончательно сгустилась над долиной побоища, и неумолкавшие стоны и вопли раненых, брошенных на поле и французами, и русскими, неслись оттуда всю ночь. И всю ночь горели огни на всех пригорках, к которым отошел штаб Кутузова и куда собирались уцелевшие части русской армии. „Мрачную ночь, следовавшую после кровопролитного боя, употребили на то, чтобы с помощью лагерных огней, расставленных на высотах и служивших точками соединения, расположить наши войска в другую позицию“, – пишет Барклай де Толли.

Всю ночь подходили и подползали к этим сигнальным огням измученные, израненные люди; всю ночь и все утро шли первые, приблизительные подсчеты потерь. От этих подсчетов зависело то решение, которое немедленно обязан был принять Кутузов. Утром общая

картина была ясна.

Действительность оказалась страшнее самых худших опасений…

„Под Бородином русских выбыло из строя около 58 тысяч человек, половина сражавшейся армии. От гренадерской дивизии Воронцова из 4 тысяч человек уже к трем часам дня осталось 300 человек. В Ширванском полку из 1300 человек осталось 96 солдат и трое офицеров“. Были батальоны и роты, истребленные почти целиком. Были и дивизии, от которых осталось в конце концов несколько человек. Были корпуса, больше походившие по своей численности уже не на корпуса, а на батальоны. Но у нас все-таки, повторяем, есть ряд показаний, что вечером 7 сентября, когда ночная темнота оборвала бой, а русская армия осталась стоять на поле битвы, никто ни среди солдат, ни среди командного состава не считал сражение проигранным. Напротив, громко говорили о победе, о завтрашнем наступлении на французов… и тут лишний раз оправдалось старое изречение: побежденным бывает только тот, кто чувствует и признает себя побежденным.

Русская армия, половина которой осталась лежать на Бородинском поле, и не чувствовала, и не признавала себя побежденной, как не чувствовал и не признавал этого и ее полководец. Он (Кутузов. – Г. Б.) видел то, чего никакие Винценгероде, Клаузевицы и Жомини видеть и понять не могли: Бородино окажется в конечном счете великой русской победой.

Не чувствовал себя побежденным и русский народ, в его памяти Бородино осталось не как поражение, а как доказательство, что он и в прошлом умел отстоять свою национальную независимость от самых страшных нападений, умеет это делать в настоящем и сумеет это сделать и в будущем».

Ну а что же творилось в стане врага?

Там отнюдь не было ликования.

Василий Верещагин приводит следующие слова П. Сегюра, бывшего очевидцем всего сражения:

«Когда он остался один в своей палатке, к физическому упадку сил присоединились нравственные сомнения. Он видел поле битвы, и места говорили сильнее, чем люди: победа, которой он так добивался, которою купил такой дорогой ценой, была далеко не полная – громадные потери были без соответствующих результатов. Все его приближенные оплакивали смерть – кто друга, кто брата или родственника, потому что жребий войны пал на самых выдающихся. Сорок три генерала были убиты или ранены. Какой траур в Париже! Какое торжество для его врагов! Какой опасный предмет для размышления Германии! В армии вплоть до его собственной палатки победа принята молча, пасмурно, угрюмо – даже льстецы молчат…»

«Те, что были все время с ним, видели, что этот победитель стольких народов был сам побежден лихорадкой и особенно возвратом той мучительной болезни, которая возобновлялась у него при всяком слишком сильном движении, всяком глубоком потрясении. Они вспоминали его собственные слова: „Для войны необходимо хорошее здоровье, которое ничем не может быть заменено!“ Вспоминали также его пророческое восклицание после Аустерлицкой битвы: „Для войны нужны известные годы. Я сам буду годен для нее только еще шесть лет – после этого мне придется остановиться“. Под Бородиным, где срок прошел и где к годам и нездоровью присоединилась из ряда вон выходившая стойкость противника, ему приходилось пожалеть, что он не остановился…»

Бородинская битва завершилась.

«Когда Кутузову представили ночью первые подсчеты, – отмечает Е. В. Тарле,

– и когда он увидел, что половина русской армии истреблена в этот день, 7 сентября, он категорически решил спасти другую половину и отдать Москву без нового боя. Это не помешало ему провозгласить, что Бородино было победой, хоть он и был удручен. Победа моральная была бесспорно».

М. И. Кутузов, категорически желая оставить Москву Наполеону в качестве наживки, чтобы, собравшись с силами, отрезать затем французскому императору путь к бегству и уничтожить, был удовлетворен тем, что теперь ему наверняка позволят это сделать. Кутузов был не в фаворе у царской клики, как, впрочем, и у самого царя. На тот момент мало кто был способен оценить тактическое мастерство Кутузова. При дворе ни у кого не возникло и тени сомнения в оценке итогов состоявшегося сражения. Бородинскую битву царь с готовностью счел проигранной, и после этого его неприязнь к Михайло Илларионовичу лишь усугубилась. М. И. Кутузов. Гравюра Дж. Годби

Характеристика Кутузова, составленная Е. В. Тарле, говорит сама за себя:

«Михаилу Илларионовичу Голенищеву-Кутузову было в этот момент 67 лет. В дни Отечественной войны ему пришлось навсегда связать свое имя с одним из величайших событий русской и всемирной истории и навсегда остаться в памяти людей истинным представителем русского народа в самую страшную минуту существования России.

При дворе, среди аристократии, Кутузов, хотя и потомок старого дворянства, всегда был чужаком; если бы даже не было так широко и твердо известно, что царь его терпеть не может, то и тогда ни Воронцовы, ни Шереметевы, ни Волконские, ни Строгановы вполне „своим“ его бы никогда не признали. В большие генералы он вышел еще при Румянцеве и Суворове. Два раза он был тяжело ранен и в полном смысле слова был на волосок от смерти. Глаз у него выбила турецкая пуля в битве под Алуштой, когда ему было еще 29 лет. Суворов был в восторге от его поведения во время штурма Измаила и называл его своей правой рукой и тогда же назначил его комендантом Измаила. В 1805 г. Кутузов считался главнокомандующим австрийской и русской армий и всеми силами и средствами противился желанию Александра дать генеральную битву Наполеону. Битва под Аустерлицем была дана и проиграна. С тех пор Александр очень невзлюбил Кутузова, и когда однажды Кутузова перед ним оправдывали тем, что ведь Кутузов старался удержать царя от битвы под Аустерлицем, то Александр ядовито сказал: „Слишком мало удерживал“.

Кутузов был очень умен, очень хитер и тонок. Он сказал раз, сказал два: Наполеон поколотит русских и австрийцев, если дать ему битву. Его не послушали, царю угодно было ломать себе шею. Кутузов умел быть вместе с тем ловким царедворцем, прекрасно вникал в военные и всякие иные интриги, очень ценил власть, почести, блеск, успехи. Александра Павловича он не только не любил, но и не уважал. Чувство родины у него было очень глубокое, и особенно оно обострилось в 1812 г. Его способности как стратега были бесспорны и общепризнанны. Вместе с тем он был и дипломатом замечательным, и несколько раз оказывал на этом

поприще ценнейшие услуги.

Суворов ставил его много выше других своих соратников. „Хитер, хитер! Умен, умен! Никто его не обманет“, – говорил о Кутузове Суворов. Но не только хитрость и ум ценил в нем знаменитый его начальник. Именно на основании донесения Суворова Екатерина II писала Кутузову 25 марта 1791 г.: „…отличная ваша храбрость… при взятии… города и крепости Измаила… при котором вы… оказали новые опыты искусства и неустрашимости, преодолев под сильным огнем неприятельским все трудности, взошли на вал, овладели бастионом, и, когда превосходный неприятель принудил вас остановиться, вы, служа примером мужества, удержали место, превозмогли сильного неприятеля, утвердились в крепости и продолжали… поражать врагов…“

Громадные стратегические способности, личная несокрушимая, спокойная храбрость, очень большой военный опыт на командных постах, широчайшая популярность Кутузова в населении и армии – все это ставило старого генерала на совершенно исключительное место в данный момент. Кутузова совсем незачем „причесывать“ под Суворова: он велик именно тем, что у него была своя самостоятельная историческая роль – и он блистательно сыграл ее. И как стратег, и как тактик он был вполне своеобразен. Стратегия и тактика Кутузова, победившие Наполеона в 1812 г., были не суворовские, а кутузовские, потому что и Суворов не мог бы в 1812 г. действовать так, как он действовал на Рымнике, или под Измаилом, или под Варшавой. Конечно, в Кутузове было много и лукавства, и умения играть людьми, когда ему это было нужно, и близкие к нему это очень хорошо понимали. „Можно сказать, что Кутузов не говорил, но играл языком: это был другой Моцарт или Россини, обвораживавший слух разговорным своим смычком… Никто лучше его не умел одного заставить говорить, а другого – чувствовать, и никто тоньше его не был в ласкательстве и в проведении того, кого обмануть или обворожить принял он намерение“. Этот „тончайший политик“ не любил делиться славой… „Тех, кого он подозревал в разделении славы его, невидимо подъедал так, как подъедает червь любимое или ненавистное деревцо… – так отзывается о нем человек, ежедневно его видевший и имевший с ним постоянные деловые сношения в 1812 г., дежурный генерал Маевский. – …Надо было еще поймать минуту, чтобы заставить его выслушать себя и кое-что подписать. Так он был тяжел для слушания дел и подписи своего имени в обыкновенных случаях“.

Но в том-то и дело, что в необыкновенных случаях Кутузов бывал всегда на своем месте. Суворов нашел его на своем месте в ночь штурма Измаила; русский народ нашел его на своем месте, когда наступил необыкновенный случай – 1812 год.

Только черты сибаритства, лени, лукавства и бросались в глаза людям, которые или не хотели, или просто не способны были углубляться в анализ очень сложной натуры, большого ума, очень крупных военных дарований Кутузова…

В ум и находчивость Кутузова верили не только в широких кругах дворянского общества и не только в купечестве. Его популярность была огромной и в армии. Конечно, это не было то почти суеверное чувство, с которым солдаты относились к Суворову, да и манера обхождения с солдатами у Кутузова была совсем иная. Суворов, легендарный герой, волшебник, подставляющий поминутно лоб пулям и дразнящий картечь, которая его „не берет“, Суворов, всегда и всех побеждающий, был обожаем своими солдатами. Фельдмаршал, который бегает в одной рубахе по лагерю, вызывает солдат драться с ним на кулачки, отказывается в 70 лет надеть теплую шинель, пока не пришлют зимнюю одежду его солдатам, – этот Суворов, конечно, не мог не занимать в душе солдата совсем исключительного положения. Кутузов на это положение и не претендовал. Но отблеск суворовской славы лежал на нем, как лежал и на Багратионе; выбитый глаз напоминал о том, за что Суворов любил Кутузова, а затем Кутузов умел по-простому, добродушно поговорить с солдатом.

Суворовские выходки и фамильярности, которые привлекали к Суворову сердца солдат, никак не подходили к старому, рыхлому, тяжеловесному, тучному фельдмаршалу Кутузову. Говоря с солдатом, он делался таким же немудрящим, простым, чисто русским человеком, как сам солдат, сердечным и благожелательным дедушкой. Его любили и ему верили в армии, как никому другому после смерти Суворова.

…Кутузов очень хорошо сознавал, с каким гигантом ему придется иметь дело, и у нас есть немало тому доказательств.

…И все-таки он не терял надежды одолеть, если не „разбить“, то перехитрить Наполеона; одолеть его, используя все – и время, и пространство. Это не значило, конечно, что он отказывался от активной военной борьбы с Наполеоном. Но эту борьбу он хотел вести с наименьшей затратой живых сил русского народа. Среди провожавших Кутузова, когда он после своего назначения отъезжал из Петербурга к армии, был его племянник, к которому фельдмаршал благоволил. „Неужели вы, дядюшка, надеетесь разбить Наполеона?“ – спросил он. „Разбить? Нет, не надеюсь разбить! А обмануть – надеюсь!“

…Чем больше мы углубимся в анализ и слов и действий Кутузова, тем яснее для нас станет, что он еще меньше, чем до него Барклай, искал генеральной битвы с Наполеоном под Москвой, как не искал он ни единой из битв, происшедших после гибели Москвы, как не искал он ни Тарутина, ни Малоярославца, ни Красного, ни Березины. Барклай бывал иной раз растерян, метался, говорил о переходе в наступление. Кутузов, репутация и авторитет которого были несравненно прочнее, вел себя спокойнее, чем его предшественники, и свою идею „золотого моста“ Наполеону, т. е. изгнания его из России без излишнего кровопролития, проводил последовательно. В конечном счете эта тактика привела к истреблению вторгнувшейся армии, и он планомерно исполнял свой план, начав его гениальным маршем на Тарутино и продолжая фланговым „параллельным“ преследованием вплоть до изгнания врага из России. Но все-таки трудно было его положение и до и после Бородина, и много пришлось ему хитрить…»

Итак, путь на Москву для Наполеона был открыт.

О прибытии Наполеона в Москву читаем у Верещагина следующее:

«Усталый, еще не вполне оправившийся от тяжелых впечатлений Бородинской битвы, Наполеон подъезжал к Москве в карете. Последний переход, однако, он сделал верхом, двигаясь тихо, осторожно, обшаривая кавалериею все окрестные рощи и овраги.

Ждали битвы, так как местность казалась удобною для нее: кое-где находили начатые земляные работы, но они оказались покинутыми, и нигде не встречено было ни малейшего сопротивления.

Наконец, осталось подняться на последнюю перед городом высоту, называемую „Поклонною“, потому что с нее богомольцы совершают первое поклонение московским святыням.

Солнце ярко играло на крышах и куполах громадного города. Было 2 часа дня, когда французские разъезды показались на этой горе и раздались их восторженные крики: „Москва! Москва!“ Все бросилось вперед в беспорядке, как бы боясь опоздать, и вся армия, неистово аплодируя, повторяла: „Москва! Москва!“ – подобно тому, как моряки в конце долгого и трудного плавания кричат: „Земля! Земля!“

Подъехал сам Наполеон и остановился в восхищении, у него невольно вырвалось радостное восклицание».

Сравните у Мережковского: «„Москва! Москва!“ – закричали солдаты и захлопали в ладоши от радости, когда 14 сентября, в два часа пополудни, увидели на краю Можайской равнины золотые маковки. Вдруг забыли все муки войны: „мир в Москве“ обещал император.

Может быть, радовались и чему-то большему, о чем сказать не умели. Через Москву – путь на Восток, где некогда Господь насадил Свой сад, рай, для Адама; и вот новый Адам, Человек, ведет их в новый рай – царство свободы, равенства и братства. От Фавора до Гибралтара, от пирамид до Москвы – таков Наполеонов крест на земле – апокалипсическое знамение.

„Цель века была достигнута, совершилась Революция, – вспомнит он сам, уже на Св. Елене, свои тогдашние мечты. – Я делался ковчегом Ветхого и Нового Завета, естественным между ними посредником. Мое честолюбие, может быть, величайшее и глубочайшее, какое существовало когда-либо, заключалось в том, чтобы утвердить и освятить, наконец, царство разума – полное проявление и совершенное торжество человеческих сил. И какие бы тогда открылись горизонты силы, славы, счастья, благоденствия. Это значит: «через Москву – в рай!»

«Наконец-то!» – воскликнул он, глядя с Поклонной горы на простирающуюся у ног его Москву и как будто просыпаясь от страшного сна“».

Характерно, что

«…маршалы, несколько отдалившиеся от него со времени Бородинской битвы, в которой он не проявил должной решимости, теперь, при виде Москвы, – „чудной пленницы, лежащей у его ног“, – пораженные таким великим результатом и под впечатлением слухов о явившемся будто бы русском парламентере с мирными предложениями, забыли свои неудовольствия: приблизившись к императору, они еще раз преклонились перед его звездой и, наперерыв высказывая свои поздравления, пожелания, надежды, не затрудняясь, отнесли к его предусмотрительности то, за что прежде порицали его».

И вот французы – в Москве!!!

Наконец-то в Москве…

Просто невероятно!

Но что же это происходит?

Отчего их вступление в русскую столицу столь разительно отличается от триумфальных вхождений в полоненные столицы захваченных ими европейских стран?

И ведь что удивительно: «

Уже у Дорогомиловской заставы, – говорится у Е. В. Тарле, – до Наполеона стали доходить странные слухи, шедшие из гвардии: из Москвы ушли почти все жители, она пуста, никакой депутации с ключами от города, которой ждал император, нет и не будет. Слухи подтвердились ».

«По мере того как французы занимали громадный город, – пишет Верещагин

, – они все более и более поражались его мертвенным покоем и пустынностью – полная

тишина кругом невольно заставляла и их соблюдать молчание, нервно прислушиваться к гулко раздававшемуся стуку лошадиных копыт о мостовую. Самым храбрым было не по себе от этой пустоты – при длине улиц не было возможности с одного конца различать людей на другом, и трудно было разобрать, кто там впереди двигался, друг или враг! Случалось, что, охваченные безотчетным страхом, одни части войска бежали перед другими, своими же…

Солдат Бургонь (Bourgogne) наивно выражает свое удивление пустому виду города: „Мы были очень удивлены, не видя никого: хотя бы какая-нибудь дамочка послушала нашу полковую музыку, наигрывавшую мотив «победа наша!». Мы не знали решительно, чему приписать эту полную тишину: этакий славный город – и вдруг молчаливый, угрюмый, пустой! Слышен был только шум наших шагов, барабанов и музыки – конечно, и с нашей стороны было не очень-то много разговоров! Мы только посматривали друг на друга и про себя, признаться, думали, что жители, не смея показаться на улицах, смотрят на нас в щелки ставней: оттуда ведь легко было смотреть, так что самих их не было видно. Ну как же, в самом деле: можно ли было подумать, чтобы такие богатейшие дворцы, такие красивые богатые постройки были брошены владельцами… Через час, примерно, после нашего прихода начались пожары; конечно, полагали мы, какие-нибудь грабители из наших же заронили по нечаянности огонь… Уж никак не могли и думать, чтобы народ этот был такой варвар – решился бы сжечь свою собственность и уничтожить один из лучших городов в свете“.

„Во всех этих богатых домах и дворцах, – рассказывает Лябом (Labaume),

– мы находили только детей, стариков да русских офицеров, раненных в предыдущих битвах. В церквах престолы были убраны, как для праздника: по множеству зажженных свечей и лампад перед образами святых видно было, что до самого ухода набожные москвичи молились. Эти разительные картины народной набожности и приверженности к религии возвышали в наших глазах побежденный народ и наводили стыд на нас за сделанную ему несправедливость… Иногда под невольным впечатлением страха мы чутко прислушивались: воображение, нервно настроенное среди громадного покоренного города, заставляло нас ждать везде засад и слышать то шум и бряцание оружия, то будто крики дерущихся…“

„Простой офицер очутился квартирантом превосходно меблированных помещений, в которых мог считать себя полным хозяином, так как не видел никого, кроме покорного, униженного дворника, дрожащею рукой представлявшего ключи ото всего…“

„Я оставила свою квартиру 25 августа (6 сентября), – рассказывает г-жа Фюзиль, актриса московского французского театра. – Проходя городом, я была поражена трогательным зрелищем: улицы были пусты, кое-где только встречался прохожий из простого народа. Вдруг я услышала вдали какое-то жалостное пение – подойдя, увидела громадную толпу мужчин, женщин и детей с образами, в предшествии священников, поющих священные гимны; нельзя было без слез смотреть на эту картину населения, покидающего город со своими священными предметами… Вдруг меня позвали: придите, пожалуйста, взглянуть на явление в небе, это удивительная вещь – точно огненный меч – верно, быть беде! И в самом деле, я увидела нечто совершенно необыкновенное, настоящее знамение…“

По разным указаниям можно считать приблизительно во сто двадцать тысяч число вошедших в Москву войск; но, исключая гвардии, французские войска на другой же день вышли из нее и расположились по окрестностям; гвардия, как выше замечено, заняла Кремль. В Москве поместились испанцы, португальцы, швейцарцы, баварский корпус, виртембергский и саксонцы. Этим постоянным пребыванием в городе „союзного элемента“ и надобно, вероятно, объяснить необычайность совершенных в Москве жестокостей».

Но не только жестокостями незваных гостей была отмечена эта пора. Москва изнемогала буквально от пожаров! Но только их учинили отнюдь не французы! Посудите сами: армия входит в столицу европейского уровня. В этом городе солдатам и офицерам предстоит зимовать. С чего ж, спрашивается, им самим обрекать себя на печальный удел? Нет, виновниками пожаров были совсем иные лица.

Кто именно?

Нам стоит справиться об этом у Василия Верещагина:

«…Тем временем пожары не только не прекращались, а все более разгорались.

„Страшно было, – рассказывает оставшаяся в Москве молодая девушка из купеческого семейства. – Наши жгли Москву!“ – „Говорили, что свои жгут Москву, – рассказывает другой, – чтобы Бонапарте из нее выгнать. Правда или нет, того я не знаю; но что наш дом подожгли, то это верно!“

Видели, например, что из одного дома (Куракина) вышел управляющий с четырьмя лакеями, которые палками гнали перед собою пьяного человека, в белом армяке, радостно кричавшего: „Как хорошо горит!“ Люди Куракина объяснили, что он только что поджег дом и они ведут его к французам.

Его немедленно расстреляли. В Кремле – пожар! Художник В. Верещагин

Судя по этим и многим другим свидетельствам, можно заключить, что Москва была сожжена исключительно самими русскими (вот он и ответ! – Г. Б.

); однако вернее, кажется, принять, что город сожжен не по обдуманному заранее намерению, а просто, во-первых, потому, что был наполовину деревянный, а во-вторых – достался в руки неприятеля. Сначала пожар приписывали Ростопчину, который писал, между прочим, Багратиону, что в крайнем случае решился, „следуя русскому правилу: «не доставайся злодею!» – обратить город в пепел!“ К тому же заключению приводило и то обстоятельство, что он позаботился вывезти все пожарные инструменты. Но после, по расследованию, дело поджогов оказалось более случайным, что удостоверил и сам Ростопчин: „Главная черта русского характера, – говорит он в своем объяснении, – скорее уничтожить, чем сдать врагу, пусть никому не достается… Когда наполеоновская армия заняла город, многие из генералов и офицеров отправились в Каретный ряд, где были главные магазины экипажей, выбрали и отметили своими именами то, что каждому понравилось. Владельцы лавок, с общего согласия, чтоб не быть поставщиками своих врагов, зажгли магазины“. Это объяснение весьма правдоподобно и, кажется, может быть принято.

Французы сначала приписывали дело неосторожности своих и немало казнились этим.

„Много офицеров прибежало укрыться во дворце, – говорит Сегюр

. – Начальство, сам маршал Мортье, тридцать шесть часов уже боровшийся с пожаром, просто падали от изнеможения!.. Все молчали, все мы обвиняли себя. Всем казалось, что пьянство и отсутствие дисциплины французских солдат начали беду, а буря раздула, разнесла ее… Нам просто противно было смотреть друг на друга… Что скажет об нас Европа?! Заговаривали нерешительно, потупивши взоры, в отчаянии от такого страшного бедствия, омрачавшего нашу славу, вырвавшего у нас плоды ее, угрожавшего, наконец, нашей жизни, – мы были армиею преступников, которых Провидение должно было покарать,

так же как и цивилизованный мир… Эти досадные мысли стали рассеиваться только известиями о том, что жгут сами русские! Офицеры, являвшиеся с разных сторон, согласно показывали одно и то же, сомневаться было нельзя!..“

„В среду утром, – рассказывают французы, – поднялся ураган, и огонь начал свирепствовать с невероятной силой. В один час он разнесся в десять различных мест, так что все огромное пространство по ту сторону реки превратилось в море пламени, волны которого бушевали в воздухе, разнося опустошение и ужас. Вся полоса воздуха над городом превратилась в огненную массу, которая изрыгала горящие головешки, и, вследствие расширения воздуха от теплоты, буря еще более усиливалась; никогда Господь Бог в гневе своем не являл людям зрелища ужаснее этого: огонь решительно повсюду, грабители преследуют своих жертв, а бежать некуда! Церкви горят, и дома горят. Просто ад кипит, и со всех сторон все рушится… Бревна горят и катаются по улицам, головни так и сыплются; листовое железо летит с крыш, жара такая, что не продохнешь, а мостовая раскалилась, жжет ноги. Колокольни в огне, колокола срываются, падают…“

„Пожар продолжал распространяться, – говорит Лябом (Labaume), – и скоро захватил лучшие кварталы города. В минуту все чудесные здания, которыми мы восхищались, были охвачены и уничтожены пламенем. Их превосходные фронтоны, украшенные барельефами и статуями, с шумом и треском летели на остатки колонн. Церкви, хоть и крытые железом, тоже рушились, а с ними и чудесные колокольни, сиявшие серебром и золотом, которыми накануне еще мы любовались. Госпитали, со множеством раненых, загорались также, и сцены, в них происходившие, раздирали душу. Почти все эти несчастные погибли, а немногие, еще державшиеся на ногах и дышавшие, полуобгорелые, выползали из-под груд обломков и пепла; многие, придавленные грудами трупов, старались освободиться на свет Божий…“»

Вот какие страшные дела творились в Москве той горестной осенью 1812 года.

То был сущий ад…

А дальше и того более.

«Как описать все, происходившее в городе, отданном на грабеж, – говорит очевидец

, – солдаты, маркитанты, преступники из тюрем и публичные женщины бегали по улицам, врывались в покинутые дома и выхватывали оттуда все, что могло им приглянуться. Одни накутывали на себя шелковые с золотом одежды, другие взваливали на плечи, сколько могли, без разбора, всяких мехов; там одевались в женские и детские шубки, солдаты и всякая уличная сволочь разодевались в придворные одежды. Толпы бросались к погребам, выбивали двери и, перепившись, шатаясь, уносили награбленное. Это безобразие не ограничивалось только покинутыми домами: солдаты врывались во все жилые квартиры и насиловали всех попадавшихся женщин. Когда генералы получили приказание выехать из Москвы, распущенность достигла крайнего предела: солдаты, не сдерживаемые присутствием начальства, дошли до чудовищного безобразия, не жалели ничьих убежищ, не щадили ни церковных, ни каких других украшений и богатств».

«Ничто так не разожгло алчности грабителей, как Архангельский собор в Кремле с гробницами царей, в которых ожидали найти громадные сокровища. В этом чаянии гренадеры спустились с факелами в подземелье и взрыли, перебудоражили самые гробы и кости почивших…»

«Мы надеялись, что хоть ночь скроет от нас эти ужасы, но пожар сделался еще ужаснее в

темноте: пламя, расстилавшееся с севера на юг, упиралось в небо, закрытое густым дымом. Просто леденела кровь от усилившихся еще с темнотою криков несчастных, которых мучили и убивали, воплей девушек, искавших спасения у своих матерей и только еще больше разжигавших этим ярость палачей. К этим воплям присоединялся вой собак, по московскому обычаю, прикованных в цепях у ворот домов и сгоравших вместе с ними…»

«Сквозь густой дым виднелись вереницы экипажей, нагруженных добычею и поминутно останавливавшихся; слышались крики возчиков, боявшихся сгореть, погонявших лошадей, протискивавшихся вперед со всевозможными ругательствами…»

«Мы встретили еврея, – рассказывает Бургонь (Bourgogne)

, – который рвал на себе бороду и пейсы при виде горевшей синагоги, которой он был раввином. Так как он болтал немного по-немецки, то мы поняли, что вместе со многими другими своими одноверцами он снес в храм все, что имел наиболее ценного… Не могу себе представить, – говорит этот очевидец, – что бедный еврей, среди таких бедствий, не утерпел, чтобы не спросить нас, нет ли у нас чего-нибудь для продажи или промена… Он принужден был, несмотря на все отвращение, поесть с нами окорока… Стрелки, набравшие на монетном дворе слитков серебра, обещали ему променять их».

«Когда мы вошли с ним в самый еврейский квартал, оказалось, что в нем все выгорело дотла – приятель наш, при виде этого, вскрикнул и упал без чувств. Через минуту он открыл, однако, глаза, и мы, давши ему оправиться, стали спрашивать, чего он так испугался: он дал понять, что дом его сгорел, а с ним, вероятно, и вся семья. Сказавши это, он снова впал в беспамятство…»

«Везде вооруженные солдаты, уходя, разбивали двери, будто боясь оставить дом неограбленным, и, если новые вещи были или казались лучше прежде захваченных, они бросали старые, хватали новые и, когда повозки не могли более вместить, уносили целые горы на себе. Пожар часто преграждал им дорогу; тогда они возвращались назад и бродили по незнакомому городу из улицы в улицу, ища выхода из лабиринта огня. Несмотря на крайнюю опасность, жадность грабителей толкала их лезть прямо в огонь: в крови по трупам пробирались они туда, где рассчитывали что-нибудь найти, несмотря на то что уголья и горящие головни падали им на головы и на руки. Конечно, они погибали бы там, если бы невыносимый жар не выгонял их, наконец, и не заставлял убегать в лагерь».

Земля была до такой степени нагрета, что нельзя было приложить к ней руку – жгло. Ноги прожигало через подошвы обуви. Растопленная медь и другие металлы смешивались в одну струю, текли по улицам, как уверяют свидетели.

Иностранцы дивились тому, как русские жители, по-видимому, хладнокровно смотрели на свои горящие дома, должно быть, вера поддерживала их, потому что, не крича, не ломая рук и не беснуясь, они выносили из домов образа, ставили их перед дверьми и, крестясь, уходили.

«Собрались мы, – рассказывает одна мещанка, решившаяся вместе с другими бежать из города

, – к старушке Поляковой; она стоит у киота и лампаду перед иконами зажигает, а сама нарядилась, словно на праздник собралась: вся в белом и на голове белый платок. Что это вы, бабушка, или не знаете, что дом загорелся? Заберем скорее ваши вещи да и уйдем с Богом: мы за вами пришли. А она говорит: „Спасибо вам, мои голубчики, что не забыли меня,

а я свой век в этом доме прожила и не выйду из него живая. Как он загорелся, я надела свою подвенечную рубашку и нарядилась как покойница. Стану на молитву, и за молитвой застанет меня смерть, я готова». Начали мы представлять резоны, что зачем, мол, вам идти на мученическую смерть, когда Господь вам помогает спастися? „Я, говорит, не сгорю, я задохнусь, пока огонь до меня дойдет; ступайте, пора, уж и сюда дым пробирается, а мне еще помолиться надо – простимся, и уходите с Богом“. Обняли мы ее, а сами рыдаем. Она нас всех благословила, и слезы у нее на глазах навернулись. „Простите меня, говорит, грешную, если в чем перед вами провинилась, а моих увидите – передайте им мой последний поклон“. Мы ей поклонились в ноги, как покойнице. В комнате стоял уже густой дым…»

Скромное имущество монахинь Алексеевского монастыря, спрятанное в кладовую, было разграблено; солдаты нарядились в монашеские ряски… Несколько человек поселились в келье игуменьи, где пировали двое суток и приглашали к себе молодых монахинь – одна добровольно пошла на позор, осталось известно и имя ее.

«До смерти хотелось нам, немногим оставшимся молодым монашенкам, – рассказывает одна

, – узнать, что там делается; мы все забились в одну комнату, отворили дверь да и стали выходить помаленьку; а подбежала старуха-монахиня: „Куда? – говорит, – сейчас назад! Вы уж и рады на военных-то глазеть! срамницы этакие! Вишь как все раскраснелись! путные бы побледнели от страху…“ Была у нас одна монахиня, как их, бывало, встретит, так и выругается – они ничего! Пошла она раз к колодцу воды накачать; француз вежливо подскочил помочь ей ведра поднять – как она на него накинется! „Станем, говорит, мы после твоих поганых рук воду пить! Убирайся, окаянный, а не то я тебя оболью!“ Другой бы, кажется, осерчал, а он засмеялся и отошел».

«В Рождественском монастыре придумали молодых монахинь сажей вымазать… Идут они двором, а навстречу французы – тотчас их окружили; старухи-то начали отплевываться и показывать, что клирошанки гадкие, черные. Рассмеялись французы. Стояла тут бочка с водой, один из них налил воды в ковш и показывает им, чтобы умылись. Они сробели и хотели бежать. Французы их догнали и начали их умывать. Девочки кричат, и старухи кричат, а французы помирают со смеху. Как их вымыли, начали говорить: жоли филь!»

«По собранным мною сведениям, – пишет далее Верещагин

, – как и по словам многих очевидцев, сами французы немилосердно расстреливали наших, были, в частном обращении, справедливее и жалостливее, чем их союзники (это весьма важная деталь, согласитесь. – Г. Б.

). Священник Казанской церкви, села Коломенского, близ Москвы, рассказывал мне, со слов своего покойного тестя, что тот, будучи мальчиком, спрятался от французов в печку и, когда вечером, соскучившись и проголодавшись там, начал плакать, они его вытащили, обласкали и утешили сахаром.

Вся священная утварь этой церкви была похищена солдатами, но священник пошел к Мюрату, остановившемуся невдалеке, и со слезами умолил возвратить вещи, нужные для богослужения, – их разыскали и отдали ему; надпись на одном из серебряных сосудов свидетельствует об этом.

Древний старичок деревни Новинок, помнящий стоявшего у них „француза“ уверял меня, что неприятель не сделал им большого зла – только кормился их добром.

Неприятели не знали, что в Кремле находился пороховой склад, и непредусмотрительно поместили там гвардейский артиллерийский парк, на открытом воздухе, так что достаточно было одной из головешек, носившихся в воздухе, упасть на зарядный ящик – вся гвардия, все начальство с самим Наполеоном пропали бы. В продолжение многих часов участь армии зависела от всякой искры, рассыпаемой пожаром.

„Что же это ваши русские делают? – выговаривал русскому один французский генерал. – Видано ли когда-нибудь, чтобы так жгли свою столицу?“ – „Я не знаю, кто ее поджигает, но последствия этого для нас самые печальные“. – „Это верно ваши казаки?“ – „Полноте, где вы теперь увидите тут хоть одного казака?..“ – „Черт возьми, они у ворот города! Вчера только что на этой самой дороге мы их прогнали; могу вас в этом уверить, потому что я сам командовал. Так не ведут войны!“

Другой французский офицер говорит иначе: „Хотя несчастные последствия московского пожара падали на нас, тем не менее, мы не могли не удивляться великодушному самопожертвованию жителей города, храбростью и настойчивостью поднявшихся до высокой степени славы, характеризующей великие нации…“ Этот же писатель удивляется стойкостию русских, приговоренных к расстрелянию: „Перед казнью каждый старался протискаться вперед, чтобы первым принять удар. С видом полного спокойствия они крестились и падали под пулями солдат“.

Один из московских католических священников, тоже очевидец, говорит: „Солдаты не щадили ни стыдливости женского пола, ни детской невинности, ни седых волос старух… горемычные обитатели, спасаясь от огня, были принуждены укрываться на кладбищах“. „Церковная утварь, образа и все священные вещи верующих, – говорит аббат, – были пограблены или позорно выброшены на улицы. Священные места были превращены в казармы, бойни и конюшни; даже неприкосновенность гробниц была нарушена. Никогда, конечно, города, даже взятые приступом, не подвергались большим поруганиям“. Один из французских офицеров сознавался, что со времени революции не видано было такого беспорядка в армии… „Все улицы были полны человеческими трупами, перемешанными с падалью лошадей и других животных… Здесь кричали караул, и голоса замирали, захлебываясь в своей крови; там жители выдерживали в домах настоящую осаду, защищая свои очаги, уже ограбленные и переограбленные, против окончательного разорения от пьяного солдатства, доведенного до бешенства вином и этими попытками сопротивления“.

„В других местах тащили по улице чуть не голых мужчин и женщин и с ножом у горла требовали открытия спрятанных будто бы сокровищ. Все двери лавок были настежь открыты, продавцы в бегах, товары разбросаны повсюду… Не успевала одна шайка мародеров уйти из дома, как другая врывалась и не оставляла ни рубашки, ни какого-нибудь сапога“.

На улицах в эти дни жителям нельзя было показываться даже и с конвоем, так как сама охрана грабила, а в случае крика или жалоб била до полусмерти. Ограбленные одевались потом во что попало, часто по-женски; грабители же почти все щеголяли в шляпах, украшенных цветами или перьями, в кофтах, в женских башмаках. Даже французские офицеры принимали участие в этом смешном маскараде. Начинал сказываться холод, и атласные меховые шубки отлично служили для защиты от него, зато их носили даже на лошади, поверх военной формы.

Мыслимо ли было скрыть что-нибудь от людей, воевавших и грабивших во всех углах Европы? Разбивались и осматривались камины и печи; глубоко рылись в земле, засовывали туда шпаги и штыки. Как сказано, разрывали кладбища, особенно свежие могилы, вскрывали гробы, сбрасывали больных с кроватей и рылись в тюфяках. Лимонные и апельсинные деревья и горшки с цветами в оранжереях сбрасывались, обшаривались – не было ли в горшках запрятано что-нибудь. Даже когда проносили мертвое тело для погребения, его останавливали и осматривали…»

И все это было известно Наполеону.

То, что творилось в Москве, было поистине за гранью разумения. Даже великий мозг Наполеона был не в силах отыскать какой-то реальный способ изменить ситуацию к лучшему. Наверное, впервые в своей жизни Наполеон Бонапарт чувствовал себя растерянным. Все это было неправильно. Этого просто вообще не могло происходить с ним…

Но происходило. Наполеон I. Модюи по оригиналу Жибара

«Страшное усилие, сделанное для того, чтобы захватить Москву, потребовало всех наличных средств; Москва была окончанием всех замыслов, целью всех стремлений и надежд, и эта Москва теперь пропадала, улетучивалась. Что предпринять? Он недоумевал, колебался. Он, который сообщал свои планы самым близким людям только для беспрекословного исполнения, принужден был теперь советоваться.

Наполеон предлагал маршалам идти на Петербург, но они отвечали, что время года слишком позднее, дороги дурны, продовольствия нет, поэтому предпринять этот поход немыслимо. Уговоренный, но не убежденный, он ни на что не решался, колебался, мучился…

Он так рассчитывал на мир в Москве, что даже не заготовил настоящих зимних квартир, и теперь не мог решиться на новую битву, так как она открыла бы всю операционную линию, покрытую больными, ранеными, отсталыми, загроможденную обозами. Самое же главное: он не мог расстаться с надеждой, для которой столько пожертвовал, что письмо, посланное им Александру, уже прошло через русские аванпосты и, может быть, через какую-нибудь неделю он получит желанный ответ на его предложение мира и дружбы.

Его репутация, его обаяние были еще не тронуты тогда, – как было не верить в возможность хорошего исхода! – тогда он еще держался…»

Арман Коленкур, знаменитый дипломат и советник Наполеона, бывший подле него во время нашествия на Россию, делится на страницах своих знаменитых мемуаров рядом соображений, которые способны пролить дополнительный свет на тогдашнее положение Наполеона Бонапарта.

Он пишет:

«Привыкнув диктовать мир тотчас же по прибытии во дворец государя, столицу которого он завоевывал, император был удивлен молчанием, которое хранил на сей раз его противник. Чем больше это молчание показывало ему, что нынешний противник и его нация полны воодушевления и отчаянной решимости, тем более он убеждал себя, что мир можно заключить только в Москве. Его умеренность должна была примирить все; он снял с себя всякие обвинения в поджоге; он даже сделал все, чтобы остановить это бедствие. Он „не видит поэтому, говорил он, – никакого особого повода к враждебности, которая помешала бы прийти к соглашению. Поскольку мы вошли в древнюю столицу России, оставить ее, не подписав предварительного мира, это значило бы создать видимость политического поражения, каковы бы ни были военные преимущества какой-либо другой позиции. Европа, – продолжал император

, – смотрит на него, и положение, которое обеспечивает нам успех весною, она в настоящий

момент расценивала бы все же как неудачу, а это могло бы повлечь за собой серьезные последствия“.

Он торопился поэтому покончить с делом, не отправляясь на поиски позиции, более близкой к нашим флангам и грозной для противника, но могущей лишь в отдаленном будущем принудить его к миру, о котором мечтал император; он пошел бы сейчас на самые легкие условия, лишь бы они немедленно положили конец борьбе; и он говорил об этом как для того, чтобы создать определенное настроение в армии, так и для того, чтобы дать неприятелю почувствовать те опасности, которым тот может подвергнуться. Он все время повторял, что его позиция в Москве была весьма тревожной и даже угрожающей для России, если учесть те последствия, к которым могла бы привести малейшая неудача Кутузова, и те меры, которые он сам мог принять, чтобы воздействовать на население.

Однако характер, который приняла война, а также молчание его противников показали императору не менее реальные опасности его собственной позиции, и он был готов эвакуироваться из России и удовольствоваться кое-какими мерами против английской торговли, чтобы спасти честь своего оружия. Он ограничивался тем, что соглашался осуществить свою цель только по видимости; но так как он не видел, чем можно заставить русских принять эти жертвы, если не предложить их сразу же в качестве вынужденных уступок, то придавал большое значение тому, чтобы завязать переговоры, которые привели бы ко взаимным объяснениям и, как он думал, к быстрому примирению.

По его словам, император Александр не мог рассчитывать на такие условия соглашения, и он думал соблазнить его, предложив их в качестве своей добровольной жертвы, предназначенной оправдать Александра в глазах его нации. Увлекаясь этой идеей и не желая думать об уже сделанных шагах, он решил непосредственно написать императору Александру; Лелорню было поручено поискать в госпиталях или среди русских пленных какого-нибудь офицера высокого чина, чтобы послать его в Петербург. Он нашел брата одного из русских дипломатических агентов в Германии.

Император имел с ним такой же разговор, как и с Тутолминым. Он точно так же говорил ему о своих стремлениях к примирению и миру, но офицер почтительно высказал свои сомнения насчет возможности прийти к соглашению до тех пор, пока французы остаются в Москве. Император не обратил внимания на эти замечания ни тогда, ни потом; он отправил этого офицера со своим письмом, по-прежнему льстя себя надеждой, что молчание петербургского правительства объясняется только тем, что ему приписывают чрезмерные притязания, и рассчитывал, что Петербург ухватится за представляющийся ему случай воспользоваться возвещенной императором Наполеоном умеренностью. Именно эта роковая уверенность, именно эта несчастная надежда заставили его оставаться в Москве и бросить вызов зиме, которая подкосила нас быстрее, чем могла бы это сделать чума». Возвращение из Петровского дворца. Художник В. Верещагин

Наполеон был, судя по всему, настолько выбит из колеи, что, решительно не понимая, как ему следует теперь поступить, не брезговал обращаться за советом к самым подчас случайным людям.

Так, когда ему, например, стало известно о том, что сравнительно недалеко от его временной резиденции – Петровского дворца – скрывается в ближнем лагере некая госпожа Обэр-Шальмэ, хозяйка магазина и верный друг режима, император тут же потребовал, чтобы ее доставили к нему. Когда госпожу Обэр-Шальмэ, полумертвую от ужаса, пробужденного в ней всем увиденным и услышанным по дороге, ввели в покои Наполеона, тот еще более ужаснул горемычную даму, осведомившись учтиво и самым будничным образом, не печалит ли ее что-либо; а затем и пуще того напугал: он стал интересоваться ее мнением… по поводу

освобождения русского крестьянства!!! Что та магазинщица могла ответить императору? Она пролепетала было, что подобный шаг едва ли будет понят и оценен по достоинству. Пролепетала так тихо, что Наполеон и не расслышал. Увлекшись и словно даже не ожидая ответа, император накинулся на нее с новыми расспросами. Он предложил госпоже Обэр-Шальмэ откровенно поведать, что именно, по ее мнению, надлежит сейчас делать ему – как верховному главнокомандующему французских сил. Госпожа Обэр-Шальмэ, понятное дело, была в полном шоке…

А теперь нам совершенно необходимо сделать очень важное отступление!

Вопрос, заданный императором перепуганной соотечественнице, далеко не празден. Как мы уже указывали ранее, идею об освобождении крестьянства он вынашивал непосредственно перед нашествием. Парадоксально, но факт: это был тот самый козырь, который принес бы ему триумф несравненный, высочайший, доселе неведомый… То, что подобная идея вообще у Наполеона возникла, лишний раз подтверждает, что он действительно был осенен печатью гения!

О кардинальной значимости крестьянского вопроса прекрасно написал Е. В. Тарле. Его обоснование настолько блестяще, что мы сочли необходимым привести здесь полностью этот текст, вопреки его пространности.

Итак, Тарле повествует:

«Лютое беспокойство овладело верхами дворянства после занятия Москвы Наполеоном, и Александру доносили, что не только среди крестьян идут слухи о свободе, что уже и среди солдат поговаривают, будто Александр сам тайно просил Наполеона войти в Россию и освободить крестьян, потому, очевидно, что сам царь боится помещиков. А в Петербурге уже поговаривали (и за это был даже отдан под суд некий Шебалкин), что Наполеон – сын Екатерины II и идет отнять у Александра свою законную всероссийскую корону, после чего и освободит крестьян. Что в 1812 г. происходил ряд крестьянских волнений против помещиков, и волнений местами серьезных, – это мы знаем документально.

Наполеон некоторое время явственно колебался. То вдруг приказывал искать в московском архиве сведения о Пугачеве (их не успели найти), то окружающие императора делали наброски манифеста к крестьянству, то он сам писал Евгению Богарне, что хорошо бы вызвать восстание крестьян, то спрашивал владелицу магазина в Москве француженку Обэр-Шальмэ, что она думает об освобождении крестьян, то вовсе переставал об этом говорить, начиная расспрашивать о татарах и казаках. Наполеон все-таки приказал доложить ему об истории пугачевского движения. Эти мысли о Пугачеве показывают, что он очень реально представлял себе возможные последствия своего решительного выступления в качестве освободителя крестьян. Если чего и боялись стихийно, „нутром“, русские дворяне, то не столько континентальной блокады, сколько именно потрясения крепостного права в случае победы Наполеона, причем они могли мыслить это потрясение или так, как им подсказывал пример Штейна и Гарденберга в Пруссии (после иенского разгрома прусской монархии), т. е. в виде реформы „сверху“ уже после заключения мира, что тоже было для них совсем неприемлемо, или в виде новой грандиозной пугачевщины, вызванной Наполеоном во время войны в форме всенародного крестьянского восстания, стремящегося открытым, революционным путем низвергнуть рабство.

Наполеон не захотел даже приступить к началу реализации последнего плана. Для императора новой буржуазной Европы мужицкая революция оказалась неприемлемой даже в борьбе против феодально-абсолютистской монархии, и даже в такой момент, когда эта революция являлась для него единственным шансом возможной победы. Так же мимолетно

подумал он, сидя в Кремле, о восстании на Украине, о возможном движении среди татар. И все эти планы также были им отвергнуты. В высшей степени характерно, что и в современной нам Франции новейшая историография похваливает Наполеона за эту твердость консервативных его настроений среди московского пожарища.

Вот что говорит автор новейших громадных восьми томов исследований, посвященных внешней политике Наполеона, Эдуард Дрио: „Он думал поднять казанских татар; он приказал изучить восстание пугачевских казаков; у него было сознание существования Украины… Он думал о Мазепе… Поднять революцию в России – слишком серьезное дело! Наполеон не без боязни остановился перед грозной тайной степей… Он был не творцом революций, но их усмирителем; у него было желание порядка; никто никогда больше, чем он, не обладал чувством и как бы инстинктом императорской власти, у него было что-то вроде физического отвращения к народным движениям… Он остался императором, без компромиссов, без низости“. При всем своем французском патриотизме историк Наполеона с особенным жаром хвалит своего героя за то, что тот предпочел в 1812 г. какие угодно бедствия, лишь бы не воззвать к революции, как с ударением и внушительностью подчеркивает правобуржуазный и благоговейный поклонник Наполеона в 1927 г., ударившийся в 1937–1938 гг., кстати будь сказано, в самую оголтелую реакцию. Гражданский Кодекс Наполеона

Наполеоновский Кодекс. Художник Мозесс

В тот октябрьский день, когда в московском Петровском замке Наполеон колебался, издать ли декрет об освобождении крепостных крестьян или не издавать, в нем шла сильная борьба. Для 25-летнего генерала, только что покорившего контрреволюционный Тулон, для друга Огюстена Робеспьера, для сторонника Максимилиана Робеспьера, даже позже уже для автора Наполеоновского кодекса колебаний по вопросу о том, оставлять ли крестьян в руках Салтычих обоего пола, быть не могло. Что русское крепостное право гораздо более похоже на рабство негров, чем на крепостничество в любой из разгромленных им феодально-абсолютистских держав Европы, Наполеон очень хорошо знал; шпионов в России он содержал целую тьму и информацию имел весьма полную и разнообразную. Но революционного генерала уже давно не было, а по залам Петровского замка, украдкой наблюдаемый дежурными адъютантами, ходил в раздумье взад и вперед его величество Наполеон I, Божьей милостью самодержавный император французов, король Италии, фактический верховный сюзерен и хозяин всего Европейского континента, зять императора австрийского, отправивший на гильотину или сгноивший в тюрьмах и ссылке многих людей, которые тоже были в свое время друзьями Максимилиана и Огюстена Робеспьеров и имели мужество остаться верными своим убеждениям.

Декрет об освобождении крестьян, если бы он был издан Наполеоном и введен в действие во всех губерниях, занятых войсками Наполеона, дойдя до русской армии, сплошь крепостной, державшейся палочной дисциплины, такой декрет мог бы, как это казалось некоторым из наполеоновского окружения, всколыхнуть крестьянские миллионы, разложить дисциплину в царских войсках и прежде всего поднять восстание, подобное пугачевскому. Ведь все-таки Россия была единственной страной, где всего за какие-нибудь 35–36 лет до прихода Наполеона пылала грандиозная крестьянская война, очень долгая, со сменой побед и поражений, со взятием больших городов (восставшие в известные моменты располагали лучшей артиллерией, чем царские войска), победоносно прошедшая по колоссальной территории, несколько месяцев сряду потрясавшая все здание русской империи. О германском крестьянском восстании Наполеон мог узнать только по документам, которым от роду было около 300 лет, а о русской пугачевщине ему могли рассказать, по личным воспоминаниям даже и не очень старые люди. Ведь крепостная жизнь русских крестьян ничуть не изменилась ни в главном, ни в деталях. На смену Салтычихе, бросавшей крестьян на горящие уголья, пришли Измайловы и Каменские с застенками и гаремами, и даже

всероссийские невольничьи рынки, где можно было покупать крепостных людей оптом и в розницу, детей отдельно от родителей, остались те же, что при Екатерине: Нижний Новгород на севере и Кременчуг на юге. Разница заключалась лишь в том, что опорой крестьянского восстания была бы на этот раз французская армия, стоявшая в самом сердце страны».

Теперь вы понимаете, как близко стоял Наполеон к возможности реального завоевания русского трона, предприми он в отношении крестьянства те меры, которых от него ждали. Миф доброго и справедливого батюшки-царя (не беда, что француз, – главное, он за крестьян!) вполне мог бы сработать, и крестьяне, демонстрируя свою благодарность Наполеону, играючи смели бы основы самодержавия русского!

Но Наполеон не осмелился.

Что же удержало руку Наполеона?

Почему он не решился даже попытаться привлечь на свою сторону многомиллионную крепостную массу?

Гадать много не приходится, он сам объяснил это.

Впоследствии император заявил, что «.

..не хотел „разнуздать стихию народного бунта“, что не желал создавать положения, при котором „не с кем“ было бы заключить мирный договор. Словом, император новой буржуазной монархии чувствовал себя все-таки гораздо ближе к хозяину крепостной полуфеодальной романовской державы, чем к стихии крестьянского восстания. С первым он мог очень быстро столковаться, если не сейчас, то впоследствии, и знал это хорошо по тильзитскому опыту; а со вторым он даже и не хотел вступать в переговоры. Если французские буржуазные революционеры летом и ранней осенью 1789 г. боялись движения крестьян во Франции и страшились углубления этого движения, то что же удивительного, если буржуазный император не был расположен в 1812 г. вызвать на сцену тень Пугачева? »

Вот так и совершается История…

Руководствуйся Наполеон сословными соображениями в меньшей степени и воплоти в жизнь хоть половину своих намерений относительно российских крестьян, и свершилась бы неслыханная катастрофа, которая задолго до 1917 года уничтожила бы самое средоточие царской власти в России. Ход Истории оказался бы кардинально изменен.

Можно лишь предполагать, какие бы последствия могло вызвать решение Наполеона. Однако Наполеон находился в слишком большом рассеянии и явно чересчур был озабочен сословными предрассудками, чтобы отважиться на освобождение крестьянства. Он предпочитал вместо этого звать к себе самых подчас неуместных людей, выспрашивая у них о впечатлении от творящегося в Москве и выспрашивая для себя возможного совета. Да, как это ни дико, но подобных неожиданных и весьма странных аудиенций (как в случае с госпожой Обэр-Шальмэ) удостоились тогда немало случайных лиц, в силу ничтожества своего неспособных не только предложить что-то полезное, а и вообще даже уразуметь суть вопросов императора.

Что ж, даже у великих душ бывают свои взлеты и падения.

Люди обычные, не совладав с чрезмерным шоком, пребывают потом в смятении всю оставшуюся жизнь.

Избранники же судьбы, поддавшись на миг душевной смуте, скоро овладевают своими

чувствами и способны вершить свое дело, как и прежде!

Наполеону приходилось заботиться не только об участи своей армии, оказавшейся в России. Он был обязан контролировать события, имевшие место в Европе, изрядная часть которой составляла его империю. Ему следовало корректировать военные действия, которые в то же самое время имели место на европейских фронтах. Не мог забыть Наполеон и о внутренних проблемах Франции. Кроме всего прочего, он еще деятельно пекся о своей семье…

Столько ответственности – и на одни плечи! Поистине это под силу лишь великим мира сего. И Наполеон, даже будучи отчасти потерянным, все-таки оставался верен себе.

«Император почти каждый день объезжал верхом различные районы города и посещал окружающие его монастыри, высокие стены которых делали их похожими на маленькие крепости. Он часто распространял эти разведки на довольно далекое расстояние. Монастыри были заняты сильными гарнизонами или же служили казармами для наших войск. Император приказал устроить в монастырских стенах бойницы с таким расчетом, чтобы оборону могли вести небольшие отряды, – на случай, если армия выступит из Москвы, чтобы дать сражение неприятелю.

Особое внимание император уделял продовольственным запасам не только для настоящего момента, но и на зиму, как если бы он решил оставаться в Москве. Он очень заботился о солдатах и их быте, а также об оборонительных работах, о которых он отдал распоряжение. Он работал весь день и часть ночи. Он управлял Францией и руководил Германией и Польшей так, как если бы находился в Тюильри. Каждый день с эстафетами приходили донесения и отправлялись приказы, дававшие направление Франции и Европе. Эстафетная служба достигла такой регулярности, что почта приходила по расписанию с точностью до двух часов.

После обеда император принимал маршалов, вице-короля и тех дивизионных генералов, которые могли в данный момент отлучиться от своих корпусов. Три-четыре раза в неделю он собирал за обедом вместе с маршалами нескольких дивизионных генералов. Во время послеобеденных разговоров император настраивал в подходящем для него духе своих собеседников и сообщал им те политические сведения, которые согласно его желанию должна была знать и обсуждать армия», – это свидетельство Армана Коленкура, которому у нас нет никаких оснований не доверять.Наполеон I. Л. Аристид по оригиналу П. Делароша

Однако согласитесь: очень непросто выносить грамотные решения при отсутствии доступа к свежей информации. Вот это было истинное горе для императора! Представьте себе, что вам приходится осуществлять руководство значительными военными силами на территории, о которой у вас нет никаких сведений. Кроме того, вы ничего не знаете и о дислокации противника, о численности его сил и намерениях.

«Император все время жаловался, – вспоминает Коленкур,

– что не может раздобыть сведения о происходящем в России. И в самом деле, до нас не доходило оттуда ничего; ни один секретный агент не решался пробраться туда. Всякое прямое сообщение было очень трудно, даже невозможно. Ни за какие деньги нельзя было найти человека, который согласился бы поехать в Петербург или пробраться в русскую армию. Единственные неприятельские войска, с которыми мы приходили в соприкосновение, были казаки; как ни желал император раздобыть нескольких пленных, чтобы получить

какие-либо сведения об армии, нам при стычках не удавалось их захватить. Единственные сведения о России, которые получал император, приходили из Вены, Варшавы и Берлина через Вильно. Эти сведения проделывали, таким образом, большой крюк, прежде чем доходили до императора».

Так что Наполеону было от чего прийти в смятение.

Ну а уж если даже великий человек оказывается в замешательстве, то чего же тогда следует ожидать от простых смертных?

И таково было давление обстоятельств, что чувство анархии тогда все больше и больше овладевало людьми. Все исконные понятия стремительно упразднялись, понятия этики и нравственности сгинули напрочь. Все неотвратимо погружалось в бездну хаоса. «

Нельзя себе представить картину Москвы в эти дни, – говорит Перовский,

– улицы покрыты выброшенными из домов вещами и мебелью, всюду слышны песни пьяных солдат, крики грабящих, дерущихся между собою. Многие французские офицеры весьма серьезно пеняли на то, что не могут найти ни сапожника, ни портного, чтобы исправить обувь или одежду, – они как будто имели на то полное право и жаловались на нас… »

«Усатые-разусатые гренадеры ходили в священнических ризах, треугольных шляпах, другие в женском салопе с епитрахилью на шее или в женской мантилье, в шароварах, с каской или в белом плаще с алым кокошником на голове, – повествует Василий Верещагин.

– Старый воин щеголял в дьяконовском стихаре. Тут всадник верхом в монашеской рясе, с красным пером на шляпе, здесь куча солдат в женских юбках, завязанных около шеи.

Когда солдаты возвращались в свой лагерь, переодетые таким образом в самые невероятные одежды, их можно было узнать только по оружию. Еще печальнее было то, что офицеры, подобно солдатам, начали ходить из дома в дом и грабить; другие, более совестливые, довольствовались грабежом в своих квартирах. Даже генералы под предлогом розыска по обязанностям службы заставляли сносить отовсюду, где находили, вещи, которые для них годились.

„Мы пустили лошадей марш-маршем, – рассказывает г-жа Фюзиль, – и добрались до бульвара, но дом, в котором надеялись укрыться, был весь в огне. Мы ходили из улицы в улицу, из дома в дом – все было разорено… Со вчерашнего дня мы ничего не ели. Вынесли из одного дома стол и несколько уцелевших стульев, что можно было, – состряпали и обедали среди улицы… Пусть представят себе этот обед среди домов в огне, некоторых представлявших уже только дымившиеся развалины. Ветер нес нам в глаза какую-то огненную пыль; тут же рядом расстреливали поджигателей; пьяные солдаты тащили по всем направлениям награбленное добро…“

И среди этих ужасов разыскивали по городу артистов: одним приказано было явиться для пения на концертах в Кремле, другим – играть в наскоро устроенном театре, в доме Позднякова, где давали комедию. Репертуар был составлен, и зал приведен в порядок; занавес сшили из парчи священнических риз, которая пошла и на костюмы, благо солдаты охотно променивали ее за кусок хлеба. Партер освещала большая люстра, взятая из церкви; дорогая мебель набралась из домов частных лиц. Оркестр был составлен из полковых музыкантов, но в числе их было будто бы несколько русских. Собранными по церквам восковыми свечами иллюминировали не только этот театр, но и некоторые из уцелевших

домов, где давали балы. Французы, вальсируя друг с другом, приставали к русским: Ou sont Vos Barines? Ou sont Vos demioselles? [8]

– и высказывали наивное сожаление, что не могут с ними хорошенько поплясать.

Ни Наполеон, ни маршалы не посещали новоустроенного театра, но многие генералы и масса офицеров и солдат ежедневно наполняли зал.

Временного веселья было не занимать стать тогда по Москве между победителями. „Так как, может быть, пришлось бы пробыть здесь долго, – говорит Bourgogne, – то у нас было кое-что припасено на зиму: семь больших ящиков игристого шампанского и много порто; пятьсот бутылок ямайского рома и более сотни голов сахара – все это для шестерых унтер-офицеров, одного повара и двух женщин. Говядины было мало, но у нас была корова… Много было также окороков, которых мы отыскали громадное количество. Прибавьте к этому большой запас соленой рыбы, несколько мешков муки, два бочонка жиру, который мы приняли было за масло, также много пива. Мы спали в бильярдной, на отличных мехах соболей, куниц, на тигровых, медвежьих и лисьих шкурах; голову обвязывали тюрбаном из кашмировых шалей“».

«Отлучавшиеся возвращались нагруженными всем, что только можно себе представить чудесного и богатого. Между замечательными вещами было несколько серебряных риз с образов, с прекрасными тиснеными украшениями; приносили также слитки серебра величиною в кирпич; затем были головные украшения, индейские шали, ткани из шелка, затканные серебром и золотом.

Мы, унтер-офицеры, имели право брать себе от солдат двадцать процентов с приносимого ими.

Прежде всего мы позаботились нарядить наших русских женщин по-французски, маркизами, и, так как сами они ничего в этом не смыслили, то двое нас, я и товарищ мой Фламан (Flamant), занялись их туалетом… – словом, всякий из нас оделся по своему вкусу. Наша маркитантша, тетушка Дюбуа (Dubois), подошедшая на этот случай, надела богатое платье русской боярыни. Так как париков не было маркизам, то ротный цирюльник взялся их причесать: намазал головы салом и посыпал мукой вместо пудры; затянуты они были отлично.

И вот, когда все было готово, мы принялись танцевать. Надобно сказать, что во все время этих приготовлений к балу мы пили пунш и что маркизы наши и маркитантша, хотя и крепкие на хмель, после нескольких больших стаканов были уже сильно выпивши. Оркестр представляла флейта, на которой играл наш старший сержант, ему вторил барабан. Начали с мотива „зададим им жару“, рам, рам, рам, там, плам, тире, лир, лам, плам. Но только что раздались звуки флейты и барабана, в ту самую минуту, как тетушка Dubois стала выходить со своим vis-a-vis, наши маркизы, должно быть, под влиянием удалой музыки, принялись вдруг выпрыгивать по-татарски, направо-налево: выкидывают ногами, откидывают руками, сгибаются, разгибаются – просто сам чёрт в них влез!

Если бы они были одеты по-русски, оно было бы не так смешно, но видеть французских маркиз, как известно, держащих себя чинно, так бешено прыгающими, было до того потешно, что мы треснули со смеха, а флейта наша просто покатилась и не могла продолжать – бил один барабан, и то… тревогу! А маркизы наши снова принялись за то же, пока, наконец, не попадали на пол от усталости. Мы им давай аплодировать, подняли их, опять стали пить и плясать, так до четырех часов утра…

На смотру полковник, оглядев помещение солдат, спрашивает: а унтер-офицеры хорошо помещены? Очень хорошо, ответил ему адъютант, ввел полковника в нашу квартиру и давай отворять двери, показывать наши комнаты, да вдруг и открыл в одной из них наших птичек –

сейчас же он закрыл дверь к ним и ключ спрятал в карман. Когда осмотр кончился, он показал мне ключ и, смеясь, сказал: „А, голубчики! у вас дичинка в клетке, а вы об ней ни гугу! Что эти барышни у вас там делают, где вы их отрыли: нигде этого добра не видать, а вы раздобылись!“ Тогда я рассказал ему, как я их нашел, и объяснил, что они нам моют белье. „В таком случае, – сказал он, – дайте их нам на несколько дней, пусть они помоют и наши рубашки, очень грязные – надеюсь, как добрые товарищи, вы не откажете в этом?“ В тот же вечер он их увел, и надобно думать, что они перемыли все офицерские рубашки, потому что воротились к нам через неделю.

Немало веселились и в Кремле. „При всех Кремлевских воротах, – говорит автор «Журнала», – стояли на часах гвардейские гренадеры; они были одеты в русские шубы, опоясаны кашмирскими шалями. Подле них стояли хрустальные вазы вполсажени каждая, полные самым деликатным вареньем из разных фруктов, с большими деревянными суповыми ложками. Около этих ваз было навалено множество всевозможной формы бутылок, которым, для быстроты, отбивали горлышки. Некоторые солдаты поснимали свои лохматые шапки и надели московские, и все были более или менее пьяны. Сложивши свое оружие, они отбывали службу со своими суповыми ложками и не пропускали никого, кто отказывался пить с ними, что требовали именем великого могола, китайского императора и др.“.

Грабеж был, наконец, официально запрещен, но, тем не менее, он продолжался; несмотря на приказы, уходили целые роты, батальоны, с которыми грабили сами офицеры. Запрещение отлучаться повторялось, но совершенно бесполезно. Тогда стали развешивать по городу строжайшие приказы с угрозами и расстреливать ослушников – это произвело свое действие. Жители стали понемногу выходить из своих подвалов и не узнавали Москвы! Она превратилась в огромные пространства развалин, между которыми едва можно было различить прежние улицы. Везде на улицах и на дворах валялись трупы людей, большею частью из простонародья, мертвые лошади, коровы, собаки; встречалось немало трупов повешенных: это были поджигатели или заподозренные таковыми; они были сначала расстреляны, потом повешены, и мимо всего этого солдаты проходили с величайшим хладнокровием.

До четырнадцати тысяч домов были обращены в пепел, и в числе их множество настоящих дворцов, из которых каждый стоил от 100 до 200 тысяч рублей. Сгорело шесть тысяч лавок малых и больших, между последними некоторые магазины громадной цены. Так как никто не ожидал, что город будет предан пламени, то можно только представить себе, сколько богатства погибло».

Пожар продолжался, к счастью, не так уж долго. Чаще всего очевидцами называется одна цифра: 5 дней. Но, право же, поверить в то, что подобный урон может быть нанесен такому городу за столь мизерный срок времени, было решительно невозможно. По прекращении пожаров жизнь постепенно стала возвращаться в более или менее обыденное русло. Уж так устроены люди, что, в принципе, способны свыкнуться с чем угодно. Даже с сожжением родного города и присутствием в нем иностранного воинства! Тем более что и материальная жилка давала себя знать.

Как сообщает Верещагин:

«…в самой Москве, впрочем, менее боязливые и более чуткие к наживе жители стали под конец ближе сходиться с неприятелем, не так бояться его, и происходили интересные сцены с объяснениями языком, кулаком и ружейными прикладами. Найденное на монетном дворе большое количество меди дало возможность платить французским солдатам жалованье этою

монетой. Как только императорская гвардия начала продавать свои мешки в 25 рублей медью, тотчас же стая хищных птиц из жителей направилась на Никольскую, где было главное место продажи; там сначала по 50 коп., потом по рублю можно было получить сколько угодно этих мешков с медью, и говорят, что тут было положено начало богатству некоторых первостепенных купеческих домов в Москве. Трудно было, однако, уносить их по причине их тяжести, тесноты и давки от толпы. Женщины жадно взваливали себе мешки на оба плеча, но не успевали сделать и нескольких шагов, как какой-нибудь силач отнимал у них добычу и убегал с нею. Крики, брань, драка – все смешивалось.

„Мусью, мусью! подарите“. – „Что даешь?“ – „Але! Але!“ – „Подарите, мусью!“ – и затем град ударов обнаженною саблей, но на это не обращали внимания, так как нажива была слишком близка и велика… На другой день несколько солдат, поместившись под окнами присутственных мест, устроили разменную кассу: они получали сначала деньги, следующие за мешок, потом бросали его из окна – все толпилось и дралось, чтобы пробраться поближе к продавцам. Несмотря на удары и даже ружейные выстрелы, посылаемые иногда в толпу для водворения порядка, народ не переставал напирать и бешено кидаться на выбрасываемые из окна мешки.

В Москве в это время было три кабака; деньги собирали французы, а приказчиками служили русские – и тут стояли толкотня, крики и драки.

В глухих местах, подвалах и по окраинам города было перебито немало неприятельских солдат: по освобождении Москвы их находили зарытыми в садах, огородах и брошенными на дно колодцев. По рассказу одного воспитанника духовного училища, он „прислуживал в доме на окраине города, где жил отряд неприятельских гусар. Раз вечером он заметил, что кто-то, то пригибаясь, то приподнимаясь, смотрел в освещенные окна. Он окрикнул и спросил: что ты высматриваешь? Незнакомец отскочил от окна, подошел и, узнав о горькой участи семьи малого, отвел его в глубь сада, где показал под сермягою казацкую форму. Он расспросил мальчика, сколько именно живет в доме гусаров, в которой комнате они спят, где хранится их оружие, где стоят лошади, и пригрозил не болтать. Через день суматоха ранним утром разбудила мальчика – гусары были все перебиты. Много было подобных случаев, – французам недаром виделись везде проклятые казаки“.

В общем положение неприятеля в городе стало принимать тревожный оборот. Прокламации к жителям с восхвалением мудрости, милосердия и великодушия Наполеона и приглашением, возвратившись в свои дома, мирно предаться прежним занятиям – не имели никакого действия: кто мог бежать, скрывался из Москвы и в последние дни. Вступить в торговые отношения с окрестными жителями, как сказано, не удалось отчасти из-за недостатка дисциплины и безопасности в городе, отчасти из-за того, что само общество крестьян стало очень строго относиться к тем из них, что пробовали завязывать эти сношения, – их стали наказывать смертью, как изменников родине и царю».

Ранее мы уже отмечали, что на первых порах Великая Армия была встречена в русских землях довольно благожелательно. Правда, французы сами сокрушили напрочь возможность установления «добрососедских» отношений – уж очень они были ошеломлены величием и необъятностью страны, которую вознамерились покорить; и уж совсем их ставило в тупик то обстоятельство, что о привычном ведении войны в данном случае не могло быть и речи!

Когда Москва оказалась в руках французов, там все пошло в обратном порядке. Поначалу, когда пошли пожары и воцарился повсюду ужасный хаос, ни о каком сближении с захватчиками никто даже не помышлял. Однако, как только положение отчасти стабилизировалось, некоторые из москвичей выказали себя не такими уж и трепетными патриотами своего отечества; впрочем, повела себя таким пакостным образом большей

части торговая братия – что, согласитесь, не очень и удивляет. Ведь на Руси понятия чести и торговли совершенно чужды друг другу!

У Василия Верещагина, собственно, так и сказано:

«Измены со стороны русских в Москве было сравнительно немного, а от дворян совсем мало: кроме шталмейстера Загряжского, умышленно оставшегося в городе, угождавшего французам, особенно другу будто бы своему, Коленкуру, и часто бывшего в своем шитом мундире у Наполеона, можно назвать Самсонова, прислуживавшего Даву, и еще разве очень немногих.

Духовенство столичное держало себя достойно – не было и подобия слабости, проявленной на западе. Некоторые из оставшихся священников пытались возобновлять Божественную службу, очищали, запирали свои церкви, но в них снова выламывали двери и замки, рвали церковные книги и бесчинствовали. Едва ли не один священник Новинского монастыря Пылаев оказался слишком уступчивым: вызвался потешить Наполеона и отслужил в Успенском соборе литургию под архиерейским облачением, так как французский император пожелал видеть архиерейскую службу.

Были молодцы из русских и иностранцев, эксплуатировавшие затруднительное положение неприятеля и самого Наполеона; так, явился в Кремль поляк, казавшийся человеком хорошего общества, и объявил, что он подослан русским главнокомандующим для разведок. Наполеон сам продиктовал ответы на вопросы, будто бы данные русским генералом, вручил их незнакомцу, хорошо наградивши его, – и тот не возвращался. Некая красивая дама, музыкантша, назвавшаяся немецкою баронессой, предложила тоже свои услуги, получила несколько тысяч франков и – тоже пропала.

Между купцами трех гильдий оказалось больше всего людей, согласившихся вступить на службу к завоевателю; было несколько чиновников, лекарей, учителей и немало разночинцев. Из зажиточных большинство вступили в учрежденный „муниципалитет“ под принуждением и угрозами; члены этого муниципалитета носили на руках перевязки из белых и красных лент и в случае надобности могли требовать от французского начальства вооруженного вмешательства.

Купец Кольчугин, например, объяснил невыезд свой из города тремя причинами: 1) из-за ручательства главнокомандующего через афиши в том, что Москва не будет добровольно сдана; 2) из-за того, что паспорта в последнее время выдавались только женщинам и детям; 3) из-за семейных и торговых соображений. Большинство, конечно, могло бы привести те же резоны. Все они: купцы Коробов, Бакинин, Лешаков, помянутый Кольчугин и, особенно, принявший должность городского головы купец Находкин уверяли потом, будто объявили, что не намерены делать ничего противного вере и государю, на что французский губернатор Лессепс будто поспешил ответить, что „ссора между императором Наполеоном и императором Александром до них не касается и что единственною их обязанностью будет смотреть за благосостоянием города“.

Согласно этому последнему заявлению, обязанности муниципалитета были разделены на такие рубрики: „Спокойствие и тишина“, „Мостовые“, „Квартирмейстерская часть“, „Закупки“, „Правосудие“, „Надзор за богослужением“, „Попечение и надзор за бедными“, „Комиссары и помощники“ (пристава).

Московский купец Осипов поднес Наполеону хлеб-соль на серебряном блюде, за что дом его не велели трогать и ему был дан подряд по продовольствию. Однако, когда, для исполнения этого поручения, он потребовал необходимое число подвод, Наполеон велел ему сказать, что повесит его, коли тот станет рассуждать.

Городской голова Находкин был награжден за свои услуги 100 000 рублей фальшивыми бумажками, не принесшими ему пользы.

По уходе неприятеля все эти господа, с их шелковыми перевязями, по приказанию Ростопчина, сгребали под караулом снег на московских улицах».

То, что услуги городского головы были оплачены фальшивыми банкнотами, не должно удивлять. Помимо проекта об освобождении крестьян, Наполеон замыслил также аферу с введением в обиход в России поддельных денег. Он полагал, что тем самым в кратчайший срок добьется дестабилизации страны и поставит ее на колени. Неоправданная уверенность Наполеона в том, что этот не слишком-то благородный замысел, мало подобающий ему как императору, увенчается успехом, заставляла недоумевать его ближайшее окружение.

Василий Верещагин пишет:

«Нельзя думать, чтобы Наполеон сам вполне доверял своему оптимизму; главным двигателем его поступков, очевидно, была нерешительность. Все окружающие удивлялись полному отсутствию в нем прежней живой, быстрой, сообразной требованию решимости; видели, что гений его разучился прилаживаться к обстоятельствам, как это бывало при его возвышении: тут он упирался, спорил, не желая мириться с крушением своих планов. Не только военные замыслы, но и все другие затеи, при успехе называемые гениальными, а при неудаче позорными и бесчестными, – не удавались ему, разлетались как дым. К числу таких неудачных затей, кроме помянутых попыток возмутить крестьян и татар, надобно отнести и горький промах с поддельными бумажками, которых было сфабриковано на 100 000 000 рублей. Сомневаться в существовании этих 100-рублевых ассигнаций парижского происхождения нельзя. В одном из писем Бертье есть жалоба на потерю последней коляски, в которой были „самые тайные бумаги“, – в этой коляске найдена была улика мошенничества: доска для делания сторублевых русских ассигнаций.

Всевозможные предосторожности были приняты перед войной, чтобы парижские художники, которым поручено было гравирование досок, не догадались, для какого позорного дела они работают. Подделка производилась медленно, что сердило Наполеона, не раз подтверждавшего об ускорении дела. Кампания уже началась, когда привезли 28 ящиков с фальшивыми бумажками, и если он не успел пустить их в оборот, то только потому, что путь был безлюден, некому было платить, некого награждать.

Еще весною 1812 года герцог Бассано передал варшавскому банкиру Френкелю на 20 000 000 фальшивых денег с поручением пускать их в русские пределы, по мере вступления французов, и в помощь операции был распущен слух, будто при занятии французами Вильны было захвачено на многие миллионы ассигнаций, – но слух этот не помог делу. Исправлявший должность московского городского головы купец Находкин, получивший за свою податливость 100 000 рублей, Поздняков и Кольчугин и др., награжденные из того же источника, не решились распространять эти деньги, а почтенный директор воспитательного дома Тутолмин прямо отказался принять такую помощь: „Их была одна зловредность, – писал он в донесении императрице, – чтобы ссужать меня своими фальшивыми ассигнациями, коих привезли с собою весьма большое число и ими даже, по повелению Наполеона, выдавали своим войскам жалованье“. Гвардия неохотно принимала эти бумажки, хотя они были хорошо подделаны и по ошибке были даже принимаемы после русскими банками.

Столь же малоуспешной, как и печатание фальшивых банкнот, оказалась стратегия, направленная на вербовку оставшихся в Москве русских граждан с целью использования их в качестве шпионов. Хоть некоторые, как вы уже видели выше, подчас шли сами на

сотрудничество, но в целом ставка Наполеона на то, что ему без особых забот удастся заручиться и воспользоваться услугами перебежчиков и изменников, не подтвердилась».

Вместе с тем не следует забывать о том, что у Наполеона в России, естественно, существовали свои шпионы-профессионалы. Более того, специфика организации той же российской почтовой службы словно предрасполагала к утечке сведений особо важного характера, которые легко могли быть использованы во вред отечеству.

У Е. В. Тарле об этом сказано так:

«Россия полна была наполеоновскими шпионами обоего пола и всех мастей, и эти шпионы преспокойно сидели в Петербурге, в Москве, в Одессе, в Риге, в Кронштадте вплоть до нашествия, а многие остались и после нашествия и служили верой и правдой Наполеону, когда он был в Москве. Никого из них все эти русские полицейские следопыты не уследили, а между тем сколько было возни с организацией этой слежки! И в какой хаос пришло это дело при военной грозе 1812 г.»!

Приведу документальные примеры.

Владелец большой суконной и шерстобитной фабрики в селе Бондарях, Тамбовского уезда, француз Лионн был заподозрен в шпионстве в пользу Наполеона. Опасаясь возмущения патриотически настроенных рабочих, центральные и местные власти заботились не столько о том, чтобы обезвредить шпиона, сколько о том, чтобы прикрыть самый факт шпионажа и не довести его до сведения рабочих. Министр внутренних дел писал тамбовскому губернатору: «Весьма опасно, чтобы огласка не довела крестьян-фабричных до возмущения и до остановки работ на фабрике».

После гибели Москвы, когда правительство было особенно неспокойно, оно даже совершило в области расследования внутреннего шпионажа некоторые необдуманные поступки, на которые люди, в этой сфере имевшие и дар и призвание, взирали с большим неодобрением и опасениями. Тут мы наталкиваемся на нечто вроде порицания ученого знатока и специалиста против увлекающихся дилетантов, которые, не изучив техники дела, думают, что можно все взять одними лишь порывами и широкими стремлениями.

В самом деле. Сидит в Нижнем Новгороде переехавший из занятой Москвы помощник директора Московского почтамта Рунич, тот самый, который впоследствии искоренял безбожие в Петербургском университете. И вдруг он получает известие из Петербурга, что оттуда циркулярно предложено губернаторам требовать от губернских почтмейстеров подозрительные письма для перлюстрации. Он в смятении. Для многоопытного Дмитрия Павловича Рунича перлюстрация – это не ремесло, которому можно наскоро и кое-как выучиться, но одно из изящных искусств, требующее любовного культивирования, и нельзя первого встречного губернатора к нему подпускать, потому что могут получиться гибельные последствия.

«…Освидетельствование корреспонденции и наблюдение за оною производилось всегда чрез один только почтамт посредством особых чиновников, при перлюстрации употребляемых, и сие делалось так тайно и с толикою осторожностью, что самые экспедиции разбора и отправления почт не ведали того, чья именно корреспонденция наблюдается и

какие письма перлюстрации подвергаются, – с горечью и достоинством жалуется Рунич своему министру Козодавлеву

. – И до сих пор результаты были блестящие: „В доказательство того, что операция сия весьма скрытно производилась, представить можно то, что в течение многих лет самые перлюстрированные письма получавшим оные не подавали малейшего повода к сомнению или подозрению, и правительство чрез внушенную в публике доверенность к почтовому департаменту имело всегда в руках своих средства к таким открытиям, которые при самых усерднейших исследованиях оставались иногда скрытыми. По уважению сих истин и быв удостоверен, что поручение о наблюдении за корреспонденцией, сделанное почтовым конторам, совершенно подорвать может издавна утвердившуюся доверенность публики к почтовому департаменту, ибо губернские конторы ни средств для сего потребных не имеют, да и самое выполнение почтмейстерами предписаний господ губернаторов подвергнуться может огласке, и, следовательно, те лица, за коими наблюдение производиться будет, сделает осторожными, я имею справедливый повод думать, что под сим предлогом и непозволительное даже злоупотребление весьма легко вкрасться может“.

Эта „внутренняя доверенность“ публики к почтамту, которую так ценил Рунич, в самом деле, судя по позднейшим его сетованиям, стала исчезать и заменяться самой „злокачественной“ осторожностью со стороны лиц, пишущих письма.

Вообще же помощник московского почт-директора Рунич прямо говорил своему начальнику министру внутренних дел Козодавлеву, что он смотрит на перлюстрацию писем как на главную свою обязанность по службе. Он только скорбит, что нет у людей уже прежней их доверчивости: все пишут о семейных делах и разных личных расчетах, да еще повадились отправлять по нескольку писем в одном большом пакете на безопасное чье-нибудь имя. Вот тут и следи! „Без сомнения, или по недоверчивости к почтовому месту, или с другим каким видом это делается“. Словом, никакого чистосердечия у отправителей писем нет, и это крайне затрудняет дело. Если на ком может взгляд остановиться с надеждой, то разве на некоем „Кр.“ (приведены только две первые буквы). Он, можно сказать, сам по себе ходячий почтамт. „По связям его со всеми знатными здешними домами и лицами, великому обращению в свете и, можно сказать, особой любезности он имеет (такие. – Е. Т.

) средства узнавать и мнения частные, и общие слухи, что никто с ним в сем случае поравняться не может“. Но, конечно, на „Кр.“ надейся, а сам не плошай. „Но, несмотря на то, я не оставлю усугубить всех усилий моих, чтобы открыть подобный сему канал чрез перлюстрацию и особливо счастливым почту себя, если успех в том соответствовать будет и желаниям вашего превосходительства, и усердному во всех отношениях стремлению моему“ и т. д.».

Некоторые из тех, что прошли вербовку, давали французам свое согласие на сотрудничество, но, покинув Москву и оказавшись в расположении армии Кутузова, поступали иначе и тут же приходили к своим с повинной, подобно купцу по фамилии Жданов:

«…иное было поведение купца Жданова. По внушению помянутого Самсонова, клеврета маршала Даву, ему было поручено этим последним идти в Калугу, рассмотреть и расспросить:

– сколько русской армии;

– кто начальник ее;

– кто начальники частей;

– куда идет армия;

– укомплектованы ли полки после Бородинского сражения;

– подходят ли еще войска;

– что говорит народ о мире;

– разгласить, что в Москве хлеб весь цел;

– распустить слух, что хотят зимовать в Москве.

Если российская армия идет на Смоленскую дорогу, то, не доходя до Калуги, возвратиться в Москву как можно скорее. Возвратясь, ни в чем не лгать, говорить только о том, что подлинно видел и слышал. Это предписание под великим опасением никому не открывать и даже жене не сказывать, куда идешь. Возвратясь назад, на первом французском посте объявить о себе, для представления князю Экмюльскому. В случае успешного возвращения обещано 1000 червонцев награды и дом в Москве; в случае измены должно было ответить семейство, оставшееся в залог.

Жданов не задумался явиться к Милорадовичу, открыть причину, по которой был выпущен из Москвы, и рассказать о поручении, данном ему французами… Его успокоили, обласкали, вдобавок, каким-то чудом, семья его осталась цела».

Кстати, раз уж мы упоминаем здесь русское купечество, то надо помнить, что война всегда на руку тем, кто работает с деньгами (даже в том случае, если страна их становится жертвой вражеского вторжения).

Е. В. Тарле совершенно справедливо замечает по этому поводу:

«Купечество, тот „средний класс“, который Наполеон рассчитывал найти в Москве, обнаружило дух полной непримиримости к завоевателю, хотя Ростопчин в Москве очень подозрительно относился к купцам-раскольникам и полагал, что они в душе ждут чего-то от Наполеона. Во всяком случае, никаких торговых дел с неприятелем (очень этого домогавшимся) купцы не вели, ни в какие сделки с ним не входили и вместе со всем населением, которое только имело к тому материальную возможность, покидали места, занятые неприятелем, бросая дома, лавки, склады, лабазы на произвол судьбы. Московское купечество пожертвовало на оборону 10 миллионов рублей – сумму по тому времени огромную. Были значительные пожертвования деньгами от купечества также и других губерний».

Пожертвования были очень значительные. Но если часть купечества очень много потеряла от великого разорения, созданного нашествием, то другая часть много выиграла. Многие купеческие фирмы «жить пошли после француза». Мы уж не говорим о таких взысканных фортуной удачниках, как Кремер и Бэрд (знаменитый потом фабрикант), разжившихся на поставках ружей, пороха и боеприпасов. На чрезвычайном заседании комитета министров 9 сентября было решено выписать из Англии пороху 40 тысяч пудов и 50 тысяч ружей. Выписку этих вещей брали на себя коммерции советник Кремер и заводчик Бэрд. Цена за пуд пороха была ими поставлена 29 рублей (серебром), за каждое ружье – 25 рублей. Цены эти были

очень и очень хорошие – не для казны, но для получивших этот заказ на поставку.

Но и «средние» подрядчики, доставлявшие армии сено, овес, хлеб, сукно, кожу, «охулки на руку не клали» и жили с армейскими «комиссионерами» и «комиссарами» (интендантами) в дружбе, любви и совете. По военному времени торговаться много с поставщиками и подрядчиками не приходилось, проверять их счета было некогда. Генерал Ермолов только помечтал «сжечь» уличенного им вора-интенданта. О «сожжении» или хотя бы уголовном преследовании купцов-поставщиков речь могла идти лишь в совсем исключительных случаях (да и то уже тогда, когда война давно окончилась).

Справедливые нарекания посыпались в 1812 г. на купечество за громадный и внезапный рост цен на все товары вообще и на предметы первой необходимости в частности. Знаменитые, всегда и всеми авторами цитируемые стихи применимы были не только к Петербургу, где они возникли: «

Лишь с Англией разрыв коммерции открылся, то внутренний наш враг на прибыль и пустился. Враги же есть все те бесстыдные глупцы, грабители людей, бесчестные купцы » и т. д.

Эти стишки сложены (о чем иногда забывается) не по поводу войны с Наполеоном, а в предшествующие годы, в годы континентальной блокады, но истинную популярность приобрели они в 1812 г., когда все вздорожало в совершенно неслыханных размерах. Дело было не только в полном прекращении ввоза товаров из-за границы, но и в огромных закупках и заготовках для армии и в обширных спекуляциях на этой почве. К этому нужно прибавить разорение занятой неприятелем территории, уничтожение промышленных предприятий, истребление посевов и урожая. В Смоленске, в Москве, в Вязьме, в Гжатске, в Можайске все фабрики без исключения были уничтожены огнем или дотла разграблены.

Рабочих в тогдашней России числилось около 150 тысяч человек (в 1814 г. – 160 тысяч). Рабочие были большей частью крепостными и работали на фабриках своих помещиков или на предприятиях купцов, которым помещики передавали крестьян на определенные сроки, часть же рабочих была и вольнонаемной. И те и другие в большинстве случаев были тесно связаны с деревней, и, когда пришла гроза двенадцатого года, рабочие занятых неприятелем мест разбежались по деревням.

Очень сильно спекулировали и на предметах вооружения. Спекуляция эта получила новый толчок после посещения Москвы царем. До приезда царя в Москву и до его патриотических воззваний и объявления об ополчениях сабля в Москве стоила 6 рублей и дешевле, а после воззваний и учреждения ополчений – 30 и 40 рублей; ружье тульского производства до воззваний царя стоило от 11 до 15 рублей, а после воззваний – 80 рублей; пистолеты повысились в цене в пять-шесть раз. Купцы видели, что голыми руками отразить неприятеля нельзя, и бессовестно воспользовались этим случаем для своего обогащения – так свидетельствует несчастный Бестужев-Рюмин, который не успел в свое время выехать из Москвы, попал в наполеоновский «муниципалитет», старался там (конечно, без существенных результатов) защитить жизнь и безопасность оставшейся кучки русских, а в конце концов после ухода французов был заподозрен в измене, подвергся преследованию и нареканиям.

Уже в декабре московские купцы стали подавать правительству заявления об убытках от нашествия. Реестры при этом составлялись очень подробные. Начинались многие эти заявления одной и той же курьезной формулой, очевидно пущенной в ход каким-нибудь грамотеем-приказным, зарабатывавшим по купечеству на составлении просьб и иных бумаг: «

Известный всем неприятель, вторгнувшись в Москву, пожег в ней домы и купеческие ряды, в числе которых сгорело на великотысячную сумму и моего разного товара ».

Последствий эти прошения (как общее правило) не имели.

Есть свидетельства о денежных пожертвованиях в 1812 г. и от дворянства, но в большинстве случаев нельзя принимать за чистую монету все эти помещичьи заявления о пожертвованиях, приносимых на алтарь отечества. Вот, например, помещики Невельского уезда Витебской губернии заявили (уже после войны), что они ставили продовольствие для русских войск из чистейшего патриотизма и не желают получать за это деньги, но скептический витебский губернатор Лешерин фон Герцфельд доносит сенату: «

Они (помещики. – Е. Т.),

описывая, что все исполняли единственно из верноподданнической ревности, между прочим нечувствительно ведут, чтобы им за перевозку овса и каких-то других предметов сделали уплату, а также уволили бы и от взноса податей, которых, может быть, больше следует с них взыскивать, нежели сколько получить им от казны за поставленные ими припасы. Следственно, мысли их стремятся к тому, чтобы под видом верноподданнического пожертвования приобресть себе сугубое вознаграждение ». Вчитываясь в подобные документы, мы часто замечаем, куда «нечувствительно ведут» некоторые патриотические заявления.

Конечно, были и мелкие, обыденные, житейские интересы и узколичные помышления, и как курьезен иногда бывает этот калейдоскоп действительной жизни, когда читаешь некоторые документы! Вот перед нами письмо, помеченное из лагеря в Тарутине 30 сентября 1812 г. Москва уже сдана и сгорела. Наполеон в Кремле. Генерал Лавров пишет в Петербург Аракчееву: «

Должно, наконец, отдать справедливость русским, что они ни в каком положении не унывают; пламенное их усердие непременно. Поистине вам скажу, что не слыхал ни одного человека, жалующегося о потере своей, всякий стремится к одному предмету, дабы Россию избавить от нашествия вражия. Умы до такой степени воспламенены, что генералы, офицеры, солдаты и мужики лучше согласятся погребстись под развалинами отечества своего, нежели слышать о мире… При помощи Всевышнего ответим неприятелю – вот цель всех наших желаний – и потом поедем на отдых. А между тем сделайте одолжение, милостивейший благодетель мой, попросите Гурьева, дабы он предписал, что всемилостивейше пожалованная мне земля в Козельском уезде отдана была калужской казенной палатой, которая, кажется, и по сие время не извещена ».

Е. В. Тарле горько замечает: «

Это простодушное „а между тем“ с прямым переходом от Наполеона, у которого нужно вырвать Россию, к калужской казенной палате, у которой нужно вырвать „пожалованное“ имение, очень типично и для класса, к которому принадлежал автор письма, и для момента. Ведь он явно одинаково искренен и в желании победить Наполеона, и в усилиях сломить сопротивление калужской казенной палаты ».

Кстати отмечу, раз уже упомянуто имя Аракчеева, еще и следующее: Аракчеев, никогда даже и на сотню верст не приблизившийся ни к одному опасному месту за всю войну, хотя он был генералом и состоял на действительной службе, отличался, кроме исключительной трусости, еще необычайным своекорыстием и постоянно затруднял власти жалобами и ябедническими бумагами, имеющими целью избавить его, «как новгородского помещика», от каких-либо вызывавшихся войной чрезвычайных расходов и платежей.

Конечно, воровавшие интендантские чиновники и грабившие казну помещики находили себе в Петербурге стойкого покровителя в лице Аракчеева.

Характернейшую историю передает нам в своих записках сурово-правдивый Сергей

Григорьевич Волконский, будущий декабрист, который служил в 1812 г. под начальством генерала Винценгероде, старавшегося по мере сил бороться против всех этих казнокрадов: «

Но вопль чиновников, которым препятствовал Винценгероде делать закупы по фабулезным (сказочным. – Е. Т

.) ценам, и таковой же вопль господ помещиков, которые, как тогда, так и теперь и всегда будут это делать, кричать о патриотизме, но из того, что может поступить в их кошелек, не дадут ни алтына, – этот вопль нашел приют в Питере, и на эти жалобы, хотя в выражениях весьма учтивых, от графа Аракчеева был прислан Винценгероде запрос. Имея рыцарские чувства, Винценгероде, получив его, вспылил, не отвечал графу, но, написав письмо прямо государю, приказал мне немедленно отправиться с этим письмом в Петербург ». Князь Волконский тотчас отправился к царю и был им принят. Дело было в октябре 1812 г. Александр предложил ему три вопроса, и Волконский так, по трем пунктам, и излагает вопросы царя и свои ответы: «1) Каков дух армии? Я ему отвечал: Государь! От главнокомандующего до всякого солдата все готовы положить свою жизнь к защите отечества и вашего императорского величества. 2) А дух народный? На это я ему отвечал: Государь! Вы должны гордиться им: каждый крестьянин – герой, преданный отечеству и вам. 3) А дворянство? Государь, сказал я ему: я стыжусь, что принадлежу к нему. Было много слов, а на деле ничего».Ф. Винценгероде. Гравюра В. Ческого

Таковы были впечатления правдивого и беспристрастного свидетеля. Не менее интересна развязка дела с жалобой Винценгероде: Александр I, отлично понимая, что Винценгероде совершенно прав и что Аракчеев – покровитель воров и казнокрадов, стал на сторону Аракчеева. «Вот тебе письмо к Винценгероде, он поймет меня и убедится, что имею полное уважение и доверие к нему, но в ходе дел административных надо давать им общий ход…»

Что означает эта умышленно темная фраза? А вот что: пусть Винценгероде не тревожится неприятными для него бумагами и пусть впредь «кладет их под красное сукно». То есть, значит, пусть не обращает внимания на запросы Аракчеева. Это – с одной стороны. А с другой стороны – царь тут же прибавил, заканчивая разговор с князем Волконским: «Через несколько часов потребует тебя для отправления граф Алексей Андреевич (Аракчеев. –

Е. Т .) – ты не говори, что я тебя требовал к себе и что ты получил от меня конверт для вручения Винценгероде». Эти слова подчеркнуты самим С. Г. Волконским, который прибавляет: «Я указываю на эти последние слова как на странный факт того, что государь себя подчинял какой-то двуличной игре с Аракчеевым, и как доказательство силы Аракчеева у государя».

Волконскому не суждено было передать эту странную беседу с царем генералу Винценгероде: пока он ехал из Петербурга в действующую армию, Винценгероде был взят в плен и… чуть было не расстрелян Наполеоном. Но все равно – ясно, что ни Винценгероде и никто из подобных ему борцов за интересы казны ни малейшей поддержки со стороны царя не имели, и помещики могли и впредь спокойно продавать русской армии продукты по «фабулезным ценам», чувствуя за собой прочную защиту в лице «новгородского помещика» Аракчеева. Ни с этим «новгородским помещиком», ни с другими помещиками вообще Александр Павлович никогда не считал благоразумным ссориться, хотя очень хорошо понимал, что Винценгероде прав в своих действиях, а князь Волконский искренен в своих общих отзывах.

У Аракчеева пред глазами были высокие образцы для подражания.

Наиболее резкий контраст героическому самопожертвованию народных масс являло то, что происходило в верхах. Ограничимся одним, но зато особо показательным примером.

Царский брат цесаревич Константин Павлович, укрывшись от войны в Петербурге, времени даром не терял. Он представил в Екатеринославский полк 126 лошадей, прося за каждую 225 рублей. «Экономический комитет ополчения сомневался, отпустить ли деньги, находя, что лошади оных не стоят». Но государь приказал, и Константин получил 28 350 рублей сполна, а затем лошади были приняты: «45 сапатых застрелены немедленно, чтобы не заразить других, 55 негодных велено продать за что бы то ни было, а 26 причислены в полк». Это было единственной «услугой», оказанной отечеству Константином Павловичем в 1812 г. В. И. Бакунина в своих интимных заметках говорит по поводу этого поступка Константина, что «язык недостаточен», чтобы приискать «название истинно выразительное» для подобных деяний; «надобно изобрести новые», достаточно «выразительные» слова, чтобы восславить Константина Павловича так, как он того заслуживает.

Некоторые же российские граждане в то время, несмотря на свое влияние и возможности, хоть и не были замечены в казнокрадстве и измене, но явно предпочитали просто отсиживаться без дела. Так они поступали или из страха, или же по славянскому обыкновению: пусть-ка там все само рассосется!

«

Нельзя не сделать упрека Ростопчину , – с возмущением пишет Верещагин

, – в том, что во время пребывания французов в Москве он проживал в недальнем расстоянии от нее в сравнительной бездеятельности, – почему как горячий патриот не посвятил он себя делу организации партизанской войны? Деньги, средства и власть на то у него, бесспорно, были. Тут Ростопчин оказался не на высоте обстоятельств, неудержимою волной смывших все его детские соображения об истреблении неприятеля с высоты воздушного шара и защите столицы московскою голью, вооруженною чем попало, вместе с пышными фразами его всеподданнейших донесений и каламбурами знаменитых „афиш“ ».

Все вышеописанное – измены одних, позорное бездействие других, чудовищные хищения и прочее – могло бы заставить капитулировать любую страну, но только не Россию. Все традиционные способы и методы военного противостояния в случае с русскими оказывались неэффективными. Россия и не думала капитулировать! И это создавало воинству Наполеона очень серьезные проблемы.

Однако среди всех проблем, с которыми пришлось столкнуться французам в это время, наиболее остро все же стояла проблема продовольствия.

Василий Верещагин утверждает:

«…несмотря на обилие вин, сахара и т. п., довольно трудно было достать хлеба; говядины тоже было мало. Приходилось посылать сильные партии для фуражировки в леса, куда скрылись со скотом крестьяне, но часто фуражиры возвращались вечером ни с чем – таково в конце концов было изобилие, доставленное грабежом. Между тем достоверный очевидец, аббат Сириг (Sirugue), говорит, что если бы власти правильно завладели всеми запасами муки, водки и вина и учредили какой-нибудь порядок в распределении всего этого, то найденное в Москве могло бы с лихвою прокормить всю армию в продолжение зимних месяцев. Теперь же вышло, что в начале вино и водка выпускались из бочек для развлечения прямо в погреба, до того иногда переполненные, что, случалось, солдаты тонули в них; потом, при наступивших холодах, стал ощущаться недостаток в этих предметах первой

необходимости.

Подмосковные жители села Останкина приехали было в Москву на 30 подводах с овсом и мукою – все было куплено и за все заплачено; их отпустили назад и наказали непременно приезжать опять. Но едва они выехали за город, как неприятельские отряды напали на них, избили, отняли лошадей, а самих крестьян возвратили в Москву и заставили работать. Еще два других крестьянина из выискавшихся охотников продавать французам сельские произведения были ограблены. После этого, конечно, не оказалось желающих торговать с неприятелем и, несмотря на все старания и заманивания Лессепса и его русских помощников, не удалось восстановить безопасности и свободного обмена».

Между тем, согласно Арману Коленкуру, по распоряжению императора

«…была устроена хлебопекарня; шла энергичная работа по постройке многочисленных кухонь. Стремительно развертывались оборонительные работы; часть корпуса князя Экмюльского разместили в казармах в самом городе. Была произведена тщательная уборка овощей, в частности капусты, на огромных огородах вокруг города. В районе двух-трех лье от города убрали также картофель и сено, сложенное в многочисленных стогах; транспорт был непрерывно занят перевозкой этих продуктов. Для снабжения императорского двора я отобрал людей, которые должны были пустить в ход мельницу; она давала нам муку, начинавшую уже становиться редкостью. Я приказал также заготовить большой запас сухарей и соорудить сани. Словом, я приготовлял все необходимое как на тот случай, если наше пребывание здесь затянется, так и на случай отступления. Воинские отряды обходили сельские местности, чтобы раздобыть скот, который, как и мука, становился большой редкостью. Удалось организовать регулярную раздачу пайков».

По поводу проблем с продовольствием Коленкур предоставляет и дополнительную информацию:

«Мы в Москве находились не в лучшем положении, чем наши тылы. Госпитали и жители не сегодня завтра должны были остаться без продовольствия. Герцог Тревизский требовал продовольствия, но администрация берегла спасенные ею небольшие запасы для более важных надобностей. Корпуса имели по большей части свои продовольственные запасы, но те ведомства, которые должны были получать снабжение от интендантства, так как они сами не имели ни солдат, ни транспортных средств, чтобы добывать продовольствие, находились в бедственном положении. Император думал, что можно будет, как и в других странах, организовать здесь компании, которые делали бы поставки за деньги, точнее – за бумажки. Но там, где не удавалось организовать администрацию, нельзя было найти и поставщиков. Император не отступал перед трудностями и старался перешагнуть через них, как всегда, когда он не мог их преодолеть; он думал, что сможет использовать жителей, среди которых нужда сильно давала себя знать, и что казаки, мешавшие нашему снабжению, снизойдут к положению своих соотечественников; таким путем можно будет удовлетворять нужды жителей, а частично и наши собственные. Он приказал поэтому образовать русскую компанию, которая производила бы закупки в деревнях, но, хотя было объявлено, что расчет будет производиться наличными деньгами, никто не решался вступать в эту компанию, ибо никто не сомневался, что казаки будут церемониться с жителями Москвы не больше, чем с ее гарнизоном».

Таким образом, в перспективе вполне реально замаячила возможность гибели от голода. Необходимо было срочно что-то предпринимать.

Наполеон еще до сих пор полагал, что сможет договориться с императором Александром о мире. Коленкур, обращая на себя гнев Наполеона, и без того в последнее время его не слишком жаловавшего, категорически не согласился: «Я откровенно высказал ему свое мнение: принесение Москвы в жертву свидетельствует о не слишком мирных намерениях, а по мере того, как будет надвигаться зима, шансы все больше будут склоняться в пользу России; словом, нельзя считать вероятным, что русские сожгли свою столицу для того, чтобы потом подписать мир на ее развалинах». Наполеон не желал принимать во внимание резоны, приводимые Коленкуром: «Российская империя погибла; потерпев поражение, император Александр находится в очень затруднительном положении и ухватится обеими руками за предложение, сделанное нами, так как оно даст ему почетный выход из скверного положения, в которое он попал».

Спорить с ним было практически бесполезно.

Арман Коленкур, явно обиженный на своего императора и недавнего кумира за полное невнимание, которое тот демонстрировал в отношении его доводов, позволяет себе даже критиковать Наполеона:

«В глубине души он (т. е. Наполеон. – Г. Б.

) по-прежнему лелеял надежду, что переговоры состоятся; по крайней мере так он говорил, и можно было ему верить, ибо он оставался в Москве, несмотря на то что до сих пор не было получено ответа ни на одно из его предложений, а между тем и время, истекшее после его первых шагов в этом направлении, и голос рассудка воочию доказывали, что Александр не хочет вступать в переговоры. А он упорно собирался все же предпринимать новые шаги.

Император чувствовал, как и все остальные, что его повторные послания разоблачают затруднительность его положения и лишь укрепляют враждебные планы неприятеля. И, однако, он отправлял новые послания. Какая слепая вера в свою звезду и, можно сказать, в ослепление или слабость противников должна была быть у этого столь здравого и расчетливого политика!» И далее:

«Хотя он ясно оценивал положение, но был так увлечен и до такой степени любил тешиться собственными иллюзиями и надеждами, что по-прежнему убаюкивал себя ожиданием ответа от императора Александра или, по крайней мере, ожиданием переговоров с Кутузовым о перемирии, которые привели бы к соглашению также и по другим вопросам. Можно сказать, что именно затруднительность положения мешала ему видеть опасности, хотя последующие события помогли ему открыть глаза и побудили пойти навстречу опасностям, которые ему угрожали».

Вместе с тем где-то на подсознательном уровне Наполеон, скорее всего, уже понимал, что совершил роковую ошибку. Покуда стояла осень, осуществить отступление еще можно было, причем малой кровью. Но с приближением зимы сама мысль о том, что, вполне вероятно, предстоит отступать в тяжелейших климатических условиях, без грамотной организации снабжения и т. д., могла свести с ума. Впрочем, не Наполеона. И хотя какая-то часть его существа до сих пор полагала свести все дело к мирным переговорам, но внутренне император был готов к жестокому жребию. И ряд распоряжений, которые он сделал, внешне выглядели вовсе не имеющими отношения к организации возможного отступления, но это только на первый взгляд.

Император, как пишет Коленкур: «…

приказал собрать транспортные средства для эвакуации раненых генералов и офицеров, которые не могли в ближайшее время возвратиться в строй. Вместе с ними должны были отправиться перенесшие ампутацию солдаты и отобранные во всех полках унтер-офицерские кадры для новых корпусов, организуемых во Франции. В доставке лошадей и экипажей должны были участвовать все. Император показал пример. Так как санитарное управление армии существовало только на бумаге, то его начальник генерал-лейтенант де Нансути, тоже раненый, был назначен начальником этого транспорта; транспорт перешел через Неман еще до наступления жестоких морозов и благополучно прибыл во Францию. В связи с этой эвакуацией император затребовал от главного интенданта сведения о том, сколько времени ему понадобится, чтобы дойти до Немана, и был очень недоволен его вычислениями: быть может, он не хотел признать, что находится так далеко от своего исходного пункта (именно так: покуда его обвиняют в бездействии и нерешительности, император разрабатывает планы отступления! – Г. Б.

), а может быть, он подумал, что когда другие произведут такие же вычисления, то они им не понравятся. Он выразил сомнение в правильности этих расчетов и был очень рассержен ими, как будто от графа Дюма зависело сократить расстояние до Немана ».

В довершение всех бед у французов появилась новая тема для опасений.

Это были КАЗАКИ! Донской казак. Гравюра неизвестного художника

После завершения бесславной и неимоверно горестной по своим результатам русской кампании, казаки стали для французов и прочих европейцев символом всего самого страшного и чудовищного, что может встретиться в этом мире. Ими пугали даже детишек в колыбели. А всему виной – невероятные истории, которые рассказывали чудом уцелевшие ветераны русского похода. Казак лейб-гвардии Черноморской сотни. Литография Г. Энгельмана

Характерно, что столкнуться с казаками французам пришлось еще до того, как они оставили Москву.

Арман Коленкур пишет:

«Тогда как в нашем штабе мечтали о переговорах и о мире, казаки нападали на наших фуражиров и каждый день захватывали их почти у самых ворот города. Они появились также между Можайском и Москвой. Несколько человек, ехавших в одиночку, подверглись преследованию, а некоторые были захвачены казаками; один раз эстафета опоздала на 15 часов, что крайне взволновало императора. Каждые четверть часа он посылал за мной и за начальником штаба, чтобы спросить, не узнали ли мы чего-нибудь насчет причин этого опоздания. Я воспользовался случаем, чтобы возобновить просьбу об эскорте для эстафет хотя бы из двух человек, с которой обратился к нему после нашего прибытия в Москву; но, для того чтобы организовать такой эскорт на всех перегонах, понадобились бы довольно значительные силы, а так как численность кавалерии уже сильно сократилась, то император счел возможным разрешить вопрос заявлением, что такая предосторожность является излишней, ибо путь вполне безопасен.

Через три дня почтальона, ехавшего с эстафетой в Париж, обстреляли за Можайском и преследовали на протяжении двух лье. Тогда император срочно послал отряды, о которых я его просил.

В Можайске, окруженном неприятельскими отрядами, находился большой госпиталь; город был занят корпусом герцога д'Абрантес; вдоль дороги, по которой ежедневно прибывали из Франции большие воинские части и обозы, были расположены эшелонами другие войска. Как я уже сказал, малейшее запоздание парижской почты раздражало и беспокоило императора не потому, что неприятель мог извлечь какую-либо действительную выгоду из захвата депеш (все сколько-нибудь значительные депеши были зашифрованы), – ему было неприятно, что коммуникационные пути, связывающие его с Францией, находятся под угрозой, и он знал, какое впечатление во Франции и в остальной Европе должно было произвести сообщение, что неприятель находится у нас в тылу.

Император был очень озабочен и начинал, без сомнения, сознавать затруднительность положения, тогда как до сих пор он старался скрывать это даже от себя. Ни потери, понесенные в бою, ни состояние кавалерии и ничто вообще не беспокоило его в такой мере, как это появление казаков в нашем тылу. При беседах во время прогулки, а также вечером после обеда, когда собирались обычно приглашенные им маршалы, генералы и видные лица из числа придворных, император по-прежнему говорил о хорошей погоде, о том, как мы проведем зиму в Москве, о блокгаузах, которые он построит, чтобы обеспечить безопасность тех пунктов, где расквартированы войска, и таким образом охранять эти пункты, не утомляя солдат и не заставляя их мерзнуть, о своем проекте оттянуть кавалерию за линию фронта, о польских казаках, которых он ожидал и собирался противопоставить русским. Император говорил также во всеуслышание о своем плане немедленного наступления на Кутузова, чтобы отбросить его и дать, наконец, отдых армии. Он говорил также, что, по сообщениям Бассано, в Польше произведены большие рекрутские наборы и вскоре прибудут 6 тысяч польских казаков».

Однако пока до этого было еще слишком далеко. Приходилось исходить из сложившегося положения вещей. А оно становилось все тревожнее и безысходнее: «

…на предложение о мире по-прежнему не было никакого ответа, а казаки продолжали беспокоить нас в окрестностях Москвы. Дело дошло до того, что они захватили в предместьях города людей и лошадей, отправленных за продовольствием. Пришлось отправлять вместе с транспортами, едущими за продовольствием, большой кавалерийский и пехотный конвой. Почтальоны с эстафетами часто подвергались преследованию. Некоторым из них лишь с трудом удавалось спастись, да и то потому, что казаки не отдавали себе отчета в значении этой корреспонденции, доставка которой была один раз прервана в течение 48 часов. Часто эстафеты были обязаны своим спасением только лишь выносливости лошадей и мужеству отважных французских курьеров, которых не могла остановить никакая опасность, ибо спасение и доставка депеш по назначению были для них делом чести. Задержки и опасности, грозившие нашей почте на каждом шагу, производили большое впечатление на императора ».

Коленкур был талантливым и весьма проницательным дипломатом. Вдобавок он был совсем неглуп. Посетившая его идея о том, что император, вопреки своим заявлениям о необходимости мирных переговоров, уже смирился с необходимостью отступления, была совершенно справедливой. Но хотя ему и было отрадно сознавать, что император наконец-то осознал все то, в чем раньше пытался его убедить, Коленкур теперь решительно недоумевал, почему же теперь Наполеон по-прежнему медлит и колеблется. Разве не принято им решение? Он так прямо и пишет: «

Уже приняв такое решение, он, к несчастью, откладывал его исполнение, хотя и понимал всю срочность дела, так как дороже всего была для него вера в желанный успех. Он не мог поверить, что судьба, которая так часто ему улыбалась, совершенно отвернулась от него как раз в тот момент, когда он должен был просить у нее чуда. Он по-прежнему хотел надеяться,

что предпринятые им шаги приведут к переговорам. Повторяю еще раз, что в жертву этой надежде он принес драгоценнейший момент, и мы все еще оставались в Москве, а между тем в этот момент можно было бы спасти армию, так как, если бы она выступила тогда, она успела бы прийти в Вильно еще до наступления зимних холодов.

Вместо того чтобы улучшаться, наше положение с каждым днем все более усложнялось из-за новых задач, навязанных нам близостью неприятеля и нападениями его многочисленных легких отрядов ».

Ситуация становилась критической.

Кольцо русских войск вокруг Москвы постепенно сужалось.

«24 сентября, – методично сообщает нам Коленкур в своих мемуарах,

– Можайская дорога была совершенно перерезана корпусом русских драгун и казаков.

Император направил туда несколько гвардейских стрелковых и драгунских эскадронов, и у них был ряд столкновений с русской кавалерией. Наши драгуны, одержав верх, слишком далеко преследовали неприятеля, были окружены и должны были уступить численному превосходству русских. Командовавший эскадронами Марто, несколько других офицеров, драгуны и часть двух сводных эскадронов попали в плен. Эта маленькая неудача, которую потерпела гвардия, хотя она и сражалась с большой отвагой, была неприятна императору не меньше, чем проигрыш настоящего сражения. Правда, и на всех остальных этот случай произвел тогда больше впечатления, чем выбытие из строя 50 генералов в сражении под Москвой (случившееся наверняка должно было заставить серьезно задуматься даже самых беспечных солдат из воинства Наполеона. Если прежде они были уверены в грамотности той стратегии, что избрал их император, то теперь в их души стали закрадываться сомнения по поводу реальности благополучного финала этой кампании. –

Г. Б.).

Смоленская дорога была перерезана неприятельскими отрядами еще и в других пунктах; таким образом, мы не имели больше надежного коммуникационного пути, связывающего нас с Францией. Вильно, Варшава, Майнц, Париж уже не получали каждый день приказов монарха великой империи. Император напрасно ожидал в Москве сообщений своих министров, донесений губернаторов, новостей из Европы. На всех лицах было написано, что никто не думал о возможности такой помехи. Мы готовы были драться ежедневно за кусок хлеба, отправляться за охапкой сена с риском попасть в плен и оставаться в России с риском замерзнуть зимою. Мы свыклись с возможностью, или, точнее, с вероятностью, всех этих приключений, но не привыкли к мысли о том, что ожидаемое письмо из Франции не будет получено».

На этот раз катастрофы удалось избежать. Бравый генерал с именем известного католического святого – Сен-Сюльпис во главе внушительного отряда конных гвардейцев учинил бешеную атаку на силы русских, перерезавших Смоленский тракт, и сумел вновь восстановить все коммуникации. Его успешный демарш существенно поднял дух французской армии.

Еще никто (и даже сам Наполеон) не предполагал, что пройдет меньше месяца, и французским войскам придется покидать Москву, причем спешно…

Кстати, того же 24 сентября у реки Чернишны окопался авангард маршала Мюрата, численность которого доходила до 22 тысяч человек. Им практически пришлось бездействовать на протяжении нескольких недель.

В течение последовавшего после конфликта на Можайской дороге времени Наполеон составлял письма в Европу с требованием подкреплений, говоря о своем намерении зимовать в Москве; одновременно он отдал распоряжение, чтобы в Смоленск была отправлена на быках теплая одежда для солдат (все, что удалось реквизировать по Москве). А еще Наполеон прямо заявлял о намерении… атаковать Санкт-Петербург! Так, например, 16 октября Наполеон отправляет в Париж министру полиции герцогу Ровиго депешу следующего содержания: «Вероятно, война затянется на всю зиму, и только взятие Петербурга откроет глаза императору (Александру. –

Е. Т .). Москва уже не существует. Это в самом деле важная потеря для всей империи. Она по справедливости была центром и гордостью империи. Все офицеры русской армии, кажется, в отчаянии из-за московской катастрофы. Они приписывают ее сумасбродным и яростным страстям своего рода Марата, который был ее губернатором, Ростопчина. Я эвакуировал все мои госпитали, которые были тут в домах, посреди развалин. Я только укрепил Кремль, который теперь вне опасности неожиданных нападений. От двух до трех тысяч человек могут в нем продержаться некоторое время. Я тут поместил все мои боевые припасы и продовольствие».

«И тут, – отмечает Е. В. Тарле

, – Наполеон в первый раз говорит о выступлении из Москвы: „Я скоро двинусь, чтобы приготовить зимние квартиры и мои операции на будущий год… Все сообщения говорят, что пехота у неприятеля ничтожна. Меня уверяют, что нет и 15 тысяч старослуживых солдат. Второй и третий ряды состоят только из ратников милиции. Но неприятель усилил свою кавалерию. Он учетверил число своих казаков, страна наводнена ими, и это порождает для нас много мелких столкновении, очень тягостных“».

Еще раз обратите внимание на дату послания: 16 октября.

А 18 октября, когда Наполеон во дворе Кремля производит смотр дивизии маршала Нэя, воздух неожиданно сотрясается от звуков артиллерийской канонады!

Что же произошло?

А случилось так, что Кутузов, совсем недавно согласившийся принять парламентера с посланием от Наполеона, очень мудро счел, что дела французов сильно плохи. Он приказал готовить наступление и 18 октября неожиданно вышел из Тарутина и обрушился на авангард, находившийся под командованием Мюрата. Мюрат был застигнут врасплох! Однако у него были опытные солдаты. Очень быстро придя в себя, они открыли по русским убийственный огонь. Итог этого сражения был таков: «

Мюрат потерял 2,5 тысячи (по другим данным – около 3 тысяч), русские – около тысячи или 1200 человек. Конечно, победителями были русские: Мюрата все-таки вынудили отступить, и русские забрали 36 пушек, 50 зарядных ящиков и знамя », – пишет Е. В. Тарле. И далее он продолжает: «

В моральном отношении оно (т. е. Тарутинское сражение. –

Г. Б .)

подняло дух русской армии: оно было первым чисто наступательным сражением за всю войну, притом успешным для русской стороны. В политическом отношении оно явилось последним, решающим толчком, заставившим Наполеона наконец выйти из Москвы ».

Да, это несомненно: Тарутинское сражение и впрямь оказалось последней каплей. Наполеон, будучи отменным стратегом, конечно же, понял, что со стороны Кутузова это выступление явилось откровенной демонстрацией силы. Он словно хотел указать Наполеону на то, что готов померяться с ним силами в любой момент. Такая перспектива совершенно не устраивала Наполеона. Видя, что Кутузов еще не перерезал ему южного направления, Наполеон решил выступить немедленно!

Однако самое время уточнить, каковой была численность армии Наполеона перед бегством из Москвы, а заодно и проанализировать соотношение сил.

Согласно Е. В. Тарле:

«Когда Наполеон тронулся из Москвы, у него было немного менее 110 тысяч человек. У Кутузова в Тарутине и возле Тарутина было в тот момент 97 112 человек. Артиллерия Наполеона значительно уменьшилась сравнительно с тем, что у него было еще под Бородином; много орудий пришлось побросать по дороге из-за невозможности тащить их: ведь даже у кавалерии лошадей не хватало, и целые кавалерийские части давно уже спешились. У Кутузова же в это время было 622 орудия. Наполеон не знал в точности сил своего противника, когда выступал из Москвы, но он был полон уверенности, что в случае столкновения в открытом поле перевес еще будет на его стороне». У Калужской заставы при выходе из Москвы 19 октября 1812 года

«Французская армия вышла из Москвы, – пишет Василий Верещагин

, – и значит, 303 орудия, втащенные на кремлевские стены, оказались лишнею роскошью; но этот Кремль должен был быть наказан хотя бы за то, что его нельзя было захватить с собою, как захватили гигантский крест с Ивана Великого и некоторые другие „трофеи“; все стены, соборы и дворец приказано было взорвать… Жаль, так как если трехсаженный крест стоило везти до Парижского дома Инвалидов, купол которого он назначен был украшать, то не менее логично было бы перевезти хоть часть кремлевской стены, с башнями, для обвода, например, Тюльерийского сада – оба трофея послужили бы памятником силы и превосходства европейской цивилизации над азиатским варварством.

Без панталон, без башмаков, в лохмотьях – вот каковы были выходившие из Москвы солдаты армии, не принадлежавшие к императорской гвардии, одетой несколько лучше. Шли и ехали врассыпную, кто где случится, не так, как обыкновенно выходят полки из больших городов – стройно, в порядке.

„Французы шли настоящими нищими, – говорит одна купчиха, – не хуже нас обносились. Все в лохмотьях, обвернувшись во что попало: тут и зипуны, и женские юбки, и поповские ризы, стихари – чего хочешь, того и просишь“.

Уцелевшие от пожара дома оказались донельзя загажены: „В доме французы пакостили на полу в мраморной зале, и войти туда не было возможности. Картины были вырваны из рам и увезены. Вырезывали и увозили даже переплеты с больших книг! В доме князя Б. жил маршал Бессиер, и величественная библиотека и зал – вероятно, свитою маршала –

обращены тоже в безымянное место.

Маршал Мортье был оставлен в Кремле с молодою гвардией, с приказом во всеуслышание объявлять невероятными слухи о совершенном оставлении города, так как Наполеон, разбивши русские войска, намерен будто бы воротиться, – но никто не верил этому, и все скомпрометировавшие себя, начиная от французских торговцев, кончая русскими девицами легкого поведения, последовали за армией.

Мины под Кремлем были расположены таким образом, что огонь должен был сообщиться им по выступлении Мортье с последними войсками и всеми тяжестями, которые возможно было увезти; остальные тяжести назначено было сжечь – таковых оказалось много, считая в том числе немалое количество провианта, который отдельные части, не в силах будучи поднять своими средствами, без церемонии бросали, – еще одно из последствий беспорядочного, неорганизованного грабежа. Маршал Мортье, взорвавший Москву. Бронзовая статуя, отлитая в его честь на родине, в Като-Камбрези

Ночь взрыва была очень темная. В полночь огонь подошел к минам, подложенным под арсеналом, и раздался первый удар, за которым через короткие промежутки последовали шесть других. Действие взрыва было просто ужасно – огромные камни были отброшены на пятьсот шагов, чуть не все оставшиеся еще в Москве оконные рамы и двери были выбиты, и, конечно, не осталось цельных стекол – осколки их врезывались в соседние стены, камни влетали в комнаты. Упали 2 башни, также часть стены и арсенала, дворец и пристройки к колокольне Ивана Великого; самая колокольня пошатнулась, дала трещину, но устояла.

В общем, результат, сравнительно с тем, что было предположено, был ничтожен: задумано было взорвать все стены, со всеми башнями и все кремлевские постройки; Наполеон был вполне уверен в том, что именно это было сделано, и объявил Европе о полном уничтожении Кремля: „Москва не стоила того, чтобы ее продолжать занимать, – разве только Кремль! Но Кремль, после 15 дней работы по укреплению, был найден не стоящим хлопот. Москва оказалась настоящей клоакой нечистот и заразы…“ – Ростопчин справедливо удивляется, зачем Наполеон жил 5 недель в этой „клоаке нечистот и заразы“ – не стоило жертвовать чем бы то ни было для предмета, не имеющего никакой стратегической важности и утерявшего всякую политическую силу… Император велел взорвать Кремль и Арсенал, казармы, магазины; все разрушено – старая крепость, построенная при основании самой монархии, первые дворцы царей – все уничтожено!

Конечно, разрушение или попытка разрушения Кремля была только выражением злобы и мести со стороны Наполеона – мести жестокой и бесполезной. Меру эту нельзя объяснить ни с политической, ни со стратегической точки зрения, так как Кремль, при современных условиях науки, был даже не крепость и не цитадель, а просто красивое возвышенное место, обнесенное стеной. Особенно ярко выступает желание хоть чем-нибудь отомстить за неудачи в приказе взорвать все соборы и колокольню Ивана Великого, конечно, ничего общего не имевшими ни с политикой, ни со стратегией.

„В самый день ухода французов, – рассказывает одна женщина-очевидец

, – нас разбудил в нашем доме такой гром и треск, что мы света невзвидели. Земля дрожала под ногами, как живая, и мне казалось, что еще минута, и своды подвала обрушатся над нашими головами. Раздался еще взрыв, и камни градом полетели во все стороны. Наконец, при третьем взрыве так потрясло церковь над нами, что она треснула сверху донизу“.

Не только вся Кремлевская площадь была покрыта известью, листовым железом, сорванным с крыш, и кирпичами, но все это летело за Москву-реку, и Полянка была обсыпана.

„23/11 октября, в час с половиною ночи, – говорит Сегюр,

– воздух потрясся страшным взрывом… Мортье выполнил данное ему приказание, и… Кремль приказал долго жить: бочки с порохом были положены во всех покоях дворца и сто двадцать три тысячи килограммов (до 7000 пудов) под сводами его. Маршал оставался на этом вулкане, который мог взорваться от одного русского снаряда, и прикрывал движение армии на Калугу, выход раненых и других обозов на Можайск".

„Земля поколебалась от силы взрыва под ногами Мортье. За восемьдесят верст, в Фоминском, император слышал этот взрыв и в гневных выражениях объявил об нем на другой день, из Боровска, Европе; объявил, что он оставляет эту помойную яму – Москву, в добычу русским нищим и ворам, а сам идет на Кутузова: отбросит его и спокойно пойдет к Двине, где станет на зимние квартиры. Потом, боясь, чтобы не подумали, будто он отступает, Наполеон прибавил: таким образом он, на 80 лье, приблизится к Вильне и Петербургу, на 20 переходов станет ближе к своим запасам и своей цели – отступление было представлено наступлением".

„Москва, – говорит m-me Fusil, – имела какую-то особую прелесть, которую уже невозможно воротить; может быть, она будет опять хорошим городом, но городом похожим на другие, тогда как прежде она напоминала не то Испагань, не то Пекин – вполне азиатский город…"»

В 7 часов утра 19 октября Наполеон покинул Москву вслед за армией. «Мой друг, – пишет он жене, – я в дороге, чтобы занять зимние квартиры. Погода великолепна, но она не может длиться. Москва вся сожжена, и так как она не есть военная позиция, нужная для моих конечных целей, то я ее покидаю и уведу гарнизон, который я тут оставил. Мое здоровье хорошо, мои дела идут хорошо». «И тут же, – указывает Е. В. Тарле, – он небрежно поминает о Тарутине: „Была стычка с казаками"».

Будучи, как и его солдаты, потрясен грохотом первых взрывов (их жертвой стал винный склад; после него занялся огнем Симонов монастырь; в последующие дни последуют новые взрывы; благодаря неожиданному ливню разрушения окажутся не столь чудовищными, как рассчитывал французский император), Наполеон, тем не менее, с омерзением взирал на то, как отвратительно растянулась его армия на местности, – она словно составляла одну бесконечную линию. Причиной этого были бесконечные обозы с награбленным добром.

Характерная деталь: Наполеон позволяет сохранить обозы.

Почему?

Неужели же он не отдавал себе отчета в том, что обозы существенно влияют на скорость перемещения воинских частей и вдобавок решительно не позволяют держаться строгого порядка, тем самым демонстрируя полную уязвимость всей армии?

Естественно, отдавал!

Отчего именно в тот момент позволил им остаться – непонятно. Возможно, еще один пример двойственности решений, принимаемых им в то страшное для французов время. Правда, возможно истолковать колебание Наполеона иначе: понимая, как разочарованы солдаты его армии, привыкшие к триумфам, и какие тяготы выпали им на долю уже и ожидают впоследствии, император вознамерился позволить им сохранить до поры до времени хотя бы то, что им удалось урвать, дабы по счастливом возвращении на родину они хоть как-то могли возместить моральные и материальные издержки. Однако очень скоро, когда яростные атаки жутких казаков станут постоянными, Наполеон отдаст приказ бросить все награбленное: «Тут не до жиру, тут быть бы живу!»

За несколько часов до того, как Москву покинул Мортье, которому было поручено Наполеоном устройство всех взрывов, весть об этом достигла русских. Но первыми о случившемся узнали казаки.

Е. В. Тарле сообщает:

«Взрывы не были слышны в далеком русском лагере, но их слышали казачьи разъезды, давно уже украдкой рыскавшие вокруг Москвы. 22 октября прапорщик Языков с казачьим отрядом пробирался близ Москвы с целями разведки. Вдруг они услышали страшный грохот и треск, донесшийся из города. Языков решился на очень рискованный поступок: проникнуть в город насколько будет возможно, чтобы узнать о причине.

Маленький отряд въехал в Москву. Мертвое молчание поразило их. Не видя французов и ни души на улицах, они постепенно продвинулись к самому Кремлю, и тут они первые в России узнали потрясающую новость: Наполеон ушел».

Когда Великая Армия оставила Москву, вновь охваченную огнем, зарево пламени распространилось по округе почти на 10 км. Было светло как днем и жутко.

Наполеон двигался на Смоленск, рассчитывая оттуда идти через Калугу. Помните о загодя отправленной в Смоленск теплой одежде? Вот тут-то она и должна была пригодиться (правда, случись отход по зиме; а пока было сравнительно тепло). Кроме одежды, у Наполеона в Смоленске находились припасы для армии. Так что об ином маршруте отступления не могло быть и речи! «„

Идем в Калугу! И горе тем, кто станет на моем пути!“ – таковы были его слова, когда 19 октября он выводил свою армию из Москвы », – пишет Е. В. Тарле.Сражение при Малоярославце 12 октября 1812 года. Литография С. Шифляра

Но о том, что у Наполеона в Смоленске запасы, было известно и Кутузову. Прекрасно понимал он и то, что, если Наполеон двинется на Смоленск через Калугу, это будет для французов очень выгодно: военных действий там не было, окрестные села не разорены. Именно поэтому 24 октября Кутузов решает напасть и устроить Наполеону сражение под Малоярославцем. Это, между прочим, был еще один своего рода поворотный момент. Если бы Наполеон отважился на новое Бородино и вдруг бы победил, – все могло бы пойти иначе. Малоярославец 8 раз переходил из рук в руки и был в итоге разрушен и охвачен пожаром. В развалинах осталось много раненых, которым не было никакой возможности помочь из-за очень сильного пламени.

Вопреки пожеланию императора Александра I и его клики (их требования вполне отвечали выгоде, например, Англии, но отнюдь не России), «

25 октября на рассвете Кутузов приказал русской армии отступить от Малоярославца к югу на 2,5 версты. Авангард Милорадовича отошел от города на самое ничтожное расстояние. Наполеон видел, что ему предстоит, если он по-прежнему намерен прорваться к Калуге, принять генеральный бой, не меньший по размерам, чем Бородино. И он не решился.

В первый раз в своей жизни Наполеон отступил от ждавшей его генеральной битвы. В первый раз за эту кровавую русскую кампанию он повернулся спиной к русской армии, решился перейти из позиции преследующего в позицию преследуемого. Истинное отступление

Великой Армии началось не 19 октября, когда Наполеон вывел ее из Москвы и повел на Калугу, а вечером 24 октября, когда он решил отказаться от Калуги и отступить назад, к Боровску », – отмечает Е. В. Тарле.

Впрочем, сама жизнь Наполеона могла оборваться той же ночью.

Арман Коленкур, все это время неотлучно бывший при нем, приводит в своих мемуарах следующие сведения:

«За час до рассвета (в ночь на 25 октября) император снова вызвал меня. Мы были одни. У него был очень озабоченный вид, и, казалось, он чувствовал потребность излить душу, высказать гнетущие его мысли.

– Дело становится серьезным, – сказал он мне. – Я все время бью русских, но это не ведет ни к чему.

Минут пятнадцать продолжалось молчание, и император ходил взад и вперед по своей маленькой комнатке. Потом он сказал:

– Я сейчас удостоверюсь сам, находится ли неприятель на позициях или же, как видно по всему, отступает. Этот чертов Кутузов не примет боя! Прикажите подать лошадей. Едем!

С этими словами он схватил свою шляпу, собираясь выйти. К счастью, в этот момент вошли герцог Истрийский и князь Невшательский; вместе со мною они стали уговаривать императора, указывая, что сейчас очень темно, и он подъедет к аванпостам еще до того, как можно будет различить что-нибудь; гвардия заняла свои позиции ночью, и мы не слишком точно знали, как разместились корпуса.

Император все же хотел ехать, но в это время прибыл один из адъютантов вице-короля и сообщил ему, что на неприятельской стороне горят лишь костры казаков, а только что задержанные нами солдаты и крестьяне подтверждают отступление русской армии. Получив эти сведения, император решил обождать, но полчаса спустя нетерпение взяло верх, и он отправился в свою поездку. Еще только начинало рассветать, и в 500 туазах от ставки мы столкнулись нос с носом с казаками, главный отряд которых напал впереди нас на артиллерийский парк и артиллерийские части, заслышав их передвижение. Казаки захватили несколько орудий.

…Возле императора были только князь Невшательский и я. Мы все трое держали в руках обнаженные шпаги. Схватка происходила очень близко, все ближе и ближе к императору; он решил проехать несколько шагов и подняться на вершину холма, чтобы лучше рассмотреть, что происходит. В этот момент к нам присоединились остальные егери из конвоя; один за другим прибыли дежурные эскадроны, которые не успели сесть на коней, когда император внезапно отправился в свою поездку. Ринувшись в том направлении, откуда доносились крики сражающихся, два первых эскадрона опрокинули первые ряды казаков. Остальные два с герцогом Истрийским во главе, шедшие на небольшом расстоянии от них, подоспели как раз вовремя, чтобы поддержать первые эскадроны, завязавшие ожесточенный бой и окруженные целой тучей казаков. Офицер донских казаков. Гравюра Ф. Л. Кушесына

Уральский казак. Литография Ф. Верне

Уральский казак. Литография Э. Энгельмана

К этому моменту уже достаточно рассвело, и заря осветила происходившую сцену. Вся

равнина и дорога кишели казаками. Гвардия вновь отбила свои орудия и нескольких канониров, захваченных неприятелем, и принудила казаков перебраться на другой берег реки, но у нас было много раненых.

Не подлежит сомнению, что если бы император выехал, как он сначала хотел, еще до рассвета, то он оказался бы в сопровождении лишь своего конвоя и восьми генералов и офицеров как раз посреди этой тучи казаков. Если бы казаки, оказавшиеся под самым нашим носом и на один момент окружившие нас, были более решительны и ринулись бы на дорогу, вместо того чтобы с ревом рубить направо и налево по обеим сторонам дороги, то они захватили бы нас, прежде чем эскадроны успели бы прийти к нам на помощь. Конечно, мы дорого продали бы свою жизнь, насколько это можно сделать с помощью короткой шпаги, да еще в темноте, когда не знаешь, кому ты наносишь удар. Но не подлежит сомнению, что император был бы убит или взят в плен, и никто не знал бы даже, где искать его среди огромной равнины, там и сям покрытой рощицами, под прикрытием которых и прятались казаки в расстоянии ружейного выстрела от дороги и от позиций, занимаемых гвардией».

Таким образом, получается, что на рассвете 25 октября Наполеон Бонапарт был практически на один волосок от гибели! И опять постарались вездесущие казаки, бесстрашные демоны Отечественной войны!

Как живописует Василий Верещагин:

«…выступившая из Москвы неприятельская армия скоро всецело поступила на попечение казаков, окружавших, провожавших ее до самой границы и далее и надоевших ей на этом долгом пути до такой степени, что вскоре французская нация, а за нею и вся Европа, без ужаса не произносили слова „казак", сделавшегося синонимом варварства, бессердечия, алчности, вероломства и жестокости; в сущности, казаки, преследуя и истребляя по мере своих сил неприятеля, только исполняли свою прямую обязанность, и если дело не обошлось без проявлений жестокости и алчности, то, наоборот, бывали случаи и гуманнейшего отношения их к своим врагам.

„Казаки, – говорит Констан (Constant), – как будто созданы для того, чтобы составлять с лошадью одно целое. Ничего нет смешнее походки их пеших: ноги, привыкшие бить по лошадиным бокам, какие-то выгнутые, похожие на железные клещи; когда они сойдут на землю – сейчас видно, что им не по себе. Лошади маленькие, с длинными хвостами и, по-видимому, очень послушные. Когда император выезжал в Гжатск, за ним ехало двое этих варваров. Он приказал дать им водки – они выпили ее как воду и смело подставили снова свои стаканы, дескать: еще!"

Отдельные отряды и обозы очень страдали от казаков; так, на Можайской дороге 300 человек их напали на лагерь обоза в 350 фур, шедших под прикрытием четырех кавалерийских полков и двух батальонов пехоты, и так перепортили все упряжки повозок, что те не могли двигаться далее.

Фэн (Fain) иронически замечает, что „

если Кутузов слаб в правильной битве, то на большой дороге очень силен". Дерзость этих недисциплинированных орд, по словам его, не знает пределов. „Они торчат перед нами, сзади нас и с флангов – что ни шаг, то они тут! Разве, может быть, дорога на Вязьму отделит нас несколько от них"».

Арман Коленкур в своих мемуарах также не раз и весьма характерно распространяется о казаках:

«Казаки – несомненно, лучшие в мире легкие войска для сторожевого охранения армии, для разведок и партизанских вылазок. Однако, когда мы давали им отпор или открыто двигались против них сомкнутым строем, они ни разу не оказали сопротивления нашей кавалерии. Но попробуйте потревожить их, когда вы отрезаны от своих! Или двиньтесь в атаку рассыпным строем! Вы погибли, потому что они возобновляют нападение с такой же быстротой, как и отступают. Они – лучшие наездники, чем мы, и лошади у них более послушны, чем наши; они могут поэтому ускользать от нас, когда нужно, и преследовать нас, когда преимущество на их стороне. Они берегут своих лошадей, если иногда и принуждают их к аллюрам и переходам, требующим большого напряжения, то чаще всего избавляют их от ненужной гонки туда и сюда, а мы такой гонкой губим своих лошадей ».

На Наполеона происшествие с казаками, результатом которого могла стать его собственная гибель, большого впечатления не произвело, чего нельзя сказать об армии. Арман Коленкур свидетельствует: «…

не прошло и 48 часов, как вся армия знала об этом; впечатление было очень нехорошее. Это происшествие должно было бы послужить для всех уроком, показывая, как мы неосторожны. Однако урок не принес пользы никому ».

Говоря о казаках, нельзя не указать, что сам Наполеон относился к ним с изрядной долей пренебрежения: «..

.презренная кавалерия, только шумящая, но неспособная прорвать роту стрелков, сделавшаяся страшною только при данных обстоятельствах». Василий Верещагин остроумно комментирует отношение Наполеона к казакам: «…он не знал или не принимал во внимание, что казацкое войско совсем отлично от регулярной кавалерии, что казаки сражаются только тогда, когда наверное рассчитывают одержать победу, – ему бы нужно было видеть того казака, который, нарядившись в мундир его „храброго из храбрых“ маршала Нея, преспокойно справлял свои казачьи обязанности, чтобы понять, сколько наивной удали в этих „сынах степей“ ».

Да, удали казакам уж точно было не занимать!

Верещагин приводит записи одного из очевидцев тех событий:

«„В довершение беспорядка нашего отступления, которого одного было довольно, чтобы нас погубить, – говорит Буржуа (Bourgeois), – казаки ежеминутно налетали на нас… Как только наши завидят их, так сейчас бросаются в стороны, одни очертя голову, другие в некотором порядке, под прикрытие вооруженных групп, кое-где державшихся… Число бредших отдельно было так велико, что казаки брали далеко не всех, а выбирали своих пленных; они забирали только тех, что казались получше одетыми и обещали какую-нибудь поживу, других же пропускали, будто не замечая…“

Платов совершенно расстроил, почти уничтожил отряд принца Евгения, убил 1500 и взял в плен 3500 человек, захватил 62 пушки, знамена и множество багажа».

Именно казакам достался личный обоз самого императора Франции! Василий Верещагин отмечает: «

В захваченном казаками собственном обозе Наполеона всего больше понравились им и офицерам бутылки с буквами N и императорскою короной – в бутылках было старое Шато-Марго!

Интересны захваченные казаками походные кровати Наполеона, находящиеся теперь в Москве, в Оружейной палате: одна побольше, расставлявшаяся в городах и местах более долгих остановок, другая небольшая – для повседневного употребления. Чехлы на кроватях лилового шелка, снабжены карманами для книг, бумаг и приходивших ночью донесений ».

Происходило и много забавных событий, непременными участниками которых были казаки. Если им верить, то казаки вовсе не были такими кровожадными монстрами, не знающими пощады. Подчас в их заскорузлые сердца проникало милосердие; они могли даже выказать… добродушие по отношению к французам! Редактор «Военного журнала» рассказывает, что «…

несмотря на свое критическое положение, во время отступления, они (т. е. французы. –

Г. Б .)

искренно посмеялись над одним из налетевших на них казаков, схватившим тюк тонкого полотна и бросившимся с ним наутек: так как он успел схватить кусок только за один конец, а французы держались за другой и не выпускали из рук, то полотно продолжало все развертываться до тех пор, пока „варвар“ не скрылся в лес ».

Василий Верещагин делится с читателями и другими историями:

«Наша артиллерия была взята в плен в битве (под Тарутином), – говорит автор „Походного журнала“

, – артиллеристы обезоружены и уведены. В тот же вечер захватившие их казаки, празднуя победу и уже изрядно выпившие, вздумали закончить день – радостный для них и горький для нас – национальными танцами, причем, разумеется, выпивка была забыта. Сердца их размягчились, они захотели всех сделать участниками веселья, радости, вспомнили о своих пленных и пригласили их принять участие в веселье. Наши бедные артиллеристы сначала воспользовались этим приглашением только как отдыхом от своей смертельной усталости, но потом, мало-помалу, под впечатлением дружеского обращения, присоединились к танцам и приняли искреннее участие в них. Казакам так это понравилось, что они совсем разнежились, и, когда обоюдная дружба дошла до высшей точки – французы наши оделись в полную форму, взяли оружие и после самых сердечных рукопожатий, объятий и поцелуев расстались с казаками, – их отпустили домой, и таким образом артиллеристы возвратились к своим частям.

Вот еще рассказ пленного солдата морской гвардии: „Пока мы грелись около нескольких сосновых полешков, подошел казак, высокий, худой, сухой, до того свирепый видом, что мы невольно попятились. Он подошел к нам по-военному и стал что-то говорить, но мы не понимали; вероятно, он спрашивал о чем-нибудь. В нетерпении на то, что мы ничего не поняли, он сделал знак недовольства, обеспокоивший нас: однако, заметивши это, он в ту же минуту придал своему лицу доброе выражение и, увидев, что одежда моего приятеля была в крови, выказал желание осмотреть его рану и сделал знак следовать за ним.

Он свел нас в ближайшую избушку. Вышла женщина, которой он приказал постлать соломы и согреть воды, а сам ушел, дав понять, что воротится. Она бросила нам немного соломы, но позабыла о воде, а мы не смели слишком настойчиво напоминать ей. Когда он воротился, то прежде всего спросил жестом: ели ли мы? Мы отрицательно покачали головами. Вероятно,

он потребовал от женщины, чтобы она дала нам поужинать, и за ее отказ крепко стал бранить ее. Тогда она показала ему чашку с каким-то варевом и, по-видимому, уверяла его, что больше у нее ничего нет. Казак стал шуметь, даже грозить, но безуспешно – она поставила только греть воду для нас. Он опять ушел и скоро воротился с куском соленого свиного жира, на который мы набросились, несмотря на то что он был сырой. Пока мы ели, казак смотрел на нас с видимым удовольствием и рукою показывал, чтобы мы не наедались сразу.

Когда мы понасытились, он снова что-то стал говорить женщине, как мы поняли, насчет нашей перевязки. Он требовал от нее тряпок, но та отговаривалась, отбивалась со словами: «нема, нет». Тогда почтенный воин, взявши ее за руку, заставил перерыть все углы избы, но ничего не добыл. Рассерженный таким упрямством, он вынул свою саблю: крестьянка закричала, а мы, тоже подумавши, что он убьет ее, бросились к его ногам. Он улыбнулся нам, как будто хотел сказать: «Вы меня не знаете, я хочу только попугать ее».

Женщина вся дрожала, но все-таки ничего не давала; тогда он снял сюртук, скинул рубашку, разрезал ее саблею на бинты и стал перевязывать наши раны. В продолжение этой работы он все время говорил, вставляя в свою речь много польских и немецких слов; но если это бормотание было нам мало понятно, то самые поступки хорошо указывали на благородство его чувств. Он старался, кажется, дать нам понять, что знаком с войной уже более 20 лет (ему было около 40), что он был во многих больших битвах и понимает, что после победы нужно уметь быть милостивым к несчастным. Он показал на свои кресты, как бы давая понять, что такие доказательства храбрости налагали на него известные обязанности. Мы только радовались этому великодушию, и он мог, конечно, прочитать на наших лицах выражение нашей благодарности. Я хотел бы ему сказать: товарищ, будь уверен, что твое благодеяние никогда не изгладится из нашей памяти. Только двое здесь свидетелей твоего человеколюбия, потому что эта женщина не оценит его, но скажи нам твое имя, чтобы мы могли передать его и другим нашим товарищам. Он стоял на коленях, но потом, уставши, сел на пол, посадив меж ног моего товарища, подставившего ему свою раненую спину; он вымыл, вычистил рану плеча с величайшим вниманием и старанием и, как будто спрашивая моего совета, намеревался, с помощью дрянного ножичка, у него бывшего, вытащить засевшую пулю. Он попробовал открыть края раны, но приятель так вскрикнул, что казак остановился и, упершись в его голову своею головой, видимо стал извиняться за причиненную боль. Я не утерпел перед таким нежным вниманием и, схвативши его руки, крепко пожал их: собравши в голове все, что знал польских, русских и немецких слов, я хотел было говорить, но не мог – от умиления глаза мои были полны слез!

«Добре, добре, камарад!» – сказал он мне, торопясь окончить перевязку, для которой, кажется, боялся, что не хватит времени. Когда пришел мой черед, добрый казак осмотрел рану и, положивши указательный палец на палец мизинца, показал, что она не более нескольких линий в глубину и что она закроется сама собою, – должно быть, удар пики был смягчен одеждой.

Он еще возился с нами, когда один из его товарищей позвал его с улицы: Павловский! – так узнал я его имя – и он ушел, сопровождаемый нашими благословениями.

Мы уж думали, что не увидим более этого бравого казака, но он пришел на другой день очень рано и осмотрел перевязки наших ран. Он принес нам также по два русских сухаря, выразивши сожаление, что не мог сделать большего…“» На большой дороге. Отступление, бегство. Художник В. Верещагин

Вот вам и казаки!

…А между тем отступление Великой Армии продолжалось…

Как пишет Е. В. Тарле, «

Наполеон отступал от Малоярославца на Боровск, Верею, Можайск ». Можно себе представить, как он негодовал на то, что его грамотный план использовать калужское направление провалился. Его досада нашла свой выход в особой жестокости, выказанной французами по отношению к населению.

«На этот раз он приказывал забирать у населения решительно все, что может пригодиться в походе, и беспощадно сжигать города, села и деревни, через которые будет отступать его армия. Правда, после первого прохождения по этим местам русской и следовавшей за ней наполеоновской армии сжигать там осталось очень мало, хотя, например, Боровск оказался уцелевшим. После того как Наполеон вышел из этого города в Верею, Боровск был сожжен до основания. Та же участь постигла Верею, где Наполеон имел лишь краткую стоянку».

Арман Коленкур вспоминает:

«Недалеко от того места, где мы стояли, виднелся большой и красивый помещичий дом. Император, нервное раздражение которого не утихло, приказал двум гвардейским эскадронам отправиться обыскать и поджечь этот дом, говоря при этом:

– Так как господа варвары считают полезным сжигать свои города, то надо им помочь.

Приказ был выполнен с полнейшей точностью. Единственный раз я слышал, чтобы император отдавал подобные приказы. Наоборот, он всегда старался предотвращать и не допускать зло, которое разоряет только частных лиц и причиняет вред только им. В Верею император возвратился до наступления ночи. В городе не оставалось ни одного жителя».

Не приходится удивляться тому, что жители тех деревень и городов, что были беспощадно разоряемы французами, платили своим разорителям той же монетой. Они подстерегали солдат, отставших от своих вследствие ранения или по какой-либо иной причине, и расправлялись с ними. Впрочем, даже примеры столь очевидной вражды, демонстрируемые населением, не останавливали французов от попыток обрести толику сочувствия себе, когда внезапно пришли сильные холода, и участь раненых или недужных наполеоновских солдат, прежде не воевавших в столь суровом климате, сделалась и вовсе незавидной.

Е. В. Тарле приводит слова Роберта Вильсона, имевшего, кстати, большое влияние на императора Александра I:

«Сегодня я видел сцену ужаса, которую редко можно встретить в новейших войнах, – записывает Вильсон 5 ноября в 40 верстах от Вязьмы, по дороге к Смоленску:

– 2 тысячи человек, нагих, мертвых или умирающих, и несколько тысяч мертвых лошадей, которые по большей части пали от голода. Сотни несчастных раненых, ползущих из лесов, прибегают к милосердию даже раздраженных крестьян, мстительные выстрелы которых слышны со всех сторон. 200 фур, взорванных на воздух, каждое жилище по дороге – в пламени, остатки всякого рода военной амуниции, валяющиеся на дороге, и суровая зимняя атмосфера – все это представляет по этой дороге зрелище, которое невозможно точно

изобразить».

Армия Наполеона уже сильно голодала. Один из французских офицеров вспоминал: «…

по три-четыре раза в день я переходил от крайних неприятностей к крайнему удовольствию. Нужно сознаться, что эти удовольствия не были очень деликатными: например, одним из живейших удовольствий было найти вечером несколько картофелин, которые нужно было есть без соли со сгнившим хлебом. Вы понимаете наше глубоко жалкое положение? Это длилось 18 дней. Выехав 16 октября из Москвы, я прибыл [в Смоленск] 2 ноября ».

У Е. В. Тарле говорится:

«В письмах, конечно, французские офицеры и солдаты не смели и сотой доли писать о всем том, что они переживали. Но и того, что они писали, более чем достаточно. „Мы прошли по самой дурной и опустошенной дороге, лошади, павшие в пути, тотчас же пожирались“, – пишет другой офицер своей матери, уже придя в Смоленск. „В нашей армии кавалерии уже нет, немного осталось лошадей, и те падают от голода и холода – и еще до того, как падут, их уже распределяют по кускам“. Лейб-медик Наполеона доктор Ларрэй пишет жене: „Я еще никогда так не страдал. Египетский и испанский походы – ничто сравнительно с этим. И мы далеко еще не у конца наших бедствий… Часто мы считали себя счастливыми, когда получали несколько обрывков конской падали, которую находили по дороге“. Если такова была жизнь сановника и любимого доктора самого императора, то можно легко себе представить, каково приходилось нижним чинам отступающей армии.

„Вся почти кавалерия идет пешком, не наберется на пятый полк и одной сотни конных“, – доносит французский инженер Монфор своему начальнику генералу Шаслу». Муки голода становились настолько чудовищными, что люди стремительно забывали о собственном достоинстве. Эти воины галантной Франции, искушенные европейцы, утрачивали все человеческое, превращались в зверей. Явления каннибализма, поначалу единичные, вскоре возымели характер повального бедствия. «Голод приобретал катастрофические размеры для французской армии, – продолжает Е. В. Тарле. – Уже в начале отступления французов, на переходе от Вязьмы до Смоленска, русский генерал Крейц, идя походом со своим полком, услышал какой-то шум в лесу, правее дороги. Въехав в лес, он с ужасом увидел, что французы ели мясо одного из своих умерших товарищей. Дело было еще до морозов, до полного расстройства французской армии, до неслыханных бедствий, ждавших ее впереди. Это показание Крейца подтверждается рядом других аналогичных. „…Кроме лошадиного мяса, им есть нечего. По оставлении Москвы и Смоленска они едят человеческие тела…“ „…Голод вынудил их не только есть палых лошадей, но многие видели, как они жарили себе в пищу мертвое человеческое мясо своего одноземца… Смоленская дорога покрыта на каждом шагу человеческими и лошадиными трупами“, – пишет Воейков престарелому поэту Державину 11 ноября из Ельни. Как видим, везде тут речь идет о начале отступления, о перегоне Москва – Смоленск. Что поедание трупов сделалось обыденным явлением в конце бедственного отступления, об этом свидетельств сколько угодно. Но нам важно зафиксировать факт страшного голода именно в тот период, когда еще и морозов не было, а стояла прекрасная солнечная осень. Именно голод, а не мороз быстро разрушил наполеоновскую армию в этот период отступления».

Вот когда с пронзительной очевидностью подтвердилось, что обозы с драгоценными трофеями на войне (особенно такой, как

эта) – непозволительная роскошь! Наполеон наверняка корил себя за то, что проявил мягкость и сострадание. Впрочем, можно было себе представить, сколь велико было бы разочарование его армии, прикажи он оставить все трофеи, а вместо них захватить как можно больше снеди.

Тогда, 19 октября, Наполеон еще вполне верил в то, что ему удастся достаточно быстро достичь Смоленска по Калужской дороге, имея к тому же к услугам своей армии неразоренные города и села. Кутузов заставил Наполеона двинуться по тому пути, каким он пришел к Москве. По пути разорения.

Армия первоначально осталась без возможности регулярного пополнения припасов, а потом еще и морозы хорошенько вдарили. И вот тогда французы уже были точно обречены! Они должны были почти безостановочно двигаться, не позволяя себе сколь-либо серьезного привала, а им практически наступали на пятки силы корпусов Милорадовича и Платова. На флангах тоже было неспокойно: постоянные атаки партизан и налеты казаков. Русские были отдохнувшие, к ним постоянно подходили все новые пополнения; снабжение тоже было на высоте. Космический контраст по сравнению с французами. Что касается участи последних, то, не умаляя серьезности их преступлений, нельзя все же не вспомнить расхожую поговорку:

такого и врагу не пожелаешь ! П. И. Ковалевский, повествуя об отступающей армии, приводит страшное признание П. Сегюра:

«„Солдаты без пищи и теплой одежды шли, дрожа от холода; если, изнемогая от усталости, они падали, то снег покрывал их моментально и только по маленькому бугорку можно было узнать их присутствие. Вся дорога была покрыта такими бугорками, как на кладбище. Самые хладнокровные и равнодушные с ужасом глядели на эти бугры и, отвернувшись, быстро проходили мимо. Но впереди них, вокруг них – всюду снег, взгляд теряется в этой бесконечной равнине“. Каждый шел сам по себе, говорит Соанье, ни малейшей человечности солдаты не выказывали друг к другу; никто не протянул бы руку помощи даже своему родному брату. За ночь снег настолько засыпал бивуаки, что место расположения их можно было узнать только по трупам солдат и лошадей…

С этими несчастными, голодными, оборванными, изнуренными и изможденными шел их император, угнетенный, подавленный и больной, неся на себе кару своей несчастной неосмотрительности. „Все обгоняли Наполеона, все видели, как он шел пешком с палкой в руках, видно было, что движение это было для него затруднительно, и он останавливался каждые четверть часа, казалось, он не в силах был покинуть своих несчастных товарищей по оружию“».

Мало кто знает, но французы, покидая в спешке Москву, нашли необходимым захватить с собой тысячи русских военнопленных.

Согласно Е. В. Тарле:

«Отступающие французы влекли за собой несколько тысяч русских пленных, взятых с начала войны. Их почти вовсе перестали кормить. Велено было слабосильных пристреливать. В одной только партии русских пленных, которых французы гнали от Москвы до Смоленска, было пристрелено 611 человек (из них 4 офицера). Пристреливали их как слабосильных. Пленных убивали даже при малейшем признаке отставания. Их погибло, конечно, много

тысяч человек. Трупы расстрелянных русских пленных постоянно встречались между трупами французов по дороге, на всем пути отступления наполеоновской армии». Отступление французской армии из России в 1812 году. Ксилография по оригиналу Л. Потта

Наступили морозы.

«Морозная зима, – пишет Верещагин

, – быстро со всею силою подвинувшаяся на не подготовленную к ней отступавшую армию – награбившую массу ценных вещей, но не позаботившуюся о зимней одежде, – показала ей, что в этой стороне она незваная гостья. Злой приказ Наполеона жечь все кругом, имевший целью наказать русских, наказал прежде всего своих: приводившийся в исполнение не арриергардом, как бы следовало, а авангардом, он отнимал у несчастных солдат последнюю возможность хоть изредка отогреться под крышею и заставлял проводить все ночи под открытым небом. Те, которым удавалось развести огонь, по часам сидели вокруг него, наслаждаясь теплотой и не замечая, как загорались их одежды и даже обугливались отмороженные части тела. Некоторые прямо входили в костры и обгорали до смерти. Ужаснее всего были ночи во время ветров и снежных бурь: длинные ряды тесно сжавшихся солдат, укутанных в продырявленные шинели и плащи, также в женские юбки, крестьянские армяки, священнические ризы и кто во что горазд, – издавали один общий протяжный стон, не заглушавшийся даже воем ветра. Тут были генералы, офицеры и солдаты – все взывали к далекой родине и кляли Россию с ее морозами, одинаково недружелюбно поминая императоров Наполеона и Александра…»

Что еще позволяло французам сохранять хоть какую-то видимость порядка при сложившихся обстоятельствах? Наверное, сознание того, что впереди – Смоленск. Именно там наконец удастся им всем хотя бы на время обрести покой, восстановить силы, отъесться и отоспаться. В это верили практически все, даже Наполеон. Пока впереди спасительной перспективой маячил Смоленск, еще можно было – в принципе – говорить о проведении конкретного военного маневра – отступления. Наполеону, некогда величайшему триумфатору, это позволяло хоть до некоторой степени сохранять свое лицо. Однако с каждым днем делать это становилось все труднее и труднее…

«Партизанская война, крестьянская активная борьба, казачьи налеты – все это при усиливающемся недоедании, при ежедневном падеже лошадей заставляло французов бросать по дороге пушки, бросать часть клади с возов, а главное – бросать больных и раненых товарищей на лютую смерть, ожидавшую их, если только им не посчастливилось бы попасть в руки регулярной армии. Изнуренные небывалыми страданиями, полуголодные, ослабевшие войска шли по разоренной вконец дороге, обозначая свой путь трупами людей и лошадей», – констатирует Е. В. Тарле.

Арман Коленкур вспоминает:

«Когда мы проходили мимо Можайска, император сделал остановку, чтобы выяснить, как

идет эвакуация и как выполняется его распоряжение о выдаче пайков раненым. Он сам разместил значительное число раненых как в своих личных повозках и экипажах, так и во всех тех, которые проезжали мимо. Некоторые возражали против этой меры, заявляя, что она обрекает несчастных раненых на гибель, так как они, едва покинув лазареты, должны будут тащиться по дороге, но император приказал рассадить их повсюду, где они только могли примоститься, в том числе на крышах фургонов, на повозках для фуража и даже на задках телег, уже нагруженных до отказа ранеными и больными из Малоярославца. Все они один за другим пали жертвой добрых намерений императора, хотевшего укрыть их от опасности, которая могла бы грозить им со стороны ожесточенных русских крестьян. Те из них, кто не свалился в результате истощения и мучительного способа путешествия, стали жертвой ночных морозов или погибли от голода, за исключением раненых гвардейцев и тех раненых, которые находились в обозе императора (эти раненые пользовались пищей и уходом благодаря изумительной самоотверженности доктора Лерминье и заботам начальника обоза Жи); так как все потеряли свои обозы, то до Вильно доехали живыми не больше 20 человек. Даже те из них, которые были в лучшем состоянии, чем другие, не могли вынести того способа путешествия и держаться на повозках там, где было размещено большинство из них. Легко представить себе состояние этих несчастных после нескольких лье пути. Истощение, тряска и холод – все вместе обрушилось на них. Никогда не приходилось видеть более скорбного зрелища».

Там же, «около Можайска отступающая армия проходила мимо громадной равнины, пересеченной оврагом и речкой, с небольшими холмами, с развалинами и почернелыми бревнами двух деревень. Вся равнина была покрыта гниющими, разложившимися многими тысячами трупов и людей, и лошадей, исковерканными пушками, ржавым оружием, валявшимся в беспорядке и негодным к употреблению, потому что годное было унесено. Солдаты французской армии не сразу узнали страшное место. Это было Бородино с его все еще не похороненными мертвецами. Ужасающее впечатление производило теперь это поле великой битвы. Шедшие на мучительные страдания и смерть в последний раз взглянули на товарищей, уже погибших», – сказано у Е. В. Тарле.

Взглянул на них и Наполеон.

Наверняка ему многое вспомнилось…

У Василия Верещагина Наполеон размышляет:

«Не он ли виновник того, что день этот был только днем величайшей резни, а не величайшей победы? Не его ли болезнь (дизурия), не позволившая сесть на лошадь, заставила его издали смотреть на поле битвы, представлявшее море дыма, с грохотом орудий и ружей, криками „Ура“ и „Vive L’Empereur“ – не дала довершить битвы?

Наполеон вновь переживал в воображении этот день и мысленно представлял себе, как бы следовало ему провести его: быть здоровым, бодрым, свежим, с утра сесть на коня, объехать, вдохновить войска и лично направить их в обход слабого левого фланга противника; тогда разговор был бы другой! Маршал Ней не был бы так чертовски прав, как теперь, когда, узнавши об отказе дать резерв гвардии, вскричал: „S’il a desapris de faire son affaire, qu’il aille se f… f… a Tuillerie; nous ferons mieux sans lui“ [9].

Эти досадные и неотвязные мысли так растревожили императора, что он ускорил шаг и стал нервно отбивать удары своею березовою палочкой…

Ему представилась битва в самом разгаре: маршалы умоляют его о подкреплении, об

окончательном ударе, и он решается дать свой последний резерв, он сам сейчас поведет гвардию в бой!.. Тогда будет сломлен остаток сопротивления русских, все еще занимающих позиции, в которые их оттеснили, но уже видимо изнемогающих. Сейчас победоносно завершится кровопролитнейшая из всех известных в истории битв, армия неприятельская будет рассеяна, и Александр волей-неволей запросит мира…

Но маршал Бессиер подходит и шепчет ему на ухо: „Не забывайте, ваше величество, что вы за 800 лье от вашего базиса!“

От волнения при этом воспоминании император внезапно остановился; остановилось и все за ним следовавшее, причем не обошлось без комических столкновений между генералитетом, криков и брани в войсках. Наполеон обернулся и осмотрелся, причем взгляд его невольно пал на маршала Бессиера… Потом он пошел далее – так или иначе дело сделано и день битвы под Москвою вписан в скрижали истории как день кровавейшего, но нерешительного побоища.

Да и то сказать: не был ли прав тогда Бессиер? Если теперь, среди страшных невзгод отступления и холодов еще не все побросали оружие и соблюдается некоторое подобие порядка, если гвардия поддерживает еще несколько дух и дисциплину армии, то не обязаны ли этим тому, что эту гвардию поберегли тогда, сохранили ее офицеров и состав, не дали охладиться ее пылу? Что было бы, если бы эта колонна из нескольких отборных тысяч людей была бы теперь в числе всего нескольких сотен, павших духом, потерявших энергию, деморализованных? Общая погибель была бы несомненна!

Лошади падают тысячами, кавалерия идет пешком, а артиллерия брошена; канавы по сторонам дороги полны людьми и лошадьми. Конечно, парфянские всадники не были назойливее казаков, а жаркие степи Бактрианы – убийственнее снежных пустынь России; участь же обеих армий, римской и французской, очевидно, одинакова: обе уничтожены!

…Уже бросили в воду все московские трофеи и большую часть награбленного добра. Ужас царит повсюду, все видят спасение только в бегстве. Генералы и офицеры смешались с денщиками, и все одеты в те же рубища, так же обросли бородами, так же грязны, закопчены, покрыты паразитами. Это какая-то шайка воров и разбойников, между которыми ни жизнь, ни имущество не в безопасности: воруют все, что только можно воровать, обирают споткнувшихся и упавших братьев, слабых, больных, умирающих. Дорога представляет сплошное поле битвы, одно непрерывное кладбище; все окрестности разорены и выжжены».

Оставалось лишь одно – идти вперед.

Более ничего своим солдатам Наполеон предложить уже не мог…

У Е. В. Тарле в точности приведен маршрут следования некогда Великой Армии, по-прежнему предводительствуемой Наполеоном:

«…император с гвардией шел в авангарде. Выйдя из Вереи 28 октября, Наполеон 30-го был в Гжатске, 1 ноября – в Вязьме, 2 ноября – в Семлеве, 3-го – в Славкове, 5-го – в Дорогобуже, 7-го – в селе Михайлове и 8-го вступил в Смоленск. Армия входила вслед за ним частями с 8 по 15 ноября. В течение всего этого бедственного пути от Малоярославца до Смоленска все упования – и самого Наполеона, и его армии – связывались со Смоленском, где предполагались продовольственные запасы и возможность сколько-нибудь спокойной

стоянки и отдыха для замученных, голодных людей и лошадей. Фельдмаршал двигался южнее, по параллельной линии, с поражавшей французов медленностью. Это „параллельное преследование“, задуманное и осуществленное Кутузовым, и губило вернее всего наполеоновскую армию. Французский штаб этого, конечно, тогда не знал. Казалось, в Смоленске будет хороший отдых, солдаты смогут прийти в себя, опомниться от перенесенных ими страшных страданий, но оказалось другое. В мертвом, полуразрушенном, полусгоревшем городе отступающую армию ждал удар, сломивший окончательно дух многих ее частей: в Смоленске почти никаких припасов не оказалось».

А вот это уже был конец.

Конец бесславной русской кампании (хотя войне суждено было еще продлиться 27 мучительных и безумных дней) и предвестие скорого конца для самого Наполеона.

В Смоленске французам задерживаться было теперь явно не с руки. Погреба пусты, приличного жилья не найти – катастрофа! Да что там задерживаться – одно им всем оставалось: бегство. Бежать, бежать стремглав, из последних сил, пока Кутузов с регулярными частями, Денис Давыдов со своими огольцами-партизанами и Платов – во главе своих казаков не отрезали спасительный путь к прусским берегам! Ж. К. Дюрок. Гравюра Дж. Гопвуда

До нас дошло одно из писем Дюрока, одного из командиров Наполеона, отправленное 10 ноября из Смоленска в Париж его приятелю-камергеру Монтескьё; вот фрагмент из него: «…

вы видите, что все наши приготовления к тому, чтобы провести зиму в Москве, оказались ненужными и что все наши надежды на удовольствия и на спектакли исчезли, но, однако, еще не совсем, потому что мы тащим за собой комическую труппу, и, если она не останется на дороге, мы доставим себе удовольствие смотреть комедии там, где мы расположимся на зимние квартиры. Мы ничего совсем не знаем о том, где это будет возможно, это зависит от событий и от движений неприятеля. Смоленск сохранился не лучше, чем Москва, он выгорел, конечно, до такой же степени, как и столица ».

Из Смоленска следовало бежать как можно быстрее.

Кстати, именно там, в Смоленске, выяснилась страшная деталь: город был разорен теми самыми французскими частями из подкреплений, что были направлены Наполеону после того, как он занял Москву. Это не мародеры едва не снесли Смоленск с лица земли, а собственные же солдаты. Наверняка хоть кто-то из них должен был уцелеть и дожить до прибытия в Смоленск. Легко представить, о чем они размышляли…

Шок от того, что обнаружилось в Смоленске, был ужасен. Он подействовал на солдат и офицеров Наполеона самым скверным образом. Если до Смоленска существовали хоть какие-то сдерживающие моменты, то теперь все окончательно пошло прахом.

Об этом превосходно говорится у Е. В. Тарле:

«В Смоленске не оказалось почти ничего из тех обильных запасов, на которые рассчитывали. Лошади пали почти все, потому что в Смоленске и вокруг Смоленска никакого фуража достать было невозможно. Скот, который был в свое время доставлен, съели те маршевые батальоны, которые с августа до начала октября проходили через Смоленск на подкрепление

Великой Армии, стоявшей в Москве, и все-таки, если бы армия, придя в Смоленск, была хотя бы отдаленно похожа на одну из тех армий, с которыми Наполеон совершал свои прежние походы, смоленских запасов хватило бы – правда, на очень и очень скудные рационы, но хватило бы на 15–20 дней по крайней мере. Однако пестрая, разноязычная масса голодных, озлобленных, совсем чужих друг другу людей, уже чующая над собой смертельную опасность, вступив в Смоленск, повела себя так, что и речи не могло быть о сколько-нибудь правильной, организованно проведенной выдаче рационов. Гвардия получала все, в чем нуждалась, и в таком изобилии, о котором остальные части не смели и думать. Озлобление против гвардии, вызванное завистью, охватывало все другие части армии, но так как гвардейцы сохранили полностью дисциплину, исправное оружие и товарищескую прочную связь, то вступать с ней в борьбу не приходилось, но зато другие части, потеряв всякое чувство дисциплины, бросились, как голодные дикие звери, на склады, разбили и растащили все, что там нашли, и никакие угрозы и окрики начальства не могли ничего с ними поделать.

Смоленские магазины перестали существовать чуть ли уже не на третий день. Дисциплина падала с ужасающей быстротой, озверение голодных германских, польских, итальянских солдат, а также уже и некоторых частей чисто французских (чего еще в Москве не замечалось) дошло до неслыханной степени. Французские офицеры в своих частных письмах утверждали, что в сумерках и в ночное время человеку, несущему хлеб, было опасно проходить по улицам Смоленска: нападут и убьют. Расстрелы уже не могли восстановить дисциплину. Испугать смертной казнью было трудно тех, кто ежедневно ждал смерти от голода, от истощения и от усталости. Беспощадная суровость Даву еще кое-как поддерживала дисциплину в его корпусе. Другим маршалам это удавалось очень плохо. Смоленск обманул ожидания армии еще и в другом крайне существенном отношении. Отдых совсем не удался: в первые дни – ожесточенная борьба вокруг растаскиваемых магазинов, вокруг распределения найденных запасов по армейским частям, а потом – тревога, слухи о надвигающихся русских (разъезды казаков), сборы к выступлению из города».

Французская армия – точнее, ее арьергард – покидает Смоленск 17 ноября 1812 года. Наполеон вышел на несколько дней раньше, направляясь к Красному, находившемуся юго-западнее Смоленска. Характерно, что Кутузов специально не стал преследовать французов до ворот Смоленска, а предпочел прямиком следовать к Красному, что дало бы возможность перерезать Наполеону выход к Березине. Наверное, стоит упомянуть о том, что стратегическое мастерство Кутузова в финале кампании проступило во всей очевидности. Наиболее прозорливые люди наконец-то стали постигать, в чем состояла его стратегия. Явилось очевидным, что от Бородина было просто необходимо отступить, а Москву действительно следовало оставить. Русская артиллерия на марше. Литография К. А. Хендрикова

Бои у Краснова продолжались на протяжении нескольких дней – с 15 по 18 ноября. Возможно, «бои» – это слишком сильное слово. Наполеон не собирался сражаться, теперь уж было не до показательных баталий. Он хотел лишь одного для себя и своей гвардии – вырваться любой ценой из стремительно образующегося кольца русских войск. Впрочем, существуют диаметрально противоположные трактовки тех боев. То, что столкновения русских с французами не явились серьезными, утверждает, например, Денис Давыдов:

«Сражение под Красным, носящее у некоторых военных писателей пышное наименование трехдневного боя, – заявляет он

, – может быть по всей справедливости названо лишь трехдневным поиском голодных, полунагих французов; подобными трофеями могли гордиться ничтожные отряды вроде моего, но не главная армия. Целые толпы французов при одном появлении небольших наших отрядов на большой дороге поспешно бросали оружие». При всем уважении к легендарному герою Отечественной войны 1812 года его мнение не может считаться вполне справедливым. Отрадно, что Е. В. Тарле, проведя дотошный анализ множества источников, трактует происшедшее иначе: «Он (т. е. Наполеон. – Г. Б.) спешил к Березине. Уход из России, уход как можно более поспешный, один только мог сохранить хоть часть тех 30–40 тысяч бойцов, которые у него остались. Под Красным произошел своего рода отбор: погибли в бою или сдались в плен наименее боеспособные люди, которые просто не могли уже поспеть за уходящими частями. Но все-таки характеристика, которую дает боям под Красным Денис Давыдов, не совсем справедлива. Кстати, это сражение, неизвестно почему, он называет, как и Левенштерн, „трехдневным", тогда как бои под Красным длились не три, а четыре дня, и сражение стоило не только французам, но и русским немалых жертв». Маршал Нэй. Неизвестный художник

Арьергард маршала Нея отчасти отвлек внимание русских войск, позволив Наполеону с почти не пострадавшей гвардией достичь Орши. Ней с 7 тысячами солдат был взят в кольцо 80-тысячной русской армией. Он категорически отказался сдаться. Призвав своих солдат, Ней ринулся в глухие и неведомые леса, по бездорожью, и сумел дерзко вырваться из окружения! Более того, он смог достичь Днепра и переправиться через него. Днепр был отчасти затянут льдом, причем еще очень некрепким. Под тяжестью бегущих французов лед не выдержал; смертельно холодная вода довершила остальное. Из 3-х тысяч солдат, бывших с Неем, 2200 человек погибли. С оставшимися Ней все-таки переправился и вскоре воссоединился с Наполеоном под Оршей. Объективности ради стоит заметить, что то, что удалось совершить Нею со своими людьми, выходит за грани разумения. Он был обречен – это понимали все. Наполеон специально медлил под Красновым, ожидая своего любимого маршала. Лишь когда стало ясно, что 80-тысячная группировка русских войск взяла Нея в кольцо, Наполеон отдал приказ двигаться к Орше. Ней и до этого пользовался по праву репутацией великого воина. Русские уважали его не меньше, чем свои! Геройский подвиг Нея под Красновым вошел в анналы Истории; пожалуй, ни одно из событий Отечественной войны 1812 года не может с ним сравниться…

Все требовали или убеждали, чтобы Кутузов покончил с Наполеоном там же, под Красновым. Кутузов, в свою очередь, мечтал сохранить как можно больше русских солдат живыми. Для него было очевидно: миф Наполеона разрушен. В сущности, нет необходимости затевать кровопролитный бой с гвардией Бонапарта. Отборные войска будут свирепо сражаться, и малой кровью дело явно не обойдется. А зачем губить новые русские жизни? Эта война и так уже стоила огромных жертв. А Наполеон – он лишь стремится спастись бегством. Ну и пусть себе бежит! Даже вернувшись к себе, в Париж, он никогда не обретет уже прежней мощи. Его империя обречена…

Мудрость в Кутузове удачно сочеталась с прозорливостью. Он не знал, что на родине Наполеона не все обстоит благополучно. А в это время там происходило следующее.

П. И. Ковалевский пишет:

«

Во время отсутствия Наполеона в Париже произошло событие, которое едва не произвело государственного переворота. Генерал Мале решил воспользоваться отсутствием

Наполеона, произвести замешательство и стать во главе правления. Генерал Мале был ярым республиканцем и вместе с тем был душевнобольным и параноиком, из-за чего он содержался в заведении для душевнобольных. 23 ноября, пользуясь слабостью надзора, он бежал из больницы и направился к казармам Попинкур. Здесь, при помощи подложных документов, он убедил генерала Ламота в том, что Наполеон умер 7 октября в Москве и что сенат, собравшийся ночью, провозгласил республику. Вместе с Ламотом он отправился в крепость, где освободил генералов Лагория и Гидала, заключенных там за сношения с Англией. Рядом с этим они арестовали и заключили в тюрьму герцога де Ровиго и префекта полиции. Только мужество и стойкость коменданта крепости генерала Гюлена спасает дело. Мале был арестован и казнен. Все это не могло не потревожить Наполеона и не заставить поспешить в Париж… »

Арман Коленкур оставил для нас описание реакции Наполеона на полученное из Парижа известие о попытке переворота:

«Император был в негодовании. Он оказался оскорбленным до глубины души.

– Когда имеешь дело с французами, – сказал он, – или с женщинами, то нельзя отлучаться на слишком долгое время. Поистине нельзя предвидеть, что смогут внушить людям интриганы и что случилось бы, если бы там в течение некоторого времени не получали никаких известий от меня».

Его раздражение понятно. Имея дело с республикой, невольно привыкаешь к возможности заговора. Правда, военный министр пытался убедить императора, что заговор может иметь в своей основе чью-то тонкую интригу. Более того, он даже приводил наиболее вероятную кандидатуру творца всего заговора – член городского совета Фрошо. Наполеон, поначалу не слишком веривший в возможность прямой измены, очень скоро изменил свое мнение и очень беспокоился о том, что творится в Париже. Относительно же Фрошо он сказал, согласно Коленкуру, следующее: «Я хорошо знаю, что не всегда можно особенно полагаться на людей, которые смотрят на военную карьеру только как на ремесло, на выгодную спекуляцию и готовы служить всякому, кто оплачивает их риск соответствующим окладом, но ведь Фрошо высшее должностное лицо, человек с большим состоянием, отец семейства, обязанный показывать своим детям пример верности своему государю, которая является первейшим долгом каждого! Я не могу поверить в такую подлость…» Удаленность от Парижа играла скверную роль, что и говорить. Наполеон становился мнителен. Но была в этой истории еще одна сторона. О происшедшем непременно должна была узнать Европа! И это беспокоило Наполеона по-настоящему – и, надо признать, в данном случае у него были основания для беспокойства…

Даже если бы не произошло катастрофы, и Наполеон не потерял бы в России свою армию, безумная выходка Мале, поставившая на три дня весь Париж на голову, была очень скверным знаком. Это было предвестием заката для империи Наполеона.

В любом случае, Кутузов словно в воду глядел!

В Орше Наполеон был 18 ноября, а 20 уже стоял в Борисове, что на левом берегу реки Березины. Этот город представлял для императора исключительную важность, поскольку в нем каким-то чудом уцелел мост, пригодный для переправы.

Арман Коленкур вспоминает:

«…он (т. е. Наполеон. – Г. Б.

) считал, что сосредоточение под Борисовом тех войск, которыми он располагал в этом районе и которые, наверное, в связи с происходящими событиями собрались там вместе, надежным образом обеспечивает отступление армии, которое теперь нельзя прерывать вплоть до Вильно. Он был уверен, что борисовский мост находится под крепкой охраной. Этот мост был важным пунктом. Уже давно император приказал привести его в оборонительное состояние, держал там войска, и, судя по тому, что он соблаговолил говорить мне, а также князю Невшательскому, он думал, что может рассчитывать на этот пункт.

Вечером, когда император лег в постель, он оставил у себя, как это часто бывало, графа Дарю и Дюрока, чтобы поболтать с ними; он задремал, а Дарю и Дюрок стали разговаривать между собой, ожидая, пока император окончательно заснет и можно будет удалиться. Через четверть часа император проснулся и спросил их, о чем они говорят.

– Мы мечтали о воздушном шаре, – ответил Дарю.

– Для чего?

– Чтобы увезти ваше величество.

– Да, положение довольно трудное. Вы, значит, боитесь попасть под замок в качестве военнопленных?

– Нет, не военнопленных, потому что вашему величеству такой хорошей участи не предоставят.

– Положение действительно серьезно. Вопрос осложняется. И все же если начальники подадут пример, то я все еще буду сильнее, чем неприятель. У меня больше, чем нужно, сил, для того чтобы пройти по трупам русских, если единственным препятствием будут их войска».

А сил, которыми мог бы воспользоваться Наполеон для обеспечения своего плана, становилось меньше с каждым днем. Е. В. Тарле пишет: «…у Наполеона было около 30–35 тысяч годных к бою людей, может быть, немного меньше или немного больше. Эти люди принадлежали больше всего к чисто французским частям. За ними тащились десятки тысяч итальянцев, немцев, поляков, голландцев, иллирийских славян, разноплеменных и разноязычных, не понимавших друг друга, ненавидевших друг друга и особенно свое начальство, рвущих друг у друга хлеб и те жалкие суррогаты пищи, которыми люди пытались утолить свой голод. Их засыпал снег, они мерзли, спотыкались и падали, голод и холод довели их до какого-то потемнения сознания. Они двигались как автоматы, падали, замерзали, умирали молча, и товарищи шли мимо, даже не пытаясь им помочь. Вокруг носились казаки, налетали порой с криком „ура!“ партизаны, били, кололи, рубили отстающих и обозников и скрывались, а иногда отрезывали целые отставшие части и принуждали к сдаче. Наполеон шел пешком в рядах старой гвардии, шел по глубокому снегу молча по нескольку километров».

Этот контраст – между гвардией и прочим воинством особенно сильно бросился в глаза Денису Давыдову:

«Подошла старая гвардия, посреди коей находился сам Наполеон… мы вскочили на коней и снова явились у большой дороги. Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько ни покушались мы оторвать хотя одного рядового от этих сомкнутых колонн, но они, как гранитные, пренебрегая всеми усилиями нашими, оставались невредимы; я никогда не забуду свободную поступь и грозную осанку сих, всеми родами смерти испытанных, воинов. Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, белых ремнях, с красными султанами и эполетами, они казались маковым цветом среди снежного поля… Командуя одними казаками, мы жужжали вокруг сменявшихся колонн неприятельских, у коих отбивали отстававшие обозы и орудия, иногда отрывали рассыпанные или растянутые по дороге взводы, но колонны оставались невредимыми… Полковники, офицеры, урядники, многие простые казаки устремлялись на неприятеля, но все было тщетно. Колонны двигались одна за другою, отгоняя нас ружейными выстрелами и издеваясь над нашим вокруг них бесполезным наездничеством… Гвардия с Наполеоном прошла посреди… казаков наших, как 100-пушечный корабль между рыбачьими лодками».

Описание, приведенное Давыдовым, невольно завораживает, не правда ли? Тут все наносные эмоции уходят прочь: движется военная элита, отборные воины, умеющие обыгрывать саму Смерть – на ее собственном поле! Это воины-победители – им не страшны никакие казаки! Неизбывная броня Наполеона!

Кутузову было хорошо известно, на что способна гвардия Наполеона! К этому времени в русской армии имелись колоссальные потери в численном составе. Причем речь идет не о павших на поле брани. П. В. Чичагов. Гравюра В. Лемана

П. Х. Витгенштейн. Фототипия по оригиналу Дж. Доу

Е. В. Тарле приводит невероятную калькуляцию, исходя из данных самого Кутузова:

«В русской „главной армии“ (т. е. той, которая шла от Тарутина до Вильны вслед за Наполеоном) оказалось к 10 декабря всего 27 464 человека и 200 орудий, а когда она выходила из Тарутина, в ней было 97 112 человек при 622 орудиях. Итак, за два месяца пути выбыло из строя 70 тысяч человек. Из них более или менее точному учету поддается только цифра в 60 тысяч: 48 тысяч больных лежали в госпиталях, 12 тысяч убиты в боях или умерли от ран и болезней. Правда, можно было надеяться к этой ничтожной цифре (27 464 человека) прибавить войска Витгенштейна (34 483 человека) и Чичагова (24 438 человек). Но эти армии Чичагова и Витгенштейна были для Кутузова не очень ясно учитываемой величиной, а уж в таланты обоих предводителей он и совсем мало верил.

При таких условиях „поймать“ Наполеона не представлялось Кутузову делом весьма верным, и тактика фельдмаршала больше всего и вытекала из убеждения, что без определенного смысла проливать солдатскую кровь непозволительно».

Ведь и впрямь парадоксально! Более 80 тысяч войска, а доверия заслуживают лишь 27 464 человека… Впрочем, армия того же Чичагова заняла Борисов, сорвав планы Наполеона с переправой. Императору приходится стремительно смещаться, пожертвовав часть своих сил

на отвлечение войск Чичагова. И он отвлекает Чичагова мастерски. Признаемся, что Кутузов, не слишком высоко ставя полководческие таланты Чичагова и Витгенштейна, был отчасти прав. Оба (и Чичагов, и Витгенштейн) просто рвались уничтожить Наполеона. В итоге они не смогли толком договориться, и Чичагов прибыл первым. Витгенштейн сильно запоздал. Это позволило Наполеону отыскать место для сооружения новой переправы.

Арман Коленкур пишет:

«Судьба, казалось, хотела подвергнуть нас в эту тяжелую кампанию всем самым жесточайшим испытаниям. События, которые могли больше всего расстроить планы императора, следовали одно за другим. Лишившись складов, которые могли бы удовлетворить все наши потребности и позволить нам реорганизовать армию, он терял теперь – как раз в тот момент, когда не было другого пути спасения, – единственную переправу, на которую он так рассчитывал. Всякий другой на его месте пал бы духом. Но император показал, что несчастье не может его одолеть. Бедствия не сокрушили его, и вся энергия этого великого человека лишь проявилась с еще большей силой; он показал, что могут сделать благородное мужество и храбрая армия именно тогда, когда на них обрушивается слишком много несчастий. Император показал, что его воля сильнее всяких событий, и, следовательно, он мог бы еще раз справиться с ними, если бы не искушал больше судьбу, людей и славу. Но надежда и одна только видимость успеха опьяняли его больше, чем удручила бы его самая большая неудача. Полученное им тогда косвенным путем сообщение об успехах, одержанных 16 и 17-го князем Шварценбергом, оживило его надежды. Судьба так часто осыпала его своими милостями в самых отчаянных обстоятельствах, что он тотчас же пожелал верить и поверил, что австрийцы, предупрежденные министром (герцогом Бассано) и вдохновленные примером его гения, воспользовались случаем, чтобы подойти к нам, и их маневры выручат нас и даже дадут нам некоторые шансы на успех, из которого он сумеет извлечь большие результаты. Обладая таким гением, таким закаленным характером и такой могучей волей, делавшей его сильнее неудач, он в то же время до такой степени был склонен предаваться мечтаниям, как будто действительно нуждался в этом средстве утешения слабых душ.

Его уверенность и упрямство еще больше возросли утром, когда он получил донесение от герцога Реджио о неудаче чичаговского авангарда под командованием генерала Палена, который рискнул напасть на Неманицу и, по словам герцога, потерял много пленных и все обозы, неблагоразумно переброшенные русскими из Борисова на другой берег реки. Об этом успехе у нас раззвонили во все колокола, и мы выступили в путь, направляясь в Борисов. Вверх и вниз по реке были посланы отряды, чтобы выяснить позиции неприятеля, обследовать переправы через реку и обмануть неприятеля ложными демонстрациями». За это время король неаполитанский (маршал Мюрат), маршал Удино и два видных инженерных генерала Эблэ и Шасслу смогли почти мигом возвести два моста у Студянки.

Гвардия Наполеона вступила в ночь с 25 на 26 ноября, когда все уже было готово к переправе. Наполеон, добравшись к Студянке на рассвете, командует: «Начать переправу!» Те, кому выпало судьбой оказаться в Студянке на тот момент, спаслись и встретили другой день на правом берегу, выстроившись в боевом порядке. Что же до тех, кто запоздал… Предоставим слово Е. В. Тарле: «Вечером и ночью с 27 на 28 ноября на левый берег, еще не вполне оставленный всеми регулярными французскими войсками, стали прибывать огромные толпы безоружных и полубезоружных людей, отставших, больных, с отмороженными пальцами, а иногда и руками или ногами. За ними и вместе с ними стали переправляться обозы, а с обозами те несчастные иностранцы, вышедшие с французами из Москвы, которые еще уцелели во время отступления. Там было много женщин и детей. Они рвались к переправе, умоляли пропустить их поскорее, говорили о казаках, которые идут следом за ними, но их не пропустили. Наполеон приказал прежде всего переправить бойцов, а уж потом,

если хватит времени, безоружных, раненых, женщин и детей, если же не хватит времени, сжечь мосты.

Времени не хватило».

Что же произошло потом?

«Бои 28 ноября были упорны, – продолжает Е. В. Тарле

, – но они не сопровождались успехом для русских. Ни Чичагов, ни Витгенштейн (прибывший в конце концов к месту сражения, правда вначале лишь со своим штабом, обогнав свою же армию! – Г. Б.

) не действовали так, как могли бы, принимая во внимание, что на правом берегу у Чичагова было 25 тысяч человек, а у Наполеона 19 тысяч, на левом же берегу у русских около 25–26 тысяч, а у маршала Виктора около 7–8 тысяч бойцов. В 9 часов утра 29 ноября при воплях и молениях тысяч раненых, безоружных и всех тянувшихся с обозами генерал Эблэ приказал сжечь оба построенные им и Шасслу моста. После этого казаки налетели на оставшуюся многотысячную, беспорядочную толпу оставленных, пошла рубка и стрельба».

Инженер Чичагова Мартос был очевидцем происходящего и оставил его описание:

«Ввечеру того дня равнина Веселовская, довольно пространная, представляла ужаснейшую, невыразимую картину: она была покрыта каретами, телегами, большею частью переломанными, наваленными одна на другую, устлана телами умерших женщин и детей, которые следовали за армией из Москвы, спасаясь от бедствий сего города или желая сопутствовать своим соотечественникам, которых смерть поражала различным образом. Участь сих несчастных, находящихся между двумя сражающимися армиями, была гибельная смерть; многие были растоптаны лошадьми, другие раздавлены тяжелыми повозками, иные поражены градом пуль и ядер, иные утоплены в реке при переправе с войсками или, ободранные солдатами, брошены нагие в снег, где холод скоро прекратил их мучения… По самому умеренному исчислению, потеря простирается до десяти тысяч человек… Переправа через Березину

Невольный ужас овладел нашими сердцами. Представьте себе широкую извилистую реку, которая была, как только позволял видеть глаз, вся покрыта человеческими трупами; некоторые уже начинали замерзать. Здесь было царство смерти, которая блестела во всем ее разрушении… Первый представившийся нам предмет была женщина, провалившаяся и затертая льдом; одна рука ее отрублена и висела, другой она держала грудного младенца. Малютка ручонками обвился около шеи матери; она еще была жива, она еще устремляла глаза на мужчину, который тоже провалился, но уже замерз; между ними на льду лежало мертвое дитя… Ветер и мороз были прежестокие, все дороги замело снегом, по ближнему полю шатались толпами французы. Одни кое-где разводили огонь и садились к нему, другие резали у лошадей мясо и глодали их кости, жарили его, ели сырым; скоро показались люди замерзлые и замерзающие. Никогда сии предметы не изгладятся из моей памяти. [Дорога казалась] улицей мертвых тел».

Русским раненым приходилось столь же несладко, как и французам:

«…Давно не помню я столь тягостного для себя дня. Деревушка была завалена нашими и французскими ранеными и пленными, коих так много увеличивалось, что и девать было почти некуда. Ужасно было видеть их: большие и малые, все вместе, мужчины и женщины, с обмотанными соломой ногами, прикрытые какими-то тряпками, без сапог, с отмороженными лицами, с побелевшими руками…»

Отсутствие грамотной организации у русских стало причиной того, что Наполеон сумел переправиться через Березину с лучшими своими силами! Кутузов не стремился настичь Наполеона, Витгенштейн позорно опоздал, а Чичагов не имел достаточных сил для того, чтобы разгромить Наполеона в одиночку. Кроме того, хоть Чичагов на словах и рвался сокрушить императора, но по пути следования к Березине допустил ряд необъяснимых остановок, упустив много времени (чего стоит один только двухдневный простой в Минске для «ковки лошадей»!). Тарле полагает, что вообще все трое не спешили выходить на бой с Наполеоном, но если Кутузов делал это демонстративно, то его коллеги громогласно заявляли о своем желании сразиться, а потом намеренно мешкали, предоставляя Наполеону возможность уйти. В итоге при дворе Александра I во всем обвинили, конечно же, Кутузова.

Все как обычно…

«После перехода через Березину, – вспоминает Арман Коленкур

, – лица у всех просветлели; впервые мысль о Польше улыбалась всем. Вильно стало землей обетованной; это была гавань, укрытая от всех бурь, – конец всех бедствий. Все прошлое казалось только сном; перспектива лучшего будущего почти полностью заставила забыть наши бедствия. Усталость, переживаемые лишения, вид несчастных, погибавших на каждом шагу от истощения, голода и холода, – все это мало действовало на характер французского солдата, веселого и беззаботного по природе. Опасности делают людей эгоистами; те, кто чувствовал себя хорошо, привыкли к зрелищу гибели и скорби. Люди, сильные духом, сделались нечувствительны к несчастьям и старались своим спокойствием закалить менее сильных. Страдали, несомненно, много; мы были свидетелями ужасных несчастий и великих бедствий, но, проникнутые чувством самосохранения и воодушевленные чувством национальной гордости и чести, люди не отдавали себе отчета в размерах бедствий. Голова шла кругом, и человек не мог, или, вернее, не хотел, верить в то, что он понял потом. Вчерашние, сегодняшние и завтрашние опасности казались нашему воображению не чем иным, как опасностями непрерывно возобновляющегося боя. Ведь мы были на войне, и каждый из нас участвовал в ней, а потому все обычно были веселы, беззаботны и даже в шутливом настроении, как это всегда бывает накануне, в самый день и назавтра после сражения. Несмотря на наши несчастья, в нашей ставке царило, бесспорно, не менее хорошее настроение, чем в ставке русских».

Однако переправой через Березину Отечественная война 1812 года не завершилась. Русские наладили свою переправу и, оказавшись также на правом берегу, продолжили преследование отступающего противника. И тут в довершение всех бед наступили лютые русские морозы. Начались они 28 ноября. Очевидцы вспоминают, что температура составляла от –20° до –28°

(ночами столбик термометра опускался до –30°). Если бы войска Наполеона подошли к Березине позднее, ему не было и вовсе никакой нужды для возведения мостов, поскольку Березина была бы скована льдом. Морозы самым прискорбным образом отразились на здоровье как французов, так и русских. Люди не могли долго сопротивляться холодам и умирали… Правда, русские все-таки были более привычными к таким климатическим условиям.

Приводимый нами ниже фрагмент докладной записки маршала Бертье Наполеону от 9 декабря 1812 года ясно показывает, какие страдания приходилось терпеть французам: «

Большая часть артиллерии приведена в негодность вследствие падежа лошадей и вследствие того, что у большинства канониров и фурлейтов отморожены руки и ноги… Дорога усеяна замерзшими, умершими людьми… Государь, я должен сказать вам всю правду. Армия пришла в полный беспорядок. Солдат бросает ружье, потому что не может больше держать его; и офицеры, и солдаты думают только о том, как бы защитить себя от ужасного холода, который держится все время на 22–23 градусах. Офицеры генерального штаба, наши адъютанты не в состоянии идти. Можно надеяться, что в течение сегодняшнего дня мы соберем вашу гвардию… Мы неминуемо потеряем значительную часть артиллерии и обоза… Неприятель преследует нас все время с большим количеством кавалерии, орудиями на санях и небольшим отрядом пехоты ».Л. А. Бертье. Литография А. Зенефельдера

Тремя днями позднее Бертье вновь рапортует Наполеону о том, сколь ужасна и непоправима ситуация: «

Меры, принятые для пребывания в Вильне, сведены на нет благодаря отсутствию дисциплины и преследованию со стороны неприятеля. Генерал Вреде принужден отступить. Король [Мюрат] приказывает за ночь очистить город. Герцог Эльхингенский [Ней] вынужден сжечь всю артиллерию и весь обоз в полукилометре от Вильны. Мороз – 25 градусов… Мороз измучил всех, у большинства людей руки и ноги отморожены… Ваше величество знаете, что в полутора лье от Вильны есть ущелье и очень крутая гора; прибыв туда к 5 часам утра, вся артиллерия, ваши экипажи, войсковой обоз представляли ужасное зрелище. Ни одна повозка не могла проехать, ущелье было загромождено орудиями, а повозки опрокинуты… неприятель… обстреливал дорогу… Это и был момент окончательной гибели всей артиллерии, фур и обоза, герцог Эльхингенский [Ней] приказал сжечь все это… Чрезвычайный мороз и большое количество снега завершили дезорганизацию армии, большая дорога была сплошь занесена снегом, люди теряли ее и падали в окружающие дорогу рвы и ямы…Я принужден сказать вашему величеству, что армия в полнейшем беспорядке, как и гвардия, которая состоит всего из 400 или 500 человек; генералы и офицеры потеряли все, что у них было, у большинства из них отморожены те или другие части тела, дороги усеяны трупами, дома наполнены ими… Вся армия представляет собой одну колонну, растянувшуюся на несколько лье, которая выходит в путь утром и останавливается вечером без всякого приказания; маршалы идут тут же, король [Мюрат] не считает возможным остановиться в Ковно, так как нет более армии… В данную минуту, государь, с нами ведет войну не неприятель, а ужаснейшее время года, мы держимся только благодаря нашей энергии, но вокруг нас все замерзает и не в состоянии приносить никакой пользы. Посреди всех этих бедствий вы можете быть уверены, ваше величество, что все, что окажется в силах человеческих, будет сделано ради спасения чести вашего оружия. Двадцать пять градусов мороза и обильный снег, покрывающий землю, служат причиной бедственного состояния армии, более не существующей.. .»

Бертье так говорит о гвардии Наполеона. Те самые воины-титаны, которым были не страшны даже бешеные казаки с их косматыми бородами, непоправимо вымирали, косимые необоримым холодом. Невероятно, но в те кошмарные для французских гвардейцев дни

некоторые из них открыто мечтали попасть в русский плен, веря, что это бы принесло им хоть временное ослабление мучений. Однако еще одна характерная деталь: Наполеона не хулил никто! Столь велика была вера солдат в его военный гений, что они кляли на чем свет стоит превратности судьбы, но не своего предводителя… Вот она, истинная верность!

Из-за морозов нарушилось снабжение продовольствием и в русских войсках. Сравнительно досыта удавалось поесть разве что казакам Платова, рыскавшим денно и нощно по округе в поисках провианта, да еще и гвардейцам Финляндского полка, которым казаки уделяли приличную часть своей добычи. Голод и холод не позволяли вести преследование отступавших французов так же ретиво, как и прежде.

Ряды наполеоновского воинства неотвратимо таяли. Е. В. Тарле приводит слова П. Сегюра о том, что «…

через Березину с Наполеоном переправилось в общем, считая с безоружными, отставшими, ранеными, больными, около 60 тысяч человек, что уже на правом берегу, от Березины до Молодечно, к ним присоединилось еще до 20 тысяч войск (из корпусов, оставшихся на флангах), что из этой общей массы в 80 тысяч человек 40 тысяч погибли на пути от Березины до Вильны, а большая часть из этих 40 тысяч погибла именно между Молодечно и Вильной, и еще очень многим суждено было погибнуть между Вильной и Неманом ».Бедственное положение французской армии во время отступления из Москвы. Гравюра М. Дюбурга

Наполеон и старуха. Неизвестный художник

Мороз все крепчал. В попытке хоть немного защититься от холода солдаты Наполеона пытались строить «берлоги», используя в качестве строительного материала… тела своих павших товарищей!

Удивительное дело: в районе Немана никто даже не подозревал о том, какая жуткая участь выпала на долю Великой Армии. Как в Вильно, так и в Ковно была пышно отпразднована годовщина коронации Наполеона.

А где же в это время был сам Наполеон?

Согласно Арману Коленкуру:

«…2 декабря ставка была в Селищах, причем помещение было почти такое же плохое, как и накануне; но зато мы нашли здесь много картофеля. Нельзя описать радость, испытанную всеми, когда оказалось, что можно наесться досыта. Мороз был такой, что оставаться на бивуаках было невыносимо. Горе тому, кто засыпал на бивуаке. В результате дезорганизация чувствительным образом захватила уже и гвардию. На каждом шагу можно было встретить обмороженных людей, которые останавливались и падали от слабости или от потери сознания. Если им помогали идти, или, вернее, с трудом тащили их, то они умоляли оставить их в покое. Если их клали на землю возле бивуаков (костры бивуаков горели вдоль всей дороги), то, как только эти несчастные засыпали, они были неминуемо обречены на смерть. Если им удавалось сопротивляться сну, то кто-нибудь из проходящих мимо отводил их немного дальше, и это продолжало их агонию на некоторое время, но не спасало их, ибо для людей в таком состоянии вызываемая морозом сонливость является силой, против которой нельзя устоять; засыпаешь вопреки своей воле, а заснуть – это значит умереть. Я пытался спасти некоторых из этих несчастных, но тщетно. Они могли пробормотать лишь несколько слов, прося оставить их в покое и дать им немножко поспать. Послушать их – так этот сон должен был быть их спасением. Увы! Он означал последний вздох несчастного, но зато

бедняга переставал страдать, не испытывая мук агонии. На побелевших губах замерзших была запечатлена признательность судьбе и даже улыбка. На тысячах людей я видел это действие мороза и наблюдал смерть от замерзания. Дорога была покрыта трупами этих бедняг».

И вот проходит каких-то двенадцать дней (меньше двух недель), и местные жители с оторопью взирают на описанных Коленкуром «бедняг» – полумертвых, обмороженных людей, в которых даже людям с творческой фантазией было бы сложно признать блестящих гвардейцев Наполеона… Несчастным было не суждено обрести желанную передышку, лишь отчасти утолить свой голод им тогда удалось.

А 14 декабря 1812 года русский авангард, правда не отличавшийся большой численностью, уже завязывает перестрелку, явно намереваясь помешать уцелевшим отрядам Наполеона переправиться через Неман. И вновь на выручку своему императору пришел геройский маршал Ней. Располагая лишь тысячью людей (многие говорят, что их было едва восемьсот!), он отважно отвлекает огонь русских на себя. Ней непоколебимо держит оборону все время переправы и последним покидает мост. Истинный герой!

В числе переправлявшихся через Неман уже не было Наполеона. Он оставил армию еще 6 декабря. Это произошло в местечке с причудливым названием: Сморгонь. Наполеон, созвав своих маршалов, объявил им свою волю. «При нынешнем положении вещей, – сказал он, – я могу внушать почтение Европе только из дворца в Тюильри», – вспоминает слова своего императора Арман Коленкур.

Некоторые сочли, что его отъезд окончательно деморализует солдат. Однако это были истинные военные. Несмотря на все тяготы, которые им чудом удалось пережить, они понимали: чем скорее Наполеон возвратится в Париж, тем скорее он сможет приступить к созданию новой армии.

Арман Коленкур дословно воспроизводит последний приказ Наполеона Бонапарта:

«

Сморгонь, полдень 5 декабря .

Император выезжает в 10 часов вечера.

Его сопровождают 200 человек из его гвардии. После перекладного пункта между Сморгонью и Ошмянами его сопровождает до Ошмян маршевый полк, расположенный в четырех лье отсюда; передать распоряжения этому полку через генерала ван Хогендорпа.

150 отборных гвардейских кавалеристов будут посланы на расстояние одного лье от Ошмян. Штаб маршевого полка и эскадрон гвардейских уланов будут размещены на этапах между Сморгонью и Ошмянами.

Неаполитанцы, которые ночевали сегодня ночью между Вильно и Ошмянами, поместят 100 всадников в Медниках и 100 в Румжишках.

Генерал ван Хогендорп остановит там, где он его встретит, маршевый полк, который должен прибыть 6-го в Вильно, и прикажет ему поставить 100 всадников на полдороге в Ковно. Он распорядится, чтобы в Вильно были наготове 60 человек эскорта и почтовые лошади, необходимые обер-шталмейстеру от Сморгони до района за Вильковишками. Генерал ван Хогендорп немедленно возвратится в Вильно и передаст герцогу Бассано, чтобы он тотчас же

отправился к императору в Сморгонь.

Император поедет с герцогом Винченцским в экипаже его величества; впереди г-н Вонсович, сзади – придворный лакей; обер-церемониймейстер граф Лобо, один придворный лакей и один рабочий – в коляске; барон Фэн, придворный лакей Констан, хранитель портфеля и один канцелярский служитель – в коляске.

Обер-шталмейстер предупредит Неаполитанского короля, вице-короля и маршалов, чтобы они явились к семи часам в ставку.

Он получит от начальника штаба ордер на поездку в Париж со своим секретарем Рейневалем, своими курьерами и своими слугами ».

Выезд состоялся строго по расписанию. Наполеон двигался в одних санях с Арманом Коленкуром. Перспектива скорого прибытия в Париж преобразила императора. Будто бы и не было всех тех страданий, которые ему пришлось переносить совместно со своей армией! Подобно шахматисту, разбирающему все достоинства и ошибки завершенной партии, Наполеон анализировал наиболее вероятные причины неудачи русской военной кампании.

Он говорил Коленкуру:

«…Сожжение русских городов – в том числе пожар Москвы – это бессмыслица. Зачем было поджигать, если он возлагал столько надежд на зиму. Есть армии, и есть солдаты для того, чтобы драться. Нелепо расходовать на них столько денег и не пользоваться ими. Не следует с самого начала причинять себе больше зла, чем мог бы причинить вам неприятель, если бы он вас побил. Отступление Кутузова – это верх бездарности. Нас убила зима. Мы жертвы климата. Хорошая погода меня обманула. Если бы я выступил из Москвы на две недели раньше, то моя армия была бы в Витебске, и я смеялся бы над русскими и над вашим пророком Александром, а он жалел бы о том, что не вступил в переговоры. Все наши бедствия объясняются этими двумя неделями и неисполнением моих приказаний о наборе польских казаков. Русские воззвания в пророческом стиле, распространявшиеся от времени до времени, просто глупость. Если бы хотели завлечь нас внутрь страны, то надо было бы начинать с отступления и не подвергать риску корпус Багратиона, то есть не держать его войска на слишком близком к границе и, следовательно, слишком растянутом фронте. Не надо было тратить столько денег на постройку карточных домиков на Двине. Не надо было сосредоточивать там столько складов. Русские жили изо дня в день без определенных планов. Они ни разу не сумели дать сражения вовремя. Если бы не трусость и глупость Партуно, то русские не взяли бы у меня ни одной повозки при переходе через Березину, а мы захватили бы часть их авангарда, взяли бы 1800 пленных и с несчастными, еле дышащими людьми выиграли бы сражение, одержав верх над отборной русской пехотой, которая сражалась с турками. В конце концов остатки наших войск оказались между тремя русскими армиями. И что же русские сделали? Они захватили несчастных, которые замерзали или, терзаемые голодом, отбились от своих корпусов.

В другой раз император сказал мне, что если бы у русских действительно был проект завлечь его внутрь страны, то они не шли бы на Витебск, чтобы атаковать его там; они с самого начала должны были бы больше тревожить наши фланги, ограничиваясь только такой малой войной, захватывать наши депеши, небольшие отряды, офицеров, едущих в свои части, солдат, занимающихся грабежом. Он считал большой ошибкой, что они сражались так близко от Москвы.

– Все дела приняли плохой оборот, – говорил в другой раз император, потому что я слишком

долго оставался в Москве. Если бы я покинул ее через четыре дня после вступления в нее, как я это думал сделать, когда увидел пожар, то Россия погибла бы. Император Александр был бы очень счастлив получить от меня мир, который я в этом случае великодушно предложил бы ему из Витебска. Если бы морозы не отняли у меня мою армию, я еще продиктовал бы ему условия мира из Вильно, и ваш дорогой император Александр подписал бы их – хотя бы для того, чтобы избавиться от военной опеки своих бояр. Именно они навязали ему Кутузова. А что сделал этот Кутузов? Он рисковал армией под Москвой и несет ответственность за московский пожар. Если неаполитанский король не натворит глупостей, если он будет следить за генералами, если он останется на первое время в авангарде, чтобы ободрить нашу молодежь, которая будет немного мерзнуть, то все реорганизуется очень скоро, русские остановятся, а казаки будут держаться подальше, как только они увидят, что им показывают зубы. Если поляки окажут мне поддержку, а Россия не заключит мира нынешней зимой, то вы увидите, что с нею будет к июлю. Все способствовало моим неудачам. В Варшаве мне служили плохо. Аббат де Прадт был там обуян страхом и разыгрывал из себя помесь важной персоны с неотесанным холопом, вместо того чтобы держаться вельможей. Он думал лишь о собственных интересах и занимался салонной и газетной болтовней, для дела же – ровно ничего. Он не сумел воодушевить поляков; рекрутские наборы не были проведены; я не получил ничего, на что вправе был рассчитывать. Герцог Бассано прозевал Польшу, как он прозевал Турцию и Швецию. Я сделал большую ошибку, рассердившись на Талейрана. Будуарные интриги герцогини Бассано возбудили во мне гнев против него, и мое дело не удалось. Он дал бы совсем другое направление полякам. Польские бойцы обессмертили себя в наших рядах, но они ничего не сделали для своей родины. Все хвалили мне этого аббата де Прадта. Он не глуп, но он путаник.

В одном из разговоров со мною император сказал по поводу императора Александра:

– У этого государя есть ум и добрые намерения. Но он не является хозяином у себя. Его постоянно стесняют тысячи мелких семейных и даже персональных соображений. Хотя он очень внимательно относится к армии, много занимается ею и, быть может, больше, чем я, вникает в мелкие подробности, – его все же обманывают. Расстояния, привычки, оппозиция дворянства против рекрутских наборов, хищения плохо оплачиваемых начальников, которые прикарманивают солдатское жалованье и пайки, вместо того чтобы кормить ими солдат, – все препятствует укомплектованию русской армии. В течение трех лет шла безостановочная работа над ее укомплектованием, а в результате всего этого под ружьем оказалось наполовину меньше людей, чем думали до боев. Надо отдать справедливость казакам: именно им обязаны русские своими успехами в этой кампании. Это – бесспорно лучшие легкие войска, какие только существуют. Если бы у русских солдат были другие начальники, то можно было бы повести эту армию далеко…»

Сани мчали Наполеона в Париж.

Е. В. Тарле отмечает:

«В общем несколько менее 30 тысяч человек оказалось в распоряжении сначала Мюрата, которому Наполеон, уезжая, передал верховное командование, а потом, после отъезда Мюрата, в распоряжении вице-короля Италии Евгения Богарне. И это было все, что осталось от „великой армии“, от 420 тысяч человек, перешедших по четырем мостам через тот же Неман 24 июня 1812 г., и от тех 150 тысяч человек, которые потом к этой армии постепенно присоединились».

Как и подобает истинно великим людям, Наполеон и не думал уже о понесенных им потерях, вовсю размышляя о том, как продолжит перекраивать карту Европы. Будучи всегда отменным аналитиком, на сей раз император все-таки недооценил фатальное значение проигранного им русского похода. Бонапарт полагал, что проигрыш одной отдельно взятой партии еще не означает проигрыша всей войны, которую он объявил всему миру.

Вывод Наполеона неоспорим в той мере, в какой применим к стандартной партии.

Беда Наполеона в том, что сданная им Кутузову партия, увы, отнюдь не была стандартной.

Она предвещала скорое падение всей империи Наполеона!

Часть седьмая. Один против всего мира

Возвращение в Париж буквально вдохнуло в Наполеона новые силы. Не желая тратить ни мгновения на отдых (хотя уж он-то ему бы точно не помешал!), Бонапарт с головой погрузился в государственные дела.

«Масса затруднений, явившихся в государственном механизме, – повествует П. И. Ковалевский

, – только изощряли его находчивость и изобретательность. Обращаясь к сенату, он заявил, что в настоящий момент все малодушные должностные лица должны быть удалены, так как их присутствие на службе только подрывает авторитет закона. По отношению к государственному совету были пущены громы и молнии по адресу лиц, приписавших народу державные права, которыми на деле народные массы не могут пользоваться. Вместе с этим Наполеон строго порицал всех, мечтавших основать авторитет власти не на принципе справедливости, естественном порядке вещей или гражданских правах, а на капризе людей, не понимающих ничего в законодательстве и администрации. Все поняли то, что кому надлежало понять, и все притихли. Наполеон был еще Наполеоном».

Именно так.

Особенно хорошо это понимали в России и в Англии.

До тех пор, пока Наполеон пребывает на троне, ожидать покоя Европе, увы, не приходится. А если лихорадит Европу, то непременно зацепит и Россию. И вновь, как уже это было прежде, антинаполеоновская коалиция. Некогда Наполеону удалось блестяще расправиться с своими противниками. Он заслуженно наслаждался славой Аустерлица. Однако сейчас ситуация была иной. Если сам он – по крайней мере с виду – вполне оправился от российского фиаско, то о Франции этого сказать было нельзя. Ведь жертвы, понесенные в России, были настолько велики, что очень многие французские семьи лишились своих кормильцев. Поэтому перспектива новой войны да еще против коалиции стран едва ли могла вызвать симпатию.

«Наполеон все силы своего гения направил на создание новой армии, – пишет П. И.

. – Полный разгром его армии повел к тому, что теперь ему ожидать поддержки в армиях других державных владельцев было мало надежды. Главное ядро все-таки должны были составлять французы. А где их взять, если все, что можно было набрать, он уже забрал для прежних войн. Довольно того, что уже в Испании над французскими войсками издевались, видя в них не солдат, а подростков и школьников. Тем не менее Наполеон успел набрать новую, почти двухсоттысячную армию. Правда, этих солдатиков сами французы называли Мариями-Луизами, а все-таки это была славная французская армия, славная славою и подвигами прежних подвижников ее и предводительством великого гения – Наполеона. Однако сам Наполеон видел и сознавал, что это была армия подростков. Старых ветеранов в ней было очень мало. Все они или лежали на полях необъятной России, или находились в плену, или были в госпиталях. Не было у Наполеона и артиллерии – она тоже осталась в руках недавних победителей. Не было и кавалерии, ибо лошади пали в прежнем походе… Тем не менее воевать было нужно».

Вдобавок, как только стало известно о результатах похода в Россию, произошло движение в стане его союзников. Они начали разбегаться, подобно крысам с тонущего корабля.

«Прежние союзники и вассалы стали отпадать от своего повелителя, или старались стать в нейтральное положение, или даже перешли во враждебный лагерь. Естественно, что на помощь России пришла Англия; но вскоре к ним присоединились и Швеция, и Испания, и Турция, и Пруссия. Пруссия переживала в данный момент народное возрождение, и вместе с сознанием своего национального достоинства и единства там возникала и стояла идея освобождения от гнета и рабства Наполеона и отмщения за все предыдущие невзгоды, принесенные ей под предлогом освобождения от гнета и рабства. Мало того, по виду искренне преданные дворы оказались далеко не столь верными Наполеону, как он мог того желать. Варшавское герцогство, созданное Наполеоном и слишком много ему давшее, было уже в руках Александра, к которому многие из поляков относились не хуже, чем к Наполеону».

Пошли первые сражения. Поначалу Наполеон был на высоте. Так, он выиграл битву под Боценом, хотя и не смог окончательно уничтожить спасающегося бегством противника по причине отсутствия у него артиллерии.

Затеянные было обеими сторонами переговоры о перемирии зашли в тупик, как того и следовало ожидать. Наполеон по-прежнему мнил себя властелином мира, а союзная коалиция полагала, что именно им надлежит диктовать условия. Австрия, которая еще недавно раболепно предлагала Наполеону любые ресурсы, теперь заслала все того же вездесущего посла Меттерниха, у которого с Наполеоном состоялся прелюбопытнейший разговор.

Вспоминает Пэер:

«„От вас зависит располагать нашими силами, – сказал Меттерних, – мы не можем оставаться нейтральными, мы будем или за вас, или против вас“. При этом за помощь он требовал Иллирию, половину Италии, Польшу, Голландию, Швейцарию, возвращение папе Рима, Испании – прежнего короля и уничтожение Рейнской федерации. „Как, – воскликнул

Наполеон, – мне покинуть Европу, половину которой я теперь занимаю, увести свои легионы за Рейн, за Альпы, за Пиренеи!.. И это тогда, когда наши знамена развеваются в устье Вислы и на реке Одере, когда моя победоносная армия стоит у дверей Берлина и Бреславля, когда я нахожусь во главе 300 000 человек!.. Австрия без выстрела, не обнажая меча, осмеливается предлагать мне такие условия! И это выдумал такой проект мой же тесть! Это он вас сюда прислал!.. О, Меттерних! Признайтесь, сколько вам заплатила Англия за то, чтобы вы объявили мне войну!..“ Меттерних указывает на могущие произойти от этой войны для народов несчастья. „Вы сами не солдат, – говорит Наполеон, – вы не знаете, что происходит в душе солдата. Я выдвинулся на поле битвы, и такой человек, как я, не может беспокоиться о жизни даже миллиона людей!“ Меттерних заметил, что Наполеон чем-то озабочен, не так владеет собой, не так быстро схватывает общее положение дел; он видел, что эта нравственная невоздержанность, которая уже не раз была причиною его ошибок, была теперь в нем сильнее, чем когда-либо».

Вскоре Наполеон наголову разбивает своих врагов под Дрезденом. Но победа не окрыляет его. Бонапарта, похоже, даже не трогает участь противника, которого на сей раз он вполне способен уничтожить совсем. Он вообще ведет себя странно.

Слоон вспоминает: «

Неприятельская армия была разбита, и ее можно было совершенно уничтожить. „Между тем на другой день, лишь в четыре часа пополудни, Наполеон приказал одному корпусу Вандама преследовать неприятеля. Оставив затем Мортье предписание держаться в Пирне, он сел в карету и преспокойно уехал в Дрезден. Вообще, весь образ действий такого гениального полководца, как Наполеон, представлялся в данном случае до чрезвычайности странным. Он мог нанести во второй день боя страшный удар союзной армии, но вместо того ограничился разгромом одного только ее крыла и после второго дня не распорядился сколько-нибудь энергически преследовать отступавшего врага. Даже и на третий день преследование производилось только для вида. Наполеон, начав приводить свой план в исполнение, впал тотчас же в состояние загадочной усталости и апатии

. В продолжение всего боя он находился в таком состоянии, из которого слегка пробудился, лишь когда ему донесли, что Моро смертельно ранен… По словам Наполеона, у Пирны с ним сделался страшный приступ рвоты, заставивший его в этот роковой день положиться во всем на других“ ». Происходило что-то непонятное. Наполеон одерживал одну победу за другой, а между тем его положение вовсе не упрочалось. Более того, вновь пошли вызывающие горечь измены со стороны, казалось бы, союзников. Согласно Слоону, «

Несмотря на одерживаемые Наполеоном победы, дела его, однако, были таковы, что ему приходилось очистить Саксонию, и теперь он решил дать сражение под Лейпцигом; вместе с тем шли приготовления к отступлению. У Наполеона было все, как говорится, начеку, чтобы выполнить такое решение, которое окажется наиболее сообразным с обстоятельствами. Ночью император два раза принимал теплые ванны. Привычка пить крепкий кофе, чтобы разогнать сон, вызывала у него нервные припадки

, которые еще более обострялись у него под бременем тяжких забот, лежавших теперь на императоре. Много было писано о таинственной болезни, которая будто бы все более усиливалась у Наполеона (Слоон).

В это время стали приходить известия, что союзники Наполеона начали ему изменять. Ему изменила Бавария, а во время сражения под Лейпцигом 35 тысяч саксонцев также перешли на сторону неприятеля. Это страшно поразило Наполеона. Кто-то из приближенных императора пододвинул деревянный стул, на который он тяжело опустился и тотчас же впал

словно в оцепенение. С полчаса просидел он на стуле в бессознательном состоянии, напоминавшем по внешности глубокий сон.

Мрак все более сгущался. Французские маршалы и старшие генералы, столпившись вокруг соседних бивачных костров, угрюмо ожидали пробуждения императора. Очнувшись, Наполеон отдал последние приказания к отступлению… Все утро Наполеон бесцельно бродил по Лейпцигу, отдавая приказания, имевшие целью по возможности сохранить спокойствие и порядок в рядах отступавшей армии . Вид у него был, однако, такой растерянный и одежда в таком беспорядке, что французские солдаты и офицеры зачастую его не узнавали и, вместо того чтобы повиноваться, отвечали ему дерзостями…

Один из французских генералов, увидев человека, который совершенно безучастно смотрел на проходившие мимо войска, потихоньку насвистывая песенку: „Мальбрук в поход пустился…“ – обратился к нему с расспросами. В первую минуту он не узнал императора в плохо одетом человеке, который стоял совершенно один, без свиты. В следующее затем мгновение генерал, заметив свой промах, страшно растерялся, но император, по-видимому, даже не слышал его расспросов. Очевидцам казалось, будто сердце его окаменело ».

Да, такого за императором прежде не наблюдалось. Подобные состояния стали отмечаться все чаще. Впрочем, всякий раз на следующий день после такого «приступа» Наполеон вел себя как ни в чем не бывало, поражая всех своей бодростью и жизнерадостностью. Наполеон на мосту через Арсис-сюр-Об 20 марта 1814 года. Гравюра А. Шоле

Известно, что беда никогда не приходит одна. Интендантское ведомство, прежде смертельно боявшееся Наполеона, зная, как он жестоко карает за негодное снабжение армии, совершенно распустилось. Из-за скверных и некачественных поставок страдали солдаты. Очень скоро возник сыпной тиф. Войско стремительно становилось недееспособным. Похоже, звезда Наполеона и впрямь стала угасать. Все шло вопреки тому, как он хотел. Вроде бы его армия одерживала победы (пусть и не столь фантастические, как триумфы былого, но все же это были победы). А теперь Наполеону приходилось оставлять позиции и возвращаться в Париж, чтобы учинять новый набор в солдаты. Хотя какой там мог быть набор, когда даже оружия и боеприпасов уже недоставало!

«На этот раз не хватало уже не только людей, но и оружия. Боевые припасы и артиллерийские принадлежности были разбросаны по всей Европе, и только во Франции их не было. Пришлось новобранцев вооружать всяким хламом и старьем, а нередко охотничьими ружьями и ножами или же старыми мушкетами, с которыми не умели даже управляться. Мундиров тоже не было, и новобранцы оставались в блузах. Эти молодые войска не только не были обучены, но даже не умели справляться с ружьями. Передают о следующем случае: один офицер спросил в бою новобранца, стоявшего безучастно под сильнейшим неприятельским огнем, почему он сам не стреляет; на это юнец очень простодушно ответил, что он сам стал бы стрелять не хуже кого другого, если бы только умел стрелять. Артиллерии не было. Лошадей не было ни для артиллерии, ни для кавалерии, ни для обоза. В народе сеялись смуты. Роялисты подняли голову. Предатели министры, вроде Талейрана, делали все, чтобы погубить императора и создать себе мостик для перехода к другому правительству. Тем не менее Наполеон не падал духом. Он один ходил по Парижу, и народ его встречал очень радушно».

Конечно же, это окрыляло Наполеона. Нельзя оставаться безучастным к восторгам толпы. Даже великие люди к ним восприимчивы.

Вскоре Наполеону пришлось оставить Париж. Впрочем, за пределы Франции ему отправляться не понадобилось, война шла уже на ее территории. Параллельно продолжались переговоры о перемирии, но им и конца не предвиделось. Стоило Наполеону победить, как он вновь заносился и требовал невозможного (с учетом своего положения). И наоборот. Бедные французские солдаты…

«Гений был с ними, но судьба была против них». Ситуация ухудшалась с каждым днем. «

Неприятельское кольцо все больше и больше суживалось и все ближе подходило к Парижу. Маршалы Наполеона обессилевали и становились неспособными к службе. Часто вырывались резкости и проявлялось ослушание. Наполеон боролся, но и его гений не мог из ничего создать нечто. Наконец неприятель овладел Парижем ». Наполеон узнал об этом, будучи в Фонтенбло. Условием пощады для Франции было отречение Наполеона. Вскоре его предают несколько верных маршалов. Войска еще ему рукоплещут, а маршалы…

Наполеон отрекся. Перед этим он пытался принять яд, но безуспешно. Большая часть его штаба присягнула на верность Бурбонам. Впрочем, сам Наполеон не утратил титула. Правда, теперь он был всего лишь императором острова Эльба, пределов которого не имел права покидать. Ужас падения его был неимоверно страшен. «Меня порицают за то, – говорил он, – что я пережил свое падение. Это совершенно ошибочно… Необходимо гораздо более мужества, чтобы пережить незаслуженное несчастье…» Он не мог поверить, что с ним может происходить подобное. Ведь он же – Наполеон! «Праведный Боже, неужели это возможно!..»
Прощание в Фонтенбло 14 апреля 1814 года. Гравюра А. М. Колэна

Перед тем как отбыть к месту своего императорского заточения, Наполеон обратился к сохранившим ему верность гвардейцам: «Солдаты старой гвардии, я с вами прощаюсь! Двадцать лет я видел, как вы неустанно шли по пути к чести и славе. В эти последние дни, как и в дни моей славы, вы не переставали быть образцом храбрости и верности. С такими молодцами, как вы, я мог бы еще бороться; но война продолжалась бы нескончаемо. Это была бы война междоусобная, и положение Франции было бы еще печальнее. Я пожертвовал всеми моими интересами ради интересов страны. Я уезжаю, а вы, друзья мои, продолжайте верой и правдой служить дорогой Франции. Ее счастье было единственной моей мыслью; и оно навсегда останется предметом моей мечты и пламенных желаний! Не печальтесь о моей судьбе. Если я решаюсь пережить события, то только для того, чтобы послужить на пользу вашей славе. Я опишу великие дела, которые мы совершили вместе с вами… Прощайте, мои дети, я всех вас хотел бы прижать к своему сердцу, как я обнимаю вашего генерала. Идите сюда, генерал Пти, дайте прижать вас к моему сердцу! Дайте сюда знамена, орлы, я хочу с ними проститься! О, дорогое знамя! Пусть этот поцелуй отзовется в потомстве! Прощайте, мои дети! Мои мысли, мои мечты будут всегда с вами… Не забывайте и вы меня…»

При нем оставался лишь батальон гвардии и немного свиты. Как и надлежало настоящему правителю, а не только чтобы отойти от чудовищных переживаний, Наполеон деятельно занялся обустройством Эльбы. Для него это была все та же Франция, правда, в миниатюре. Он практически постоянно был окружен шпионами, докладывавшими о каждом его шаге.

Пребывание на острове, однако, шло императору на пользу.

«Здоровье Наполеона стало поправляться, – отмечает П. И. Ковалевский.

– Он производил впечатление крепкого и сильного мужчины. Слегка отвисшие щеки и полная нижняя губа выказывали признаки чувственности, но это впечатление стушевывалось

высоким лбом и открытыми висками. Движения его, несмотря на присущую ему нервность, казались спокойными. Глаза были ясные и проницательные. К эльбским крестьянам он относился ласково и доброжелательно. Посетители всегда в обращении видели в нем много такта и добродушного юмора».

Там же, на острове, достигло его горькое известие о том, что скончалась его первая супруга Жозефина. Характерно, что Наполеона никто даже не подумал поставить об этом в известность. Не попадись ему на глаза ее некролог в газете, уже начавшей от времени желтеть, он бы так и пребывал в неведении.

У Мережковского читаем:

«Перед капитуляцией Парижа, 29 марта 1814 года, она бежала от русских казаков куда глаза глядят, зашив бриллианты и жемчуга в ватную юбку; но потом осмелела, вернулась в Мальмезон и ждала здесь милостей от Бурбонов и союзников. О Наполеоне как будто забыла. Русские, австрийцы, англичане, пруссаки – все завоеватели Франции – были желанными гостями в Мальмезоне; император Александр особенно. Вообразив, что он к ней неравнодушен, она кокетничала с ним, молодилась, наряжалась в белые кисейные платья, как семнадцатилетняя девочка, и не чуяла, что стоит одной ногой в гробу.

22 мая слегла, простудилась; сделался насморк с небольшою болью в горле. Не обратив внимания на это, она танцевала на балу с Александром и прусским королем, разгорячилась, вышла в легком бальном платье ночью в сад, на сырость, простудилась еще больше и заболела гнилою жабою, 28-го началась агония, и 29-го, в полдень, не приходя в память, Жозефина скончалась.

Ничего не оставила в мире, кроме трехмиллионного долга за духи, румяна, помады, перчатки, корсеты, кружева, шляпки и тряпки. Незадолго до смерти, но еще совсем здоровая и даже как будто веселая, произнесла однажды странно для нее глубокие слова: „Мне иногда кажется, что я умерла, и у меня осталось только смутное чувство, что меня нет…“»

Так и жил Наполеон, все более ободряясь внутренне и входя во вкус островной жизни. Но это было лишь затишье перед бурей. Вдруг стали твориться просто какие-то чудеса!

Бурбоны во Франции, вернув себе трон, рьяно вознамерились вознаградить себя за все то время, что были отлучены от него. В итоге страна погрузилась в хаос. Всем было еще очень памятно, как им жилось при Наполеоне. Контраст был явно не в пользу новой власти. Антироялистские настроения процветали. Все громче раздавался ропот народный.

А у Наполеона, несмотря на всю изоляцию, были свои осведомители. Он знал практически обо всем, что творится в стране. Наполеон, видя происходящее и понимая, что Судьба дарует ему еще один шанс, решает нарушить условия своего отречения. Поводов к тому – хоть отбавляй: «…

было несколько злодейских покушений на его жизнь, масса невыполненных его совершенно правильных и законных требований, наконец, неуплата обещанного ему содержания 2 000 000 франков в год – все это давало ему полное право отказаться от своих слов отречения. Вместе с тем своим появлением во Францию Наполеон явился освободителем ее от гнета, введенного новым правительством », – пишет П. И. Ковалевский.Наполеон-триумфатор

26 февраля 1815 г. с отрядом из 1600 человек с 80 лошадьми и несколькими пушками Наполеон отбывает к берегам Франции. 1 марта в 4 часа утра его небольшая армия успешно высаживается на берегу Жуанвильского залива.

«Весть о высадке Наполеона быстро разошлась по Франции и достигла Парижа. Против него немедленно высланы были войска. Понемногу и около Наполеона стали группироваться. Встреча с королевскими войсками произошла у Гренобля. Офицер, командовавший королевскими войсками, завидев Наполеона, приказал им готовиться к стрельбе. Наполеон подошел на пистолетный выстрел. Королевский офицер скомандовал: пли! Но солдаты, все бледные, дрожали, и никто не выстрелил. Наполеон был в своем сером сюртуке, дешевой треуголке с трехцветной кокардой. Подошедши еще на несколько шагов, Наполеон сказал: „Солдаты 5-го линейного полка – узнаете ли вы меня?“ „Да, да“, – раздалось со всех сторон. Затем, расстегнув сюртук и обнажив грудь, Наполеон произнес: „Я пред вами. Если здесь между вами найдется хоть один солдат, расположенный убить своего императора, он может это сделать беспрепятственно. Моя грудь к его услугам“. „Да здравствует император!“ – крикнули все солдаты и бросились целовать его платье. „Солдаты, – воскликнул Наполеон, – я прибыл лишь с горстью храбрецов, именно рассчитывая на вас и на весь французский народ! Бурбоны царствуют незаконно, так как возведены на престол не народом…“ Вместе с солдатами на сторону Наполеона стали переходить и офицеры. По мере движения его по направлению к Парижу, его армия все увеличивалась и увеличивалась», – говорится у П. И. Ковалевского.

Во Франции творится что-то несусветное. К Наполеону начинают возвращаться… его маршалы! Все высылаемые против него войска стремительно переходят на его сторону! Такого не было прежде и уже никогда ни с кем не случится вновь… как отмечает Андре Моруа, «

с мая по июнь 1815 года император собрал 500 000 человек, союзники – более миллиона. Кроме того, Веллингтон спровоцировал новые беспорядки в Вандее. Это парализовало 25 000 человек, которые могли бы стать ценным подспорьем… » Таким образом, силы у Наполеона были; проблем с вооружением также не имелось. Противостоял ему противник коварный и превосходящий его по численности – но разве Наполеону было к этому привыкать? Только Наполеон был уже не тот, что прежде… Эти изменения затронули даже внешний облик его.

Слоон свидетельствует о том, что во внешности Наполеона произошли к тому времени разительные перемены: «

Лицо сохраняло спокойное свое бесстрастное выражение, но сильно похудело, и челюсти начали очень выдаваться вперед. Он похудел всюду, за исключением талии… Иногда у него вырывался тяжелый вздох… К тому же времени явилась у него привычка щуриться и глядеть в полуоткрытые веки, как если бы у него начала обнаруживаться чрезмерная дальнозоркость. Мигание левым глазом и подергивание уха стали проявляться с большею, чем когда-либо, силой. По мере накопления трудностей и неприятностей общее состояние здоровья императора значительно ухудшилось. У него начались серьезные страдания желудка и уринальных путей, к которым присоединился также упорный сухой кашель… Ввиду быстрых изменений душевного настроения, перемежающегося возбуждения и упадка духа, усиленной чувствительности и грубой резкости, находили возможным объяснить состояние французского императора особою формой истерической апоплексии ».

При этом Наполеону приходилось думать не о терапии, а о подготовке к новой войне. Что она неизбежна, понимали все. Второе правление Наполеона продолжалось недолго и вошло в историю под памятным названием:

Сто дней . Против него выступили Англия и Пруссия, к которым присоединились впоследствии и силы других государств. Главное сражение Наполеона периода Ста дней – это битва при Ватерлоо. «Я побеждаю под Ватерлоо и в ту же минуту падаю в бездну… Чувства окончательного успеха у меня уже не было, – продолжает Наполеон вспоминать Ватерлоо. – То ли годы, которые обыкновенно благоприятствуют счастью, начали мне изменять; то ли в моих собственных глазах, в моем воображении, чудесное в судьбе моей пошло на убыль; но я, несомненно, чувствовал, что мне чего-то недостает. Это было уже не прежнее счастье, которое шло неотступно за мной по пятам и осыпало меня своими дарами; это была строгая судьба, у которой я вырывал их как бы насильно и которая мстила мне за них тотчас; ибо у меня не было ни одного успеха, за которым бы не следовала тотчас неудача». «И все эти удары, я должен сказать, больше убили меня, чем удивили: инстинкт мне подсказывал, что исход будет несчастным. Не то чтобы это влияло на мои решения и действия, но у меня было внутреннее чувство того, что меня ожидает».

Слоон пишет: «

Ватерлоо было решающим моментом в судьбе Наполеона. Диспозиция сражения была составлена самим Наполеоном достойно его гения; тем не менее он чувствовал себя во время сражения так плохо, что вынужден был сойти с коня. Сидя у стола, на котором разложена была карта, император то и дело впадал в дремоту и мгновенно из нее опять пробуждался. Энергия и деятельность английского главнокомандующего представляли собою резкий контраст с постоянно возраставшей апатией Наполеона ».

Сражение при Ватерлоо было проиграно. Проиграно было и дело Наполеона. К концу сражения «

у Наполеона обнаружился полнейший упадок сил, так что на него жалко было смотреть. Глаза его неподвижно уставились вдаль, голова качалась из стороны в сторону, и сам он находился почти в бессознательном состоянии… »

Наполеон возвращается в Париж. Он еще не был сломлен окончательно, уповая на поддержку. Хотя, как он сам некогда заметил: «Моя слава – это мои победы». Не стало побед, минула и слава. Франция, еще мгновение назад восторженно его приветствовавшая, поворачивается к нему спиной. Все настаивают на вторичном отречении.

Два документа этого времени, составленные лично Наполеоном, имеют особое для нас значение.

Первый – это текст его второго отречения от власти.

Второй – обращение к Англии с просьбой избавить его от ссылки на остров Святой Елены.

«Французы!

Начиная войну, чтобы поддержать национальную независимость, я рассчитывал на соединение всех усилий и стремлений народа; на этом я основал успех и не боялся воззваний государств, направленных против меня. Я вижу, обстоятельства переменились. Я предаю себя в жертву ненависти врагов Франции. Моя политическая жизнь окончилась, и я объявляю своего сына, под именем Наполеона II, императором Франции. Соединитесь все для всеобщего приветствия и для удержания национальной независимости.

Наполеон »

«Я торжественно протестую пред лицом неба и людьми против насилия, которому я подвергся, против нарушения моих самых священных прав, когда, при помощи силы, располагают моей особой и моей судьбой. Я свободным человеком вступал на борт Bellerephone, я не пленник, а гость Англии… Если правительство, поручая капитану Bellerephone меня, а также мою свиту, имело в виду устроить лишь сети, ловушку, то оно обесчестило себя и запятнало свой национальный флаг… Я взываю к истории. Она скажет за меня, что противник, воевавший двадцать лет с английским народом, теперь обездоленный, является к нему добровольно, отдается под защиту его законов; какое же иное, более веское, мог он привести доказательство своего уважения и доверия? И как же ответила Англия на подобное великодушие? Она лицемерно протянула ему свою гостеприимную руку, и, когда он преисполнился верой и доверием к ней, – она его умертвила.

Наполеон ».

Отречение было принято, прошение о помиловании сухо отклонено.

Больше Наполеон никогда не увидит берегов Франции…

Часть восьмая. Узник Святой Елены

15 октября 1815 года английский корабль «Нортумберленд» бросил якорь в Джемс-Таунской гавани острова Святой Елены. Самый важный пассажир на корабле одновременно являлся узником. Это был Наполеон. Он медленно сошел на берег, и что же предстало его глазам?

У Мережковского очень хорошо написано об этом острове.

«Здесь сама природа – проклятая узница ада, осужденная на вечные муки. Все один и тот же ветер – юго-восточный пассат; все одно и то же лютое солнце тропиков. „Этот ветер разрывает мне душу, это солнце сжигает мне мозг!“ – жалуется император. Все одно и то же время года – ни зима, ни лето, ни весна, ни осень, а что-то между ними среднее, вечное. Восемь месяцев – дождь, ветер и солнце, а остальные – солнце, ветер и дождь: скука неземная, однообразие вечности.

Почва летейская – меловая глина, от дождя клейкая, липнущая к ногам таким тяжелым грузом, что трудно ходить: ноги, как в бреду, не движутся.

Зелень тоже летейская: чахлые, скрюченные ветром все в одну сторону, каучуковые деревья, сухие морские верески, жирные кактусы да бледный, с ядовитой слюной, молочай.

Низко по земле ползущие облака-призраки: входишь в такое облако, и вдруг все исчезает в тумане; исчезаешь и сам – сам для себя становишься призраком.

Гроз не бывает на острове: горный пик Дианы – громоотвод; только удушье, томление бесконечное.

Лучшего места для Наполеонова ада сам дьявол не выбрал бы.

„Английские дипломаты, когда он попался им в плен, более всего желали, чтобы кто-нибудь оказал им услугу – повесил или расстрелял его, а когда никого не нашлось для этого, решили

посадить его под замок, как карманного воришку, pick pocket“, – говорит лорд Росбери.

„Если бы англичане убили Наполеона сразу, это было бы великодушнее“, – говорит Лас Каз, соузник императора».

Вот в каком месте предстояло Наполеону Бонапарту теперь провести последние шесть лет своей жизни…

Граф Бельмен так описывает остров Святой Елены: «

Это место самое печальное, самое неприступное, самое удобное для защиты, самое трудное для атаки и самое годное для своего настоящего назначения (т. е. для заключения Наполеона. –

Г. Б .)».

«Я чувствую себя таким же сильным, как прежде; не устал, не ослабел, – говорит император в начале плена. – Я сам удивляюсь, как мало подействовали на меня последние великие события: все это скользнуло по мне, как свинец по мрамору; тяжесть согнула пружину, но не сломала: она разогнулась с прежней упругостью».

Чем мог заниматься на острове Наполеон?

Читать и писать.

Может, немного пройтись.

Некогда он очень любил скакать на коне, но, прибыв на остров, наотрез отказался от привычной забавы.

Он признается: «Этот переход от деятельной жизни к совершенной неподвижности все во мне разрушил».

Наполеон в Лонгвуде (где ему было предписано жить) решительно «…не знает, как убить время. Утром валяется в постели или целыми часами сидит в ванне. Днем, немытый, небритый, в белом шлафроке, в белых штанах, в рубашке с расстегнутым воротом, с красным клетчатым платком на голове, лежа на диване, читает до одури; стол завален книгами, и в ногах и на полу кучи прочитанных, растрепанных книг. Иногда диктует дни и ночи напролет, а потом зарывает рукописи в землю. Вместо прогулок верхом устроил себе внутри дома длинное бревно на столбике и качается на нем, как на деревянной лошадке.

По вечерам придворные сходятся в салон его величества; играют в карты, домино, шахматы, беседуют о прошлом, как „тени в Елисейских Полях“.

– Скоро я буду забыт, – говорит император. – Если бы пушечное ядро убило меня в Кремле, я был бы так же велик, как Цезарь и Александр… а теперь я почти ничто…» – так вспоминает генерал Гурго, весьма сблизившийся с Наполеоном на острове.

Лонгвуд

Наполеон выхлопотал (точнее – вытребовал!) у губернатора для себя право общаться с местными жителями, был с ними приветлив. Вполне при этом отдавал себе отчет в том, что

любой из приветствующих его может являться английским шпионом – мало было англичанам иметь у острова военную эскадру! Впрочем, основания для эскадры, возможно, и были.

Мережковский пишет:

«В Рио-де-Жанейро арестован французский полковник, желавший пробраться на Св. Елену на паровой шлюпке, чтобы освободить императора. Если одному не удалось, может, удастся другому». А почему и нет?

На острове за Наполеоном наблюдали постоянно. Нигде он не мог чувствовать себя вполне свободным от чужих глаз. «Каждое утро является в Лонгвуд английский офицер, – сообщает Мережковский, – и, когда император прячется от него, – смотрит в замочную скважину, чтобы убедиться, что арестант в сохранности. Однажды, сидя в ванне и заметив, что офицер смотрит на него, Наполеон выскочил из ванны и пошел на него, голый, страшный. Тот убежал, а он грозил его убить:

– Первый, кто войдет ко мне, будет убит наповал!

– Он мой военнопленный, и я его усмирю! – кричит Лоу в бессильном бешенстве, но знает, что ничего с ним не поделает: может его убить – не усмирить».

Как смог Наполеон прожить долгие шесть лет в этом отвратительном заточении? Наверное, дополнительные душевные силы придало ему особое качество его души: непосредственность, присущая разве что ребенку. «На острове Святой Елены эта детская непосредственность, – полагает Андре Моруа, – помогла ему пережить резкий переход от дворца к ангару».

Андре Моруа далее констатирует: «Англичане, никогда не признававшие победоносную империю, обращались с пленным императором сурово. Деревянные бараки, где разместили Наполеона и его спутников в Лонгвуде, были построены для скота. Тюремщик Хадсон Лоу, человек с лицом висельника, был мелочен и ничтожен. Но дурное обращение послужило осуществлению последнего замысла императора. На острове Святой Елены у этого гениального режиссера оказались в руках все составляющие пятого акта. „Несчастьям тоже присущи героизм и слава. Моей карьере недоставало невзгод. Если бы я умер на троне в облаках собственного всемогущества, для многих мой образ был бы неполон. Нынче, благодаря несчастью, я наг перед судом людей“».

Вот что однажды Бонапарт приказал перевести по-английски доктору Арноту: «Я прибыл, чтобы приютиться у очага английского народа; я искал законного гостеприимства. Вы мне надели кандалы… Это ваше министерство выискало эти ужасные скалы, где каждый месяц сокращает жизнь европейца на три года, чтобы убить меня медленной смертью… Не было такой гнусности и подлости, которые бы вы не сделали со мной, доставляя себе этим удовольствие. Вы мне не позволяли вести даже самую обыкновенную семейную переписку, которая никому не возбраняется. Вы не допустили до меня ни одного извещения, ни одной бумаги из Европы; моя жена, мой сын даже не существуют для меня больше… На этом негостеприимном острове вы заставили меня жить в месте, менее всего удобном для жилья, в месте, где убийственный тропический климат дает себя знать всего чувствительнее. Заточение меня в четырех стенах, в нездоровом климате, меня, который объехал верхом всю Европу… Умирая на этой проклятой скале, отторгнутый от всех и лишенный всего, я завещаю честь и бесчестие моей смерти царствующему дому Англии…» После этих слов император впал в обморок. Наполеон на острове Святой Елены. С. Рейнолдс по оригиналу Г. Верне

Болезнь подкралась к Наполеону незаметно. Еще по весне 1817 года он отметил у себя появление неприятных болей в правом боку; внезапно стали опухать ноги. Доктора полагали поначалу, что все это следствие неподвижного образа жизни. Они предлагали Наполеону замолвить за него словечко перед губернатором, чтобы тот сделал для Наполеона режимные послабления. Бонапарт презрительно отверг их предложения. Между тем ему становилось все хуже. А по осени 1819 года состояние настолько ухудшилось, что он слег. Доктора затруднялись с диагнозом, но сам Наполеон был уверен, что страдает тем же недугом, что и его отец. Он имел в виду рак желудка.[10] Докторам, впрочем, ничего не говорил. Он их вообще не принимал всерьез.

«Докторам не верил, лекарств не принимал, лечился по-своему. Только что сделалось ему полегче после припадка, занялся садовыми работами. Целыми днями, командуя артелью китайских рабочих, сажал деревья в саду, планировал цветники, газоны, аллеи, рощи; устраивал водопроводы, фонтаны, каскады, гроты. Так увлекался работой, как будто снова надеялся исполнить мечту всей своей жизни – сделать из земного ада рай.

Лечение, казалось, шло ему впрок. Но все кончилось ничем: лютое солнце сжигало цветы, дождь размывал земляные работы, ветер ломал и вырывал с корнем деревья. Рая не вышло, ад остался адом, и эта Сизифова работа ему, наконец, так опротивела, что он опять заперся в комнатах.

Сделался новый припадок. В самые тяжелые минуты он вспоминал детство, мать».

За шесть дней до смерти потребовал от врачей: «После моей смерти, ждать которой осталось недолго, я желаю, чтобы вы произвели вскрытие моего тела… Я желаю также, чтобы вы извлекли мое сердце, поместили его в бокал с винным спиртом и увезли в Парму моей дорогой Марии-Луизе (это вторая жена Наполеона. –

Г. Б .)… Особенно рекомендую вам внимательно исследовать мой желудок и изложить результаты в скрупулезном и подробнейшем отчете, который вы вручите моему сыну… Я прошу, я требую, чтобы вы со всем тщанием провели это исследование… В наследство всем царствующим домам я оставляю лишь ужас и позор последних дней моей жизни…»

П. И. Ковалевский пишет: «В ночь на 5 мая 1821 г. над островом Св. Елены разразилась страшная буря. В эту ночь, в 5 часов, отошла душа великого человека. В предсмертные минуты он шептал отдельные бессвязные слова, из которых можно было разобрать: „Голова… армия… Боже мой!“

В 5 часов 40 минут глаза его покрылись легкой дымкой… он скончался».

Мережковский добавляет: «Тело его положили на узкую походную кровать и покрыли синим походным плащом; шпага у бедра, на груди распятие.

Мертвое лицо его помолодело, сделалось похоже на лицо Бонапарта, Первого Консула».

Его похоронили неподалеку от Лонгвуда, в месте, именуемом местными: «

Долина герани ».

Наполеону было тогда всего 52 года.

В 1840 году его прах был перевезен с острова для почетного перезахоронения на берегах Сены. Тем самым была исполнена его собственная воля, отраженная в завещании.

Посмертная маска Наполеона Бонапарта

Некогда, еще будучи на Корсике, бесконечно юный Наполеон Бонапарт старательно выведет в своей тетрадке:

«Sainte Helene, petite ile…» – Святая Елена, маленький остров …

Такова сила предвидения, свойственная лишь великим гениям!

Приложения

От составителя

Выбор авторов, чьи работы составили раздел «Приложения», далеко не случаен. Ими явились – П. И. Ковалевский и Д. С. Мережковский.

Первый из них – Павел Иванович Ковалевский (1850–1930) – маститый психиатр, автор ряда фундаментальных трудов, например «Сифилис мозга» (1890), «Судебная психиатрия» (1896). Кстати, именно П. И. Ковалевский диагностировал у В. И. Ленина прогрессивный паралич. Но, наверное, более всего он прославился своими блестящими по глубине и новаторскими исследованиями психологических аспектов личности «великих мира сего»: Иоанна Грозного, Петра I и др. В их числе – «Наполеон I и его гений». Будучи ограничены объемом данного издания, мы приводим здесь вторую часть этой работы, которая называется «Наполеон как человек».

Другой же автор – Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) – поэт, писатель, критик, религиозный философ, один из несомненных духовных идеологов Серебряного века. Особое место в его творческом наследии занимают историко-философские этюды, посвященные выдающимся личностям: Данте, Лютер, Гоголь, Лермонтов, Франциск Ассизский, Жанна д’Арк, Паскаль, св. Тереза Авильская, Иоанн Креститель (св. Иоанн Креста). Среди них выделяется две книги о Наполеоне: «Наполеон – человек» и «Жизнь Наполеона». Первая из них и наиболее отвечающая целям настоящего издания представлена нами в полном объеме.

Итак, в этом разделе вниманию читателей предлагаются: «Наполеон как человек» П. И. Ковалевского и «Наполеон – человек» Д. С. Мережковского.

Собственно говоря, читатели раздела «Приложения» выигрывают дважды. Прежде всего, это наслаждение от превосходной прозы! Несомненно, что книг, посвященных личностям в Истории, написано изрядное множество. Какие-то из них более интересны, какие-то менее. Однако почти все они грешат тем, что являются, по сути, лишь беллетризированной хронологической канвой. Это и неудивительно: чересчур, просто космически велика дистанция между биографом и его героем! В итоге нам приходится – в лучшем случае – довольствоваться лишь грамотным и стилистически корректным изложением фактов. Таинства души гения остаются для нас за гранью постижения…

Но бывают и поразительные исключения.

«Великого приветствует великий!» – некогда восклицал поэт Игорь Северянин, обращаясь с

сонетом к Валерию Брюсову. Именно так, и результат такого «приветствия» уже иной, знаковый. «Пленный Дух» – книга Марины Цветаевой об Андрее Белом – один из немногих тому примеров. То, как написал о Наполеоне Дмитрий Мережковский, выводит его творение на тот же уровень! И, пожалуй, лучше о Наполеоне написать уже не получится. Прочтете – убедитесь сами.

Однако, помимо наслаждения прозой, читатели получают редкую и блестящую возможность предельно близко подобраться к разгадке гения Наполеона. Скрупулезный дискурс профессора-психиатра, с одной стороны, и вдохновенный анализ философа-мистика – с другой. И благодаря возможности открыть для себя и осмыслить выводы двух различных подходов к раскрытию тайны личности, демонстрируемых безусловными мастерами своего дела, внутреннему взору читателя гений Наполеона Бонапарта откроется поистине с исчерпывающей полнотой!

Тексты воспроизводятся с сохранением авторской орфографии .

Приложение 1

П. И. Ковалевский. Наполеон и его гений. Наполеон как человек

До сих пор мы рассматривали Наполеона как общественного, государственного и мирового деятеля. Несомненно, что во всех этих родах деятельности Наполеон явился гением, и притом гением первой степени.

А каков был Наполеон как человек?

Наполеон был по рождению итальянец и корсиканец, а потому обязательно воспитан в духе религии. В дальнейшем, под влиянием духа времени, воспитания и окружающей обстановки, он становится атеистом; мало того, он пишет неудачный, но возмутительный в религиозном отношении трактат, это, однако, не лишает его надлежащего понимания значения религии в политическом и государственном отношениях, когда Наполеон становится политическим и государственным деятелем. Наполеон – главнокомандующий итальянской армией, заводит сношения с Римом, удостаивается любезностей папы, заключает с ним союз, получает от кардиналов подарки и название защитника церкви, а от папы – «любезного сына». Наполеон – первый консул восстанавливает конкордат в добрых сношениях с Римом, восстанавливает права священникам, лишенным оных, допускает и освящает церковные обряды. Наполеон – император признает все права церкви, заключает с нею полный союз, торжественно венчается на царство, строго выполняет церковные обряды и ведет себя так, как любой религиозный человек. Это не мешает Наполеону, как мировому деятелю, обижать папу, лишать его положения, подвергать заключению и т. д., но религию он всегда поддерживал. Трудно допустить, чтобы Наполеон, воспитанный в детстве в духе религии, на склоне дней не вернулся вновь к тому, что оставило известные следы в детстве. Это было бы не жизненно.

С детства Наполеон был страстный корсиканец. Он безгранично любил свою родину и готов был для нее жертвовать всем. Он торжественно, несмотря на насмешки и издевательства в школе, публично величает генерала Паоли, причисляет себя к его последователям и терпит наказание за оскорбление портрета врага родины. Мало-помалу это чувство любви к родине начинает принимать другой оттенок: бескорыстие сменяется жаждой карьеры и служение родине превращается в создание карьеры, неудачи же в устройстве себя доводят его до того, что он не только охлаждается к Корсике, но не прочь предпринять против нее враждебные шаги. Во всяком случае, став императором Франции, Наполеон ничем не показал, что он корсиканец, и Корсика ни в чем не увидела, что это ее сын.

Любил ли Наполеон Францию? В начале своей деятельности – нет, в конце – да. Франция для Наполеона была ареной его деятельности, карьеры, славы, успеха и т. д. Мало-помалу вся жизнь Наполеона была отдана Франции, потому что эта Франция стала его собственностью. Желая возможно больше себя прославить, стать сильнее и выше всех, он мог это сделать только при помощи Франции и для Франции. Честь, могущество и слава Франции были таковыми же и для Наполеона. Честь, слава и могущество Наполеона лежали в таковых Франции, и честь, слава и могущество Франции заключались в Наполеоне. Это были дух и тело. Дух – Наполеон, тело – Франция. Они были нераздельны и неразлучны. Любя себя, Наполеон должен был любить Францию. Он должен был любить Францию потому, что в ней он видел самого себя и не мог не любить своего гения. Таким образом, Наполеон не был узкий патриот, потому что гений стоял выше этого чувства. Это не был человек идеи: Ubi bene, ibi patria (

лат . Где хорошо, там и родина. –

Г. Б .). Эта идея людей слишком мелких и ничтожных. Наполеон был слишком мощен, чтобы пробавляться подобной гадостью. Сила его гения создавала государства и делала их ему дорогими. Очевидно, что его слава в Италии, Египте, Швейцарии, Австрии и т. д. делала эти страны для Наполеона столь же дорогими, как и Франция, но под конец жизни и в Наполеоне заговорил человек. Умирая, он вспоминал Корсику и был очень рад, что при нем был доктор земляк. В этой любви к Корсике усматривается любовь к счастливым дням детства.

Отец Наполеона не был чиновником выдающимся. Антомарки, со слов Наполеона, говорит, что он

выпивал . Он не был человеком с характером, не выдавался особенною устойчивостью политических взглядов и не представлял ничего такого, что бы его выдвигало из общей среды людей; но он любил свою семью и для этого не поступался ничем. Наполеон любил отца и был искренне огорчен его смертью. Совершенно иного характера была мать Наполеона. Это была женщина твердых убеждений, неутомимой деятельности, неуклонной настойчивости, железной воли и непреклонного характера. Она любила Наполеона, и Наполеон всегда относился к ней с полным почтением. В дни славы Наполеона она не пользовалась для себя его славою, но в дни печали она явилась к Наполеону разделять с ним тоску и одиночество. Ни к кому Наполеон не относился с таким доверием, как к матери. Император Эльбы одной только матери решил доверить о своей попытке вернуться во Францию. Это страшно поразило Летицию Бонапарт. «Дай мне забыть на время, что я твоя мать! – сказала она и затем, подумав, добавила: – Небо не допустит, чтобы ты умер спокойно в своей постели или чтобы ты погиб от тайного врага. Ты должен встретить смерть с мечом в руке, как тебе подобает…»

Но вот прошло сто дней, и Наполеон последний раз прощается со своей матерью, удаляясь в заточение. Коротко и грустно было это последнее прости. «Прощай, мой сын», – сказала мать. «Прощай, матушка», – ответил сын. Летиция от горя даже потеряла сознание… Находясь на острове Св. Елены, Наполеон очень часто вспоминал о матери, беспрерывно говоря о ней, и хвалил ее, как прекрасную мать. В последние дни жизни как часто Наполеон восклицал: «Ах, мама Летиция, мама Летиция!»

Все члены семьи Наполеона носили какие-нибудь черты, характерные для данной семьи. Так, Иосиф отличался непомерным властолюбием, Люсьен был очень странный человек и отличался адвокатским непостоянством, Луи – смелостью и честолюбием, Иероним – расточительностью, легкомыслием, напыщенностью и чувственностью, Элиза – гордостью и гениальностью, напоминающею Наполеона, Каролина напоминала Элизу, но в более слабой степени, Полина была легкомысленна и глупа. Среди потомков Наполеона встречаются натуралисты, философы, историки, механики, литераторы, музыканты, генералы, и все они резко отпечатлевали в себе те или другие черты наполеонидов. [Tebaldi. Napoleone. 1895.]

Наполеон искренно и нелицемерно любил свою семью и помогал ей всеми силами в течение всей жизни. После смерти отца Наполеон, второй сын, берет на себя долг старшего в семье и исполняет его вполне добросовестно. Он берет младшего брата, Луи, к себе, делит с ним трапезу, часто сам голодает, а брату стремится доставить все необходимое. От членов семьи, которых Наполеон вывел в люди и посадил на престолы, он требовал одного – безусловного послушания и исполнения его требований; о благодарности не было и речи. Но он не видел от них ни благодарности, ни послушания.

Отношения к женщинам у Наполеона не были особенно любезны и изысканны. Наполеон был влюблен в девушку Коломб. Но эта любовь длилась не долго и не была особенно сильна. Он в это время не имел ни времени, ни достаточно средств, чтобы любить. Более сильная, страстная и горячая любовь его была к Жозефине. Он ее любил страстно, дико и настолько пылко, насколько могла сделать это необыкновенная душа Наполеона. Достаточно ознакомиться с его письмами к Жозефине, чтобы в этом убедиться. Горько и тяжело было разочарование Наполеона, когда он узнал о неверности Жозефины. «Это был сильный нравственный толчок в жизни Наполеона, которого нельзя не принять в расчет, наблюдая после этого поворот в его характере, отмеченный историками», – говорит проф. Афанасьев [Афанасьев. Наполеон I. 1898.]. Но и после этого он продолжал относиться к ней с любовью. Когда, по политическим целям, потребовался развод с Жозефиной, то он это сделал с большой неохотою. «В день развода с ним был сильный истерический припадок» (Афанасьев, 30). После развода Наполеон не прерывал добрых отношений к Жозефине.

Еще более нежные, ласковые и любовные отношения Наполеона были к Марии Луизе. Меттерних, не имеющий никаких поводов скрывать правду, говорит, что Наполеон употреблял все усилия, чтобы сделать жену счастливою, и что он был чрезвычайно внимателен и ласков по отношению к ней. Шаптал [Chaptal. Mes souvenirs sur Napol?on. 1893.] говорит: «Наполеон искренне уважал Марию Луизу».

Говорят, что Наполеон во время походов много увлекался женщинами, однако на это едва ли существуют несомненные доказательства. Из попавших в историю в этом отношении лиц фигурирует только Валевская. Если и были в этом отношении прегрешения у Наполеона, то слишком ничтожные и не важные. Вообще отношение Наполеона к женщинам было несколько грубоватое и презрительное.

Наполеон очень любил детей; часто играл с ними и выслушивал от них самые резкие замечания. Что он любил своего сына – это весьма естественно и ничего нет в этом удивительного. Каждый день во время завтрака к нему приносили сына, и он с ним все время забавлялся, приводя в ужас приставленную к ребенку статс-даму.

Наполеон очень любил также своих племянников. Существовало обыкновение, чтобы во время завтрака к Наполеону приводили племянников, особенно детей брата Луи. Наполеон «ласкал и детей своих слуг, как, например, сына Рустама, также вызывая их фамильярность и на „ты“ с собою и также теребя их за уши… Он так любил детей, что в своих законах прежде всего позаботился о них, и если он редко отказывал в чем-нибудь женщинам, то почти не было примера, чтобы он отказал ребенку, которого подослали к нему с просьбой». [Массон. Наполеон I в придворной и домашней жизни. 1896.].

Наполеон никогда не забывал своих друзей и оказывал им всегда и во всякое время всякую поддержку. Правда, Наполеон-император стал несколько дальше от друзей и учредил строгий этикет; но ведь он был император, и притом в первой линии, и потому ему, более чем кому другому, нужно было охранять императорское достоинство от друзей, из которых некоторые вышли из трактирщиков. Наполеон был прав, говоря Chaptal: «Нет генерала, который не признавал бы за собою таких же прав, как и мои. Я должен быть строг с этими людьми». Принимая во внимание все вышеизложенное, нельзя не признать, что Наполеон был таким же человеком, как и все остальные люди. Мнение Тэна [Taine. R?gime moderne, p. 18.], что он

никого не любил и не ненавидел, что для него никто не существовал на свете, кроме него самого, а остальные существа были только цифры, – едва ли справедливо.

В детстве, находясь в школе, Наполеон отличался склонностью к уединению, скрытности, замкнутости, некоторыми своеобразными проявлениями характера и резкой нервностью. Marco Saint-Hilaire рассказывает, что еще в детстве Наполеон производил

жевательные движения , сопровождавшиеся

гримасничаньем ; эти движения проявлялись во время занятий и в возбуждении.

В состоянии раздражения у Наполеона развивался

тик правого плеча и

конвульсивные движения в губах . Однажды, когда Наполеон был наказан в школе, это так подействовало на его самолюбие, что с ним произошел

судорожный припадок , почему его должны были освободить от наказания. Наполеон часто страдал приступами

мигрени .

В дальнейшей жизни оказывается, что у Наполеона существовала прекрасная почва и для судорожных припадков, и для мигрени в виде

подагры и

герпетизма .

В характере Наполеона резко выделялась крайняя

строгость по отношению к окружающим и к самому себе. Он всегда был образцом для других, но, к сожалению, недосягаемым. Его отношения к окружающим, в случаях взыскания, отличались

грубостью и

резкостью . Он был очень

впечатлителен и

вспыльчив , часто он впадал также в

гнев , причем появлялось

резкое подергивание в ноге . Бывали, однако, случаи, когда он симулировал гнев, но, как при появлении настоящего гнева, так и искусственного, Наполеон отличался безграничным

властолюбием и

честолюбием и для осуществления и удовлетворения этих качеств не стеснялся в средствах.

Сила воли Наполеона вполне соответствовала величине и всеобъемлемости его гения, поэтому не поразительно, что она никогда и ни перед чем не склонялась.

В школе Наполеон отличался любовью к труду, настойчивостью и своенравным поведением. Проявления его умственной деятельности были не одинаковы: в математике он отличался, а

учитель немецкого языка полагал, что «ученик Наполеон Бонапарт совершенный болван».

Память у Наполеона была колоссальная, особенно же память цифр и топографии.

От матери Наполеон унаследовал склонность к

экономии, расчету, контролю, бережливости и порядку . Наполеон отличается крайней

непоседливостью : он постоянно в движении, ездит и переезжает с места на место; сидя на месте, он режет ручки кресел, рисует, пишет глупости, но непременно в какой-нибудь деятельности. В характере Наполеона часто проявляется грустный оттенок, особенно это резко было выражено в молодые годы, при жизненных неудачах. Наполеон-офицер пишет следующее: «Всегда одинокий, лишь только вхожу к себе, как мысли, одна мрачнее другой, овладевают мною. Куда же они устремляются сегодня? К смерти! Вот почти 6 или 7 лет, как я на чужбине. Через четыре месяца мне предстоит радостная встреча с соотечественниками, с родными. Да разве одних тех отрадных чувств, от которых начинает биться мое сердце при одном лишь воспоминании детства, не достаточно, чтобы я мог сознать всю пользу счастья, ждущего меня на родине? И между тем какая-то темная сила заставляет меня желать саморазрушения! Да, что делать в этом мире? Ведь все равно вечно жить не будешь; а потому не лучше ли покончить с собою теперь же? Будь мне лет за шестьдесят, я, быть может, и был бы готов, из уважения к предрассудкам моих современников, смиренно ожидать часа, когда сама природа положит конец моим дням, но так как, кроме несчастий и горя, жизнь пока не дала мне ничего, то для чего же я стану беречь ее. И для чего люди удалились от природы, до чего они трусливы, презренны и низки!..»

Мадам Ремюза [R?musat. M?moires.] говорит, что Наполеон просыпался обыкновенно в

грустном настроении и

казался удрученным , так как у него довольно часто бывали

спазмы желудка , вызывавшие иногда рвоту.

Наполеон

спал очень мало, 4–6 часов, причем ложился спать в 10 часов, но, кроме того, в свободные минуты он обладал способностью спать когда угодно и где угодно в течение нескольких минут. Просыпаясь, он моментально приходил в сознание. В этот момент он любил выслушивать сплетни обо всех и обо всем, чтобы знать, что делают и что делается. Наполеон уважал медицину, доверял ей и часто прибегал к ней. Вообще, он был страшно зябок, любил тепло, нередко заставлял топить камин даже летом, очень сильно реагировал на барометрические колебания и страстно любил горячие ванны. Быть может, к тому побуждали его и частые приступы

дизурии , бывшей у него с детства. В ванне он просиживал часы и температуру воды доводил до крайних пределов. Иногда он проводил в ванне ночи. Ванна была для него и успокоением, и укреплением, и наслаждением. Наполеон любил также растирание кожи щеткой, растирание грубое и резкое, как «осла». Эти приемы избавляли Наполеона от

приступов кашля и дизурии. В

пище Наполеон был неприхотлив – ел быстро и без разбору, причем после сладкого нередко переходил к супу и т. д. Определенного часа для еды у него не было; он властвовал над желудком, или, скорее, забывал о его существовании, и ел когда подставляли ему пищу, и ел рассеянно, думая об оставленной работе и спеша вернуться к ней. Наполеон никак не мог мириться, даже в торжественных случаях, с бесконечным числом блюд; где бы он ни был,

после первых же блюд он требовал мороженого и выходил из-за стола. Мороженое он любил. За быстротой еды он плохо пережевывал куски пищи. По отношению к алкоголю он был необыкновенно воздержан и любил только шамбертен, да и тем не слишком злоупотреблял.

Наполеон был неутомим. Он мог целые дни просиживать на лошади, как и в кресле кабинета. Его ум был всеобъемлющ. Его ум не только обнимал все в целом, но и входил в мельчайшие подробности, и можно сказать, что в течение 14 лет мысль Наполеона работала за восемьдесят миллионов людей. Замечательно то, что Наполеон писал безграмотно как по-французски, так и по-корсикански. Но зато выражаемая им мысль отличалась меткостью, ясностью, точностью, краткостью и простотою изложения. Массой говорит: «Его мысль всегда оригинальна и самостоятельна. Идея, зародившаяся в его уме, не терялась из виду, среди хаоса самых разнообразных проектов, среди массы писем и депеш, которые ежедневно прилетали в курьерских сумках и заваливали его стол, и вынашивалась до полной зрелости». От одной умственной работы к другой Наполеон переходил столь же легко и свободно, как от предмета физического одного к другому. Почти всю государственную работу он брал на себя и все обнимал своим умом. Он работал рано утром, в полдень, вечером и ночью. Часто заснувши час-два, Наполеон вставал и прорабатывал всю ночь. Его секретари уставали и сменялись – он же был несменяем. Наполеон бывал на балах, вечерах в театре и проч., но делал это только

ex officio , любил же он только музыку, особенно вокальную. Наполеон нюхал табак, но по этому поводу можно сказать, что он скорее рассыпал его, нежели действительно нюхал.

К болезненным проявлениям Наполеона должно отнести также какие-то припадки, неоднократно у него наблюдавшиеся. Первый такой припадок наблюдался еще в бытность его в Бриеннской школе. [Narvin. Aisttire de Napoleon.] Талейран [Tallayrant. M?moires.], наблюдавший один из таких припадков в 1805 году, при путешествии Наполеона в Страсбург, описывает его так: «Наполеон встал из-за стола и направился к покоям императрицы, но вскоре быстро возвратился в свою комнату, позвав меня с собою, вместе с нами в комнату вошел и камердинер. Наполеон успел приказать запереть дверь комнаты и повалился на пол без чувств. При этом были судороги и изо рта выделялась пена. Спустя минут 15 Наполеон пришел в себя и начал сам одеваться. Во время припадка Наполеон стонал и задыхался, но рвоты не было. Наполеон запретил рассказывать о происшедшем. Вскоре он скакал на коне вдоль рядов армии».

Это описание представляет картину типичнейшего случая классической соматической эпилепсии и выясняет дело бесповоротно. Но кроме этих приступов классической эпилепсии у Наполеона бывали приступы неполные и измененные, во всяком случае отличные от типических. Так, 18 брюмера Наполеон имел приступ бессознательного состояния, а затем проявил типичный бред эпилептика в своих речах к совету и войску. Его поступки в это время можно признать вполне бессознательными и даже бессмысленными. Своими дикими поступками в течение нескольких минут он едва не разрушил составленного им грандиозного плана государственного переворота. Судорожные припадки, почему-то называемые истерическими, наблюдались у Наполеона и в дальнейшей жизни, против которых его лейб-медик назначал теплые продолжительные ванны. Подозрительный припадок у Наполеона произошел в день объявления развода с Жозефиной. Понесши полное поражение в России и вынужденный сделать распоряжение возвращаться армии по прежней дороге, Наполеон так был всем этим потрясен, что, отдавая это приказание, он впал в обморок. Еще раньше, под Бородино, Наполеон тоже имел какой-то приступ, после которого он перепутал и совершенно испортил составленный им прекрасно план сражения. То же явление повторяется в сражении под Дрезденом, где он своим замешательством губит свою армию и себя. Под Лейпцигом Наполеон впадает в оцепенение и совершает целый ряд чисто автоматических бессознательных действий. Неменьшему оцепенению подвергся Наполеон и в Фонтенбло, в ночь, предшествующую отречению от престола.

Таким образом, несомненно и бесспорно то, что Наполеон имел приступы, и эти приступы были эпилептические, в одних случаях судорожные, в других в виде absence, каталепсии, автоматизма и т. п. Автограф Наполеона, 1813 г.

Все почти историки говорят, что в последние годы жизни Наполеона, особенно по возвращении его из России, гениальная его умственная деятельность стала тускнеть. В нем недоставало прежней быстроты, энергии, неутомимости, широты и силы ума и предусмотрительности; он стал неподвижней, тусклей и ограниченней. Шапталь [Chaptal. M?moires, p. 332.], близко стоявший к Наполеону, говорит, что он к этому времени стал

вырождаться (il ?tait d?g?nere). Особенно такое понижение наступило после Москвы: «Я утверждаю, что со времени этой печальной эпохи я не видел в нем ни той последовательности идей, ни той силы характера… ни того расположения, ни той способности к труду, как прежде».

Иначе и не могло быть. Приступы эпилепсии в той поре жизни у Наполеона усилились, а такие приступы не остаются бесследными для умственной деятельности. Поэтому весьма естественно, что даже гений Наполеона, под ударами этого небесного бича, должен был ослабеть и тускнеть. Это не значит, что гений Наполеона опускался до слабоумия. Да и припадки, с устранением резких жизненных потрясений, ослабели. Но важно то обстоятельство, что под влиянием приступов падучей даже гений, если он не принимает скоро борьбы с этой тяжкой болезнью, подвергается некоторой диссоциации.

Признание Наполеона эпилептиком – не новость. Лучшие современные невропатологи почти все того мнения. Если же не все современники считали Наполеона эпилептиком, а особенно его врачи, то это обусловливается недостатком надлежащих знаний об эпилепсии в то время и значительным успехом по этому отделу в настоящий момент. Будет достаточным сказать, что в то время эпилепсия считалась решительно неизлечимой болезнью, тогда как мы смотрим на эту болезнь далеко более светлыми глазами и встречаем немало случаев излечения от нее.

Страданию Наполеона эпилепсией Ломброзо [Lombroso. Rivista d’Italia 1898.] посвятил целую статью. Доводы, на основании которых Lombroso признает Наполеона эпилептиком, следующие: отец Наполеона алкоголик, Наполеон был мал ростом, имел большую нижнюю челюсть, выдающиеся скулы, глубокие впадины глаз, асимметрию лица, редкую бороду, слишком короткие ноги, сгорбленную спину, любил тепло, слишком чувствителен был к пахучим веществам и метеорологическим колебаниям, страдал мигренями, имел тик лица, плеча и правой руки, судороги в левой ноге при гневе, жевательные движения челюсти, чудовищное самолюбие, эгоизм, вспыльчивость и импульсивность, склонность к суеверию, противоречия характера, бессердечность, отсутствие нравственного чувства, недостаток этического чувства и даже недостатки в мышлении. «Из всего этого, – говорит Ломброзо, – мы усматриваем, что в этом великом человеке произошло полное слияние гения с эпилепсией не только судорожной, мышечной, но и психической, выражавшейся в импульсивных действиях, затемнении умственных способностей, цинизме, чрезмерном эгоизме и мегаломании (бред величия)».

«Из этого примера, являющегося в природе не единственным, мы можем вывести заключение, что

эпилепсия может быть одним из составных элементов гениальности …» Дальнейший вывод Ломброзо еще более поразительный: «

Гениальность есть форма психоза на почве вырождения с признаками специального или эпилептического характера …»

В другом месте [Ковалевский П. И. Вырождение и возрождение. Гений и помешательство. 1899.] я касался несостоятельности и безнадежности взгляда Lombroso, что гениальность есть психоз. Единственный пункт, по которому я мог бы сколько-нибудь согласиться с Ломброзо в этом отношении, это тот, что и гениальность, и душевная болезнь суть необыкновенные жизненные явления, причем гениальность, однако, не есть болезнь, а особый дар природы и величина положительная, тогда как душевная болезнь есть прежде всего болезнь, и притом величина отрицательная.

Какие же доказательства Ломброзо имеет за то, что гениальность есть эпилепсия? Прежде всего то, что многие гениальные люди, как Магомет, Цезарь, Петр Великий, Петрарка и проч., были эпилептики. Что же в этом особенного? По всему вероятию, они страдали и лихорадкой. Значит ли это, что гениальность есть лихорадка? Страдали эти люди и другими болезнями, но это все-таки не значит, что гениальность есть проявление этих болезней… Совпадение двух состояний вовсе не означает их сродства, а в огромнейшем числе случаев только лишь простую случайность. Уже это потому так, что гениальность – явление прирожденное, а эпилепсия может быть приобретенной. Приобрести эпилепсию весьма легко, но дает ли эта эпилепсия такому страдальцу хоть каплю гениальности? Нет. Это фальшь. Появившаяся эпилепсия не только не способствует развитию умственных способностей и расширению их деятельности, а напротив, их угнетает, подавляет и уничтожает. Я не буду останавливаться на этом вопросе, так как я его касался в другом месте. [Ковалевский П. И. Психиатрические эскизы из истории. Т. 1. 6-е изд. 1900.] Во всяком случае, факт не подлежит никакому сомнению, что ни приобретенная, ни прирожденная эпилепсия

никогда не дают улучшения умственных способностей и характера, а напротив, идиотизм, тупоумие и слабоумие, и счастливы те эпилептики, которые в течение всей жизни удерживают свои умственные способности и характер в добром и благоприятном состоянии. А между тем мы знаем, что между гениальными эпилептиками можно указать таких, у которых эпилепсия произошла от случайных причин, как: непомерное пьянство, распутная жизнь, чрезмерные потрясения и проч. Такие люди были гениальными и раньше, чем они стали эпилептиками, и приписывать их гениальность эпилептическому неврозу – нелогично, неосновательно и неразумно.

Но этого мало. Если гениальность есть эпилептический невроз, то отсюда следует, что все гениальные люди должны быть эпилептиками. Однако это несчастье, к великому счастью, минует весьма многих гениальных людей. Гениальных людей эпилептиков так мало, что они все наперечет; гениальных людей неэпилептиков так много, что их всех перечесть нет физической возможности. Отсюда естественный вывод – гениальность никоим образом не является эпилептическим неврозом. Те проявления легкой дегенерации, которые наблюдались у Наполеона, правда, могут иметь генетическую связь с эпилепсией, но они не имеют никакой связи и никакого отношения к гениальности. Это есть простое совпадение, простая случайность.

Многие настаивают на том, что Наполеон имел

эпилептический характер . Он был бессердечен, кровожаден, эгоист, необычайно самолюбив, человеческие жизни для него не имели никакого значения и т. д. Если бы даже это было и так: Наполеон имел эпилептический характер. Что же тут особенного? Наполеон был эпилептик, а потому и проявлял эпилептический характер. Правда, не все эпилептики проявляют эпилептический характер; но что же странного и удивительного в том, что тот или другой эпилептик проявит эпилептический характер! Вот если бы было доказано, что эпилептический характер именно всегда сопровождается гениальностью или что все гении обладают эпилептическим характером, – это другое дело. На деле же это вовсе не так: эпилептический характер никоим образом не сопровождается гениальностью и совершенно неверно то, чтобы все или многие гении проявляли эпилептический характер.

Но если бы даже и так, что эпилептический характер имел сродство с гениальностью, то действительно ли у Наполеона был эпилептический характер? Прежде всего должно отличать Наполеона государственного деятеля и Наполеона человека. Кровопролитие войны, разорение государств, лишение миллионов людей благосостояния в течение военного времени – все это одно, а убийство, грабеж, мошенничество – другое. В силу тяжелых и жалких стечений обстоятельств жизни первое – добродетель, второе – преступление. Знаменитый полководец – герой, и тем больший герой, чем он больше истребит людей, разорит городов и государств и пустит по миру вдов и сирот голодных и раздетых… Разбойник, убивший людей, разоряющий города, оставляющий вдов и сирот, награждается виселицей. Такова мораль жизни…

Наполеон, безусловно, был истребителем людей, государств, городов, деревень и т. д. Но был ли он в жизни таким же бессердечным убийцей… Хирурги тоже режут многих, но это им ставится в добродетель… И терапевты направо и налево расточают яды, но это опять не эпилепсия.

Еще и то должно иметь в виду: можем ли мы нашей меркой, меркой среднего человека, мерить гения! Quod licet Iovi, non licet bovi (

лат . Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. –

Г. Б .)… Этот вопрос имеет весьма важное практическое значение, ибо мы в жизни видим уже на деле проведение мысли надеть узду на деятельность людей выдающихся в угоду и для выгоды ограниченной толпы. Преимущества труда и ума выдающегося стремятся подчинить для средней толпы. Примеры этому мы могли бы в жизни заимствовать в весьма множественном числе. Но так как это вопрос слишком жизненный и реальный, то лучше мы его оставим в стороне.

Если у Наполеона отделить то, что принадлежит ему как полководцу, главнокомандующему, воину и государственному реорганизатору, то в характере Наполеона-человека мы найдем все то, что и у каждого человека, и ничего общего с эпилептическим характером.

Общий наш вывод тот: Наполеон был высший, первоклассный гений. Он страдал эпилепсией. Эта эпилепсия в последние годы его политической жизни усилилась и повлияла даже на его умственную деятельность, что, вероятно, не оставалось без влияния и на проявлении его мировой деятельности; когда же его жизнь стала спокойнее, то припадки прекратились, и умственная деятельность несколько возвратилась. Его гениальность, как и всякая гениальность, не имела ничего общего с его болезнью, и одновременное существование гения и эпилепсии у Наполеона есть только лишь простая случайность. Гениальность не имеет ничего общего с эпилепсией и, тем менее, служит ее проявлением.

Приложение 2

Д. С. Мережковский. Наполеон – человек

Судьи Наполеона

Свершитель роковой безвестного веленья. Пушкин

Показать лицо человека, дать заглянуть в душу его – такова цель всякого жизнеописания, «жизни героя», по Плутарху.

Наполеону, в этом смысле, не посчастливилось. Не то чтобы о нем писали мало – напротив, столько, как ни об одном человеке нашего времени. Кажется, уже сорок тысяч книг написано, а сколько еще будет? И нельзя сказать, чтобы без пользы. Мы знаем бесконечно много о войнах его, политике, дипломатии, законодательстве, администрации; об его министрах, маршалах, братьях, сестрах, женах, любовницах и даже кое-что о нем самом. И вот что странно: чем больше мы узнаем о нем, тем меньше знаем его.

«Этот великий человек становится все более неизвестным», – говорит Стендаль, его современник. [Stendhal. Vie de Napol?on. 3 ed. P., 1896. P. 2.] «История Наполеона – самая неизвестная из всех историй», – говорит наш современник Леон Блуа. [Bloy L. L’ame de Napol?on. P., 1920. P. 7.]

Это значит: в течение больше ста лет «неизвестность» Наполеона возрастает.

Да, как это ни странно, Наполеон, при всей своей славе, неведом. Сорок тысяч книг – сорок тысяч могильных камней, а под ними «неизвестный солдат».

Может быть, это происходит и оттого, что, по слову Гераклита, «конца души не найдешь, пройдя весь путь, – так глубока». Мы ведь и души самых близких людей не знаем, – ни даже своей собственной души.

Или, может быть, душа его вообще неуловима книгами: проходит сквозь них, как вода сквозь пальцы? Тайна ее, под испытующим взглядом истории, только углубляется, как очень глубокие и прозрачные воды под лучом прожектора.

Да, неизвестность Наполеона происходит и от этого; но, кажется, не только от этого. В чужую душу нельзя войти, но можно входить в нее или проходить мимо. Кажется, мы проходим мимо души Наполеона.

Узнавать чужую душу – значит оценивать ее, взвешивать на весах своей души. А в чьей душе весы для такой тяжести, как Наполеон?

«Я ни с чем не могу сравнить чувства, испытанного мною в присутствии этого колоссального существа», – вспоминает один современник, даже не очень большой поклонник его, скорее обличитель. [Thi?bault P. M?moires. P., 1892. T. 4. P. 259.]

Таково впечатление всех, кто приближается к нему, друзей и недругов, одинаково: может быть, это даже не величие, но, уж наверное, огромность, несоизмеримость его души с другими человеческими душами. Он среди нас, как Гулливер среди лилипутов.

Маленькими глазками, увеличивающими, как микроскопы, лилипуты видят каждую клеточку Гулливеровой кожи, но лица его не видят; оно им кажется страшным и мутным пятном; маленькими аршинами могут они измерить тело его с математической точностью; но вообразить, почувствовать себя в этом теле не могут.

Так мы не можем себя почувствовать в душе Наполеона. А ведь именно это и нужно, чтобы ее узнать: не увидев чужой души изнутри, ее не узнаешь.

Кажется, только один человек мог судить Наполеона, как равный равного, – Гёте. Что Наполеон в действии, то Гёте в созерцании: оба – устроители хаоса – Революции. Вот почему в дверях из одной комнаты в другую, из Средних веков в наше время, стоят они друг против друга, как две исполинские кариатиды.

«В жизни Гёте не было большего события, чем это

реальнейшее существо , называемое Наполеоном», – говорит Ницше. [«Er hatte kein grosseres Erlebniss, als jenes ens realisimum». – Nietzsche F. W. Gotzen-Dammerung; oder, Wie man mit dem Hammer philosophiert. 4 Aufl. Leipzig, 1899.]

«Наполеон есть краткое изображение мира». – «Жизнь его – жизнь полубога. Можно сказать, что свет, озарявший его, не потухал ни на минуту: вот почему жизнь его так лучезарна. Мир никогда еще не видел и, может быть, никогда уже не увидит ничего подобного». [Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. Запись 11 марта 1828 г.] Таков суд Гёте – Наполеону равного. А у нас, неравных, дело с ним обстоит еще хуже, чем у лилипутов с Гулливером. Тут разница душ не только в величине, росте, количестве, но и в качестве. У него душа

иная , чем у людей, –

иной природы. Вот почему он внушает людям такой непонятный, ни на что земное не похожий, как бы нездешний, страх.

«Страх, внушаемый Наполеоном, – говорит госпожа де Сталь, – происходит от особого действия личности его, которое испытывали все, кто к нему приближался. Я в своей жизни встречала людей достойных уважения и презренных; но в том впечатлении, которое производил на меня Бонапарт, не было ничего напоминающего ни тех, ни других». – «Скоро я заметила, что личность его неопределима словами, которые мы привыкли употреблять. Он не был ни добрым, ни злым, ни милосердным, ни жестоким, в том смысле, как другие люди. Такое существо, не имеющее себе подобного, не могло, собственно, ни внушать, ни испытывать сочувствия; это был больше или меньше, чем человек: его наружность, ум, речи – все носило на себе печать какой-то чуждой природы». [Staël-Holstein A.-L. G. de. Considerations sur la r?volution fran?aise. P., 1862. T. 3, ch. 2; T. 4, ch. 18.]

«Он миру чужд был. Все в нем было тайной», – понял Наполеона никогда не видевший его семнадцатилетний русский мальчик, Лермонтов. «Существо реальнейшее», вошедшее в мир как никто, владыка мира – «миру чужд». – «Царство мое не от мира сего», – мог бы сказать и он, хотя, конечно, не в том смысле, как это было однажды сказано.

Эту «иную душу» в себе он и сам сознает. «Я всегда один среди людей», – предсказывает всю свою жизнь никому не ведомый семнадцатилетний артиллерийский поручик Бонапарт. [7. Napol?on. Manuscrits in?dite, 1786–1791 (Publ. par Masson F., Bingli G.). P., 1910. P. 5.] И потом, на высоте величия: «Я не похож ни на кого; я не принимаю ничьих условий». [R?musat C.-?. G. de. M?moires de madame de R?musat, 1802–1808 / Pub. par R?musat P. P., 1893. T. 2. P. 112.]

И о государственном человеке – о себе самом: «Он всегда один, с одной стороны, а с другой – весь мир». [Ibid. T. 1. P. 231.]

Эта «иная душа» не только устрашает, отталкивает людей, но и притягивает; внушает им то любовь, то ненависть. «Все любили меня, и все ненавидели».

Божий посланник, мученик за человечество, новый Прометей, распятый на скале Св. Елены, новый Мессия; и разбойник вне закона. Корсиканский людоед, апокалипсический зверь из бездны, антихрист. Кажется, ни из-за одного человека так не боролась любовь и ненависть. Противоположные лучи их скрещиваются на лице его слишком ослепительно, чтобы мы могли его видеть. Видит ли он сам себя?

«Тысячелетия пройдут, прежде чем повторятся такие обстоятельства, как мои, и выдвинут другого человека, подобного мне». [Lacour-Gayet G. Napol?on: Sa vie, son oeuvre, son temps. P., 1921. P. 576.] Он говорит это без гордости, или гордость его так похожа на смирение, что

их почти не различить.

«Если бы мне удалось сделать то, что я хотел, я умер бы со славой величайшего человека, какой когда-либо существовал. Но и теперь, при неудаче, меня будут считать человеком необыкновенным». [O’M?ara B. E. Napol?on en exile. P., 1897. T. 2. P. 6.] Эго, пожалуй, слишком смиренно. А вот еще смиреннее: «Скоро меня забудут, мало найдут историки, что обо мне сказать». [Gourgaud G. Sainte-H?lene: Journal in?dit de 1815 a 1818. P., 1889. T. 2. P. 13.] – «Если бы в Кремле пушечное ядро убило меня, я был бы так же велик, как Александр и Цезарь, потому что мои учреждения, моя династия удержались бы во Франции… тогда как теперь я буду почти ничем». [Ibid. P. 163.] Это он говорит на Св. Елене живой в гробу; говорит о себе спокойно, бесстрастно, как о третьем лице, как живой о мертвом, или еще спокойнее, как мертвый о живом. «Чуждый миру», чужд и себе. Смотрит на себя со стороны: я для него уже не я, а

он .

Кажется иногда, что он и сам себя не знает, также как мы – его. Знает только, что тяжко земле носить такого, как он. «Когда я умру, весь мир вздохнет с облегчением: „Уф!“ [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 1. P. 125.] – „Будущее покажет, не лучше ли было бы для спокойствия мира, чтобы меня никогда не существовало“. [Chuquet A. M. La jeunesse de Napol?on. P., 1897. T. 2. P. 15.]

Это с одной стороны, а с другой: «Пожалеют, пожалеют когда-нибудь люди о моих несчастьях и моем паденье!» [Las Cases E. Le memorial de Sainte-H?lene. P., 1894. T. 1. P. 308.] – «Будете плакать обо мне кровавыми слезами!» [Речь Наполеона в Палате Ста Дней в 1815 г.]

Fu vera gloria?

Ai posteri ardua sentanzia.

Была ли слава его истинной?

Трудный суд над ней принадлежит потомкам.

Мандзони А. Пятое мая (1821)

Но и потомки оказались нелучшими судьями, чем современники.

«Чудовищная помесь пророка с шарлатаном». – «Лжив, как военный бюллетень», – это недаром во дни его сделалось пословицей. – «Крепкая, ясная, простая итальянская природа его разложилась в мутной атмосфере французского фанфаронства». Изолгался окончательно и «провалился в пустоту». – «Бедный Наполеон! Наш последний герой!» Таков суд Карлейля в его знаменитой книге «Поклонение героям». Если суд верен, то трудно понять, как мог очутиться в сонме героев этот «провалившийся в пустоту шарлатан». Впрочем, образ Наполеона начерчен здесь так скудно, грубо и поверхностно, что едва ли стоит долго останавливаться на нем.

Тэн сильнее Карлейля. Книга его о Наполеоне, кажется, и есть то последнее, что легло на душу читателей и не скоро из нее изгладится. [Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. P.: Hachette, 1909. T. 9.] Действием своим на умы и сердца книга эта обязана, может быть, не столько таланту и учености автора, сколько своему созвучию с духом времени: Тэн высказал о Наполеоне то, что у всех было на уме.

«Безмерный во всем, но еще более странный, не только преступает он за все черты, но и выходит из всех рамок; своим темпераментом, своими инстинктами, своими способностями, своим воображением, своими страстями, своею нравственностью он кажется отлитым в особой форме, из другого металла, чем его сограждане современники». [Ibid. P. 5.] – «По глубине и широте гениальных замыслов, по героической силе духа, ума и воли со времен Цезаря не было ничего подобного».

Таково начало, а вот конец: «Дело наполеоновской политики есть дело эгоизма, которому служит гений; в его общеевропейском здании, так же как во французском, надо всем господствовавший эгоизм испортил всю постройку». Наполеон среди людей – «великолепный хищный зверь, пущенный в мирно жующее стадо». – «Он обнаруживает безмерность и свирепость своего самолюбия», когда в 1813 году, в Дрездене, говорит Меттерниху: «Такой человек, как я, плюет на жизнь миллиона людей!» – «Положительно, с таким характером, как у него, нельзя жить; гений его слишком велик и зловреден; чем больше, тем зловреднее». – «Это эгоизм, выросший в чудовище и воздвигший среди человеческого общества колоссальное „Я", которое удлиняет постепенно, кругами, свои хищные и цепкие щупальца; всякое сопротивление оскорбляет его, всякая свобода стесняет, и, в присвояемой себе безграничной области, оно не терпит никакой жизни, если только она не придаток и не орудие его собственной жизни». [Ibid. P. 142, 20, 129, 76.] Другими словами, исполинский паук, захвативший мир в свои лапы и сосущий его, как муху, или адская машина, изобретенная диаволом, чтобы разрушить мир; или, наконец, апокалипсический зверь, выходящий из бездны; «Наполеон-Аполлион, Губитель», как толковали имя его тогдашние начетчики Апокалипсиса.

«Вот видите, матушка, какое вы породили чудовище!» – смеялся он, читая подобные пасквили. [Las Cases E. Le m?morial… T. 3. P. 256.]

В 1814 году, после первого отречения, когда комиссары союзников везли его на остров Эльбу, роялисты, в маленьком городке Прованса, Оргоне, сколотили виселицу и повесили на ней чучело Наполеона под крики толпы: «Долой Корсиканца! Долой разбойника!» А оргонский мэр говорил речь: «Я его своими руками повешу, отомщу за то, что было тогда!» Тогда, при возвращении Бонапарта из Египта, тот же мэр, произнося ему приветственную речь, стоял перед ним на коленях. [Fauvelet de Bourrienne L. A. M?moires sur Napol?on. P., 1900. T. 5. P. 435.]

Нечто подобное происходит и с Тэном: в начале книги он поклоняется герою, а в конце – вешает чучело его.

«Привычка к самым жестоким фактам менее сушит сердце, чем отвлеченности: военные люди лучше адвокатов», – говаривал Наполеон, как будто предчувствовал, что сделают с ним «адвокаты» – «идеологи». [Bertaut J. Napol?on Bonaparte, virilit?s. P., s. a. P. 169.]

Знамение времени – то, что на книгу Тэна никто не ответил, потому что беспомощную, хотя и добросовестную, книгу Артюр-Леви, где доказывается, что Наполеон есть не что иное, как «добрый буржуа до мозга костей», нельзя считать ответом. [Levy A. Napol?on intime. P., 1897. P. 452.]

И еще знаменье: в приговоре над Наполеоном Восток согласился с Западом, с неверующим Тэном – верующий Л. Толстой. Суд над Наполеоном пьяного лакея Лаврушки в «Войне и мире» совпадает с приговором самого Толстого: Наполеон совершает только «счастливые преступления». – У него «блестящая и самоуверенная ограниченность». – «Ребяческая дерзость и самоуверенность приобретают ему великую славу». У него «глупость и подлость, не имеющие примеров»; «последняя степень подлости, которой учится стыдиться всякий ребенок». [Толстой Л. Статьи о кампании 12-го года, прилож. к «Войне и миру».]

Русскому пророку так же никто не ответил, как европейскому ученому. И человеческое стадо жадно ринулось, куда поманили его пастухи. «Толпа в подлости своей радуется унижению высокого, слабости могучего: „он мал, как мы, он мерзок, как мы!“ Врете, подлецы: он мал и мерзок – не так, как вы, – иначе!» (Пушкин).

Леон Блуа – совершенная противоположность Тэну и Л. Толстому. Книга его «Душа Наполеона», странная, смутная, безмерная, иногда почти безумная, но гениально глубокая, – одна из замечательнейших книг о Наполеоне. [Bloy L. L’ame de Napol?on. P., 1920.]

Острота и новизна ее в том, что автор делает методом исторического познания миф – кажущийся миф, действительный религиозный опыт, свой личный и всенародный. Он знает, как знали посвященные в Елевзинские таинства, что миф – не лживая басня, а вещий символ, прообраз утаенной истины, покров на мистерии и что, не подняв его, не проникнешь в нее. Через душу свою и своего народа – к душе героя, через Наполеонов миф – к Наполеоновой мистерии – таков путь Блуа.

«Наполеон необъясним; самый необъяснимый из людей, потому что он прежде и больше всего прообраз Того, Кто должен прийти и Кто, может быть, уже недалеко; прообраз и предтеча, совсем близкий к нам». – «Кто из нас, французов или даже иностранцев конца XIX века, не чувствовал безмерной печали в развязке несравненной Эпопеи? Кого из обладающих только атомом души не угнетала мысль о падении, воистину слишком внезапном, великой Империи с ее Вождем? Не угнетало воспоминание, что еще только вчера люди, казалось, были на высочайшей вершине человечества и, благодаря одному лишь присутствию этого Чудесного, Возлюбленного, Ужасного, какого никогда не было в мире, могли считать себя, как первые люди в раю, владыками всего, что создал Бог под небом, и что сейчас после этого надо было снова упасть в старую грязь Бурбонов?» [Ibid. P. 9—10.]

Потерянный и возвращенный рай – вот покров Наполеонова мифа над мистерией; вот где душа народа соприкоснулась с душой героя.

«Бред сумасшедшего или лубочная картинка», – может быть, решил бы Тэн о книге Блуа и был бы неправ. Не бывает ли, не была ли от 1793 до 1815-го «психология масс» похожа на «бред сумасшедшего», и «лубочная картинка» не драгоценный ли документ для историка?

Тем-то и драгоценен Блуа, что продолжает в душе своей Наполеонову «психологию масс», воскрешает Наполеонов миф. Когда он говорит о «своем Императоре», на глазах у него блестят такие же слезы, как у старых усачей-гренадеров Великой Армии; тем-то он и драгоценен, что доказывает, что Наполеон все еще жив, в душе французов, в душе Франции, и, может быть, даже сейчас живее, чем когда-либо; что все еще из-под сорока тысяч книг – могильных камней – встает Неизвестный Солдат:

Из гроба встает Император.

«И то важно знать не одним французам, но и всем европейцам, потому что Герой может им всем понадобиться: „будете плакать обо мне кровавыми слезами!“»

Блуа считает себя «добрым католиком», а добрые католики считают его злейшим еретиком. Но нет никакого сомнения, что он христианин, или, по крайней мере, хочет быть христианином. Но иногда и христианину трудно решить, молится ли Блуа или кощунствует. Во всяком случае, он слишком легко и смело решает, что Наполеон есть «предтеча Того, Кто должен прийти». – Кого именно, остается неясным, но, кажется, – Параклета, нового Адама, который возвратит ветхому Адаму, человечеству, потерянный рай. Слишком легко и безболезненно решает он: «Я не могу себе представить рая без моего Императора». [Ibid. P. 98.] Наполеон в раю, рядом с Жанною д’Арк – это не только для «добрых католиков» – не доказанное, а подлежащее доказательству. В том-то и вопрос, как соединить Жанну д’Арк с Наполеоном в раю.

Трудно также решить, молится ли Блуа или кощунствует, когда говорит: «Глянул Бог в кровавое зеркало войны, и оно отразило Ему лицо Наполеона. Бог любит его, как свой собственный образ; любит этого Насильника, так же как Своих кротчайших Апостолов, Мучеников, Исповедников». [Ibid. P. 24.]

Да, может быть, это и кощунство; но, прежде чем решать, вспомним: «Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеянье Свое» (Ис. 63.3).

Вот почему и кротчайший из апостолов помнит, что «страшно впасть в руки Бога живого». Если бы и мы этого не забывали, то, может быть, не отразился бы в наши дни лик Божий в кровавом зеркале войны так ужасно, как еще никогда.

Во всяком случае, нельзя делать, как это делает Тэн, одного Наполеона ответственным за 2 000 000 людей, погибших в войнах его. [Ibid. P. 141.] Получив в наследство от Революции войну Франции с легитимной Европой, он не мог бы ее прекратить, если бы даже хотел. Когда он говорит: «Будь я побежден под Маренго, 1814 и 1815 годы наступили бы тогда же», он прав. [Las Cases E. Le m?morial… T. 3. P. 370.] Язву гражданской войны он исцелил на теле, может быть, не только Франции, но и всей Европы, а мы теперь знаем по опыту, насколько гражданская война ужаснее международной. Наполеоновские войны – детская игра по сравнению с великой международной и русской гражданской войной, в которой убито 15 миллионов, 30 – погибло от эпидемий, 5 – от голода. И этому нисколько не помешало, а может быть и помогло, то, что Наполеона среди нас не было.

Как бы то ни было, Блуа, несомненно, прав в одном: история Наполеона или навсегда останется «самою темною из всех историй», или осветится светом христианства, потому что Наполеонов миф все еще близок в душе народа к христианской мистерии, а к душе героя нет иного пути, как через душу народа. Это значит, что последним судом будут судить Наполеона не «адвокаты-идеологи», авторы сорока тысяч книг, не те, кто говорит, а тот, кто молчит, – народ.

Что же думает народ о Наполеоне? Это трудно узнать не только потому, что народ молчит, но и потому, что мысли его слишком далеки от наших.

Народ называет Наполеона просто «Человеком», «l’Homme», как будто желая этим сказать, что он больше других людей исполнил меру человечества; и еще – «маленьким капралом», давая тем понять, что он простым людям свой брат. И с этим герой соглашается: «Я слыл страшным человеком только в ваших гостиных, среди офицеров и, может быть, генералов, но отнюдь не среди нижних чинов: у них был верный инстинкт правды и сочувствия; они знали, что я их заступник и никому в обиду не дам». [Ibid. T. 1. P. 460.] – «Народные струны отвечают моим; я вышел из народа, и мой голос действует на него. Взгляните на этих новобранцев, крестьянских детей: я им не льстил; я был с ними суров, а они все-таки шли за мной, кричали мне: „Виват император!“ Это потому, что у меня с ними одна природа». [Ibid. T. 2. P. 42.]
Портрет Наполеона с лицом, составленным из трупов. Неизвестный художник

Да, люди шли за ним, как за одним человеком вот уже две тысячи лет; шли через моря и реки, через горы и степи, от Пирамид до Москвы; пошли бы и дальше, до края земли, если бы он их повел; шли, терпя несказанные муки, жажду, голод, холод, зной, болезни, раны, смерть, – и были счастливы. И он это знал: «Как ни велико было мое материальное могущество, духовное – было еще больше: оно доходило до магии». [Ibid. T. 3. P. 357.]

Когда он говорит в огне сражения: «Солдаты, мне нужна ваша жизнь, и вы должны мне ею пожертвовать», – люди знают, что

должны . «Никогда никому солдаты не служили так верно, как мне. С последней каплей крови, вытекавшей из их жил, они кричали: „Виват император!“» [O’M?ara. Napol?on en exil. T. 1. P. 200.]

За человеческую память не было такого ужаса, как гибель шестисоттысячной Великой Армии в русском походе 1812 года. Наполеон знал, знала вся армия, что не пожар Москвы, не мороз, не измена союзников виноваты в этой гибели, а он, он один. Что же, возмущалась, роптала? Нет, только старые усачи-гренадеры тихонько ворчали, а все-таки шли, теперь уже не за ним, а рядом с ним, потому что он шел среди них пешком, по снегу, с палкой в руках. «На Березине оставалась только тень Великой Армии; но он все еще был в ней тем же, что надежда в сердце человека». Идучи рядом с солдатами, ничего не боялся от них, говорил с ними ласково, и они отвечали ему так же. «Скорее обратили бы оружие на себя, чем на него». – «Падали и умирали у ног его, но и в предсмертном бреду не роптали на него, а молились». [S?gur P. P. Histoire et m?emoires. P., 1873. T. 3. P. 6.]

Франция содрогнулась от ужаса, когда получила 29-й бюллетень о гибели Великой Армии. В конце его было сказано: «Здравие его величества никогда не было в лучшем состоянии». – «Семьи, осушите слезы: Наполеон здоров!» – горько смеялся Шатобриан. [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 481.] А простые люди плакали, когда Наполеон, вернувшись в Париж, говорил им перед новым набором: «Вы меня избрали, я дело ваших рук, вы должны меня защищать!» [Ibid. P. 503.]

В кампании 1812-го погибло 300 000 человек, а новый набор объявлен в 180 000. Только очень молодые люди попали в него: старших давно уже забрали. «Эти храбрые дети жаждут славы: ни направо, ни налево не смотрят, а всегда вперед», – восхищался ими маршал Ней; восхищался ими и Наполеон: «Храбрость из них так и брызжет!» [Ibid. P. 481.]

Когда же и эти погибли под Лейпцигом, пришлось забирать на 1814-й уже совсем молоденьких мальчиков безусых, похожих на девочек, – «Мари-Луиз». Многие из них и ружья зарядить не умели. Но в несколько дней похода доросли до старых солдат 96-го, победителей мира.

Что говорит один современник о триумфальном шествии Наполеона с Эльбы в Париж, можно бы сказать о всей его жизни: «Шествие человеческих множеств за ним, как огненный след метеора в ночи». [Thi?bault P. M?moires. T. 5. P. 277.]

Народ верен ему до конца, и после Ватерлоо пошел бы за ним. На пути из Мальмезона в Рошфор – на Св. Елену, – толпы за ним бежали и кричали сквозь слезы: «Виват император! Останьтесь, останьтесь с нами!» [Houssaye H. 1815. P., 1905. T. 3. P. 356.]

Члены палат, министры, маршалы, братья, сестры, любовницы – все изменяют ему, а народ верен. Чем люди выше, ближе к нему, тем хуже видят его, меньше любят; чем ниже, дальше от него, тем видят лучше и любят больше, «утаил от премудрых и открыл младенцам».

Старую негритянку-египтянку роялисты в Марселе, во время белого террора 1815-го, заставили кричать: «Виват король!» Но она не хотела – кричала: «Виват император!» Ее повалили ударом штыка в живот. Она приподнялась и, держа обеими руками выпадавшие внутренности, крикнула: «Виват император!» Ее бросили в вонючую воду старого порта; и утопая, в последний раз она, вынырнув, крикнула: «Виват император!» [Ibid. P. 15.]

Да, люди так никого не любили, так не умирали ни за кого, вот уже две тысячи лет.

Страшно то, что он говорит: «Такой человек плюет на жизнь миллиона людей!» Но, может быть, еще страшнее то, что миллионы людей отвечают ему: «Мы плюем на свою жизнь за такого человека, как ты!»

Что же они любят в нем? За что умирают? За Отечество, за Человека, Брата? Да, но и еще за что-то большее.

Кажется, верно угадал поэт, за что умирала Старая Гвардия под Ватерлоо.

Comprenant qu-ils allaient mourir dans cette f?te,

Saluerent leur dieu, debout dans la tempete.

И, зная, что умрут, приветствуют его,

Стоящего в грозе, как бога своего.

Гюго В. Возмездие (1853)

Но если бы тем двум гренадерам, которые под Сен-Жан-д'Акром покрыли его своими телами, чтобы защитить от взрыва бомбы, сказали, что он для них бог, они бы не поняли и, может быть, рассмеялись бы, потому что, как старые, добрые санкюлоты, ни в какого Бога не верили. [Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 177.]

В ночь накануне Аустерлица, когда император объезжал войска, солдаты вспомнили, что этот день – первая годовщина коронования, зажгли привязанные к штыкам пуки соломы и сучья бивуачных костров, приветствуя его восьмьюдесятью тысячами факелов. [S?gur P. P. Histoire em memoires. T. 2. P. 461.] Он уже знал, и через него знала вся армия вещим предзнанием – Наполеоновским гением, что завтрашнее «солнце Аустерлица» взойдет, лучезарное. Так и сказано в бюллетене: «Le soleil se leva radieux. Солнце взошло, лучезарное». Но какому солнцу поклонялись на этой огненной всенощной, люди не знали. Если бы жили не в XIX веке по Р. Х., а во II–III, то знали бы: богу Митре, Непобедимому Солнцу – Sol Invictus.

Бедному «идеологу» Ницше надо было сойти с ума, чтобы это узнать: «Наполеон – последнее воплощение бога солнца, Аполлона». И мудрый Гёте это, кажется, знал, когда говорил: «Свет, озарявший его, не потухал ни на минуту; вот почему судьба его так лучезарна – так солнечна».

«Холодно тебе, мой друг?» – спросил Наполеон старого гренадера, шедшего рядом с ним на Березине, в двадцатиградусный мороз. «Нет, государь, когда я на вас смотрю, мне тепло», – ответил тот. [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 207.]

Так мог бы ответить древний египтянин своему фараону, богу солнца: «Воистину, из Солнца изшел ты, как дитя из чрева матери». [Гимн царю Ахенатону, в гробницах Тэль эль-Амарны 1350 г. до Р. Х.]

Солнечный миф о страдающем богочеловеке – Озирисе, Таммузе, Дионисе, Адонисе, Аттисе, Митре – незапамятно древний миф всего человечества – есть только покров на христианской мистерии.

Солнце восходит, лучезарное, а заходит в крови закланной жертвы; солнце Аустерлица заходит на Св. Елене. Св. Елена больше, чем вся остальная жизнь Наполеона: все его победы, славы, величие – только для нее; жизнь его нельзя понять, увидеть иначе как сквозь нее.

Молится ли он или кощунствует, когда говорит на Св. Елене: «Иисус Христос не был бы Богом, если бы не умер на кресте!» [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 570.] Как могли это сказать

те же уста, что сказали: «Такой человек, как я, плюет на жизнь миллиона людей!» Или он сам не знает, что говорит? Пусть, – это все-таки не пустые слова, а может быть, самые полные, тяжкие, все решающие в его судьбе.

Пусть ему самому кажется, что Св. Елена не жертва, а казнь. Объяснить и, может быть, оправдать его – значит объяснить Св. Елену, показать, почему она все-таки не казнь, а жертва, не гибель, а спасение. Ничего подобного не могло быть в судьбе Александра и Цезаря, а Наполеон без этого не был бы героем христианской – все-таки христианской Франции, все-таки христианского человечества.

Так понял и народ. Это и значит: Наполеонов миф – покров на христианской мистерии. «Я не могу себе представить рая без моего императора» – это мог бы сказать и народ.

Когда Наполеон был на острове Эльбе, однажды трое солдат вошли в парижский кабачок и спросили четыре стакана. «Да ведь вас трое?» – удивился хозяин. «Все равно, давай: четвертый подойдет!» Четвертый – Наполеон.

Когда двое верующих в Него встречались на улице, один спрашивал: «Веришь ли в Иисуса Христа?» – «Верю в Него и в Его воскресение!» – отвечал другой. [Ibid. P. 531.]

20 марта 1815 года, когда Наполеон вернулся в Париж с Эльбы, толпа внесла его на руках в Тюильрийский дворец. «Те, кто нес его, были как сумасшедшие, и тысячи других были счастливы, когда им удавалось поцеловать край одежды его или только прикоснуться к нему. Мне казалось, что я присутствую при воскресении Христа». [Thi?bault P. M?moires. T. 5. P. 295.]

Во Францию два гренадера

Из русского плена брели.

Может быть, те самые, которые под Сен-Жан-д’Акром защитили его своими телами от бомбы. Один просит другого похоронить его в чужой земле.

И смирно, и чутко я буду

Лежать, как на страже, в гробу…

Заслышу я конское ржанье,

И пушечный гром, и трубу,

То Он над могилою едет,

Знамена победно шумят…

Тут выйдет к тебе, Император,

Из гроба твой верный солдат.

Гейне Г. Гренадеры (1820). Пер. М. Михайлова

Это значит: Наполеон воскреснет и воскресит мертвых.

«Я знавал в детстве старых инвалидов, которые не умели отличить его (Наполеона) от Сына Божьего», – вспоминает Блуа. [Bloy L. L'ame de Napol?on. P. 42.]

Если это кощунство, то, кажется, сам Наполеон в нем неповинен. «Прошу меня не сравнивать с Богом. Подобные выражения так странны и неуважительны ко мне, что я хочу верить, что вы не думали о том, что писали», – говорит он неосторожному льстецу, морскому министру Декре. [Levy A. Napol?on intime. P. 399.]

Атеистом он не был, но и христианином тоже не был. «Я умираю в апостолической римской религии, в лоне которой я родился», – пишет он в своем завещании. [Las Cases E. Le m?morial… T. 4. P. 640.] Но, если он родился и умер в христианстве, то жил вне его – и даже так, как будто никогда христианства не было. «Я предпочитаю магометанскую религию: она не так нелепа, как наша». [Gourgaud G. Sainte-H?lene. T. 2. P. 270, 272.] Это сказано там же, на Св. Елене, а ведь и это тоже не пустые слова.

Гёте не совсем прав, когда говорит, что Наполеон есть «краткое изображение мира». Нет, не всего мира, а только одной половины его – той, которую мы называем «языческою», другая же, которую мы называем «христианскою», от Наполеона закрыта, темна для него, как для древних темен Аид, царство теней, ночная гемисфера небес. А что обе гемисферы – ночная и дневная – соединяются, этого он не знает.

Думать, что Наполеон есть предтеча Христа Грядущего, так же нелепо и нечестиво, как думать, что он предтеча Антихриста. В том-то и вся его трагедия – и не только его, но и наша, ибо недаром он наш последний герой, – что он сам не знает, чей он предтеча. В этом, в главном, он – ни утверждение, ни отрицание, а только вопрос без ответа.

«Ну да, такой человек, как я, всегда бог или диавол!» – смеется он, может быть, так, как люди иногда смеются от страха. [O'M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 2. P. 246.] В самом деле, страшно для него и для нас – не знать, кем послан этот последний герой христианского человечества, Богом или диаволом.

«Наполеон – существо демоническое», – говорит Гёте, употребляя слово «демон» в древнем языческом смысле: не бог и не диавол, а кто-то между ними.

Герой Запада, Наполеон и сам похож на запад, вечер мира.

Он был похож на вечер ясный:

Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.

Вот почему он такой неизвестный, таинственный. Кажется, то, что говорит о нем Пушкин, – самое глубокое, что можно сказать:

Свершитель роковой безвестного веленья.

И вот почему так бессилен над ним человеческий суд.

Устроитель хаоса

Что влечет людей к Наполеону? Почему стремительный бег за ним человеческих множеств – «как огненный след метеора в ночи»?

Граф Сегюр, участник русского похода, описывает въезд Мюратовой конницы в еще не тронутую пламенем, но уже грозно опустевшую Москву 14 сентября 1812 года: «С тайным трепетом слушали всадники стук под собой лошадиных копыт» – единственный звук в тишине огромного и безлюдного города; «с удивлением слушали только себя среди такого множества домов». [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 5. P. 36.]

В этом «удивленье», «тайном трепете» – то же апокалипсическое чувство, как во всей наполеоновской мистерии; но началось оно еще раньше, в Революции, где достигает иногда такой остроты, что соприкасается – конечно, бессознательно – с христианской эсхатологией первых веков, с чувством мирового конца: «Скоро всему конец; будет новое небо и новая земля». В чувстве этом – конец и начало времен вместе; бесконечная древность: «сорок веков смотрит на вас с высоты пирамид», – и новизна бесконечная, небывалость, единственность всех ощущений: этого ничьи глаза еще не видели и уже не увидят. Радостный ужас, как перед вторым пришествием; исступленный вопль ясновидящих: «Маран аса! Господь грядет!»

«Мы оставили за собой всех победителей древности, – продолжает вспоминать Сегюр. – Мы упоены были славою. Потом находила грусть: то ли изнеможение от избытка стольких чувств, то ли одиночество на этой страшной высоте, неизвестность, в которой мы блуждали на этих высочайших вершинах, откуда открывалась перед нами безграничная даль».

Та же эсхатология в книге Блуа: «Люди были на высочайшей вершине человечества и, благодаря лишь присутствию этого Чудесного, Возлюбленного, Ужасного, какого никогда еще не было в мире, могли считать себя, как первые люди в раю, владыками всего, что создал Бог под небом».

Вот что влечет людей к Наполеону: древняя мечта о потерянном рае, о Царстве Божьем на земле, как на небе, и новая – о человеческом царстве свободы, братства и равенства.

Это значит: душа Наполеона – душа Революции. Он молния этой грозы: чудо морское, выброшенное на берег бездною.

Революция вскормила его, как волчица Ромула. И сколько бы ни проклинал он ее, ни убивал ее, он всегда возвращается к ней и припадает к ее железным сосцам: кровь в жилах его – волчье молоко Революции.

Он – сама она во плоти: «Я – Французская Революция», – говорил он после казни герцога Энгиенского, одного из самых злых и страшных дел своих, – но не безумного: связь его с цареубийством 1793 года, Террором, душой Революции, упрочена этою казнью. Ров Венсенский, где расстрелян невинный потомок Бурбонов, есть рубеж между старым и новым порядком; разрез пуповины, соединявшей новорожденного кесаря с королевскою властью. Труп Энгиена для Бонапарта – первая ступень на императорский трон; кровь Энгиена для него – императорский пурпур.

«Только ослабляя все другие власти, я упрочу мою – власть Революции», – говорит он в Государственном Совете по поводу своего коронования. [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 177.] И после двусмысленной речи Шатобриана в Академии о писателе Иосифе Шенье, цареубийце 93-го года: «Как смеет Академия говорить о цареубийцах, когда я, коронованное лицо, которое должно их ненавидеть больше, чем она, обедаю с ними и сижу в Государственном Совете рядом с Камбасересом (государственным канцлером, бывшим членом Конвента, тоже цареубийцею)». [Ibid. P. 393.] Истинное помазание нового Кесаря не миро святейшей Ампулы,

а революционная воля народа. «Я не похитил короны; я поднял ее из грязи, и народ возложил ее на мою голову; уважайте же волю народа». [Las Cases E. Le m?morial… T. 1. P. 148.]

«Я – Французская Революция», – говорит он в начале империи, а в конце: «Империя есть Революция». [Houssaye H. 1815. T. 1. P. 512.]

Революция – душа империи, ее динамика. Ею движется она, как тело душою. Только что империя дает трещины, как проступает сквозь них огненная лава революции.

«Надо снова надеть ботфорты 93-го года», – говорит Наполеон в 1814 году, во время нашествия союзников на Францию. [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 505.] И в 1815-м, накануне Ватерлоо: «Император, консул, солдат, – я все получил от народа… Воля моя – воля народа; мои права – его». [Houssaye H. 1815. T. 1. P. 605.] И после Ватерлоо, перед отъездом в Рошфор – последним путем на Св. Елену: «Европейские державы воюют не со мной, а с Революцией». [Ibid. T. 2. P. 194.]

Вот почему старый честный якобинец, член Комитета Общественного Спасения, Дон Кихот и филантроп 93-го года, Карно остается верен ему до конца. «Честь и благо Франции не позволили мне сомневаться, что дело Наполеона есть все-таки дело Революции», – объясняет эту верность другой якобинец. [Thibaud?au A.-C. M?moires, 1799–1815. P., 1913. P. 376.]

«Отделить, отделить его от якобинцев», – повторял в суеверном ужасе император Александр I на Венском конгрессе, когда получено было известие о бегстве Наполеона с о. Эльбы: кажется, Александр один понимал всю опасность того, что Наполеон снова сделается чем раз уже был – воплощенной Революцией, «Робеспьером на коне».

Кромешный ужас, преисподнее лицо ее – лицо Медузы, от которого все живое каменеет, – знает он как никто. «Революция – одно из величайших бедствий, какие только небо посылает земле». [Las Cases E. Le m?morial… T. 3. P. 395.] К революционной «сволочи vile canaille» у него отвращение, физическое и метафизическое вместе. 10 августа 1792-го, глядя с Карусельной площади, как толпа ломится в Тюильрийский дворец, он шепчет сквозь зубы, бледнея: «Che cocjlione! О, сволочь! И как могли их пустить. Расстрелять бы картечью сотни четыре-пять, и остальные разбежались бы». [Levy A. Napol?on intime. P. 51.]

Страха человеческого он не знает. Но бледнеет, «слушая рассказы о насилиях, до каких способен доходить взбунтовавшийся народ. Если во время поездок его верхом по парижским улицам рабочий кидался перед ним на колени, прося о какой-нибудь милости, первым движением его было вздрогнуть и отшатнуться назад». [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 3. P. 356.] «Злой человек, дурной человек! – говорил он о Руссо над его могилой в Эрменонвилле. – Без него не было бы Французской революции… Правда, и меня бы не было… но, может быть, Франция была бы тем счастливее». [Holland H. R. Souvenirs des cours de France, d’Espagne, de Prusse et de Russie. P., 1862. P. 193–194.] – «Ваш Руссо – сумасшедший: это он довел нас до такого состояния». [Roederer P. L. Atour de Bonaparte: Journal. P., 1909. P. 20.] – «Будущее покажет, не лучше ли было бы для спокойствия мира, чтобы ни Руссо, ни меня никогда не существовало». [Chuquet A. M. La jeunesse de Napol?on. T. 2. P. 15.]

Но он знает, что революция не могла не быть, что тот же рок и в ней, как и в нем. «Кажется, наша революция была неотвратимо-роковою – нравственным взрывом, столь же неизбежным, как взрыв физических сил, извержением вулкана». [Las Cases E. Le m?morial… T. 3. P. 395.]

Революция – хаос. Силы ее бесконечно-разрушительны. Если дать ей волю, она разрушила бы человеческий космос до основания, до той «гладкой доски», о которой поется в Интернационале. Чтобы спасти космос, надо обуздать хаос. Это Наполеон и делает, и, как бы

мы ни судили о всех прочих делах его, надо признать, что это дело – доброе, и даже святое, или, как сказали бы древние, «богоподобное», потому что боги суть, по преимуществу, обуздатели и устроители хаоса.

«Я закрыл бездну анархии, я устроил хаос: я очистил революцию». [Ibid. T. 2. P. 245.]

Космос питается хаосом; прекраснейший космос – только устроенный хаос: это знают боги, знает и он, мнимый убийца революции, ее действительный бог Музогет.

«Вопреки всем своим ужасам, революция была истинной причиной нашего нравственного обновления: так самый смрадный навоз производит самые благородные растения. Люди могут задержать, подавить на время это восходящее движение, но убить его не могут». [Ibid. T. 4. P. 43.] – «Ничто не разрушит и не изгладит великих начал Революции; эти великие и прекрасные истины останутся вечными: такою славою мы их озарили, такими окружили чудесами… Они уже бессмертны. Они живут в Великобритании, озаряют Америку; сделались народным достоянием Франции: вот трехсвечник, с которым воссияет свет мира… Истины эти будут религией всех народов, и, что бы ни говорили, эта памятная эра будет связана со мною, потому что я поднял светоч ее, осветил ее начала, и теперь гонения сделали меня навсегда ее Мессиею. Друзья и враги мои скажут, что я был первым солдатом революции, ее великим вождем. И, когда меня не будет, я все еще останусь для народов звездой их прав, и имя мое будет их боевым кличем, надеждой в борьбе». [Los Cases E. Le m?morial… T. 2. P. 107.]

По слову Пушкина:

Он миру вечную свободу

Из мрака ссылки завещал.

Так ли это, что завещал он миру свободу и рабство?

Хаос революции, отменяя низший космос, прикасается, в одной исходной точке своей, к космосу высшему; на одно мгновение вспыхивает над полузвериным, полубожеским лицом революции огненный язык – «трижды светящий свет», «Das dreimal gluhende Licht». [Гёте И. В. Фауст (Рабочая комната Фауста).]

Свобода, Равенство, Братство – Сын, Отец, Дух. Но мгновение проходит, свет потухает, и третий член – Братство, синтез Свободы и Равенства – выпадает из трехчленной диалектики: вместо Братства – братоубийство, стук ножа на гильотине: «Братство или смерть».

Остается тезис и антитезис – Свобода и Равенство – в неразрешимой антиномии: свобода в анархии или равенство в рабстве; власть одного над всеми или всех над одним; уничтожение общества в хаосе или уничтожение личности в проклятом космосе.

Эту антиномию Наполеон, может быть, смутно чувствовал, но не разрешил ее, а только устранил, пожертвовал свободой равенству.

«Лучше нарушить свободу, чем равенство. Это страсть века, а я хочу быть сыном века». [Los Cases E. Le m?morial… T. 4. P. 243.] – «Равенство, только равенство, – таков соединяющий лозунг между ним и революцией». [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 3. P. 224.] – «Я хотел ввести систему всеобщего равенства». [O'M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 2. P. 282.] – «Мое главное правило: открытая дорога талантам, без различия рождений и состояний. Вот за эту-то систему равенства и ненавидит меня ваша (английская) олигархия». [Ibid. P. 6.] –

«Свобода – потребность немногих, избранных… Ее можно стеснять безнаказанно, а равенство любезно большинству». [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 3. P. 153.]

Он ошибся; стеснил свободу не безнаказанно; она отомстила ему вечною тюрьмою – Св. Еленою. Не только немногие, «избранные» отшатнулись от него, восстали на него за свободу, но и целые народы.

«Торгашеская» Англия, как он ее называл, оказалась защитницею мировой свободы.

Получилась роковая для него схема: смертный поединок между Англией – морем – свободой, с одной стороны, и Наполеоном – сушей – равенством, с другой: между тезисом и антитезисом; а синтез выпал: всемирное братство народов – «вся земная суша, окруженная морями, новый остров Атлантида, потерянный и возвращенный рай», – не удалось.

Кажется, он и сам сознает, говоря языком человеческим, для него недостаточным, «вину» свою перед свободой.

«Клянусь, если я не даю Франции больше свободы, то потому только, что думаю, что это для нее полезнее». [Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 240.] – «Мой деспотизм. Но историк докажет, что диктатура была необходима, что своеволье, анархия, великие беспорядки стояли еще при дверях». [Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 245.] – «Я мог быть только коронованным Вашингтоном, в сонме побежденных царей… Но этого нельзя было достигнуть иначе как через всемирную диктатуру; я к ней и шел. В чем же мое преступление». [Ibid. P. 303.] И за два дня до смерти, уже почти в бреду, в такую минуту, когда люди не лгут: «Я освятил все начала (революции); я перелил их в мои законы, в мои дела… К несчастью, обстоятельства были суровы, принуждая и меня быть суровым, в ожидании лучших времен… Но подошли неудачи, я не мог ослабить лука, и Франция была лишена свободных учреждений, которые я предназначал для нее». [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 569.]

Чтобы Наполеон, при каких бы то ни было обстоятельствах, сделался Вашингтоном, маловероятно. Но, может быть, вина его перед свободой все-таки меньше, чем это казалось его современникам.

Свобода и равенство – два явления одной силы, свет и тепло одного солнца. Истинного равенства нет без свободы, хотя бы только без искры ее, а Наполеонова «открытая дорога талантам», основа современной демократии, – истинное равенство. Люди вообще не выносят большой меры свободы, но и совсем без нее жить не могут. Очень малая мера ее дана в Наполеоновом Кодексе, но зато так надежно и крепко, что всей европейской цивилизации надо рушиться, чтобы она была отнята у людей.

Демократия – плохонький рай; но кто побывал в аду – знает, что лучше ада и плохонький рай и что малая свобода демократии по сравнению с абсолютным рабством коммунизма тоже свежесть весеннего утра, по сравнению с ледяным кругом Дантова ада или холодом междупланетных пространств.

Может быть, сейчас русские люди, побывавшие в аду коммунизма, знают о Наполеоне то, чего европейцы не знают и чего нельзя узнать из сорока тысяч книг.

«Мне надо было победить в Москве». [Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 308.] – «Без этого пожара (Москвы) я бы достиг всего». [O’M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 1. P. 178.]

1812–1917. В том году началось, кончилось в этом; может быть, без того не было бы и этого. «Я объявил бы свободу крепостных в России». [Ibid.] Если бы он это сделал – может быть, не было бы русской революции, русского ада.

Кто поджег Москву? Русские «Сыны отечества»? Нет, выпущенные из тюрем воры, убийцы и

разбойники. [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 5. P. 46; Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 290.] «Люди с дьявольскими лицами в бушующем пламени – настоящий образ ада», – вспоминает Сегюр. [Ibid.]

«Какие люди! Какие люди! Это скифы!» – повторял Наполеон в вещем ужасе. Скифы «с раскосыми и жадными глазами» [Блок А. Скифы (1918).], готовы кинуться на Рим, как волки на падаль. Наполеон это знал – он один из всех европейцев.

Померкни, Солнце Аустерлица.

Пылай, великая Москва!

Пушкин А. С. Наполеон (1821)

Москва запылала, и совершились пророчества.

«Какое несчастье мое падение. Я завязал мех ветров, а вражий штык опять его проткнул. Я мог бы идти спокойно к обновлению мира, а теперь оно совершится только в бурях. [Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 118.] Может быть, достаточно будет искры, чтобы вспыхнул мировой пожар». Зарево этого пожара он и увидел в Москве.

«Русские суть варвары, у которых нет отечества и которым все страны кажутся лучше той, где они родились». [Ibid.]

«Вспомнят обо мне, когда русские варвары овладеют Европой, что не случилось бы без вас, господа англичане». [Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 370.] Мы теперь сказали бы: «Без вас, господа европейцы».

«Будете плакать обо мне кровавыми слезами»! – «Франция больше нуждалась во мне, чем я в ней». Эти слова Наполеона для Франции все еще загадка, но не для России.

К русским он был не совсем справедлив: не все они «варвары»; есть среди них и такие, которые любят Европу и знают ее, может быть, лучше самих европейцев.

Вот и сейчас видят русские то, чего европейцы не видят: страшно высоко над ним, – по этой высоте мы можем судить, в какую мы сошли низину, в какую пропасть сползли, – страшно высоко над нами, по горам Запада, едет Всадник, четко чернея на небе, красном от зарева. Кто он? Как не узнать.

На нем треугольная шляпа

И серый походный сюртук.

Едет шагом, смотрит вдаль, на Восток, держит в руке обнаженную шпагу – сторожит. Что от кого? Европейцы не знают – знают русские: святую Европу – от красного диавола.

Владыка мира

«Идея всемирного объединения людей есть идея европейского человечества; из нее составилась его цивилизация, для нее одной оно и живет», – говорит Достоевский в «Дневнике писателя», и устами Великого Инквизитора, о трех искушениях Христа – хлебом, чудом и властью: «Потребность всемирного соединения есть последнее мучение людей. Всегда человечество, в целом своем, стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но, чем выше были эти народы, тем были и несчастливее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей».

Достоевский прав: вечная и главная мука человечества – неутолимая жажда всемирности.

Если на первый взгляд кажется, что единственно реальные существа в истории суть существа национальные – «народы, племена, языки», то, при более глубоком взгляде оказывается, что все они только и делают, что борются с собой и друг с другом, преодолевают себя и друг друга, чтобы образовать какое-то высшее существо, сверхнациональное, всемирное; что все они более или менее чувствуют себя и друг друга «разбросанными членами», membra distecta, этого бывшего и будущего тела; все движутся в истории, шевелятся, как звенья разрубленной, но не убитой змеи, чтобы снова соединиться и срастись; или как мертвые кости Иезекиилева поля: «произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кость с костью, а духа не было в них».

От основателя первой всемирной монархии, вавилонского царя Сарганисара, Саргона Древнего (около 2800 г.), до Третьего Интернационала всемирная история есть шевеление этих змеиных обрубков, шум этих мертвых костей. Шляпа императора

Только что человечество начинает понимать себя, как уже мучается этою мукою – неутолимою жаждою всемирности. Древние всемирные монархии – Египет, Вавилон, Ассирия, Мидия, Персия, Македония – ряд попыток утолить ее, «устроиться непременно всемирно». Та же идея соединяет обе половины человечества, языческую и христианскую; только в эллино-римской всемирности могло осуществиться христианство: Сын Человеческий родился не случайно на всемирной земле Рима, под всемирной державой римского кесаря.

Дело всемирности, начатое языческим Римом, продолжает Рим христианский, до наших дней, до Революции. Революция отступила от христианства во всем, кроме этого – всемирности. «Французская революция, в сущности, была не более как последним видоизменением и перевоплощением той же древнеримской формулы всемирного единения», – говорит Достоевский, но не договаривает: последним воплощением всемирности была не сама революция, не хаос, а его обуздатель, Наполеон.

Дело всемирности есть главное и, можно сказать, единственное дело всей жизни его. Не поняв этого, ничего нельзя в ней понять. Все его дела, мысли, чувства идут от этого и к этому.

«Жажда всемирного владычества заложена в природе его; можно ее видоизменить, задержать, но уничтожить нельзя», – верно угадывает Меттерних. [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 440.] И он же: «Мнение мое о тайных планах и замыслах Наполеона никогда не изменялось: его чудовищная цель всегда была и есть – порабощение всего континента под власть одного». [Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. P. 124; Metternich. M?moires, documents et ?crits divers. P., 1880. T. 2. P. 304.]

Почему же эта цель «чудовищна»? Почему Наполеоново всемирное владычество – «порабощение»? Потому что он «честолюбец», «властолюбец», каких мир не видал.

Ставить Наполеону в вину любовь к власти все равно что ваятелю – любовь к мрамору или музыканту – любовь к звукам. Вопрос не в том, любит ли он власть, а в том, для чего он любит ее и что с нею делает.

Властолюбие сильная страсть, но не самая сильная. Из всех человеческих страстей – сильнейшая, огненнейшая, раскаляющая душу трансцендентным огнем – страсть мысли; а из всех страстных мыслей самая страстная та, которая владела им, – «последняя мука людей», неутолимейшая жажда их, – мысль о всемирности. Может быть, это уже не страсть, а что-то большее, для чего у нас нет слова, потому что вообще, как верно замечает госпожа де Сталь, «личность Наполеона неопределима словами».

«Я хотел всемирного владычества, – признается он сам, – и кто на моем месте не захотел бы его? Мир звал меня к власти. Государи и подданные сами устремлялись наперерыв под мой скипетр». [Las Cases E. Le m?morial… T. 2. P. 43.]

Он мог бы сказать о мире то же, что говорил о Франции: «Мир больше нуждался во мне, чем я в нем».

Если это – «властолюбие», «честолюбие», то какого-то особого порядка, не нашего, и нашими словами, в самом деле, не определимого. Он и сам хорошенько не знает, есть ли оно у него. «У меня нет честолюбия… а если даже есть, то такое естественное, врожденное, слитое с моим существом, что оно, текущее в моих жилах, как воздух, которым я дышу». [Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 174.] – «Мое честолюбие?.. О да, оно, может быть, величайшее и высочайшее, какое когда-либо существовало! Оно заключалось в том, чтобы утвердить и освятить наконец царство разума – полное проявление и совершенное торжество человеческих сил». [Las Cases E. Le m?morial. T. 2. P. 245.]

Царство разума – царство всемирное. Как же он к нему идет?

«Одной из моих величайших мыслей было собирание, соединение народов, географически единых, но разъединенных, раздробленных революциями и политикой… Я хотел сделать из каждого одно национальное тело». [Ibid. T. 4. P. 152.] Это начало, а конец: соединение тел во всемирное – в «европейский союз народов, association europeenne». [Ibid. T. 3. P. 297.]

«Как было бы прекрасно в таком шествии народов вступить в потомство, в благословение веков! Только тогда, после такого первого упрощения, можно бы отдаться прекрасной мечте цивилизации: всюду единство законов, нравственных начал, мнений, чувств, мыслей и вещественных польз». [Ibid. T. 4. P. 153.] – «Общеевропейский кодекс, общеевропейский суд; одна монета, один вес, одна мера, один закон». – «Все реки судоходны для всех; все моря свободны». [Ibid. T. 3. P. 298.] – Всеобщее разоружение, конец войн, мир всего мира. «Вся Европа – одна семья, так чтобы всякий европеец, путешествуя по ней, был бы везде дома». [Ibid. T. 1. P. 530–532.] «Тогда-то, может быть, при свете всемирного просвещения, можно бы подумать об американском Конгрессе или греческих Амфиктиониях для великой европейской семьи, и какие бы открылись горизонты силы, славы, счастья, благоденствия!»

Все это уже было близко, так близко, как еще никогда: только руку протянуть. И он уже протягивал ее дважды; две попытки всемирного «обновления» были им сделаны: «первая, с юга, через Англию, республиканская; вторая, с севера, через Россию, монархическая. Обе шли к одной цели и совершились бы твердо, умеренно, искренно. И каких только бедствий, ведомых нам и неведомых, не избегла бы несчастная Европа! Никогда не возникало замысла более великого и благодетельного для цивилизации; и никогда еще не был он ближе к исполнению. И вот что замечательно: „Неудача моя произошла не от людей, а от стихий; море погубило меня на юге, а на севере – пожар Москвы и мороз. Так вода, воздух, огонь – вся природа оказалась враждебною всемирному обновлению, которого требовала сама же природа. Неисповедимы тайны Промысла!“ [Ibid. T. 1. P. 530–532.] – „Но как бы то ни было,

рано или поздно, это соединение народов произойдет силою вещей: толчок дан, и я думаю, чтобы, после моего падения и крушения моей системы, оказалось возможным в Европе другое великое равновесие, помимо собирания и союза великих народов“. [Ibid. T. 4. P. 157.]

„Но зачем все это?“ – может быть, спросите вы, как Пирров советник. Я вам отвечу: чтобы основать новое общество и предотвратить великие бедствия. Вся Европа этого ждет, этого требует; старый порядок рушился, а новый еще не окреп и не окрепнет, без долгих и страшных судорог». [Ibid. P. 115.]

Никогда еще эти слова Наполеона не звучали так пророчески, как в наши дни. 1814–1914. Этот год ответил тому: в том – пала Наполеонова империя, начало всемирности, а в этом – вспыхнула всемирная война. «Страшная судорога» только что прошла по человечеству, и, может быть, близится страшнейшая, по его же пророчеству: «Искры, может быть, будет достаточно, чтобы снова вспыхнул мировой пожар». И единственная наша защита – жалкая тень всемирности душа младенца нерожденного, витающая в Лимбах, или мертворожденный выкидыш – Лига Наций.

Чтобы понять до конца, что значит для Наполеона всемирность, надо понять, что она у него не отвлеченная, а кровная, плотская; не то, что для него еще будет, а то, что в нем уже есть; надо понять, что Наполеон не человек с идеей всемирности, а уже всемирный человек, или, говоря языком Достоевского, «слишком ранний всечеловек». И в этом, как во многом другом, он – «существо, не имеющее себе подобного», по глубокому впечатлению госпожи де Сталь.

Он современен не своему времени, а бесконечно далекому прошлому, когда «на всей земле был один язык и одно наречие» – одно человечество; или бесконечно далекому будущему, когда будет «одно стадо, один Пастырь». Он как бы иного творения тварь; слишком древен или слишком нов; допотопен или апокалипсичен.

Человек без отечества, но не по недостатку в себе чего-то, а по избытку. В юности он любил родную землю, Корсику, и хотел быть «патриотом», подражая корсиканскому герою, Паоли, или классическим героям Плутарха. Но это плохо удалось ему, и скоро соотечественники изгнали его, объявив «врагом отечества».

Он и сам в себе это чувствует и недоумевает; сам искренне и до конца жизни не знает, что он. «Я скорее итальянец или тосканец, чем корсиканец». [Gourgaud G. Sainte-H?lene. T. 2. P. 345.] – «Я непременно хотел быть французом. Когда меня называли „корсиканцем“, это было для меня самым чувствительным из всех оскорблений». [Ibid. P. 170.] – «Один мэр, кажется, в Лионе, сказал мне, думая, что говорит комплимент: „Удивительно, что ваше величество, не будучи французом, так любит Францию и столько для нее сделало“. Точно палкой он меня ударил». [Ibid. P. 345.]

«На каком бы языке ни говорил он, казалось, что этот язык ему не родной; он должен был насиловать его, чтобы выразить свою мысль». [R?musat C.-E. G. de. M?moires. T. 1. P. 104.] – «Когда произносил речи (по-французски), все замечали недостаток его произношения. Ему сочиняли их заранее, переписывали крупными буквами и учили его произносить слова; но, начиная говорить, он забывал урок и глухим голосом, едва открывая рот, читал по бумаге, с выговором еще более странным, чем иностранным, что производило тягостное впечатление: ухо и мысль неприятно поражались этим непреложным свидетельством его национальной чуждости». [Ibid. T. 3. P. 204.]

Это и значит: человек без языка, без народа, без родины.

Любит ли он Францию? О, конечно, любит! Но даже такой проницательный человек, как Стендаль, ошибается, думая, что он любит ее как отечество. Он и сам в этом ошибается: «Клянусь, все, что я делаю, я делаю только для Франции». [Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 240.] – «В счастье, в горе, на полях сражений, в совете, на троне, в изгнании Франция была

постоянным предметом всех моих мыслей и действий». [Houssaye H. 1815. T. 1. P. 605.] – «Все для французского народа», – завещает он сыну. Но все ли он отдал ему сам?

Что такое «отечество»? Родная земля, отделенная от чужих земель границами. Но вся цель Наполеоновских войн – бесконечно раздвинуть и, наконец, стереть границы Франции. «Когда Франция будет Европой, не будет Франции», – остерегают его. [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 4. P. 70.] Но этого-то он и хочет: Франции не будет – будет мир.

«Какие чудесные войска!» – восхищался прусский маршал Меллендорф в 1807 году, на параде французских войск, в только что завоеванном Берлине. «Да, чудесные, – возразил Наполеон, – если бы только можно было сделать так, чтобы они забыли о своем отечестве». [Thi?bault P. M?moires. T. 3. P. 394.]

«Он извратил природу французской армии до такой степени, что она утратила всякую национальную память», – вспоминает современница. [R?musat C.-E. G. de. M?moires. T. 3. P. 200.] «Маленький капрал», для своих солдат, больше Франции: где он, там и отечество. Армия Наполеона, так же как он сам, существо уже всемирное.

Он, впрочем, не всегда ошибается насчет своей любви к отечеству. «У меня одна страсть, одна любовница – Франция: я сплю с нею (je couche avec elle). Она мне никогда не изменяла; она расточает мне свою кровь и свое золото». [Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 240.] Люди так не говорят о родине: она для них мать, а не любовница; не она им жертвует всем, а они – ей.

В лучшем случае Франция для него любовница, а в худшем – боевой конь, та чудесная кобылица, о которой говорит поэт. Бешеный всадник загонял ее до смерти.

Mourante, elle tomba sur un lit de mitraille

Et du coup te cassa les reins.

Пала она, издыхая, на ложе картечи,

И спину сломала тебе под собой.

Барбье А. О. Ямбы (1831). Стихотворение «Кобылица»

И вот что всего удивительнее: если бы спросили издыхающую Францию, хотела бы ли она не иметь Наполеона, своего бешеного всадника, может быть, она ответила бы: «Нет, не хотела бы!» И в этом величие Франции.

Не корсиканец, не итальянец, не француз, а может быть, и не европеец.

Европа для него только путь в Азию. «Старая лавочка, нора для кротов – ваша Европа! Великие империи основываются и великие революции происходят только на Востоке, где живет шестьсот миллионов людей». [Fauvelet de Bourrienne L. A. M?moires sur Napol?on. T. 1. P. 230.]

Тяга на Восток проходит сквозь всю его жизнь.

Молодой генерал Бонапарт в Египте, перед Сирийской кампанией, лежа целыми часами на полу, на огромных разостланных картах, мечтает о походе через Месопотамию на Индию, по следам Александра Великого. [Ibid. P. 322.] Если бы мечта его исполнилась, то через сорок

пять веков последний основатель всемирной монархии встретился бы с первым – вавилонским царем, Сарганисаром: путь у обоих один; только тот шел с Востока на Запад, а этот – с Запада на Восток.

«Я вхожу в Константинополь с несметною армией, низвергаю турецкое владычество и основываю великую империю на Востоке, которая обессмертит меня в грядущих веках», – мечтает он, гуляя по вечерам на морском берегу у Сен-Жан-д'Акра. [Ibid. P. 363.]

«Если бы Акр был взят, французская армия кинулась бы на Дамаск и Алеппо и в одно мгновение была бы на Евфрате… Шестьсот тысяч человек (христиан) присоединились бы к нам, и, как знать, что бы из этого вышло? Я дошел бы до Константинополя, до Индии; я изменил бы лицо мира», – мечтает он уже на Св. Елене. [Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 65.]

Только что захватив власть, после 18 брюмера, предлагает императору Павлу I поход на Индию и потом, на высоте величия, после Тильзита, – Александру I.

«Этот длинный путь есть в конце концов путь в Индию, – говорит в 1811-м, за несколько месяцев до Русской кампании. – Александр (Македонский), чтобы достигнуть Ганга, отправляется так же издалека, как я из Москвы… С крайнего конца Европы мне нужно зайти в тыл Азии, чтобы настигнуть Англию (в Индии)… Это предприятие, конечно, гигантское, но возможное в XIX веке». [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 158.]

В императорском обозе, шедшем на Москву, был особый фургон с коронационным убором – мечом, диадемой и порфирой: говорили, что Наполеон коронуется вторично в священном городе Дели, на берегу Ганга, императором Востока и Запада.

Накануне Бородина он получает из Парижа портрет сына-наследника: полулежа в колыбели, мальчик держит в руках игрушку – императорский скипетр, увенчанный земным глобусом.

В 1811 году император посылает морскому министру Декрэ к исполнению проект о постройке, в течение трех лет, двух флотов – Океанского и Средиземного; база для первого – Ирландия, для второго – Египет и Сицилия; предполагаются экспедиции на мыс Доброй Надежды, в Суринам, Мартинику и другие заокеанские страны; флоты распределяются в обоих полушариях, чтобы утвердить мировое владычество не только над Европой и Азией, но и надо всем земным шаром. «Через пять лет я буду владыкою мира», – говорил он в том же 1811 году. [Pradt de. Histoire de l'ambassade dans le grand duch? de Varsovie en 1812. P., 1815. P. 23.]

«Император сошел с ума, окончательно сошел с ума!» – ужасался Декрэ. [Marmont A. F. L. M?moires du mar?chal Marmont, duc de Raguse de 1792 a 1841 P., 1857. T. 3. P. 337.] Это в самом деле похоже на сумасшествие. Никогда никто из людей, ни Саргон, ни Александр, ни Цезарь, не думал так страшно ясно, страшно близко о мировом владычестве.

Кажется иногда, что он сам страшится этих мыслей, – «страшится», впрочем, для него не подходящее, слишком человеческое, слово; во всяком случае, он чувствует

их роковую тяжесть.

Все, что делает, он делает для этого, но почти никогда не говорит об этом. «Я понимал, – говорит уже на Св. Елене, когда знает, что все кончено, дело проиграно, – я понимал, что мне всего нужнее тайна: тайна окружала меня тем ореолом загадочности, который так чарует массы; пробуждала те таинственные мысли, которые так волнуют умы; подготовляла те внезапные и блестящие развязки, которые так восхищают людей и дают над ними такую власть. Это-то, к несчастью, и побудило меня слишком поспешно кинуться на Москву: с большею медленностью я все предупредил бы; но мне нельзя было оставлять времени на

раздумье. С тем, что я уже сделал и еще намеревался сделать, мне нужно было, чтобы в моей судьбе, в моей удаче было нечто сверхъестественное». [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 157.]

Ему нужна «тайна», нужно «сверхъестественное»; это значит: нужна религия. Дойдя до какой-то крайней точки в своих мыслях о мировом владычестве, вдруг понял он, что ему не обойтись без религии: что не может быть всемирного объединения людей без внутренне объединяющего центра, абсолютного Единства – Бога.

«Я создавал религию. Я видел себя на пути в Азию, на спине слона, с тюрбаном на голове и с новым, моего сочинения, Алкораном в руках». [R?musal C.-?. G. de. M?moires. T. 1. P. 274.] Это говорится, конечно, с усмешкою. Он слишком умен, чтобы не понимать, что Алкораны не сочиняются, религии не создаются.

Вообще, надо помнить, что он говорит об этом почти всегда небрежно или неловко, неуклюже, потому что извне, не то чтобы поверхностно – иногда, напротив, очень глубоко, – но именно только извне, со стороны, и с тою легкою усмешкою, которая напоминает оскал фернейского мертвого черепа. Вольтера он, впрочем, не любит и не уважает. «Злой человек, дурной человек. Это он довел нас до такого состояния», – сказал бы он о нем еще охотнее, чем о Руссо. Но от вольтеровской усмешки в религии не может отделаться. Чувствуется, однако, и сквозь эту усмешку, что религия для него не пустое и не легкое дело, а очень важное, трудное и даже, говоря опять неподходящим для него человеческим словом, очень страшное.

Как бы то ни было, но, поняв, что в мировом владычестве не обойтись без религии, он понял и то, что религиозно строится оно как пирамида, постепенно суживаясь кверху и, наконец, заостряясь в одном острие, в одной математической точке, где земля соприкасается с небом, человек – с Богом. Или, другими словами, человек, на вершине мирового владычества, должен – хочет не хочет, а должен выговорить эти страшные или просто нелепые, «сумасшедшие» слова: «Я – Бог»; «Divus Caesar Imperator». Римские кесари говорили это не по глупости – были же среди них такие умные люди, как Юлий Цезарь, и не по «сатанинской гордости» – были среди них и святые, как Антонин и Марк Аврелий, – а потому, что к этому вынуждала их внутренняя логика мирового владычества; став на это место, человек должен это сказать – иначе вся пирамида рушится.

Это понимает и Наполеон со свойственной уму его геометрическою ясностью. «Только что человек становится государем, как он уже отделен от всех людей. Я всегда находил инстинкт верной политики в мысли Александра объявить свое божественное происхождение». [Ibid. P. 332.] Больше всех побед Александра – его «великая политика» – посещение Амонова храма, где оракул шепчет ему на ухо: «Ты – сын божий». [Gourgaud G. Sainte-H?lene. T. 2. P. 435.]

Но Александр и Цезарь могли это сделать до Рождества Христова, а можно ли после? Этого Наполеон хорошенько не знает. Иногда ему кажется, что можно. «Если бы я вернулся из Москвы победителем, то весь мир снова устремился бы ко мне, удивляясь и благословляя меня. И стоило бы мне тогда исчезнуть в лоне тайны, чтобы народы возобновили басню о Ромуле: поверили бы, что я вознесся на небо и воссел в сонме богов». [Las Cases E. Le m?morial… T. 4. P. 50.]

А иногда кажется ему, что этого уже сделать нельзя.

«Я пришел в мир слишком поздно: теперь уже нельзя сделать ничего великого», – говорит он в день коронования, 2 декабря 1804 года, тому самому Декрэ, который боится, что император «сошел с ума». – «Конечно, моя карьера блестяща, мой путь прекрасен. Но какое же сравнение с древностью! Там Александр покорил Азию, объявляет себя сыном Юпитера, и, за исключением матери его, Олимпии, которая знает, в чем дело, да Аристотеля, да

нескольких афинских педантов, весь Восток верит ему. Ну а если бы я вздумал себя объявить сыном Бога Отца и назначить благодарственное богослужение по этому поводу, то не нашлось бы такой рыбной торговки в Париже, которая не освистала бы меня. Нет, в настоящее время народы слишком цивилизованны: нельзя ничего сделать!» [Marmont A. F. L. M?moires. T. 2. P. 242.]

То можно, то нельзя. Тут геометрическая ясность ума изменяет ему; начинается «темная гемисфера небес», где свет, о котором говорит Гёте: «Свет, озарявший его, не потухал ни на минуту», – вдруг потухает, так что он должен ходить ощупью, чтобы не попасть в «смешное»: «от великого до смешного только шаг». Тут «свист рыбной торговки» может низвергнуть владыку мира.

Смутно видит он или только слышит, что где-то очень близко от него, как будто рядом с ним, строится другая пирамида мирового владычества. Если бы он лучше видел, то понял бы, что строится она не рядом, а над ним и что эти две пирамиды противоположны друг другу: одна его – языческий Рим – подымается от земли к небу; другая, христианская, – Град Божий – опускается с неба на землю, так что острия их соприкасаются в одной точке, где, по смыслу пирамиды нижней, человек становится Богом, а по смыслу верхней – Бог становится Человеком; тот жертвует миром себе, а этот – собою миру. Что противоположность эту Наполеон понимает или хотя бы смутно чувствует, видно из слов его, сказанных уже без всякой усмешки, со страшною серьезностью, когда он сам был распят на скале Св. Елены: «Иисус Христос не был бы Богом, если бы не умер на кресте».

Надо бы ему выбрать одну из двух пирамид. Но он этого не делает – страшится: тут, кажется, это человеческое слово подходит к нему. Он хочет соединить обе пирамиды. Конкордат и есть попытка такого соединения.

«Это была самая блестящая победа над духом Революции; все остальные – только следствия этой, главной. Успех Конкордата показал, что Бонапарт лучше всех окружавших его угадал то, что было в глубине сердец», – говорит современник. [Pasquier E. D. Histoire de mon temps: M?moires. P., 1893. T. 1. P. 160.]

Да, понял он, что религии не создаются. Алкораны не сочиняются; не захотел быть «чудовищною помесью пророка с шарлатаном», как определяет его Карлейль с грубою легкостью. «Не хотите ли вы, чтобы я сочинил, по своей фантазии, новую, неизвестную людям религию? Нет, я смотрю на это дело иначе: мне нужна старая, католическая религия; она одна в глубине сердец, неискоренимая, и одна только может мне приобрести сердца и сгладить все препятствия». [Ibid.]

Но, что главное препятствие в ней же, в самой религии, он уже давно знает. «Христианство несовместимо с государством, – пишет семнадцатилетний мальчик Бонапарт в своих ученических тетрадях. – Царство Христово не от мира сего. Оно ставит верховную власть Бога на место верховной власти народа». «И государя, – мог бы он прибавить. – Оно разрушает государственное единство». [Napol?on. Manuscrits in?dite, 1786–1791. P. 719.]

Чтобы соединить две пирамиды мирового владычества, государство и церковь, надо что-то существенно изменить в христианстве. Что же именно? «Я старался не задевать догмата», – говорит Наполеон простодушно, как военный человек о невоенных делах. [Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 251.] Но не задевать догмата было трудно – труднее, чем он думал: ведь к самому существу догмата относится вопрос: кто истинный Владыка мира – Богочеловек или Человек-Бог?

Но он все-таки начал это трудное дело: объявил, что нет двух наместников Христа, папы и кесаря, а есть один-единственный – кесарь. По Наполеонову Катехизису: «Бог сделал императора наместником Своего могущества и образом Своим на земле». [R?musat C.-E. G.

de. M?moires. T. 3. P. 49–50.] Только ли образом? Архиепископ руанский, кощунственно играя словом «christos», «помазанник», называет императора «Христом Провидения», «le christ de la Providence». [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 210.]

«Я надеялся управлять папою, и тогда какое влияние, какой рычаг для власти над миром!» – открывает Наполеон «тайну» свою, опять только на Св. Елене, когда уже все кончено и дело проиграно. [Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 248.] – «Я управлял бы миром духовным так же легко, как политическим». [Ibid.] – «Я вознес бы папу безмерно… окружил бы его таким почетом и пышностью, что он перестал бы жалеть о мирском;

я сделал бы из него идола ; он жил бы рядом со мной; Париж был бы столицею христианского мира, и я управлял бы миром духовным, так же как светским», – все повторяет он это, все возвращается к этому. [Ibid. P. 257.]

Но легко ли это или трудно, все-таки не знает наверное. «Духовная власть государя была предметом всех моих помыслов и всех желании… Без нее нельзя управлять… Но это было очень трудно сделать; при каждой попытке я видел опасность. Я сознавал, что, если бы я принялся за это как следует, народ меня покинул бы». [Ibid. P. 258.] Раздался бы «свист рыбной торговки».

Хуже всего то, что он хорошенько не знает, что ему делать с папою. Борется железным мечом с призраком. То ласкает, то ранит его. «Пий VII настоящая овечка, совершенно добрый человек; я его очень уважаю и люблю». [Ibid. P. 254.] Это вначале, а в конце: «Папа бешеный дурак, которого надо запереть». [Napol?on. Correspondence. P., 1858. T. 19. P. 15, 384.] И он запирает его сначала в Савону, потом в Фонтенбло.

«Идолом» папа сделаться не захотел. Агнец оказался львом, мягкий воск – твердым камнем, тем самым, о котором сказано: «На камне сем созижду церковь Мою».

«Мы сделали все для доброго согласья, – писал о Конкордате Пий VII. – Мы еще больше готовы сделать, только бы оставили неприкосновенными те начала, в коих мы неподвижны. Тут дело идет о нашей совести, и тут от нас ничего не получат, если бы даже с нас содрали кожу». [Bloy L. L’ame de Napol?on. P. 11.]

Невообразимо, чем бы кончилась эта война, может быть, величайшая из всех наполеоновских войн, если бы не наступил внезапный конец, не рушилась или не рассеялась, как сон, вся пирамида мирового владычества и он вдруг не проснулся бы голый на голой скале Св. Елены.

Видел ли он Того, с кем боролся, как Иаков во сне? «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня». Бог благословил Наполеона устами святейшего отца, Пия VII: «Мы должны помнить, что после Бога ему (Наполеону) религия преимущественно обязана своим восстановлением… Конкордат есть христианское и героическое дело спасения». [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 455.] Лучше, мудрее нельзя сказать: «христианское и героическое», божеское и человеческое вместе – это и есть точка соприкосновения двух пирамид.

Он их не соединил, пал под их тяжестью; но его величие в том, что он один, за два тысячелетия христианской истории, все-таки пытался поднять эту тяжесть.

Знал ли он, кто искушает его? Если и знал, то не наяву, а только в пророческих снах.

«И возвед Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени, и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее; и так, если Ты поклонишься мне, то все будет Твое».

Наполеон не поклонился диаволу, и царства мира отошли от него.

Что погубило его? Он думал, рок; но не рок ему изменил, а он сам себе: вдруг ослабел, сильный, перед Сильнейшим, и, может быть, в этой слабости из всех его величий величайшее.

Так и умер, не зная, Кто его победил, и даже не мог, умирая, сказать, как древний Отступник: «Ты победил, Галилеянин!» Только молча склонил голову, когда к ней протянулась Невидимая Рука, сняла с нее царский венец и возложила терновый.

Человек из Атлантиды

Мать Наполеона, Мария-Летиция Буонапарте, посвятила его, еще до рождения, Пречистой Деве Матери, как будто знала, что дитя будет нуждаться в Ее святом покрове. И мальчик родился 15 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы.

Вспомнил ли Наполеон хоть раз в жизни об этом посвящении? Едва ли. А если бы даже и вспомнил, то, может быть, удивился бы, как мы удивляемся: нашла кого Кому посвятить!

Но посвящение оказалось не тщетным, хотя и не в том смысле, как могли бы это понять «добрые католики», и даже христиане вообще, но в том самом, как поняли бы дохристианские поклонники Великой Матери богов. Magna Mater deorum, потому что задолго еще до христианства Она уже царила здесь, на острове Корсике, так же как на всех островах и побережьях Средиземного моря. В этой колыбели европейского человечества Она уже баюкала его песнью волн, еще с незапамятной, может быть доисторической, древности. Мать Изида египетская, Иштар-Мами вавилонская, ханаанская Астарта, Virgo Coelestis карфагенская, Рея-Кибела малоазийская, греческая Деметра – Мать-Земля и Урания – Небесная Матерь – под множеством имен, во множестве образов, – все Она, Пречистая Дева Матерь.

Antiquam exquirite Matrem.

Древнюю Матерь ищите —

этот завет Энея-праотца исполнил Наполеон, как никто: взыскал, возлюбил ее всю – всю хотел обнять, – не маленькую Корсику, не маленькую Францию, не маленькую Европу, а всю великую Землю Мать.

Но что Мать Земля есть и Матерь Небесная, этого не знал или забыл. А между тем всю жизнь звучал над ним Ее таинственный благовест.

«Я всегда любил звук сельских колоколов», – вспоминает он на Св. Елене. [Las Cases E. Le m?morial… T. 3. P. 173.] «Колокольный звон производил на Бонапарта необыкновенное действие, которого я никогда не мог себе объяснить, – вспоминает школьный товарищ его, Буррьенн. – Он слушал его с наслаждением. Сколько раз бывало, в Мальмезоне, когда мы гуляли с ним по аллее, ведущей к Рюейльской равнине, сельский колокол прерывал наши беседы о самых важных делах. Он останавливался, чтобы шум шагов не заглушил ни одного из чарующих звуков, и почти сердился на меня за то, что я не испытывал тех же чувств, как он. Действие, производимое на него этими звуками, было так сильно, что в голосе его

слышалось волнение, когда он говорил мне: „Это напоминает мне мои юные годы в Бриеннской школе. Я был счастлив тогда!“» [Fauvelet de Bourrienne L. A. M?moires sur Napol?on. T. 1. P. 253.]

Больше всех звуков земли любит он эти два столь противоположные – пушечный гром и сельский колокол.

Очарованные странники христианских легенд, блуждая в пустынях и слыша неведомо откуда доносящийся благовест, идут на него. А Наполеон никуда не идет и даже не слышит, что колокол его куда-то зовет; не знает о себе того, что мать знала о нем еще до его рождения.

«Наполеон весь жил в идее, но не мог ее уловить своим сознанием; он отвергает вообще все идеальное и отрицает его действительность, а между тем усердно старается его осуществить», – говорит Гёте. [Napol?on, der ganz in der Idee lebte, konnte sie doch im Bewusstein nicht erfassen; er leugnet alles Ideelle durchaus und spricht ihm jede Wirklichkeit ab, indessen er eifrig es zu verwiklichen trachtet.]

Как странно! Наполеон один из самых умных людей, а если мерить ум по глубине, с какой он захватывает действительность, то и самый умный человек, по крайней мере за последних два тысячелетия, – не видит, не знает, не сознает своей же собственной идеи, такой огромной, что он «живет в ней весь». Может ли это быть?

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust!

Ах, две души живут в моей груди!

Дневная и ночная. Мысли ночной потухают в дневной, как звезды – в солнечном свете. Солнцу надо зайти, чтобы выступили звезды. Но солнце Наполеона никогда не заходит: «свет, озарявший его, не потухал ни на минуту», по слову того же Гёте. Вот почему он не видит своих ночных мыслей – звезд. Но, может быть, о них-то и напоминает ему колокол.

13 октября 1809 года, после Ваграма, на площади Шенбруннского замка, близ Вены, во время парада, схвачен был молодой человек, почти мальчик, лет 18, «с очень белым и нежным лицом, как у девушки, Фридрих Штапс, сын протестантского пастора в Наумбурге. Из бокового кармана сюртука торчал у него огромный, неловко завернутый в бумагу, кухонный нож. Этим ножом он хотел убить Наполеона, как тотчас признался ему на допросе.

– За что вы хотели меня убить?

– За то, что вы делаете зло моему отечеству…

– Вы сумасшедший, вы больной. Позвать Корвизара!

Корвизар, лейб-медик Наполеона, осмотрел Штапса и объявил, что он совершенно здоров.

– Я вас помилую, если вы попросите у меня прощения, – сказал Наполеон.

– Я не хочу прощения, я очень жалею, что мне не удалось вас убить, – ответил Штапс.

– Черт побери! Кажется, для вас преступление ничего не значит?

– Вас убить не преступление, а долг.

– Ну а если я вас все-таки помилую, будете вы мне благодарны?

– Нет, я все равно вас убью».

«Наполеон остолбенел», – вспоминает очевидец.

«Вот плоды иллюминатства, которым заражена Германия! Но с этим ничего не поделаешь: пушками секты не истребишь, – сказал он окружавшим его, когда Штапса увели. – Узнайте, как он умрет, и доложите мне».

Штапс умер как герой. Когда его вывели к расстрелу, он воскликнул: «Да здравствует свобода! Да здравствует Германия!.. Смерть тирану!» И пал мертвым.

Наполеон долго не мог его забыть. «Этот несчастный не выходит у меня из головы. Когда я о нем думаю, мысли мои теряются.

Это выше моего разумения! Cela me passe! » [Rupp J. M?moires du g?n?ral Rapp (1772–1821) aide-de-camp de Napol?on. P., 1895. P. 147–153; Fauvelet de Bourrienne L. A. M?moires sur Napol?on. T. 4. P. 411–417; Constant de Rebecque H. B. M?moires… sur la vie priv?e de Napol?on, sa famille et sa cour. Bruxelles, 1830. T. 3. P. 115.]

Что же, собственно, выше его разумения, его ума, почти бесконечного, в этом восемнадцатилетнем мальчике «с очень белым и нежным лицом, как у девушки», – лицом древнего героя и христианского мученика? Что поразило его в нем до «остолбенения»? Уж не сходство ли с молодым Бонапартом, якобинцем 93-го года, который говорил «то самое, что мог бы ему ответить и Штапс на вопрос: „Для вас преступление ничего не значит?“ – „Странный вопрос! Нет долга, нет закона там, где нет свободы… Вечными письменами начертал Создатель в сердце человека Права Человека“. [Napol?on. Manuscrits in?dite, 1786–1791. P. 569.] – „Если бы даже родной отец мой захотел быть тираном, я заколол бы его кинжалом!“» [Fournier A. Napol?on I. P., 1891. T. 1. P. 63.] Да, может быть, и это поразило его, но не только это. Он «остолбенел», потому что вдруг почувствовал свое бессилье перед какой-то неведомой силой. Точно молния вдруг осветила ему его же ночную душу, ночную гемисферу небес, где некогда должно было взойти для него над Св. Еленою невидимое в дневной гемисфере Созвездие Креста.

Гёте, великий язычник, удивился бы и не поверил, если бы ему сказали, что та огромная «идея, в которой Наполеон жил весь, хотя и не мог уловить ее своим сознанием», была идея, по крайней мере наполовину, «христианская». Еще больше удивился бы и еще меньше поверил бы этому сам Наполеон. Вопреки всем благословениям папы, что ему, в самом деле, христианство?

«Монашеское смирение убийственно для всякой добродетели, всякой силы, всякой власти. Пусть же законодатель скажет человеку, что все его действия должны иметь целью счастье здесь, на земле». – «Теология – клоака всех суеверий и всех заблуждений». – «Вместо катехизиса нужен народу маленький курс геометрии». [Napol?on. Manuscrits in?dite, 1786–1791. P. 556, 562, 566.] Все это говорит артиллерийский поручик Бонапарт, якобинец 93-го года.

А вот что лет через пять говорит или думает главнокомандующий Египетской армии: «Париж стоит обедни!» Это значит – завоевание Азии стоит христианства. Бонапарт в Египте готов был принять ислам. «И армия вместе со мной переменила бы веру шутя. А между тем, подумайте только, что бы из этого вышло: я захватил бы Европу с другого конца; старая европейская цивилизация была бы окружена, и кто тогда посмел бы противиться судьбам Франции и обновлению века?» [Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 154.] – «Если бы я остался на Востоке, я, вероятно, подобно Александру, основал бы империю, отправившись на поклонение в Мекку». [Gourgaud G. Sainte-H?lene. T. 2. P. 436.] – «Я видел себя на пути в Азию, с тюрбаном на голове и с новым, моего сочинения, Алкораном в руках».

«От начала мира на небесах было написано, что я приду с Запада, чтобы исполнить свое назначение – уничтожить всех врагов ислама и низвергнуть кресты», – говорит он в воззвании к мусульманским шейхам. «Так-то я забавлялся над ними!» Так же забавлялся он и над католиками в Италии: «Я сражался с неверными турками; я почти крестоносец». [Antommarchi F. Les derniers moments de Napol?on (1819–1821). P., 1898. T. 1. P. 134, 145.] – «Это было шарлатанство, но самого высшего полета», – как будто нарочно дразнит он Карлейля «чудовищною помесью пророка с шарлатаном». [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 65.]

«Что ты со мной воюешь? – говорил пленному Мустафе-паше, после Абукирской победы. – Надо бы тебе воевать с русскими, этими неверными, поклоняющимися трем Богам. А я, как и твой Пророк, верю в единого Бога». – «Хорошо, если это у тебя в сердце». [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 1. P. 453.]

Если же потом он принимает христианство, или, вернее, католичество, то лишь внешне, как орудие власти.

«У нас с вами, конечно, немного религии, но народ нуждается в ней». [Fournie A. Napol?on I. T. 1. P. 262.] «Может ли быть государственный порядок без религии. Общество не может существовать без имущественного неравенства, а неравенство – без религии. Когда один человек умирает от голода рядом с другим, сытым по горло, то невозможно, чтобы он на это согласился, если нет власти, которая говорит ему: „Этого хочет Бог; надо, чтобы здесь, на земле, были бедные и богатые, а там, в вечности, будет иначе“». [Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 19.]

Что это, атеизм? Нет. С гениальною прозорливостью он уже видит то, чего мы все еще не видим, после стольких страшных опытов: «самый страшный враг сейчас атеизм, а не фанатизм». [Bertaut J. Napol?on Bonaparte. P. 158. Ce n’est pas fanatisme qui est a craindre maintenant, mais l’atheism.] «Я восстановил религию; это заслуга, последствия которой неисчислимы, потому что если бы не было религии, то люди убивали бы друг друга из-за самой сладкой груши и самой красивой девушки». [Antommarchi F. Les derniers moments de Napol?on. T. 2. P. 91.

Но, принимая христианство внешне, внутренне он даже не борется с ним, по крайней мере, в дневном сознании, в дневной душе своей, а проходит мимо него.

В юности сочинил, по Энциклопедии, параллель между Иисусом Христом и Аполлонием Тианским, отдавая преимущество Аполлонию. Когда же, во время консульства, брат Люсьен Бонапарт напомнил ему об этом, он воскликнул, смеясь: «Полно, забудьте об этом! Иначе я поссорюсь с Римом или должен буду публично каяться, чтобы мой Конкордат не оказался делом Вельзевула!»

«А ведь папа-то во Христа верит!» – удивляется искренне. «Существовал ли Иисус? Кажется, никто из историков, ни даже Иосиф Флавий, не упоминает о Нем».

«Я пришел к тому убеждению, что Иисуса никогда не было». Может быть, впрочем, главное недоумение его не в том, был ли Христос,

а нужно ли, чтобы Он был .

И вдруг опять, как молния: «Я, кажется, знаю людей, и вот я говорю вам: Иисус не был человеком!» [Chuquet A. M. La jeunesse de Napol?on. T. 2. P. 32.] – «Хорошо, если это у тебя в сердце».

В сердце у него, во всяком случае, бесконечный вопрос, а может быть, и мука бесконечная: «Кто я? Откуда? Куда иду?.. Я потерял веру в тринадцать лет. Может быть, я снова поверю слепо, дай-то Бог! Я этому не буду противиться, я сам этого желаю, я понимаю, что это

великое счастье…» [Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 246.] «Я умом неверующий, но воспоминания детства и юности возвращают меня к неизвестности». [Fauvelet de Bourrienne L. A. M?moires sur Napol?on. T. 2. P. 48.] Не эти ли воспоминания в глубине сердца его – таинственный колокол?

«Ладно! Я верю во все, во что верит церковь… Но столько религий, что не знаешь, какая настоящая… Если бы от начала мира была одна, я считал бы ее истинной». [O'M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 1. P. 182.] От начала мира – от древней Матери Земли.

Antiquam exquirite Matrem.

Матери древней ищите.

Он ее искал, но не нашел. Что же помешало ему? Уж конечно не «злоупотребления священников», не катехизис, вместо «нужного народу, маленького курса геометрии».

Однажды, сажая бобы на Св. Елене и заметив чудное устройство их усиков, он заговорил о существовании Бога-Творца. [Antommarchi F. Les derniers moments de Napol?on. T. 2. P. 217.]

«Все-таки идея Бога самая простая: кто все это сделал?» [Gourgaud G. Sainte-H?lene. T. 1. P. 410.]

В звездную ночь, на палубе фрегата «Ориент», на пути из Франции в Египет, когда ученые спутники его, члены Института, доказывали ему, что нет Бога, он вдруг поднял руку и указал им на звезды: «А это все кто создал?» [Fauvelet de Bourrienne L. A. M?moires sur Napol?on. T. 1. P.148.]. Это-то, уж конечно, из глубины сердца сказано.

А вот еще глубже: «Нет чудес – все чудо». [Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 76–77.] «Что такое будущее? Что такое прошлое? И что такое мы сами? Какой магический туман окружает нас и скрывает от нас то, что нам всего важнее знать? Мы рождаемся, живем и умираем среди чудесного». [Bertaut J. Napol?on Bonaparte. P. 35.]

Как-то раз, на Св. Елене, уже больной, сидя в ванне и читая Новый Завет, он вдруг воскликнул: «Я вовсе не атеист!.. Человек нуждается в чудесном… Никто не может сказать, что он сделает в свои последние минуты». [O'M?ara B. E, Napol?on en exil. T. 2. P. 39.]

В последние минуты он потребовал католического священника, «чтобы не умереть как собака». А доктора Антоммарки, когда тот усмехнулся на его слова духовнику: «Я хочу умереть как добрый католик», – выгнал из комнаты. [Masson F. Napol?on a Sainte-H?lene, 1815–1821. P., 1912 P. 434, 478.]

«Я умираю в апостолической римской религии, в лоне которой я родился», – сказал в завещании Наполеон. Правда это или неправда? Он и сам не знает. Но нет никакого сомнения, что около этого – не католичества, не даже христианства, а самого Христа, – с кем же и борется он, как не с Ним, кого же и надо ему победить, как не Его, чтобы сделаться «величайшим из людей на земле», владыкою мира? – около самого Христа движется вся его ночная душа, та огромная идея, в которой «он живет весь».

«Всегда один среди людей, я возвращаюсь домой, чтобы мечтать наедине с самим собою и предаваться меланхолии, – пишет в своем дневнике, 3 мая 1786 года, семнадцатилетний артиллерийский подпоручик Бонапарт в своей бедной комнатке. – О чем же я буду сегодня мечтать? О смерти. На заре моих дней я мог бы надеяться еще долго прожить… и быть счастливым. Какое же безумие заставляет меня желать конца? Правда, что мне делать в

этом мире?.. Как люди далеки от природы. Как они подлы, низки, презренны… Жизнь мне в тягость, потому что люди, с которыми я живу и, вероятно, всегда буду жить, так же не похожи на меня, как

лунный свет на

солнечный ». [Napol?on. Manuscrits in?dite, 1786–1791. P. 5, 6.]

Что же, однако, сделал этот маленький прапорщик, чтобы так презирать людей? И что это значит: все люди – «лунный свет», а он один – «солнечный»? Этого мы не знаем, но знает Ницше: «Наполеон был последним воплощением бога солнца, Аполлона». Знает и Гёте: «Жизнь Наполеона – жизнь полубога: вся она лучезарна» – солнечна. Но, может быть, лучше всех это знает тот старый гренадер, идущий рядом с императором в двадцатиградусный мороз на Березине: «Холодно тебе, мой друг?» – «Нет, государь, когда я смотрю на вас, мне тепло!» Он знает, чувствует всем своим замерзающим телом, что все люди – холодные, «лунные», – только один император – теплый, «солнечный».

День Бородина, 7 сентября, решивший участь Русской кампании, а может быть, и всей наполеоновской империи, совпал с началом осеннего равноденствия, поворотом солнца к зиме. В этот день Наполеон был болен. «Первые дни равноденствия оказали на него дурное действие», – объясняет Сегюр. [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 6. P. 385.] Он всегда чувствовал таинственную связь своего тела с солнцем. «Плоть твоя – свет солнечный; члены твои – лучи прекрасные. Воистину, из Солнца изшел ты, как дитя из чрева матери!» – возглашалось на утрене египетского царя, Ахенатона, Сына Солнца. А через три с половиной тысячелетия на огненной всенощной люди поклонялись другому «сыну Солнца» – «Солнцу Аустерлица» – самому императору.

Там же, в Оксонских казармах, несколько лет спустя после тех строк о «лунных» и «солнечных» людях, он пишет странную повесть, похожую на бред, а может быть, и в самом деле бред: в это время он болен перемежающейся лихорадкой Оксонских болот.

Повесть – о корсиканской мести, вендетте, целому народу – французам. Он тогда ненавидел их за угнетение Корсики и любил будущих злейших врагов своих, англичан, за то, что они помогли корсиканцам в войне за освобождение.

Англичанин, от лица которого ведется рассказ, плывя на корабле из Ливорно в Испанию, попадает на необитаемый островок, неподалеку от Корсики, неприступную скалу, с вечным прибоем яростных волн. Здесь происходят частые кораблекрушения, отчего, должно быть, островок и получил свое зловещее имя:

Горгона . Но англичанин, меланхолик, восхищен дикою прелестью этого места. «Никогда человек не обитал в таком пустынном убежище… Я мог бы здесь быть если не счастлив, то мудр и спокоен». С этими мыслями он засыпает ночью, в палатке; как вдруг пробуждается от блеска пламени и чьего-то крика: «Умри, несчастный!» Палатка вспыхивает. Он едва спасается из огня и узнает, что его хотела сжечь молодая девушка, дочь старика, единственного обитателя Горгоны. Старик, узнав, что он англичанин, принимает его как желанного гостя и рассказывает ему свою жизнь.

Он корсиканец; много лет сражался с поработителями Корсики, генуэзцами, австрийцами, французами. Когда же эти последние окончательно овладели островом и перебили его отца, мать, жену и всех детей, кроме одной дочери, пропавшей без вести, он покинул Корсику и переселился на остров Горгону, где после разных приключений нашел свою дочь. Здесь они живут, как дикие, в развалинах старого монастыря, питаясь желудями и рыбой. «Горести сделали мне солнечный свет ненавистным. Солнце мне никогда не сияет. Я дышу воздухом только по ночам, чтобы не растравлять сердца видом гор, где обитали некогда мои предки… Я поклялся на моем алтаре (кажется, это алтарь монастырской часовни в тех развалинах, где

они живут), я поклялся не щадить ни одного француза. Когда корабли их разбиваются о скалы Горгоны, мы спасаем погибающих, как людей, и убиваем их, как французов».

«В прошлом году здесь едва не погиб французский почтовый корабль. Страшные вопли погибающих пробудили во мне жалость… Я развел большой огонь около того места, где они могли причалить, и этим спас их… Чем же, вы думаете, они отблагодарили меня?.. Узнав, что я корсиканец, схватили и заковали в цепи… Так я был наказан за свою слабость. Гневные предки мстили мне за свои неотомщенные тени. Но, видя мое раскаяние, Бог спас меня. Корабль задержался на семь дней. Вся вода у них вышла. Надо было узнать, где колодец, и они обещали мне свободу, сняли с меня цепи. Я воспользовался этой минутой и вонзил кинжал в сердце одного из двух моих спутников.

Тогда я в первый раз увидел солнце – какое лучезарное! Дочь моя осталась на корабле связанной. Я переоделся в платье одного из убитых мною солдат и, вооружившись двумя, взятыми у него, пистолетами, саблею и моими кинжалами, пошел на корабль. Капитан и юнга пали первые моими жертвами. Потом я перебил и всех остальных… Мы притащили к подножью алтаря тела убитых и там их сожгли. Этот новый фимиам, казалось, был угоден Богу». [Napol?on. Manuscrits in?dite, 1786–1791. P. 382–389.] Сохранился только черновик повести, довольно безграмотный, на плохом французском языке. Я должен был слегка упростить и объяснить его: иначе осталась бы непонятной страшная сила мысли и чувства.

Фимиам – новый? Нет, очень древний. Только первозданные скалы Горгоны помнят те времена, когда приносились человеческие жертвы Молоху, Ваалу, Шамашу и другим богам солнца, еще более древним – может быть, доисторической, допотопной древности. Эта-то кровавая жертва и оскверняет христианский алтарь, где приносилась некогда жертва бескровная. Человек не видит солнца, живет во тьме, пока не вонзит нож, как жрец Молоха, в сердце человеческой жертвы: только тогда оно засияет для него опять, лучезарное.

«Если бы мне нужно было выбирать религию, я обоготворил бы солнце, потому что оно все оживляет: это истинный бог земли», – говорит Наполеон на Св. Елене, роняя эти слова как будто небрежно, случайно, с конца уст, а на самом деле из глубины глубин сердечных. [Gourgaud C. Sainte-H?lene. T. 1. P. 101.]

«Лунная» богиня Разума, которой тоже приносились человеческие жертвы Робеспьером и Маратом, как бледна и бескровна перед этим Наполеоновым солнечным богом: «Такой человек, как я, плюет на жизнь миллиона людей». Миллион человеческих жертв он уже принес, и сколько бы еще принес, если бы сделался владыкою мира!

Слишком понятно, что человек, у которого проносятся в душе, как метеоры в ночи, такие мысли, раскаленные глыбы, – не корсиканец, не итальянец, не француз, даже вообще не европеец, даже не человек нашего всемирно-исторического, а может быть и нашего космического, «века» – зона. Вскормленник иных веков, «солнечных», он задыхается в этом «лунном» веке, где и дряхлеющее солнце бледно, как луна. Давит людей нечаянно своей неуклюжею огромностью, как допотопное чудовище.

«Цивилизация всегда ему немного личный враг», – говорил о Наполеоне Талейран. [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 1. P. 112.] Только снаружи – «немного», а внутри, может быть, и очень много.

Всякая цивилизация, а особенно европейская, есть «условность», «пристойность», «хорошее воспитание». «Как жаль, что такой великий человек так дурно воспитан!» – ответил ему однажды Талейран, конечно, за глаза, на его площадное ругательство. [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 209.] «Ему недостает воспитания и хороших манер, – говорит г-жа Ремюза, Талейранова наперсница. – Он не умеет ни войти, ни выйти из комнаты, ни поклониться, ни встать, ни сесть. Все его движения резки и угловаты; манера говорить – тоже… Вообще,

всякое постоянное правило для него невыносимо стеснительно; всякая вольность нравится ему, как победа; он никогда ничему не хотел подчиняться, ни даже грамматике. [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 1. P. 101.] Ни даже одежде: сам не умеет одеваться; камердинер одевает его, как ребенка, но, раздеваясь ночью, он нетерпеливо срывает с себя и бросает одежду на пол, как непривычную и ненужную тяжесть; естественное состояние тела его – древняя, целомудренная и нестыдящаяся нагота». [Antommarchi F. Les derniers moments de Napol?on. T. 1. P. 125.]

Цивилизация есть «хороший вкус». «А-а, хороший вкус, вот еще одно из тех классических словечек, которых я не признаю!» [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 368.] – «Хороший вкус – ваш личный враг. Если бы вы могли от него отделаться пушками, его бы уже давно не существовало», – говорит ему Талейран. [R?musat C.-? G. de. M?moires. T. 1. P. 278.] Талейрану кажется, что Наполеон не умеет быть «цивилизованным»; но, может быть, он этого вовсе и не хочет. «Вы, сударь, навоз в шелковом мешке!» – сказал он однажды Талейрану. Но, может быть, и вся европейская «цивилизация» для Наполеона такой же «навоз». «Проходя мимо всей этой нелепости, мне иногда хочется просто-напросто взять все за хвост и стряхнуть к черту!» – мог бы и он сказать, как Раскольников.

«Вольный полет в пространстве – вот что нужно для таких крыльев. Он здесь умрет; ему надо уехать отсюда», – замечает одна современница перед самым отъездом его в Египет. Он и сам понимает, что ему надо бежать: «Этот Париж давит меня, как свинцовый плащ». [Abrant?s L. S.-M. M?moires de la duchesse d’Abrant?s. P., 1923. T. 1. P. 15.] Не только Париж, но и вся европейская цивилизация.

Вот отчего тяга его на Восток. «В Египте я чувствовал себя освобожденным от пут стеснительной цивилизации… Это было лучшее время моей жизни, потому что самое идеальное. Но судьба – решила иначе… Я должен был вернуться в действительность социального порядка». В европейскую цивилизацию – «шелковый мешок с навозом».

Вот почему он любит войну. «Война –

естественное состояние , etat naturel» – оголение, освобождение от «свинцового плаща» цивилизации. [Bertaut J. Napol?on Bonaparte. P. 170.]

Вот почему он любит и революцию – ненавидит, убивает ее, а все-таки любит. «Марат… я его люблю, потому что он искренен. Он всегда говорит, что думает. Это характер. Он один борется против всех». [Gourgaud G. Sainte-H?lene. T. 1. P. 346.]

Обуздатель, устроитель революционного хаоса, он чувствует в себе самом бушующий хаос, может быть, больший, чем революция, и величайший подвиг его в том, что он обуздал не только тот, внешний, но и тот, внутренний, хаос – «ужас Горгоны». Сам бы он, впрочем, не спасся от него. Мать-Земля спасла его, а может быть, и Матерь Небесная.

Что же значит «ненависть его к цивилизации»? Куда он из нее стремится? В «естественное состояние» – так ему казалось в юности, когда он увлекался Руссо. Но он был слишком умен и трезв для таких увлечений: Жан-Жакова дурь скоро с него соскочила. «Мне особенно опротивел Руссо, когда я увидел Восток: дикий человек – собака». [Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 165.]

Но если не в «дикость», то куда же? В иную цивилизацию, или, точнее, в иной всемирно-исторический, а может быть и космический, век – зон; из нашего, «лунного», – в «солнечный». Что же это за «солнечный век»?

Ах, две души живут в моей груди!

Может быть, мы все еще не понимаем как следует трагическое значение для нас этих двух

душ.

Две души – два сознания: бодрствующее, дневное, поверхностное и ночное, спящее, глубокое. Первое – движется, по закону тождества, в силлогизмах, в индукциях, и, доведенное до крайности, дает всему строению культуры тот мертвый, «механический» облик, который нам так хорошо знаком; второе движется, по законам какой-то неведомой нам логики, в прозрениях, ясновидениях, интуициях и дает культуре облик живой, органический, или, как сказали бы древние, «магический».

«Магия», «теургия» – эти слова давно потеряли для нас свой реальный смысл. Чтобы напомнить его, мы могли бы только указать на такую слабую и грубую аналогию, как «животный инстинкт». Муравьи, на берегу реки, знают, где надо строить муравейник, чтобы не залило водой половодья! Ласточки знают, куда нужно лететь, чтобы попасть в прошлогоднее гнездо, за две тысячи верст. И это знание, не менее достоверное, чем то, которое мы получаем путем индукций и силлогизмов, кажется нам «чудесным», «магическим». Мы могли бы указать и на менее грубую, но еще более слабую аналогию гениальных прозрений, интуиции в научном и художественном творчестве, которые ведь тоже не по лестнице силлогизмов и индукций, а внезапными, как бы «чудесными», взлетами, так что в этой «чудесности» гения и заключается его особенность, несоизмеримость с нашей обыденной «механикой». Но все это лишь слабые намеки на какую-то огромную, исчезнувшую для нас, действительность; малые дроби какого-то неведомого нам огромного целого.

Наблюдая с этой точки зрения ряд нисходящих от нас в глубину древности великих культур, мы замечаем, что, по мере нисхождения, механичность дневного сознания в них убывает и возрастает органичность сознания ночного – та для нас темная область его, которую древние называют «магией», «теургией». Если же довести этот ряд до конца, то получится наш крайний антипод, противоположно-подобный, двойник – противоположный в путях, подобный в цели – в титанической власти над природою, – та совершенно органическая, «магическая» культура, которую миф Платона называет «Атлантидою».

«Был некогда Остров против Геркулесовых Столпов; земля, по размерам большая, чем Ливия и Малая Азия, взятые вместе. Этот Остров – Атлантида», – сообщает Солону, афинянину, старый Саксский жрец одно из древнейших сказаний Египта в «Тимее» Платона. «Произошли великие землетрясения, потопы, и в один день, в одну ночь остров Атлантида исчез в морской пучине».

Миф о конце Атлантиды могли рассказать Бонапарту ученые спутники его, члены Института, когда на фрегате «Мьюрон» на возвратном пути из Египта во Францию, в 1799 году, он однажды, после чтения Библии, беседовал с ними о вероятном разрушении земли новым всемирным потопом или пожаром. [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 1. P. 465.] Или раньше, в Египте, могли они напомнить ему об атлантах, распространивших свое владычество до пределов Египта (Платон, «Критий»).

Что почувствовал бы Наполеон, слушая эти сказания? Пронеслось ли бы над душой его родное веяние?

Первое мировое владычество основали атланты, а он хотел основать последнее.

Атланты – сыны Океана, и он тоже:

Твой образ был на нем означен;

Он духом создан был твоим:

Как ты, могущ, глубок и мрачен,

Как ты, ничем не укротим.

Пушкин А. С. К морю (1824)

Атланты – островитяне, и он тоже: родился на острове Корсике; умер на острове Св. Елены; первый раз пал на остров Эльбу; и всю жизнь боролся с островом Англией – современной «Атлантидой» маленькой, за будущую великую – всю земную сушу, окруженную морями.

Но, может быть, еще глубже этих внешних сходств – сходство внутреннее.

Мать – Земля, Солнце – Отец, Человек – Сын – такова религия атлантов, судя по обломкам ее, которые сохранили нам вавилонские и шумеро-аккадские прапращуры нашей истории.

Клинописные скрижали Допотопных мудрецов.

«Если бы мне надо было выбирать религию, я обоготворил бы Солнце… Это истинный Бог земли». Мать – Земля, Солнце – Отец, Человек – Сын, – может быть, это и есть та «религия, от начала мира одна», которой он искал.

Атланты – «органичны», и он тоже. В законодательстве отвлеченные схемы «идеологов» он заменяет живым, историческим опытом; в стратегии – все механические теории двумя органическими знаниями – проникновеньями в живую душу солдат и в живую природу местности, где происходит сражение.

Это в большом, это и в малом. Так же не верит врачам, механикам тела, как «идеологам», механикам ума; силлогизмами не думает, лекарствами не лечится; думает прозрениями, «интуициями», лечится «магией», самовнушением.

Степень механичности, данную в европейской цивилизации, принимает по необходимости; но степени большей не хочет. Когда в 1803 году готовил военный десант в Англию, американец Фёльтон (Fulton) предложил ему свое изобретение – пароход; он его не принял и был, конечно, неправ: пароход мог бы дать ему победу над английским парусным флотом, ключ к мировому владычеству. [Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 165.] Но по одному этому видно его отвращение к механике.

Судя по циклопическому зодчеству атлантов, о котором говорит Платон, механика их была не менее, а может быть и более, совершенна, чем наша; судя по нашей религии – христианству, интуиция наша не менее, а может быть и более, глубока, чем интуиция атлантов.

В чем наша разница с ними? В воле, в сознании: мы только и делаем, что подчиняем нашу интуицию механике, покрываем ночное сознание дневным; атланты, наоборот, свое дневное сознание покрывают ночным, механику подчиняют интуиции.

Наполеон и в этом смысле Атлант, наш антипод: для нас механика – крылья, а для него – тяжесть, которую он подымает на крыльях интуиции.

Душа Атлантиды – «магия», и душа Наполеона тоже. «Как ни велико было мое материальное могущество, духовное было еще больше: оно доходило до

„магии“». – «Мне нужно было, чтобы моя судьба, мои удачи имели в себе нечто

„сверхъестественное“. После Ватерлоо „

чудесное в судьбе моей пошло на убыль“». [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 160.]

У него был «род

магнетического предвиденья (prevision magnetique) своих будущих судеб», – вспоминает Буррьенн. [Fauvelet de Bourrienne L. A M?moires sur Napol?on. T. 4. P. 389.] «У меня было внутреннее чувство того, что меня ожидает», – вспоминает он сам. [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 160.] Можно сказать, что весь наполеоновский гений – в этом «внутреннем чувстве», в «магнетическом», магическом «предвиденье»: оно-то и дает ему такую бесконечную, в самом деле как бы «волшебную», власть над людьми и событиями.

«Sire, vous faites toujours des miracles! Государь, вы всегда творите чудеса!» – простодушно и глубоко говорит ему помощник маконского мэра, свидетель эльбского чуда – триумфального шествия императора в Париж, в 1815 году. [Houssaye H. 1815. T. 1. P. 32.]

«Ну вот его и взорвали!» – обрадовался кто-то, узнав о взрыве адской машины под каретой Первого Консула, на Никезской улице, в 1801 году. «Что? Его взорвали? – воскликнул старый военный, австриец, свидетель „чудес“. Итальянской кампании. – Нет, господа, вы его не знаете… Я держу пари, что он сейчас здоровее нас всех… Я давно знаю все его штуки!» [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 140.] Это значит – «колдовские штуки», «магию».

Сила «магии» – сила «внушения». Когда он хотел соблазнить кого-нибудь, в его словах было неодолимое обаяние, род «магнетической силы», – вспоминает Сегюр. [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 4. P. 76.]

«Вещим волхвом» называет его русский поэт Тютчев, а египетские мамелюки называли его «колдуном». [Lacroix D. Histoire de Napol?on. P., 1902. P. 25.]

«Этот дьявольский человек имеет надо мною такую власть, что я этого и сам не понимаю, – признается генерал Вандам своему приятелю. – Я ни Бога, ни черта не боюсь, а когда подхожу к нему – я готов дрожать, как ребенок: он мог бы заставить меня пройти сквозь игольное ушко, чтобы броситься в огонь!»

«Везде, где я был, я повелевал… Я для того и рожден», – говорит он сам. [Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. T. 9. P. 25.] И люди это знают:

И с высоты, как некий бог,

Казалось, он парил над ними,

И двигал всем, и все стерег

Очами чудными своими.

Тютчев Ф. И. Неман (1853)

Очами «колдуна», «пронзающими голову, ses regards qui traversent la tete» [Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. P. 101.]: страшная сила внушения – «магия» – в этих очах.

Да, «колдун», «великий маг», творящий свою жизнь и жизнь людей, всемирную историю, как непрестанное чудо.

Все это и значит: душа Наполеона – душа Атлантиды – магия.

Нам грозит гибелью злоупотребление «механикой»; атлантов погубило злоупотребление «магией». Наш путь иной, но цель та же, что у них: титаническая власть над природою и высшая точка ее – человек, становящийся Богом. Атланты – «сыны божьи», по мифу Платона. «Когда же божеская природа людей постепенно истощилась, смешиваясь с природой человеческой и, наконец, человеческая совершенно возобладала над божеской, то люди развратились… Мудрые видели, что люди сделались злыми, а немудрым казалось, что они достигли вершины добродетели и счастья, в то время как обуяла их безумная жажда богатства и могущества… Тогда Зевс решил наказать развращенное племя людей» («Критий»). И Атлантида погибла в морской пучине.

Титанизм погубил атлантов и Наполеона – тоже. Чувством божественной меры он обладал как никогда; но, достигнув вершины могущества, утратил это чувство или пожертвовал им титанической безмерности.

Что такое «Атлантида»? Предание или пророчество? Была она или будет? Отчего именно сейчас, как никогда, мы чувствуем сквозь этот «миф» какую-то для нас неотразимую действительность?

«Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости – и явится Человекобог» (Иван Карамазов у Достоевского). О ком это сказано? Об атлантах или о нас? Не такие же ли мы обреченные, обуянные безумною гордыней и жаждой могущества, «сыны божьи», на Бога восставшие? И не ждет ли нас тот же конец?

«Как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого. Ибо, как во дни перед потопом, ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег; и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына Человеческого» (Мтф. 24. 37–39).

Атлантида и Апокалипсис – конец первого человечества и конец второго. Вот отчего Наполеон – человек из Атлантиды и «апокалипсический Всадник» – вместе.

И вот для чего он послан в мир: чтобы сказать людям: «Может быть, скоро конец».

Злой или добрый

«Наполеон, человек из Атлантиды» – это не совсем точно; точнее: человек из Атлантиды – в нем.

Что какое-то существо, не имеющее себе подобного, больше или меньше, чем человек, по глубокому впечатлению г-жи де Сталь, – существо божественное или демоническое, действительно, вложено, инкрустировано в человеческом существе Наполеона, – это нам очень трудно понять, а древним было бы легко.

«Наполеон – последнее воплощение бога солнца, Аполлона» – это для нас если не пустые слова, то лишь поэтический образ или отвлеченная идея; а для древних – «Александр, последнее воплощение бога Диониса» есть живая, всемирно-исторически движущая сила, основа такой огромной действительности, как эллинистическая всемирность; точно так же Divus Caesar Imperator – основа всемирности римской.

Для нашего философского идеализма – мнимохристианской, духовной бесплотности – Бог человеку трансцендентен, невоплотим в человеке, а для религиозного реализма древних –

воплощен, имманентен. В этом смысле так называемое «язычество» – дохристианское человечество – в высших точках своих – мистериях страдающего Бога Сына – ближе, чем мы, к существу христианства, ибо в чем же это существо и заключается, как не в утверждении божественной имманентности, воплотимости Бога: «Слово стало плотью»?

Древние знали, что «боги – в рост человеческий», особенно знали это греки, чувствовавшие, как никто, божественность человеческого тела. Исполины – не боги, а титаны, их огромность, безмерность – слабость, сила же богов – в человеческой мере.

Знают это и пророки Израиля. «Господи, что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Не много Ты умалил его пред Ангелами» (Пс. 8). – «Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышнего – все вы; но вы умрете, как человеки» (Пс. 81). Кто же эти смертные боги, как не те богоподобные люди, герои, которых древние называют «сынами божьими».

И Ангел Апокалипсиса измеряет стену нового Иерусалима «золотою тростью, мерою человеческою, какова мера и Ангела» (Откр. 21). Это и значит – хотя, разумеется, тут религиозный опыт происходит в иной категории: «боги – в рост человеческий».

Кажется, кое-кто из современников Наполеона видел в нем эту божескую или титаническую «инкрустацию» – «человека из Атлантиды», хотя, конечно, слово это никому не приходило в голову; кое-кто видел ее так же ясно, как белизну слоновой кости, вставленной в черное дерево, чуял в нем «не совсем человека», так же издали, по запаху, как собаки чуют волка. Но для нас это физически зримое в лице Наполеона уже навсегда потеряно. Лучшие портреты не передают его вовсе.

Кажется, вообще, портреты относятся к живому лицу его, как пепел к пламени; пламя неизобразимо в живописи, в ваянии; так и лицо Наполеона. Слово скорее могло бы уловить его, если бы только у этого Диониса был свой Орфей.

Вот один из лучших портретов его, сделанный когда-то почти влюбленной в него, а потом вдруг испугавшейся и возненавидевшей его женщиной. «Бонапарт – небольшого роста, не очень строен: туловище его слишком длинно. Волосы темно-каштановые, глаза серо-голубые; цвет лица, сначала, при юношеской худобе, желтый, а потом, с летами, белый, матовый, без всякого румянца. Черты его прекрасны, напоминают античные медали. Рот, немного плоский, становится приятным, когда он улыбается; подбородок немного короток, нижняя челюсть тяжела и квадратна. Ноги и руки изящны; он гордится ими. Глаза, обыкновенно тусклые, придают лицу, когда оно спокойно, выражение меланхолическое, задумчивое; когда же он сердится, взгляд их становится внезапно суровым и грозящим. Улыбка ему очень идет, делает его вдруг совсем добрым и молодым; трудно ему тогда противостоять, так он весь хорошеет и преображается». [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 1. P. 100–101.]

Но и этот лучший портрет – только пепел, вместо огня. Здесь нет самого главного – того, от чего бесстрашный генерал Вандам, «каждый раз, подходя к Наполеону, готов был дрожать, как ребенок», и что могло его заставить «пролезть сквозь игольное ушко, чтобы броситься в огонь» за императора. Это гораздо лучше передано в простодушных словах одного бельгийского крестьянина, Наполеонова проводника на Ватерлооском поле. Когда его спросили, как показался ему император, он ответил коротко и странно: «Если бы даже лицо его было циферблатом часов – духу не хватило бы взглянуть, который час. Son visage aurait ?t? un cadran d’horloge qu’on n’edurait pas os? regarder l’heure». [Houssaye H. 1815. T. 2. P. 322.]

А вот что-то еще более странное.

Много думали древние о мужеженской природе богов: даже в таком мужественном боге, как Аполлон Пифийский, просвечивает женственность, а в Дионисе, страдающем боге-сыне

мистерий, достигает она своего апогея. Чтобы укротить титаническое буйство первых людей, андрогинов, боги, по мифу Платона, разрубают каждого из них пополам, на мужчину и женщину, «подобно тому как яйца, когда солят их впрок, режут волосом на две половины» («Пир»); и, хотя об этом не сказано в мифе, невольно приходит на мысль, не связан ли и титанизм атлантов с их мужеженской природой.

«У него (Наполеона) полнота не нашего пола», – замечает Лас Каз, сам не подозревая, каких таинственных глубин касается здесь в существе Наполеона. [Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 88.] Женственность у этого самого мужественного из людей иногда внезапно проступает не только в теле, но и в духе. «Он слабее и чувствительнее, чем думают», – замечает очень хорошо знавшая эти женские черты его императрица Жозефина. [Levy A. Napol?on intime. P. 339.] «Часто хвалили силу моего характера, – вспоминает он сам, – но я был мокрая курица, особенно с родными, и они это отлично знали; когда у меня проходила первая вспышка гнева, их упрямство и настойчивость всегда побеждали, так что, в конце концов, они делали со мной все, что хотели». [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 335.] Он часто и легко плачет, как женщина; от внезапно находящей дурноты надо его отпаивать сахарной водой с флердоранжем, как настоящую маркизу XVIII века. [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 3. P. 61.]

«Посмотрите-ка, доктор, – говорит он однажды на Св. Елене доктору Антоммарки, выходя к нему, совсем голый, после утреннего обтирания одеколоном, – посмотрите, какие прекрасные руки, какие округленные груди, какая белая кожа, совсем гладкая, без волоска… Этакой груди могла бы позавидовать любая красавица!» [Antommarchi F. Les derniers moments de Napol?on. T. 1. P. 125.]

Если бы кто-нибудь сказал ему, что величайшая и страшнейшая из всех его мыслей – сделаться, подобно Александру Великому, «вторым Дионисом», завоевателем Индии, самым женственным из всех богов, – что эта мысль как-то мистически связана в нем с «полнотой не нашего пола», он, разумеется, ничего не понял бы и рассмеялся. Но, может быть, не до смеху было бы тому старому австрийцу, который хорошо знал все его «штуки», всю его «магию», если бы он услышал такой анекдот. «Как тебе понравилась новая императрица?» – спросили одного приезжего из провинции лакея, только что смотревшего на парадный, в золоченой восьмистекольной карете, выезд императрицы Марии-Луизы. «Очень хороша, очень! – ответил тот с умилением. – И какая добрая! Старую гувернантку свою взяла с собой в карету!» Что это за «гувернантка», поняли только тогда, когда он объяснил, что у нее полное, очень бледное лицо и малиновый бархатный ток с большими белыми перьями – церемониальная шляпа самого императора: это был он. [Charles de Clary. Trois mois a Paris lors du mariage de l’empereur Napol?on I-er et l’archiduchesse Marie-Louise. P., 1914. P. 83.]

Надо вообразить у этой «старой гувернантки» глаза колдуна, «пронзающие голову», на таком лице, что, «если бы оно было даже циферблатом часов, духу не хватило бы взглянуть, который час», чтобы понять страх бедного австрийца: «вот еще одна из его

штук : проклятый колдун, оборотень – обернулся женщиной».

Что же это такое, в конце концов, – «чудо» или «чудовище»? Что это за существо в Наполеоне, «не имеющее себе подобного», – божественное или демоническое, злое или доброе?

Ницше, может быть, ответил бы почти так же, как отвечает г-жа де Сталь: ни злое, ни доброе, а по ту сторону зла и добра. Но такой ответ слишком уклончив: ведь и «по ту сторону» человеческого добра и зла есть иное, «сверхчеловеческое», божественное. Кроме наших скудных нравственных мер, деревянных аршинов, есть «золотая трость», которою ангел Апокалипсиса измеряет стены Града Божьего, – «мерою человеческою, какова мера и ангела». Вот по этой-то мере, что такое Наполеон?

Нам это очень важно знать, потому что если он, все-таки наш последний герой – «чудовище», то что же мы сами? Ибо каков Герой, Человек, таково и человечество.

«У Бонапарта врожденная злая природа, врожденный вкус к злу как в больших делах, так и в малых». – «Кажется, всякое великодушное мужество чуждо ему». – «Этот человек был убийца всякой добродетели», – говорит о нем та же влюбленная в него и ненавидящая г-жа Ремюза. [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T.

a P. 383; T. 1. P. 106; T. 2. P. IX.]

«Наполеон не только не был зол, но был естественно добр», – говорит человек, сам очень добрый и простой, просто любящий Наполеона, последний секретарь его, барон Фейн. [Foin A. J. E. M?moires du baron Fain, premier secr?taire du cabinet de l'empereur. P., 1909. P. 291.] Это подтверждает и первый секретарь, школьный товарищ его, Буррьенн, человек недобрый и лично против Наполеона озлобленный: «Я, кажется, достаточно строго сужу его, чтобы мне поверили на слово, – и вот я говорю: вне политики он был чувствителен, добр и жалостлив». [Fauvelet de Bourrienne L. A. M?moires sur Napol?on. T. 2. P. 150.] Подтверждает это и русский император Александр I в 1810-м, бывший друг, будущий враг Наполеона: «Его не знают и судят слишком строго, может быть, даже несправедливо… Когда я его лучше узнал, я понял, что он человек добрый». [Vandal A. Napol?on et Alexandre I-era. L'alliance russe sous le premier empire. P., 1914. T. 2. P. 256.]

«О, Наполеон, в тебе нет ничего современного, ты весь из Плутарха!» – воскликнул однажды, взглянув на девятнадцатилетнего Буонапарте, старый корсиканский герой, Паоли. [Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 361.] «Весь из Плутарха» – значит, весь из древней бронзы или мрамора, совершенный герой, человек совершенной добродетели. И тот же Паоли восклицает, через несколько лет, когда львенок выпустил когти: «Видите этого маленького человека? Два Мария в нем и один Сулла!» [Chuquet A. M. La jeunesse de Napol?on. T. 3. P. 91.] Это значит: два разбойника и один узурпатор.

Да, по словам и даже по безмолвным чувствам людей трудно судить о добре и зле в Наполеоне. «Все меня любили, и все ненавидели». Слишком ослепительно скрещиваются на лице его лучи любви и ненависти.

Но вот его собственное признание, как бы нечаянная исповедь, своему злому духу-искусителю, Талейрану, в деловой беседе, с глазу на глаз, почти тотчас после ужасного Лейпцигского разгрома 1814 года. Речь идет об испанском короле Фердинанде VII, которого оба они заманили в ловушку, французскую крепость Байонну, и здесь ограбили, как «настоящие разбойники на большой дороге»: заставили отречься от престола в пользу французского императора, из-за чего и вспыхнула многолетняя Испанская война-восстание, безнадежная и безысходная, одна из причин Наполеоновой гибели. Талейран, главный зачинщик и советник этого злого дела, теперь, когда уже поздно, советует Наполеону исправить его – освободить Фердинанда из французского плена и вывести войска из Испании.

«Вы еще слишком сильны, чтобы это сочли подлостью», – заключает он двусмысленно.

«Подлостью? – возразил Бонапарт. – Э, не все ли мне равно! Знайте, что я ничуть не испугался бы подлости, если бы она была мне полезной. Ведь, в сущности, нет ничего на свете ни благородного, ни подлого, у меня в характере есть все, что нужно, чтобы укреплять мою власть и обманывать всех, кому кажется, будто бы они знают меня. Говоря откровенно, я

подл, в корне подл , je suis niache, essentiellement lache; даю вам слово, что я не испытал бы никакого отвращения к тому, что в ихнем свете называется „бесчестным поступком“. Тайные склонности мои, в конце концов, естественные и противоположные тому притворному

величью, которым мне приходится себя украшать, дают мне бесконечные возможности обманывать людей во всем, что они обо мне думают. Итак, мне только нужно знать сейчас, согласно ли то, что вы мне советуете, с моей нынешней политикой, а также, – прибавил он с сатанинской усмешкой, – нет ли для вас какой-нибудь тайной выгоды толкать меня на это дело». [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 1. P. 106.]

Чтобы понять эту странную исповедь, надо сначала понять духовника. Талейран тоже, в своем роде, существо необыкновенное: человек большого ума, но совершенно пустого, мертвого, потому что всякий живой ум уходит корнями своими в сердце, а у него, вместо сердца, щепотка могильного праха или той пыли, на которую рассыпается гнилой гриб-дождевик. И он это знает, чувствует свою бездонную, внутреннюю пустоту, небытие и злобно-жадно завидует всем живым, сущим – Наполеону особенно, потому что он сущий, живой по преимуществу.

Чем же они связаны? Тем, что Наполеону кажется в Талейране деловым реализмом, гениальною небрезгливостью к самой смрадной из человеческих кухонь – политике. Да, этим, но и чем-то еще, более глубоким, трансцендентным. Кажется, они связаны, как Фауст и Мефистофель, человек и его потусторонняя «тень»: самое несущее прилипло к самому сущему.

«И всего удивительнее, что Наполеон, по крайней мере одну минуту, как будто любит или, может быть, – это еще удивительнее, – жалеет Талейрана, из какой-то трансцендентной вежливости или осторожности, обращается с этим „бесом“ своим, как с ангелом-хранителем. Чем иначе объяснить такую сцену? В 1806 году, восемь лет до той странной исповеди, отправляясь в первую Прусскую кампанию, прямо из дворца на фронт, и, в последнюю минуту, прощаясь с императрицей Жозефиной и Талейраном, Наполеон обнимает их вместе, прижимает к своей груди нежно, крепко и плачет: „Как тяжело, однако, покидать два существа, которые любишь больше всего на свете!“ Плачет так, что ему делается дурно, и, по обыкновению, его приходится отпаивать флердоранжем». [Ibid. T. 3. P. 81.]

Минута, конечно, прошла, и он понял, с кем имеет дело, но, и поняв, не может от него отделаться, как Фауст от Мефистофеля, с тою, впрочем, разницей, что тут «магия» принадлежит не бесу, а человеку.

«Вы, сударь, навоз в шелковом мешке!» – это только один из бесчисленных легких пинков ногою слишком ласковому пуделю – Мефистофелю. А вот и настоящее, можно сказать кровавое, хлыстом по лицу, избиение.

Сцена происходит в Тронном зале Тюильрийского дворца, в кругу первых сановников, в 1809 году, когда император, узнав о заговоре против него Талейрана, принужден был поспешно вернуться в Париж из неоконченной Испанской кампании.

Наполеон кричит на Талейрана в непритворном бешенстве, что очень редко случалось с ним, а тот, в привычной позе, облокотившись о выступ камина, чтобы облегчить свою хромую ногу, – он хром, как бес, – слушает невозмутимо и, не сморгнув глазом, принимает на лицо свое удары хлыста.

«Вы, сударь, вор, подлец, человек без совести, вы в Бога не веруете! Вы всю вашу жизнь только и делали, что нарушали ваш долг, обманывали и предавали всех. Для вас нет ничего святого, вы отца родного продали бы. Я осыпал вас милостями, а вы способны против меня на всякое злодейство. Вот уже десять месяцев как, судя вкривь и вкось и воображая, что мои дела в Испании плохо идут, вы имеете бесстыдство говорить всем, кто желает вас слушать, будто вы всегда осуждали это предприятие, тогда как сами же вы дали мне первую мысль о нем и упорно толкали меня на него… Какие же ваши замыслы? Чего вы хотите? На что надеетесь? Осмельтесь мне это сказать в глаза. Вы заслужили, чтобы я разбил вас, как этот

стакан, но я слишком презираю вас, чтобы пачкать о вас руки!»

Рук не запачкал: Талейран остался цел и даже скоро «призван был к совету в делах величайшей важности». [Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 359.] И он это знал заранее, еще тогда, когда слушал брань Наполеона, и все удары шли не мимо, а сквозь него, как сквозь тело призрака. Трудно сказать, кто в этой страшной сцене страшнее, сильнее – в своем роде

бессмертнее , – Наполеон или Талейран, сущий или несущий.

И такому духовнику такая исповедь! Можно ли этому верить? Можно. Талейран слишком умен, чтобы грубо лгать; слишком хорошо знает, что грубая ложь скоро обличается, а ему нужно, чтобы ложь не обличалась никогда, и великий человек вошел в потомство с этим неизгладимым, им же самим, на лбу своем выжженным клеймом: «подлец». Талейран лжет тончайшею, в самом деле «сатанинскою», – почти правдою – тою, которую один волосок отделяет от правды полной. Очень вероятно, что он передает слова Наполеона со всею возможною точностью; только чуть что передвигает их смысл, меняет их тон – «музыку»: в таких контрапунктах лжи Талейран – гений.

Мог ли сказать Наполеон: «Я подл, я в корне подл»? Если и мог, то, конечно, не с тою целью, как это дает понять Талейран, – не для того, чтобы цинически хвастать своею «подлостью», выворачивая душу свою наизнанку перед таким зеркалом. В самом деле, какой же в мире подлец сам о себе говорит: «Я подл»? Какому подлецу не хватит ума сохранить вид благородства, и даже так, что, чем подлее, тем благороднее?

О, конечно, нравственный суд Талейрана и ему подобных, со всей их «цивилизацией» – «навозом в шелковом мешке», Наполеон презирает. «Тайные склонности мои, в конце концов,

естественные – qui viennent de la nature – от природы идущие…» Этих бы слов Талейрану, при всей гениальности лжи его, не выдумать: тут слышен голос Наполеона – рев «допотопного чудовища». Подлинны, вероятно, и эти слова: «В сущности, нет ничего на свете ни благородного, ни подлого». Надо бы только прибавить: «на вашем свете, господин Талейран». Разве это для Талейрана не абсолютная истина? Чье же лицо отразилось в ней, как в зеркале, – Наполеона или самого Талейрана?

Нет, кажется, на этот раз гений одурачивания сам остался в дураках и, кажется, даже сам предчувствовал, что так оно и будет. «Этот дьявольский человек обманывает во всем, – жалуется он своей наперснице г-же Ремюза. – Даже страсти его неуловимы, потому что он умеет и в них притворяться, хотя у него есть настоящие страсти». [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 1. P. 118.] Казалось бы, ясно, какие: честолюбие, властолюбие? Нет, Талейран знает или смутно угадывает, что предмет настоящих страстей Наполеона, или, точнее, одной-единственной страсти, что-то более глубокое, первичное. Что же именно, этого он не знает. Не знаем и мы, по крайней мере, не умеем назвать; можем только намекнуть:

полнота бытия – не жизнь, а то, из чего выходит и во что возвращается всякая жизнь, – бытие в высшем пределе своем; то сущее, что делает самого Наполеона, по слову Ницше, «существом реальнейшим», ens realissimum, и что менее всего доступно Талейрану –

не-сущему , – вот предмет настоящей, единственной страсти Наполеона и вот почему зависть-ненависть Талейрана к нему так неутолима и беспомощна.

Но если даже этот «злой дух» его, «клеветник» по преимуществу не находит в нем того коренного зла, за которое человек достоин имени «злодея», то где же оно?

«Других унижает падение, а меня возвышает бесконечно, – говорит Наполеон на Св. Елене. –

Каждый день срывает с меня кожу тирана, убийцы, злодея». [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 82.] Как же наросла на нем эта кожа? Не было ли в жизни его хотя бы одного совершенно злого дела – злодейства?

Кажется, он сам искренно думает, что не было. «Моя природа чужда злодейства; не было за все мое правление ни одного действия, за которое я не мог бы ответить на суде, не говорю без стыда, но даже с некоторой для себя честью». [Ibid. P. 255.] – «Я не совершил ни одного преступления во всей моей политической жизни; я мог бы это утверждать перед лицом смерти. Если бы я был способен на преступление, меня бы не было здесь» (на Св. Елене). – «Да и на что мне оно? Я слишком для него фаталист и слишком презираю людей». [O'M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 1. P. 313; T. 2. P. 6.]

А дело герцога Энгиенского? Забыл он о нем или помнит, но считает себя невинным?

Дело было так. В начале 1804 года арестованы сорок заговорщиков, имевших намерение покуситься на жизнь Первого Консула, большею частью наемники английского правительства; в том числе Жорж Кадудаль, бретонский «шуан»-роялист, и два генерала, Пишегрю и Моро, знаменитый победитель под Гогенлинденом, бывший Бонапартов соперник. Три последних года, с покушения на Никезской улице, Первый Консул был в самом деле окружен убийцами. «Воздух полон кинжалами», – остерегал его бывший министр полиции Фуше. [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 160.] Да он и сам это чувствовал: «Что я, собака, что ли, которую всякий прохожий на улице может убить?» [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 2. P. 252.] – «Мне принадлежало естественное право самозащиты, – вспоминает он на Св. Елене, – на меня нападали со всех сторон и каждую минуту… духовые ружья, адские машины, заговоры, западни всех родов… Я, наконец, устал и воспользовался перекинуть террор обратно в Лондон… Война за войну… кровь за кровь». – «Ведь и моя кровь тоже не грязь. Мое великое правило, что в войне и в политике зло извинительно, поскольку оно необходимо; все же остальное – преступление» [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 263, 264.]

Предполагали – ошибочно, как потом доказано было с несомненностью, – что в заговоре участвовал и даже одно время находился в Париже герцог Энгиенский, Людовик Бурбон Кондэ, один из последних отпрысков старого королевского дома Франции. Это был болезненного вида человек лет тридцати с тихим и грустным лицом «бедного рыцаря». В маленьком городке Эттенгейме маркграфства Баденского, неподалеку от Рейна и французской границы, он жил уединенно, мало занимался политикой, охотясь и предаваясь любовным мечтам.

«Помню, как сейчас, – продолжает вспоминать Наполеон на Св. Елене, – я сидел однажды, после обеда, за чашкой кофе; вдруг входят и объявляют о новом заговоре герцога Энгиенского… Я даже хорошенько не знал, кто он такой… Но все подготовили заранее». [Ibid. P. 25–26.] Подготовил Талейран. Он же настоял на аресте герцога, вопреки международному праву, на чужой территории.

15 марта взвод французских жандармов перешел через границу, пробрался в Эттенгейм, окружил потихоньку дом герцога, вломился в него, с саблями наголо и пистолетами в руках, арестовал герцога, усадил его в карету и увез, под конвоем, сначала в Страсбург, а оттуда в Париж, в Венсенскую крепость.

Первый Консул хотел поручить это дело генералу Мюрату, тогдашнему парижскому губернатору. Но тот отказался наотрез: «Мундир мой запачкать хотят, но этого я не позволю!» [Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 192.] Бонапарт все взял на себя, но, конечно, «ангел-хранитель» его, Талейран, стоял за ним неотступно. Министр полиции, Савари, был только слепым орудием обоих.

Для суда над герцогом назначена была военно-полевая комиссия. «Кончить все в эту ночь, –

сказано было в приказе. – Приговор, если он будет, как я не могу в этом сомневаться, смертным, привести в исполнение немедленно и виновного похоронить на одном из крепостных дворов. – Бонапарт». [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 162.]

На первом допросе обнаружилась совершенная невинность герцога. «Настоятельно прошу личного свидания с Первым Консулом, – написал он под допросным листом. – Имя мое, мой сан, образ мыслей и ужас моего положения позволяют мне надеяться, что он мне в этом не откажет». [Ibid.]

Просьба не была передана по назначению: ее задержал Талейран.

21 марта, в два часа пополуночи, герцога привели в комиссию. Второй допрос ничего не прибавил к первому. Подсудимый отвечал с достоинством; не думал скрывать – это, впрочем, и так знали все, – что готов стать под знамена держав, воюющих с незаконным правительством Бонапарта, «потому что этого требуют сан и кровь Бурбонов, текущая в моих жилах»; но самую мысль о покушении на жизнь Первого Консула отверг с негодованием.

Только что подсудимого вывели – судьи постановили смертный приговор, но, хорошенько не зная, по каким статьям какого закона судят его, оставили для них белое место в строке. Невинность герцога была для них так очевидна, что они решили, вместе с просьбой о свидании, послать Первому Консулу свое ходатайство о помиловании. Но не успели. [Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 185–187.]

В половине третьего пополуночи – значит, суд продолжался менее получаса – жандармы вошли в камеру герцога. Когда его вели вниз по лестнице, в крепостной ров, он спросил, куда его ведут. Никто ему не ответил. Снизу пахнуло холодом. Он схватил за руку одного из спутников и опять спросил: «В тюрьму?» Но вдруг, увидев взвод солдат с ружьями, понял. Отрезал прядь волос, снял с руки перстень и просил отослать их на память своей возлюбленной, принцессе Роган-Рошфор. Потом спросил: «Разве мне не дадут священника?» «Капуцином хочет умереть, что ли?» – раздался с крепостного вала чей-то насмешливый голос, кажется министра Савари. Герцог опустился на колени, помолился, встал и проговорил: «Как ужасно умереть от руки французов!» Ему хотели завязать глаза, но он просил этого не делать. Раздался залп, и он упал мертвым. [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 165.]

Накануне весь день Первый Консул просидел, запершись, у себя в кабинете. Жозефина ворвалась к нему, упала, вся в слезах, к ногам его и умоляла за герцога. Он грубо оттолкнул ее ногою и сказал: «Ступайте прочь! Вы ребенок и ничего не понимаете в политике!»

А на следующий день, в пять часов утра, лежа в постели, рядом с нею, он разбудил ее и сказал: «Сейчас герцога Энгиенского нет в живых». Она закричала, заплакала. «Ну ладно, спи! – проговорил он сухо и опять, как намедни, прибавил: – Ты ребенок». [Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 194.]

Что это, бесчувственность? Едва ли. За два дня до казни Шатобриан видел Первого Консула в Тюильрийском дворце, на большом выходе, с таким страшным лицом, что, вернувшись домой, сказал друзьям: «Бонапарт или болен, или с ним случилось что-то необыкновенное, чего мы не знаем». [Lacour-Gayet G. Hapol?on. P. 165.]

«Что ты сделал, мой друг, что ты сделал», – плакала Жозефина в самый день казни. «Да, несчастные слишком поторопились, – проговорил он задумчиво и потом прибавил: – Делать нечего, надо принять вину на себя: взвалить ее на других – подло». [S?gur P. P. Histoire et memoires. T. 2. P. 269.]

Граф Сегюр видел его, дня три-четыре спустя, на обедне в Тюильрийской часовне. «Я жадно смотрел на него… Мне казалось, что окровавленная жертва предстоит алтарю… Я искал в

лице его угрызения или хотя бы сожаления… но ничего не изменилось в этом лице… оно было спокойно».

После обедни Первый Консул обходил ряды сановников и заговаривал с ними о деле Энгиена: видимо, хотел узнать впечатление; но единственным ответом ему была подлая лесть или угрюмое молчание. И вдруг он сам стал угрюмым, умолк и внезапно вышел. [Ibid. P. 274.]

«Мы вернулись к ужасам 93-го года. Та же рука, что извлекла нас из них, в них же опять погружает, – говорил граф Сегюр, выражая в этих словах тогдашние чувства лучших людей. – Я был уничтожен. Прежде я гордился великим человеком, которому служил; он был для меня совершенный герой, а теперь…» Духу не хватает ему кончить: «теперь, вместо героя, злодей». Наполеон на трех различных стадиях

Скоро Бонапарт получил награду за убийство – три с половиной миллиона голосов в ответ на предложение Сената объявить его императором: перешагнул на престол через неостывший труп Энгиена.

Так совершился древний ужас Горгоны – человеческое жертвоприношение: жрец вонзил нож в сердце жертвы и «увидел солнце, – какое лучезарное!».

«Эти люди хотели убить в моем лице Революцию, – говорит император своим приближенным. – Я должен был защищать ее. Я показал, на что она способна». – «Когда все успокоится, меня уже не будут осуждать – поймут, что эта казнь есть великое политическое действие». – «Я заставил навсегда замолчать и якобинцев, и роялистов». [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 1. P. 347, 389, 390.]

«Знаете, государь, лучше не будем об этом говорить, а то я заплачу…» – сказала ему однажды г-жа Ремюза, когда речь зашла о герцоге. «А-а, слезы! Единственный довод женщины!» – рассмеялся он. [Ibid. P. 388.]

Страшнее всего, что он как будто в самом деле не понимает, о чем идет речь; ребенок понял бы, а он, умнейший из людей, не понимает.

«Как? Эту старую историю все еще помнят? Что за ребячество», – удивляется он в 1807 году, когда узнает, что в Петербурге помнят герцога Энгиенского. [Ibid. T. 3. P. 273.]

Но он и сам хорошо помнит его и, чем дальше, тем лучше. Сколько крови на войне пролил и забыл, а эту помнит.

Нельзя сказать, чтобы он никогда в злых делах своих не каялся или, по крайней мере, не сознавался в них. «Я очень плохо принялся за это дело, – говорит он о захвате испанского престола, причине той бесконечной войны, в которой увяз, как в болоте, так что уже никогда не мог из нее выбраться. – Слишком очевидной оказалась безнравственность, несправедливость слишком циничной, и все это имеет вид прескверный, потому что я потерпел неудачу; покушение, благодаря этому, представилось во всей своей безобразной наготе… Язва эта меня изъела». И еще, по другому поводу: «Нельзя возлечь на ложе царей, не заразившись от них безумьем; обезумел и я». [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 423, 441.]

В злых делах своих кается, а в этом, злейшем, нераскаян; так, по крайней мере, кажется ему самому и другим.

На Св. Елене Лас Каз не смеет заговорить о герцоге Энгиенском и краснеет, когда Наполеон сам заговаривает спокойно, с «неотразимой и увлекательной логикой». «Когда он кончил, я

был изумлен, ошеломлен… Я уверен, что он сейчас простил бы его». Так в беседах наедине, а при посторонних свидетелях «вдруг все изменялось: он говорил, что дело это оставило в нем сожаление, но не угрызение, ни даже тени сомнения (scrupule)». [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 260.] А все-таки, в мыслях его, что-то двоится. «Этот мерзавец Талейран передал мне письмо герцога только через два дня после его смерти». [O'M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 1.] А если бы раньше – «я, конечно, простил бы его», говорит однажды; а в другой раз, «как бы обращаясь к потомству»: «Если бы это надо было снова сделать, я сделал бы снова». [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 267.] Видимо, сам хорошенько не знает, что сделал бы – казнил или простил.

За три дня до смерти, уже в наступающих муках агонии, потребовал запечатанный конверт с завещанием, вскрыл его, прибавил что-то потихоньку от всех, опять запечатал и отдал. Вот что прибавил: «Я велел арестовать и судить герцога Энгиенского, потому что это было необходимо для безопасности, блага и чести французского народа, в то время когда граф д'Артуа, по его собственному признанию, содержал шестьдесят убийц в Париже. В подобных обстоятельствах я снова поступил бы так же». [Ibid. T. 4. P. 641.] Не значит ли это: «Перед лицом смерти, лицом Божьим, я невинен»? Да, значит, – но и еще что-то, совсем другое.

«Вопреки ему самому, я верю в его угрызения: они преследовали его до гроба. Терзающее воспоминание внушило ему прибавить эти слова в завещании», – говорит канцлер Паскье, хорошо знавший Наполеона и близкий свидетель этого дела. [Pasquier E. D. Histoire de mon temps. T. 1. P. 103.] Кажется, так оно и есть: эта мука терзала его всю жизнь, с нею он и умер – угрызение без раскаяния.

Проще и лучше всех говорит об этом лорд Голланд, истинный друг Наполеона: «Надо признать, что он виновен в этом преступлении; оправдать его нельзя ничем: оно останется на памяти его вечным пятном». [Holland H. R. Souvenirs des cours de France… P. 169.] Но, если бы спросили: «Наполеон совершил злодейство; значит, он злодей?» – лорд Голланд ответил бы, как отвечает вся его книга о Наполеоне: «Нет, хороший человек».

Может ли хороший человек совершать «злодейства»? Прежде чем ответить, пусть каждый из нас вспомнит, нет ли и в его жизни «Энгиена»? Может быть, не худшие, а лучшие из нас ответят: «Есть». Да, у каждого из нас – свой Энгиен – чумное пятно, которым проступает на всякой душе человеческой то, что христиане называют «первородным грехом»: у маленьких – маленькое, у средних – среднее, а у больших – большое. Было оно и у кроткого царя Давида: Урия Хеттеянина кровь. Между Давидом и Наполеоном разница, конечно, большая: тот покаялся, а этот каяться не захотел, или не мог, или сам не знал, что кается.

«Все меня любили, и все ненавидели». Но никто никогда не жалел, а может быть, в этом-то он больше всего и нуждался, потому что, как это ни странно сказать, он был, при всем своем величии, жалок. Чтобы это понять, стоит только вспомнить: самый последний из людей может молиться, а он не мог.

А все-таки – «хороший человек». Это знает бедный Тоби, садовник на Св. Елене, старый малайский раб. Очень хотелось Наполеону выкупить его из рабства. Но губернатор острова, Гудсон Лоу, не позволил. Наполеон жалел беднягу Тоби, может быть, потому, что чудилось ему в судьбе их что-то общее: оба они были жертвы европейской «цивилизации». Тоби родился свободным, диким, а европейцы «просветили» его, обманули, увезли с родины и продали в рабство. Полюбил и Тоби Наполеона: не называл его иначе как «добрый господин», good gentleman, или еще лучше: «добрый человек», good man. [O'M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 1. P. 17; Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 305; Abell L. E. Napol?on a Sainte-H?lene: Souvenirs de Betzy Balcombe. P., 1898. P. 62.]

Это знают и чумные в Яффе. 11 марта 1799 года, во время Сирийской кампании, молодой генерал Бонапарт, чтобы устыдить перетрусивших врачей и успокоить солдат – доказать им,

что чума не так страшна, как думают, посетил больницу чумных, долго ходил между ними, утешал их, брал за руку и одного помог перенести. [Вопреки сомнению Бурриенна (1, 372), это подтверждают не только граф Дор, хирург Ларрей, доктор Дженетт, но и сам Наполеон в беседе с О'Меара (3, 210).]

Знают это и те раненые, которым, при отступлении от Акры, в страшной Сирийской пустыне, где люди издыхают от зноя, генерал Бонапарт велит отдать всех лошадей, мулов и верблюдов, и свою лошадь тоже; а когда конюх его, не поверив этому, спрашивает, какую лошадь ему оседлать, он бьет его хлыстом по лицу и кричит: «Все пешком, все, черт побери, и я первый».

Знают это и те французские крестьяне, которые, на его последнем пути из Ниора в Рошфор – на Св. Елену, – бегут за ним и кричат сквозь слезы: «Виват император! Останьтесь, останьтесь с нами». Был сенокос, и высокие стога напоминали им большие дренажные работы, исполненные, по приказанию Наполеона, в 1807 году и превратившие всю эту болотистую, некогда бесплодную и лихорадочную местность в цветущий луг. «Видите, как народ благодарен мне за добро, которое я ему сделал!» – говорит он спутникам. [Houssaye H. 1815. T. 3. P. 356.] Да, все пройдет, забудется, а это останется – осушенное болото – «устроенный хаос».

Знают это и те тысячи людей, которые умирают за него на полях сражений с восторженным криком: «Виват император!» Знают или чувствуют, что он хочет добра, потому что, воистину, главная воля его – всемирное соединение людей – добро величайшее.

«Наполеон весь жил в идее, но не мог уловить ее своим сознанием – опять, как уже столько раз, вспоминаются мудрые слова Гёте. – Он отвергает вообще все идеальное и отрицает его действительность, а между тем усердно старается его осуществить». Это и значит: мысли и слова его могут быть злыми, но воля – добрая. Он лучше, чем сам о себе говорит и думает: зло снаружи, добро внутри.

Вот почему не надо слишком верить этому неподвижному, неумолимому, как из бронзы или мрамора изваянному, лицу. «Я мог бы узнать о смерти жены, сына, всех моих близких, не изменяясь в лице; оно казалось бы равнодушным и бесчувственным, но, когда я остаюсь один, я снова человек и страдаю». [O'M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 3. P. 363.] Стыдливость страдания, стыдливость добра – они почти всегда связаны – свойственны ему в высшей степени. «Во мне два человека: один – головы, другой – сердца». [Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 346.] «Не думайте, что сердце у меня менее чувствительно, чем у других людей; я даже добр, но, с самого раннего детства, я подавлял в себе эту сторону души, и теперь она во мне заглохла». [Fournier A. Napol?on I. T. 2. P. 223.] Может быть, не сам подавлял, а жизнь: в черной работе ее, душу, себе намозолил, как руки, и жестокой сделалась она, но не заглохла.

«Первым делом его после всякого сражения была забота о раненых, – вспоминает барон Фейн. – Сам обходил поле, приказывал подбирать своих и чужих одинаково; сам наблюдал, чтобы делались перевязки тем, кому они еще не были сделаны, и чтобы все, до последнего, перенесены были на амбулаторные пункты или в ближайшие госпитали». – «Некоторых поручал особо своему лейб-хирургу Иван (Ivan) и потом заботливо расспрашивал его о малейших подробностях в ходе лечения, о свойствах раны, о надежде на выздоровление и об опасности – обо всем хотел знать. Благодаря этим сведениям, много делал добра потихоньку – один Бог знает сколько». – «Походный кошелек его был точно с дырою: так щедро сыпалась из него милостыня». [Fain A. J. E. M?moires. P. 253–257.]

На поле Бородинского сражения лошадь Наполеона задела копытом раненого, и тот зашевелился, простонал. Император, в гневе, закричал на штабных, начал их бранить последними словами за то, что они не заботятся о раненых. «Да ведь это русский, Ваше

Величество», – заметил кто-то, чтобы успокоить его. «Что из того? – воскликнул он в еще большем гневе. – Разве вы, сударь, не знаете, что после победы нет врагов – все люди!» [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 4. P. 403.]

Обходя поле Линьийского сражения, за двое суток до Ватерлоо, он увидел прусского офицера, тяжелораненого, и подозвал бельгийского крестьянина. «Веришь в ад?» – «Верю». – «Позаботься же об этом раненом, если не хочешь попасть в ад; я тебе его поручаю. Иначе будешь гореть в аду. Бог хочет, чтоб мы были милосердными». [Houssaye H. 1815. T. 2. P. 229.] Это не молитва, но стоит, пожалуй, многих молитв.

Вспомнил однажды на Св. Елене, как, лет двадцать назад, в первую Итальянскую кампанию, после какого-то большого дела – какого именно, уже забыл, – обходя с несколькими спутниками, в тихую, лунную ночь поле сражения, с которого еще не успели подобрать убитых, вдруг увидел собаку, вывшую над трупом своего господина; когда они подошли, она бросилась к ним; потом опять отбежала к трупу и начала лизать его лицо; и опять к ним; и так много раз, все воя, «как будто призывая на помощь или требуя мщения». – «Никогда ничто ни на одном поле битвы не производило на меня такого впечатления…» «Этот человек, – подумал я, – всеми покинут, кроме собаки. Какой урок дает людям природа в лице этого животного. В самом деле, что такое человек и какая тайна в чувствах его? Я, командовавший в стольких сражениях и спокойно смотревший на гибель стольких людей, был потрясен этим жалобным воем собаки». [Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 312.]

Воет и сам, как собака, как Ахиллес над Патроклом, – над маршалом Данном, храбрым из храбрых, когда под Эсслингом раздробило ему обе ноги ядром. И ночью, один, в императорской ставке, когда ему подали ужин, ест через силу и плачет, и слезы капают в суп. [Marbot M. M?moires. P., 1891. T. 2. P. 203, 210; S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 3. P. 358; Las Cases E. Le memorial. T. 3. P. 222.]

«Страшное зрелище! – повторяет, обходя Эйлауское поле. – Вот что должно бы внушить государям любовь к миру и омерзение к войне». [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 3. P. 169.] Лжет, говорит слова для потомства? Это легко решить – и ошибиться легко.

Но вот уже не слова, а дело. В 1815 году, перед вторым отречением, знал, что, стоит ему только сказать слово, подать знак, чтобы вспыхнула гражданская война и если не Франция, то, может быть, он спасся бы. Но не захотел, сказал: «Жизнь человека не стоит такой цены», – и подписал отречение. [Houssaye H. 1815. T. 3. P. 41.]

Если на одну чашу весов положить это, а на другую – те страшные слова: «Я плюю на жизнь миллиона людей», то какая чаша перевесит?

Страшные слова вообще любил говорить – на свою же голову: жадно слушают их два паука, Талейран и Меттерних, как жужжание мухи, попавшейся к ним в сеть; слушает и умный Тэн, и добрый Толстой, и сорок тысяч судей: «Он мал, как мы, он мерзок, как мы!»

«Пусть он действительно говорил: „Когда моя великая политическая колесница несется, надо, чтобы она пронеслась, и горе тому, кто попадает под ее колеса!“ – это только слова для сцены, – замечает барон Фейн, – я слышу великого актера, но лучше узнаю Наполеона, когда он говорит: „Пусть ночь пройдет по вчерашней обиде“. Или еще: „Нельзя сказать, чтобы люди были в корне неблагородны“. А ведь это на Св. Елене сказано!» [Fain A. J. E. M?moires. P. 291.]

«Он кричал, но не ударял, – вспоминает де Прадт. – Я сам слышал, как он сказал однажды, после сильнейшей вспышки гнева на одного из своих приближенных: „Несчастный, он заставляет меня говорить то, чего я не думаю и не подумал бы сказать“. Через четверть часа он снова призывал тех, кого удалил, и возвращался к тем, кого обидел: я это знаю по опыту». [Ibid. P. 301.]

«Я только вот до этого места сержусь», – говорил Наполеон де Прадту, проводя ладонью по шее. [Fauvelet de Bourrienne L. A. M?moires sur Napol?on. T. 2. P. 139.] «Знайте, что человек, истинный человек, не способен к ненависти, – говорил он Лас Казу. – Гнев и досада его не идут дальше первой минуты… это только электрическая искра… человек, созданный для государственных дел, для власти, не смотрит на лица; он видит только вещи, их вес и последствия». «Кажется, он мог бы сделаться союзником злейших врагов своих и жить с человеком, который причинил ему величайшее зло», – удивляется Лас Каз.

Сам Наполеон думает, что он так легко прощает людей только из презрения, но, может быть, и не только.

«Вы не знаете людей, – говорит он союзникам своим на Св. Елене, когда те негодуют на его бесчисленных предателей. – Знать, судить людей трудно. Знают ли они сами себя? И потом, я был больше покинут, чем предан; слабости вокруг меня было больше, чем измены: это – отречение Петра; раскаяние и слезы могут быть близки к нему». И он заключает едва ли не самым добрым и мудрым из своих слов: «Большая часть людей не дурна». [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 243; T. 1. P. 273–274.]

В нашей «христианской» цивилизации нет слова для того, что древние называют: virtus. Это не наша «добродетель», а скорее доблесть, мужество и вместе с тем доброта как высшая сила и твердость духа. Именно такая доброта у Наполеона. На этом «святом камне» – Pietra-Santa, как называлась одна из его корсиканских прабабушек, – зиждется он весь.

Благодарность – неугасимая память добра, непоколебимая верность добру – есть добродетель мужественная по преимуществу: вот почему она так сильна в Наполеоне.

«Я презираю неблагодарность, как самый гнусный порок сердца», – говорит он из глубины сердца. Благодарность – доброта затаенная – теплота глубоких вод. Вот почему он скрывает ее целомудренно: «Я не добр; нет, я не добр, я никогда не был добрым, но я

надежен ». [Holland H. R. Souvenirs des cours de France… P. 198.]

Завещание Наполеона – один из прекраснейших памятников этой человеческой «надежности».

Всех, кто сделал ему в жизни добро, вспоминает он; воскрешает в памяти своей давно умерших; сам умирающий, благодарит их в детях и внуках и все боится, как бы не забыть кого-нибудь. За десять дней до смерти, уже в страшных муках конца, пишет собственноручно четвертое прибавление к завещанию, «потому что в прежних статьях мы не исполнили всех обязательств». Следуют тринадцать новых статей. «Сыну или внуку генерала Дюгамье, бывшего главнокомандующего Тулонской армией – сто тысяч франков – знак памяти о том уважении, привязанности и дружбе, которые оказывал нам этот доблестный и бестрепетный генерал. – Сто тысяч франков – сыну или внуку Распарена, члена Конвента, за то, что он одобрил наш план Тулонской осады. – Сто тысяч франков – вдове, сыну или внуку нашего адъютанта Мьюрона, который был убит рядом с нами, под Арколем, покрывая нас телом своим».

А в одной из первых статей – сто тысяч франков главному полевому хирургу, Ларрею, потому что «это самый добродетельный человек, какого я знал». [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 658–659, 642.] Добрый знает доброго.

Что старую кормилицу свою, Камиллу Илари, жену бедного корсиканского лодочника, он благодетельствует всю жизнь – неудивительно; удивительнее то, что выплачивает из собственной шкатулки тайную пенсию кормилице короля Людовика XVI и двум бедным старушкам, сестрам Максимилиана Робеспьера. [Fain A. J. E. M?moires. P. 95.] Так просто и чудно примирил он в сердце своем палача с жертвою.

Сердце человеческое в малом чаще застигается врасплох и познается больше, чем в большом; хуже иногда виден герой сквозь триумфальные ворота, чем сквозь замочную скважину.

«Я могу говорить о нем только полуодетом, и в этом виде он почти всегда был добр», – вспоминает камердинер Наполеона Констан. [Constant de Rebecque H. B. M?moires. T. 1. P. 7.]

Как-то раз, в одной из зарейнских кампаний, после нескольких бессонных ночей, Констан глубоко заснул в императорской ставке, в креслах государя, за письменным столом его, с бумагами и военными картами, положив руки на стол и опустив на них голову. Вдруг вошел Наполеон с маршалом Бертье и мамелюком Рустаном.

Эти двое хотели разбудить спящего, но император не позволил им и, так как другого стула в комнате не было, присел на край своей походной койки, продолжая разговор с Бертье о завтрашней диспозиции. Понадобилась карта. Наполеон подошел к столу и начал вытаскивать ее из-под локтя Констана, потихоньку, так, чтобы его не разбудить. Но тот проснулся, вскочил и залепетал извинения.

«Господин Констан, я очень жалею, что вас разбудил. Простите меня», – сказал Наполеон с доброй улыбкой. [Ibid. T. 4. P. 20.]

Многие солдатские грубости его – розовое платье Жозефины, нарочно облитое чернилами за то, что оно ему не понравилось, и даже знаменитый, хотя не очень достоверный, удар коленом в живот философу Вольнею за глупое кощунство – все это можно простить Наполеону за эту царственную вежливость.

Свитский паж, молоденький мальчик, скакал однажды верхом, рядом с дверцей императорской кареты, в сильный дождь. Выходя из кареты, Наполеон увидел, что мальчик промок до костей, велел ему остаться на ночлег и много раз потом спрашивал, не простудился ли он. Паж написал об этом матери, и та, читая письмо его, может быть, узнала кое-что о Наполеоне, чего не знают сорок тысяч судей. [Levy A. Napol?on intime.]

Доктору О’Меаре на Св. Елене сделалось дурно, и он упал без чувств к ногам Наполеона, а очнувшись, увидел, что император, стоя на коленях, нагнулся к нему, заглядывает в лицо его и мочит ему виски одеколоном. «Никогда не забуду той нежной тревоги, которую я увидел в глазах его», – вспоминает О’Меара. [O’M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 1. P. 217.]

Самое доброе в людях – самое простое, детское. «Злые редко любят детей, а Наполеон их любил», – вспоминает Бурръенн. [Fauvelet de Bourrienne L. A. M?moires sur Napol?on. T. 2. P. 150.]

Сидя на полу, Первый Консул играет с маленьким Наполеоном, племянником своим, сам как маленький, и в эту минуту лицо у него настоящее, а через минуту, выходя к английскому посланнику, лорду Витворту, чтобы накричать на него, напугать разрывом дипломатических сношений, он надевает страшную маску. [R?musat C.-?. G. de. M?moires. P., 1893.]

«Я провел эти два дня у маршала Бессьера; мы играли с ним, как пятнадцатилетние мальчики», – пишет он в 1806 году, между Аустерлицем и Иеною.

Четырнадцатилетняя девочка Бетси Балькомб, хозяйская дочка в Бриарской усадьбе на Св. Елене, где Наполеон провел первые месяцы своего заточения, наслушавшись о нем с детства как о людоеде-чудовище, особенно лакомом до маленьких девочек, очень боялась встретиться с ним; но, встретившись, привыкла к нему через несколько дней так, что играла, шалила с ним, как с ровесником. И через много лет, уже старухой, не могла иначе вспомнить о нем, как о маленьком мальчике, товарище своих детских игр. [Abell L. E. Napol?on a

Sainte-H?lene. P. 21, 108.]

Генерал Гурго, один из его добровольных союзников, там же, на Св. Елене, задумал покинуть императора, но сказать ему об этом стыдился. Однажды, гуляя по саду, Наполеон увидел на дороге булавку, поднял ее и подал Гурго с детской улыбкой: «Вот, Гурго, Гургончик, булавочка, – я вам ее дарю!» Подарить острый предмет – значит поссориться. Но этого и хочет Гурго. «Что делаешь, делай скорей», – как будто говорит ему Наполеон. [Gourgaud G. Sainte-H?lene. T. 2. P. 40, 450.]

Грусть, упрек, ласка, насмешка, прощение – тут все вместе, и все детское. Но ничего этого не понял Гурго, как ничего не понимают в Наполеоновой детскости безнадежно взрослый Тэн и безнадежно тоскующий о детстве Толстой.

«Если не обратитесь и не станете как дети…» – это значит: детское – Божье. Вот почему в герое, человеке – Бог и дитя вместе.

Таково зло и добро в Наполеоне. Что же он сам – злой или добрый? Сказать: совсем «святой», так же грубо-неверно, как сказать: «злодей». Зло и добро в нем борются. Но и в этой борьбе, как во многом другом, он существо не нашей породы, тварь иного творения – «человек из Атлантиды». Сердце его – чаша смешения: капля какой-то жертвенной крови, еще не голгофской, упала в какую-то амброзию, еще не олимпийскую, и закипело смешение, брожение неистовое – то, что мы называем «Наполеоновым гением». Но, чтобы сказать о нем просто «злодей», надо быть

нами – детьми самого безбожного из всех веков.

Хула на героя, Человека, – хула на человечество. Вот уже сто лет как мы хулим Наполеона. Не пора ли наконец сказать: самый оклеветанный из всех героев – он.

Мертвое лицо его – одно из прекраснейших человеческих лиц. [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 564; Abrant?s L. S.-M. M?moires. T. 2. P. 304.] Наполеон на смертном ложе – рисунок английского капитана Мерриета (Marryat), сделанный 5 мая 1821 г., в самый день смерти императора. Ясное и чистое, как небо. Видно по этому лицу, что если не в жизни, то в смерти он победил зло добром, исполнил «меру человеческую, какова мера и Ангела».

Спящий полубог и ангел вместе; павший с неба на землю, херувим силы и света. А мы его не узнали и вот что сделали с ним!

Работник

Соединение противоположностей – так можно определить гений Наполеона; так он и сам определяет его.

«Редко и трудно соединение всех качеств, нужных для великого генерала. Самое желательное, что сразу выдвигает человека на первое место, это – равновесие ума или таланта с характером или мужеством». Это значит, по выражению Наполеона: «

быть квадратным в высоте, как в основании». [Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 35.] Основание квадрата – мужество, воля, а вышина его – ум. «У Бонапарта ум в равновесии с волей. La partie intellectuelle balance la volunt?», по глубокому слову аббата Сийэса. [Vandal A. L’avenement de Bonaparte. P., 1902. T. 1. P. 261.] Это равновесие ума и воли есть «квадрат гения».

Все мы, люди современной европейской цивилизации, более или менее страдаем болезнью Гамлета – отрывом ума от воли, созерцания от действия; Наполеон, один – среди больных, здоровый. В нас во всех две души, дневная и ночная, расторгнуты; в нем одном соединены. Все мы вкусили только от древа познания – и умираем; он один вкусил от древа познания и жизни – и живет. Все мы умножаем наш ум насчет нашей воли; он один соединяет бесконечный ум с бесконечной волей. Все мы – четырехугольники широкие, низкие в воле или высокие, узкие в уме; он один – совершенный квадрат.

Как все существо его соединяет эти два противоположные начала, так и каждое из них в отдельности – воля и ум – соединяет в себе противоположные качества.

Память и воображение – вот первая в нем черта противоположностей умственных; обращенная к будущему, динамика воображения, и обращенная к прошлому, статистика памяти.

«Память у меня изумительная. В молодости я знал логарифмы больше чем тридцати – сорока чисел; знал не только имена всех офицеров во всех полках Франции, но и места, где набирались эти части, и где каждая из них отличилась, и даже какого политического духа каждая». [Gourgaud G. Sainte-H?lene. T. 2. P. 19.]

Проверяя впоследствии, уже императором, военные отчеты (etats de situations) о сотнях тысяч людей, от Данцига до Гибралтара, он тотчас находил малейшие неточности: «Почему на острове Влахерне пятнадцать человек жандармов сидят без оружия?» – «Почему не упомянуты два четырехдюймовых орудия, находящихся в Остенде?» [Levy A. Napol?on intime. P. 488.] В 1813-м вспоминает, что три года назад отправил в Испанию два эскадрона 20-го конно-егерского полка. Помнит все военные отчеты почти наизусть, так что мог бы заблудившемуся в пути рядовому указать, по номеру его полка, местонахождение корпуса. [Pradt de. Histoire de l’ambassade dans le grand duch? de Varsovie en 1812. P. 94; Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. P. 92.]

Но память для него – только неисчерпаемая каменоломня, где воображение добывает камень для своего исполинского зодчества.

«Император – весь воображение», – замечает де Прадт. [Pradt de. Histoire de l’ambassade…] Можно бы сказать: «и весь память», так же как вообще весь – то умственное качество, какое в данную минуту нужно ему, и иногда противоположное тому, которым, в минуту предшествующую, он тоже был весь. Ум его – многовидный Прометей, во все из всего оборачивающийся оборотень.

«Необычайное воображение одушевляло этого холодного политика, – говорит Шатобриан. – Разум его осуществлял идеи поэта. Он, конечно, не сделал бы того, что сделал, если бы при нем не было Музы». [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 117.]

«Я иногда верю, что возможно все, что этому странному человеку взбредет в голову, а при его воображении как знать, что в нее взбредет», – пророчески угадывает Жозефина при первом знакомстве с ним. [Ibid. P. 34.]

Воображение делает его таким же великим поэтом в действии, как Эсхил, Данте и Гёте – в созерцании; музыкантом всемирно-исторической симфонии, новым Орфеем, чья песнь повелевает камням строиться в стены Града.

«Я люблю власть, как художник… как скрипач любит скрипку… Я люблю власть, чтобы извлекать из нее звуки, созвучья, гармонии». [Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 246.] И из всех гармоний величайшую – всемирное соединение людей.

Знание как творческое действие и знание как чистое созерцание – вот вторая, в уме его,

черта противоположностей. Находить Архимедову точку опоры, волевую, действенную, как рычага знания, умеет он, как никто. И вместе с тем радость чистого созерцания так понятна ему, что он иногда сомневается, не был ли рожден великим ученым и не изменил ли своей настоящей судьбе, покинув созерцание для действия.

«Вот для меня новый случай пожалеть, что, увлеченный силой обстоятельств, я пошел по иному, столь далекому от науки, пути», – пишет он Лапласу, принимая от него посвящение «Небесной Механики» и восхищаясь ее «совершенною ясностью». И в наступающих ужасах 12-го года, из Витебска, благодарит его за присылку «Теории вероятностей» – «одного из тех сочинений, которые усовершенствуют математику, эту первую из наук». [Chuquet A. M. La jeunesse de Napol?on. T. 1. P. 228.]

Тайную музыку чисел он чувствует так же, как Пифагор. В трудные минуты жизни читает для успокоения таблицы логарифмов, как молитвенник. [Holland H. R. Souvenirs des cours de France, P. 200.]

Возвращаясь из Египетской кампании во Францию, на фрегате «Мьюрон», когда спутники его, в смертельной тревоге, ожидают с минуты на минуту появления английской эскадры, которая давно уже гонится за ними, генерал Бонапарт спокойно беседует с членами Института Бертоллэ и Монжем о химии, физике и математике. [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 1. P. 65.]

В 1815-м, после второго отречения в Мальмезоне, император говорит Монжу: «Праздность для меня жесточайшая мука. Без империи, без армии я вижу теперь для души одну пищу – знание… Я хочу начать новую жизнь, чтобы оставить потомству достойные меня научные труды и открытия… Мы с вами изъездим весь Новый Свет, от Канады до мыса Горна, и, в этом огромном путешествии, исследуем все великие физические явления земного шара». Никогда еще, казалось Монжу, Наполеон не был так велик. Но слышатся далекие гулы орудий, и он снова бежит к своим военным картам и накалывает на них булавки; снова мечтает о войне – действии. [Houssaye H. 1815. T. 3. P. 215.] Так и не узнает до конца, что ему ближе – созерцание или действие.

Целыми часами, в одной из покинутых комнат лонгвудского дома на Св. Елене, забывая все свои беды и муки, наблюдает жизнь муравьев; восхищается их умом и упорством в отыскивании спрятанного сахара: «Это ум, это больше, чем инстинкт, это настоящий ум… образец государственной мудрости. О, если бы такое единодушие людям!» [Antommarchi F. Les derniers moments de Napol?on. T. 1. P. 263.] В этой муравьиной мудрости, как в том жалобном вое собаки над трупом своего господина, он чувствует, что тварь может быть ближе человека к Творцу.

Целыми днями, уже больной, почти умирающий, наблюдает жизнь рыб в лонгвудском садке – особенно их любовные игры и войны; а когда от какой-то неизвестной причины, повальной болезни или отравы, начинают они засыпать, не шутя огорчается, видит в этом дурную примету: «Значит, и я умру». [Ibid. P. 301.]

Раньше, когда еще был здоров, подолгу рассматривал географический атлас Лас Каза с планисферою, беседовал о новых геологических гипотезах, о неизвестных причинах циклонов и ураганов, о постоянных воздушных и водяных течениях – этих могучих дыханиях Земли, не мертвой для него глыбы материи, а живого тела – великого Животного, Zoon, так же как для древних ионийских философов. [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 107.] Да, после древних, может быть, только в Гёте и Винчи чувствуется такая же, как в Наполеоне, близость человеческого сердца к сердцу Матери-Земли.

С природой одною он жизнью дышал,

Ручья разумел лепетанье,

И говор древесных листов понимал,

И чувствовал трав прозябанье;

Была ему звездная книга ясна,

И с ним говорила морская волна.

Баратынский Е. А. На смерть Гёте (1832)

Синтез и анализ – вот третья в нем черта умственных противоположностей. Синтез величайший, величайшая гармония Орфеевой скрипки – власти – есть всемирное соединение людей. Широта этого синтеза соответствует глубине анализа.

«Я всегда любил анализ, и если бы по-настоящему влюбился, то разложил бы и любовь мою по частям. „Зачем“ и „почему“ – такие полезные вопросы, что, чем их больше задаешь себе, тем лучше». [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 1. P. 28.] «Геометричность ума всегда побуждала его разлагать все – даже чувства свои, – вспоминает г-жа Ремюза. – Бонапарт – человек больше всего размышлений над причинами человеческих действий. Вечно напряженный в малейших действиях своей собственной жизни, постоянно открывая тайную причину всех своих душевных движений, он никогда не мог ни объяснить, ни понять ту естественную беспечность, которая заставляет нас действовать иногда без всякой цели и умысла». [Ibid. P. 103.] Последнее, впрочем, неверно: мотыльковая беспечность светских дам, вроде самой г-жи Ремюза, Наполеону, разумеется, чужда; но это не значит, что ему также чужда непроизвольность, неумышленность «ночного сознания», интуиции.

Мера и безмерность – такова четвертая, в уме его, черта противоположностей.

Солнечный гений всего средиземного племени, от Пифагора до Паскаля, – геометрическая ясность, точность, простота, Аполлонова мера – есть и гений Наполеона. Стиль его напоминает стиль Паскаля, замечает Сэнт-Бев; надо бы прибавить: и стиль Пифагора: «точно острием циркуля вырезанные слова». [Levy A. Napol?on intime. P. 447.]

Как бы числовым строем устрояет он и хаос революции, геометрической мерой умеряет его. «Я ввел всюду одинаковую простоту, ибо все, что добро, все, что красота, есть плод простого и единого замысла». [Antommarchi F. Les derniers moments de Napol?on. T. 1. P. 355.] Эта простота – красота совершенная – как бы солнечный божеский круг, вписанный в человеческий «квадрат» гения.

И рядом с Аполлоновой мерой – безмерность Дионисова. Великое – прекрасное борется в нем с безмерным – чудовищным. «Границы человеческие были в нем превзойдены, – говорит Сегюр о кампании 12-го года. – Гений его, желая подняться над временем и пространством, как бы изнемогает в пустоте. Сколь ни велика была мера его, он ее нарушил». [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 5. P. 198.]

Это безмерное, напоминающее зодчество атлантов, титаническое в замыслах его так пугает бедного Декрэ: «Император сошел с ума, окончательно сошел с ума! Вот помяните слово мое: он когда-нибудь отправит нас всех к черту, и все это кончится ужасной катастрофой». [Marmont A. F. L. M?moires. T. 3. P. 337.] Или, как сам Наполеон говорит: «Невозможность есть только пугало робких, убежище трусов». [Houssaye H. 1815. T. 3. P. 616.] Тут уже в самом деле безмерное похоже на безумное; тут геометрия трех измерений – только путь к четвертому; квадрат человеческого гения становится основанием божественной пирамиды,

заостряющейся в одно острие, в одну точку: «Я – Бог».

Впрочем, и эту титаническую безмерность он в конце концов побеждает божественной мерой, но уже в ином порядке – в жертве.

И в воле его, как в уме, – то же соединение противоположностей, тот же квадрат гения.

Мир и война. Работник и Вождь – таковы два «противных – согласных» лица этой воли. На войне – внезапные, как молния, разряды ее, а в мире – медленное усилье – капля, точащая камень.

Трудно решить, какое из двух слов лучше выражает волю его, – это, военное: «Надо ставить на карту все за все» [Fauvelet de Bourrienne L. A. M?moires sur Napol?on. T. 2. P. 387. «Il faut jouer le tout pour le tout»] или то, рабочее: «Рад бы отдохнуть, да запрягли вола – паши!» [«J'aimerais plus repos; mais le boeuf est attel?, il faut qu'il labour».] Трудно решить, где он больше герой – в величье побед или в смирении труда; в огне сражений, когда летит подобно орлам своих знамен, или в затишье работы, когда влачится, как медленный вол.

«Работа – моя стихия; я создан для нее. Меру моих ног, меру моих глаз я знаю; но меры моей работы я никогда не мог узнать». [Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 523.] – «Я всегда работаю: за обедом, в театре; просыпаюсь ночью, чтобы работать. Я сегодня встал в два часа ночи, сел на диван у камина, чтобы просмотреть военные отчеты, поданные мне накануне вечером; нашел в них двадцать ошибок и поутру отослал о них замечания министру; тот сейчас исправляет их в своей канцелярии». [Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 250–251.]

Трижды в месяц подаются ему отчеты министерства финансов, целые книги в восьмую долю листа, наполненные столбцами цифр, и он проверяет их так тщательно, что находит ошибки в несколько сантимов. Каждые две-три недели просматривает отчеты военного министерства, составленные тоже в виде книжек: номерные, послужные, дивизионные, корпусные, артиллерийские, пехотные, инженерные, рекрутские, иностранных армий и проч. и проч. [Fain A. J. E. M?moires. P. 77–78.] Он читает их жадно: «В чтении военного отчета я нахожу больше удовольствия, чем молодая девушка – в чтении романа». [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 375.] Иногда восхищается: «Этот отчет так хорошо составлен, что читается как прекрасная поэма!» [Levy A. Napol?on intime. P. 488.]

И все это складывается в уме его правильно, по отделениям, как мед в сотовых ячейках, или прозаичнее – он любит прозу, – как «дела в ящиках конторского шкафа». – «Если я хочу кончить одно дело, я закрываю тот ящик, где оно лежит, и открываю другой, так что дела никогда не смешиваются, не затрудняют и не утомляют меня. А когда я хочу спать, я закрываю все ящики и тотчас засыпаю». [Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 549.]

Люди слабы, потому что рассеянны; гений есть внимание, а внимание – воля ума. Наполеон обладает этою умственной волей в высшей степени. «Сила и постоянство внимания – вот что отличает ум Бонапарта, – замечает член Государственного Совета Редерер. – Он может заниматься по восемнадцати часов одной и той же работой или различными, и при этом я никогда не видел, чтобы ум его ослабевал или утрачивал гибкость даже в телесной усталости, в самом крайнем напряжении физических сил, даже в гневе; я никогда не видел, чтобы одно дело отвлекало его от другого. Не было человека более поглощенного тем, что он делал сейчас». [Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 95–96.] – «Изумительна гибкость ума его, которая позволяет ему переносить мгновенно все свои способности, все свои душевные силы и сосредоточивать их на том, что в данную минуту требует внимания, все равно, мошка это или слон, отдельный человек или целая армия. Пока он чем-нибудь занят, все остальное для него не существует: это своего рода охота, от которой ничто не может его отвлечь». [Pradt de. Histoire de l'ambassade… P. X, 5.]

Люди устают, но не боги и не вечные силы природы; так же неутомим и он.

«Сотрудники его изнемогают и падают под бременем, которое он взваливает на них и которое сам несет, не чувствуя тяжести». [Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. P. 32.] «Будучи Консулом, он иногда председательствовал на частных собраниях секций министерства внутренних дел от десяти часов вечера до пяти утра». – «Нередко в Сэн-Клу он задерживал членов Государственного Совета от десяти часов утра до пяти вечера, с перерывом в четверть часа, и, в конце заседания, казался не более усталым, чем в начале». [Pelet de la Lozere. Opinions de Napol?on sur divers sujets de politique et d'administration, recueilliers par un membre de son conseil d'etat. P., 1833. P. 8.] – «Я мог рассуждать о каком-нибудь деле в течение восьми часов и затем перейти к другому с такою же свежестью ума, как вначале. Еще теперь (на Св. Елене) я мог бы диктовать двенадцать часов подряд». [Gourgaud G. Sainte-H?lene. T. 2. P. 109.] – «Он работает по пятнадцати часов, без еды, без отдыха». [O'M?ara B. E. M?moires. T. 1. P. 29.]

«Однажды, во время консульства, в одном административном совещании, военный министр заснул; несколько других членов едва держались на стульях. „Ну-ка, просыпайтесь, просыпайтесь, граждане! – воскликнул Бонапарт. – Только два часа ночи. Надо зарабатывать жалованье, которое нам платит французский народ“». [Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 96.]

За семьдесят два дня последней Французской кампании люди не понимали, когда он находил время спать и есть.

После страшного Лейпцигского разгрома, 2 ноября 1813-го, выезжает из Майнца, а на следующий день, 3-го, поздно вечером, выходит из кареты на Тюильрийском дворе: от Майнца до Парижа проскакал, нигде не останавливаясь. «Когда он вышел из кареты, ноги у него так затекли, что он едва стоял на них, и лица на нем не было от усталости. Но, наскоро обняв жену и сына, проводит весь остаток ночи с министрами, выслушивая их доклады, диктуя и отдавая распоряжения. Отпускает их в шесть утра, приказав министру финансов возвратиться в полдень: „Захватите, Годэн, отчеты по казначейству, нам нужно над ними поработать вместе как следует“. В эти дни секретарь Наполеона, барон Фейн, говорил графу Лавалетту: „Император ложится в одиннадцать вечера, встает в три часа утра и работает до ночи, не отдыхая ни минуты. Надо, чтобы это кончилось, иначе он себя доконает и меня с собою“». [Levy A. Napol?on intime. P. 51.]

«За три года (консульства) он больше управлял, чем короли за сто лет», – говорит Редерер. [Taine H. A. Les origines de la France contemporaine. P. 3.] «Безмерно то, что я сделал, а то, что я замышлял сделать, еще безмернее», – говорит он сам. [Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 145.]

И эта иступленная, невообразимая, нечеловеческая работа длится, без перерыва, без отдыха, тридцать лет.

«На таких людях не тело, а бронза», – говорит о Наполеоне Раскольников. Нет, тело, и очень слабое, может быть даже слабее, чем у обыкновенных людей.

У Первого Консула такой болезненный вид, что «кажется, он не проживет недели». [Vandal A. L'avenement de Bonaparte. T. 2. P. 257.] И потом, с годами, когда он уже окреп, – простужается от всякого сквозняка; при малейшем свете не может спать; от лишнего куска делается у него рвота; не выносит ни запаха свежей краски, ни тесной обуви; легко, по-женски, плачет и чувствует себя дурно. Вообще, обнаженные нервы. «Нервы у меня в таком состоянии, что, если бы не постоянно медленное кровообращение, я мог бы сойти с ума». [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 1. P. 12.]

Но силою духа он побеждает слабость тела. «С телом моим я всегда делал все, что хотел».

[Antommarchi F. Les derniers moments de Napol?on. T. 1. P. 216.] Есть тело «душевное» и тело «духовное», по апостолу Павлу, «психическое» и «пневматическое». Наполеон – один из величайших «пневматиков», хотя, разумеется, не в нашем, христианском, смысле. Как бы воочию проступает в нем тело духовное сквозь душевное. Кажется, именно здесь начало Наполеоновой «магии».

В мрачных покоях Тюильрийского дворца он живет, как суровый монах. Прирожденный постник, трезвенник. Мало ест: «как мало ни ешь – все много». [Fain A. J. E. M?moires. P. 92.] Пьет только воду с красным вином. Спешит есть: восемь минут на завтрак, пятнадцать – на обед; иногда забывает, что не обедал. Женщин ласкает с такою же поспешностью. «Впрочем, только пять-шесть дней в году женщины имеют над ним какую-нибудь власть, да и то…» – замечает с грустью Жозефина. Кажется, единственная роскошь его – нюхательный табак, лакрица с анисом для освежения рта, одеколон да паровые ванны.

Бессребреник: богатейший из государей в Европе, сам для себя никогда ничего не имел; даже Мальмезон куплен на имя Жозефины. «У каждого свой вкус, – говаривал, – у меня был вкус к постройкам, но не собственности. [Ibid. P. 115.] Выехал из Франции почти ни с чем, так что на Св. Елене вынужден продавать серебряную посуду и похоронен на счет англичан, своих тюремщиков.

Тело – недвижность, дух – движение. Он весь – дух и весь движение, как бы заключенная в человеческом теле молния.

«Можно подумать, что он хочет осуществить perpetuum mobile, – доносит английский комиссар с острова Эльбы. – Любит на прогулках утомлять всех своих спутников до изнеможения. Кажется, пока он на ногах, ему невозможно даже присесть, чтобы что-нибудь написать. После прогулки под палящим солнцем, от пяти утра до трех пополудни, посетив фрегаты и транспорты, три часа еще ездил верхом, „чтобы отдохнуть“, как сам мне сказал». [Houssaye H. 1815. T. 1. P. 153.]

В 1809-м, во время Испанской кампании, проскакал верхом, во весь опор, в 5 часов 35 испанских лье, около 130 километров, от Валладолида до Бургоса; выехал с многочисленной свитой, но по дороге спутники постепенно отставали от него, так что он прискакал в Бургос почти один. [Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 296; S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 3. P. 38; Fain A. J. E. M?moires. P. 290.] На охоте делает по сотне верст. При Кастильоне, в первой Итальянской кампании, загонял, в три дня, пять лошадей.

Так же неутомим пеший. Ходит иногда взад и вперед по комнате пять-шесть часов сряду, не замечая. [Fain A. J. E. M?moires. P. 290.] Любит разговаривать на ходу: «кажется, мог бы так проходить целый день».

И внутреннее движение соответствует внешнему. «С меньшею скоростью несутся по небу тучи, гонимые бурей, чем мысли и чувства его». [Fauvelet de Bourrienne L. A. M?moires sur Napol?on. T. 3. P. 308.] Вот почему он не может писать: рука не поспевает за мыслью; диктует, и всегда с такою скоростью, что кажется, разговаривает со своим корреспондентом: «если бы кто-нибудь подслушал у двери, то подумал бы, что говорят двое». – «Ни за что не повторяет раз продиктованного, и прерывать его тоже нельзя». Эта неповторимость мысли – от ее совершенной органичности, живости. «И диктует тоже почти всегда на ходу; по быстроте шагов можно судить о быстроте мыслей». [Fain A. J. E. M?moires. P. 3, 57.]

Кажется, это человек на земле, больше всего двигавшийся. И такому человеку Св. Елена – «казнь покоя»; дьявол бы для него злейшего ада не выдумал.

«Безмерно то, что я сделал, но что замышлял сделать, еще безмернее». Кто это говорит, – Наполеон, владыка мира? Нет, устроитель сточных труб. «Надо сделать, сколько я сделал, чтобы понять, как трудно делать людям добро… Я истратил около тридцати миллионов на

сточные трубы, и никто мне за это спасибо не скажет». [Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 145.]

Солнце Аустерлица видимо всем, а сточные трубы невидимы – ни те, под землей, ни другие, в политике, осушившие кровавую хлябь Революции. Но где лицо героя богоподобнее – в солнце Аустерлица или во мраке сточных труб?

Вот еще одно лицо Наполеона «неизвестного» –

смиренного . Точно ассирийский бог солнца, крылатый бык-исполин, запрягся в плуг и пашет неутомимо: «рад бы отдохнуть, да запрягли вола – паши»!

Точность работы, может быть, еще удивительнее, чем ее безмерность. Точность, добросовестность, не такая, как у людей, а как у богов или вечных сил природы: только звезды восходят на небе и боги воздают людям с такою чудесною, математическою точностью.

Детски радуется, когда в многомиллионных счетах находит ошибку в двадцать сантимов. Как-то раз, увидев в руках императрицыной фрейлины бельевую книжку, взял ее, просмотрел и нашел, что стирка стоит слишком дорого; начал торговаться о каждой штуке белья и выторговал, сколько считал справедливым.

От великолепных, новых занавесей на окнах Тюильрийского дворца отрезал золотую кисть и спрятал в карман, а через несколько дней показал ее заведующему дворцовой мебелью: «Боже меня сохрани заподозрить вашу честность, мой друг, но вас обкрадывают: вы за это заплатили на треть дороже настоящей цены». [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 367.]

Тот же Демиург, бог Работник, – в солнцах и в атомах. «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Если бы так не дрожал над двадцатью сантимами, не совершилось бы чудо – почти внезапная, в три-четыре года консульства, метаморфоза нищей босоножки, Франции, в богатейшую царицу мира.

За три недели до смерти, между двумя рвотами, «черными, как кофейная гуща», от раковой язвы в желудке, сидя в постели, держа на коленях папку с листом бумаги и макая перо в чернильницу, которую держит перед ним обер-гофмаршал, пишет прибавление к завещанию, под литерой А, где перечисляет забытое в прежних статьях: «Все мои матрацы и одеяла, полдюжины рубашек, полдюжины платков, галстухов, полотенец, носков, пара ночных панталон, два халата, пара подвязок, две пары кальсон и маленький ящичек с моим табаком». [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 649–650.] Все это завещает на память сыну.

«Какое мещанство! Лучше бы о душе подумал в такую минуту» – так для нас, «христиан», но не для него, «язычника». Ведь вся душа его – любовь к Земле: та же любовь – в мечте о мировом владычестве и в этой заботе о щепотке табака.

«Я держал мир на плечах: J’ai port? le monde sur mes ?paules». Если наша ветхая Европа все еще кое-как держится, то, может быть, только потому, что этот Атлас – исполинский, апокалипсический Мещанин – все еще держит ее на плечах.

Вождь

Чтобы увидеть как следует лицо Наполеона-Вождя, надо понять, что война для него не главное. Как «существо реальнейшее», он слишком хорошо понимает историческую неизбежность войны для своего времени; понимает, что война все еще «естественное

состояние» людей. Но и здесь, как во всем, идет через то, что людям кажется «естественным», к тому, что им кажется «сверхъестественным», через необходимость войны – к чуду мира: ведь главная цель – его мировое владычество, всемирное соединение людей, и есть конец всех войн, вечный мир.

«Чтобы быть справедливым к Наполеону, надо бы положить на чашу весов те великие дела, которых ему не дали совершить». [Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 203.] Совершить великие дела дали ему только на войне, но не в мире. Как это ни странно звучит, Наполеон – миротворец: вечно воюет и жаждет мира; больше чем ненавидит – презирает войну, по крайней мере, в свои высшие минуты. Понял же и на всю жизнь запомнил тот вой собаки над трупом ее господина, на поле сражения; понял или почувствовал, что эта смиренная тварь в любви выше, чем он, герой, в ненависти – войне.

«Что такое война? Варварское ремесло». [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 47.] – «Война сделается анахронизмом… Будущее принадлежит миру: некогда победы будут совершаться без пушек и без штыков». [Bertaut J. Napol?on Bonaparte. P. 192.] Легкими могли бы казаться эти слова в устах такого миротворца-идеолога, как Л. Толстой; но в устах Наполеона приобретают они страшный вес.

Воля к миру и воля к войне – таково глубочайшее в нем соединение противоположностей; глубочайший, может быть, ему самому еще невидимый, «квадрат» гения.

«Генерал – самый умный из храбрых», – определяет он гений Вождя. [Ibid.] Чтобы кончить мысль его, надо бы сказать: «Генерал – самый храбрый из храбрых и самый мудрый из мудрых». Совершенно храбрых людей мало; совершенно мудрых и того меньше; а соединяющих эти два качества нет вовсе или есть один за целые тысячелетия. Таким и сознает себя Наполеон: «Тысячелетия пройдут, прежде чем явится человек, подобный мне».

Военная наука состоит в том, чтобы сначала хорошо взвесить все шансы и затем, точно, почти математически, расчесть, сколько шансов надо предоставить случаю… Но это соотношение знания и случая умещается только в гениальной голове. Случай всегда остается тайной для умов посредственных и только для высших становится реальностью. [Ibid.]

Тайна случая, тайна рока есть Наполеонова тайна, по преимуществу, потому что он «человек рока».

«Вечность, Эон – дитя, играющее в кости», по Гераклиту. Случай, судьба, «звезда» – игральная кость вечности. И война есть тоже «игра в случай» Вождя с Роком. «Ставить на карту все за все» – правило игры. Никогда никто не играл в нее с таким математически точным расчетом, геометрически ясным видением – «мой великий талант

ясно видеть … это перпендикуляр, который короче кривой», – и с таким пророческим ясновидением, как Наполеон. [Gourgaud G. Sainte-H?lene. P., 1889.] Соединения случая с математикой, самого слепого с самым зрячим – таков умственный «квадрат» военного гения.

Перед началом каждой большой кампании или перед каждым большим сражением целыми днями лежит он ничком на полу, на огромной разостланной карте, утыканной булавками с восковыми разноцветными головками, отмечающими действительные и предполагаемые диспозиции своих и чужих войск; обдумывает чудный порядок, с каким военные части будут переноситься за сотни, за тысячи верст, – с берегов Ла-Манша, из Булонского лагеря, на берега Рейна или из Сиерра-Моренских гор в русские степи; концентрические марши, непрерывные наступления, молниеносные удары, весь стратегический план, простой и прекрасный, как произведение искусства или теорема геометрии. Главная задача – поставить противника перед началом операции в невозможность соединиться со своей операционной базой; Маренго, Ульм, Иена, Аустерлиц – различные применения этого метода. Тут все –

математика, механика: «сила армии, подобно количеству движения в механике, измеряется массой, помноженной на скорость; быстрота маршей увеличивает храбрость войск и возможность победы». [Bertaut J. Napol?on Bonaparte. P. 16.]

Бесконечная осторожность, как бы «трусость», вождя тут лучше храбрости. «Нет человека трусливее меня при обдумывании военного плана: я преувеличиваю все опасности… испытываю самую мучительную тревогу, что, впрочем, не мешает мне казаться очень спокойным перед окружающими. Я тогда как женщина в родах (comme une fille qui accouche). Но только что я принял решение, я все забываю, кроме того, что может мне дать успех». [Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 4. Это сказано почти накануне 18 брюмера.]

Все забывать в последнюю минуту так же трудно, как до последней минуты помнить все. Медленная механика, геометрически ясное видение – сначала, а потом – внезапное ясновидение, пророческая молния.

«Горе вождю, который приходит на поле сражения с готовой системой». [Bertaut J. Napol?on Bonaparte. P. 163.] Вдруг освобождаться от системы, от знания, от разума, сбрасывать их, как ненужное бремя, еще труднее, чем их нести.

«Странное искусство война: я дал шестьдесят больших сражений и ничему не научился, чего бы не знал уже при первом». [Gourgaud G. Sainte-H?lene. T. 2. P. 424.] «У меня всегда было внутреннее чувство того, что меня ожидает». Это «внутреннее чувство», или первичное, раньше всякого опыта, знание, и есть то «магнетическое предвидение», о котором говорит Буррьенн; врожденное «знание-воспоминание», anamnesis, Платона. Кажется, в самом деле, за целые тысячелетия оно никому из людей не было дано в такой мере, как Наполеону.

«Похоже было на то, что план кампании Мака (австрийского фельдмаршала) я сочинил за него». – «Кавдинским ущельем для Мака будет Ульм», – предсказал Наполеон, и, как предсказал, так и сделалось: день в день, почти час в час, Ульм капитулировал. [Lacour-Gayet G. Napol?on.] План Аустерлица исполнился с такою же точностью: солнце победы блеснуло первым лучом в тот самый день, час и миг, когда велел ему Наполеон. Утром в день Фридланда, еще не победив, он спокойно завтракает под свистящими пулями, и лицо его сияет такою радостью, что видно: знает – «помнит», что уже победил. Да, именно

помнит будущее , как прошлое.

«Великое искусство сражений заключается в том, чтобы во время действия изменять свою операционную линию; это моя идея, совсем новая». [Gourgaud G. Sainte-H?lene. T. 2. P. 460.] Это возможно только благодаря совершенной немеханичности, органичности плана: он остается до конца изменчивым, гибким в уме вождя, как раскаленное железо в горне.

«В самых великих боях вокруг Наполеона царствовало глубокое молчание: если бы не более или менее отдаленный гул орудий, слышно было бы жужжание осы; люди не смели и кашлянуть». [Stendhal. Vie de Napol?on. P. 194.] В этой тишине прислушивается он к внутреннему голосу своего «демона-советчика», по слову Сократа – к своему «магнетическому предвидению».

Но наступает наконец и та последняя минута, когда нужно «ставить на карту все за все». – «Участь сражений решается одною минутой, одною мыслью – нравственною искрою». [Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 314.] «Сражение всегда есть дело серьезное, но победа иногда зависит от пустяка – от зайца». [Gourgaud G. Sainte-H?lene. T. 2. P. 461.] Этот «заяц» – смиренная личина Рока – «Вечности, играющей, как дитя, в кости». Бородино проиграно из-за Наполеонова насморка; а Ватерлоо – из-за дождя, не перестававшего вовремя.

В эту-то последнюю минуту и происходит тот молнийный разряд воли, которым Вождь решает все. «Нет ничего труднее, но и ничего драгоценнее, как уметь решаться». [Las Cases E. Le

memorial… T. 1. P. 316.]

«Очень редко находил он в людях нравственное

мужество двух часов пополуночи , т. е. такое, при котором человек, будучи застигнут врасплох самыми неожиданными обстоятельствами, сохраняет полную свободу ума, суждения и решения. Он говорит, не колеблясь, что находил в себе больше, чем во всех других людях, это мужество двух часов пополуночи и что видел очень мало людей, которые в этом не отставали бы далеко от него». [Ibid. P. 315–316.]

«Кажется, я самый храбрый на войне человек, который когда-либо существовал», – говорит он просто, без тени хвастовства, только потому, что к слову пришлось. [Ibid. T. 4. P. 144.]

Храбрость военная в нем вовсе не главная; она только малая часть того «послеполуночного мужества», о котором он так хорошо говорит, – «послеполуночного», в двойном смысле, точном и переносном, может быть, ему самому еще не понятном: полдень воли, действия, кончится – начнется полночь жертвы, страдания; но в обеих гемисферах – одно и то же солнце мужества.

Чтобы не видеть, что Наполеон храбр на войне, надо быть слепым. Так слепы Толстой и Тэн. Мера этой слепоты дает меру их ненависти. Тэн старается даже доказать, что Наполеон – «трус». И многие «справедливые» судьи поверили этому, обрадовались: «Он трус, как мы!»

Трудно сказать, когда Наполеон был храбрее всего. Кажется, от Тулона до Ватерлоо и дальше, до Св. Елены, до последнего вздоха, – одинаково. Этот «свет, озарявший его», по слову Гёте, «не погасал ни на минуту». Но Франция увидела впервые лицо молодого героя, такое прекрасное, какого люди не видели со времени Эпаминондов и Леонидов, – в Аркольском подвиге.

К ноябрю 96-го года положение генерала Бонапарта, главнокомандующего Итальянской армией, сделалось почти отчаянным. Маленькая армия его истаивала в неравных боях: двадцать тысяч измученных людей против шестидесяти тысяч – свежих. Помощь из Франции не приходила. Цвет армии, солдаты и командиры выбыли из строя. Госпитали переполнены были ранеными и больными гнилой лихорадкой Мантуанских болот. Болен был и сам Бонапарт. Но хуже всего было то, что дух армии пал после неудачной атаки на высоте Кальдьеро, где австрийский фельдмаршал Альвинци укрепился на неприступной позиции, угрожая Вероне, и откуда Бонапарт вынужден был отступить, в первый раз в жизни, почти со стыдом.

«Граждане Директоры, – писал он в эти дни, – может быть, мы накануне потери Италии… Я исполнил мой долг, и армия исполнила – свой. Совесть моя спокойна, но душа растерзана… Помощи, пришлите помощи!» Знал, что не пришлют: якобинцы, роялисты и даже сами Директоры только и ждали удобного случая съесть его живьем. «Нет больше надежды, – писал он Жозефине, – все потеряно… У меня осталась только храбрость». [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 1. P. 300, 291.]

«Всякий другой генерал на месте Бонапарта отступил бы за Минчио, и Италия была бы потеряна», – говорит Стендаль, участник похода. [Stendhal. Vie de Napol?on. P. 219.]

Но Бонапарт не отступил: он задумал безумно смелый маневр: зайти в тыл австрийцам со стороны почти непроходимых Адиджских болот и, застигнув неприятеля врасплох, вынудить его к бою на трех узких плотинах, где численный перевес не имел значения и все решалось личною храбростью солдата. Чтобы исполнить маневр, надо было захватить одним внезапным ударом маленький деревянный мостик в конце одной из плотин, над болотной речкой Альпоне, у селения Арколя, – единственное сообщение австрийского тыла с болотами.

Ночью, в глубоком молчании, французская армия выступила из Вероны. Смелый маневр Бонапарта понравился ей так, что раненые, прямо с лазаретных коек, присоединялись к ней. Крадучись в темноте по Адиджским плотинам, передовые колонны французов под командой генерала Ожеро подошли еще до свету к Аркольскому мосту. Вопреки ожиданиям Бонапарта, мост был хорошо защищен: два батальона кроатов с артиллерией могли его крыть убийственным фланговым огнем. Но отступать было поздно, да и некуда: та же гибель впереди, как позади; попали в ловушку.

Первая колонна пошла в атаку, и картечный залп смел ее почти всю, как хорошая метла метет сор: и вторую, и третью, и четвертую. Люди выбегали на мост, и тотчас сметала их метла. Гибли бессмысленно. Все – мальчуганы безусые, санкюлоты 93-го, тоже в своем роде «мужи из Плутарха». Но и таким удальцам тошно было умирать без толку: мост нельзя было взять, как нельзя вспрыгнуть на небо. Почти все командиры были убиты или ранены, и люди отказывались идти в огонь. Когда Ожеро кинулся вперед со знаменем и, думая увлечь солдат, закричал в бешенстве: «Что вы так боитесь смерти, подлецы!» – никто из них не двинулся. [Lacroix D. Histoire de Napol?on. P. 194.]

Подскакал Бонапарт и сразу увидел, что, если мост не будет взят, дело проиграно: уже не он застигнет врасплох Альвинци, а тот – его; заслышав шум сражения, ударит с высот Кальдьеро и раздавит, утопит в болоте французскую армию. Но в то же мгновение он понял, что надо делать. Спешился и схватил гренадерское знамя. Люди не понимали или не смели понять, что он сделает; только смотрели на него, не двигаясь, молча.

В очень простом, почти без шитья, синем, куцем мундирчике, с широким шелковым поясом, в белых лосинах, в низких козлиных сапожках с отворотами; худенький, тоненький, несмотря на свои двадцать семь лет, как шестнадцатилетняя девочка; длинные пряди чуть-чуть напудренных волос, плоско висящие вдоль впалых щек; странное спокойствие в лице, точно глубокая задумчивость, – только невыносимый, как бы расплавленного металла, блеск огромных глаз; лицо больного мальчика, за которое солдаты любили – «жалели» его особенно.

Все еще не понимали, что он сделает. Поднял одной рукой знамя – изрешеченное пулями, святое отрепье, а другой – шпагу; обернулся, крикнул: «Солдаты! Разве вы уже не лодийские победители?» – и побежал на мост. [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 1. P. 300.]

Все кинулись за ним, с одной мыслью: лучше самим умереть, чем видеть, как «больной мальчик» умрет. Командиры окружили его, защищая телами своими. Дважды раненный генерал Ланн защитил его от первого залпа и упал, раненный в третий раз. От второго залпа защитил полковник Мьюрон и был убит на груди Бонапарта, так что кровь брызнула ему в лицо.

Буря картечи косила людей. Но люди все-таки шли вперед и дошли уже до конца моста. Только здесь не вынесли огня почти в упор, повернули и побежали назад. Кроаты – за ними, добивая штыками не убитых картечью.

Бонапарт все еще стоял на мосту. Кучка пробегавших гренадеров подхватила его на руки и потащила вон из огня, но тут же, в свалке, уронила и не заметила. Он упал в болото, угруз по пояс в тине; барахтался и только еще больше угрузал. Хорошо было стоять на мосту героем, но скверно сидеть лягушкой в болоте. Слышал, казалось, и сквозь шум сражения, только тихий шелест сухих тростников над собой; видел только серое, тихое небо, и сам затих; ждал конца: то ли тина засосет с головой, то ли австрийцы зарубят или захватят в плен. А может быть, знал – «помнил», что будет спасен.

Австрийцы уже были впереди него, шагов на сорок, но все еще не заметили его, с лицом, окровавленным кровью Мьюрона, облепленным грязью. Так тихое небо хранило его; там, на

мосту, погиб бы неминуемо, в болоте спасся; чем больше угрузал, тем лучше спасался от пуль.

Гренадеры опомнились, только сбежав с моста на берег: увидели, что Бонапарт исчез. «Где он? Где Бонапарт?» – завопили в ужасе. «Бегите назад, спасайте, спасайте его!» И побежали снова на мост, бешеным натиском смяли кроатов, увидели Бонапарта в болоте, угрузшего почти по плечи, кое-как добрались до него, вытащили, подняли, вынесли на берег и усадили на лошадь. Он был спасен.

Что произошло потом, трудно понять, как вообще всякое сражение – по существу, хаос – понять трудно. Сами участники дела не умеют иногда рассказать о нем как следует. Ясно одно: маневр Бонапарта не удался. Мост не был взят ни в тот день, ни на следующий, и только на третий – генерал Массена перешел его, почти без боя, потому что он уже был покинут австрийцами: центр действия перенесся тогда совсем в другую сторону.

Значит, подвиг Бонапарта бесполезен. Нет, полезен в высшей степени. «Уверяю вас, что все это было необходимо, чтобы победить», – писал он Карно, впрочем, не о своем подвиге, – о нем как будто забыл, – а о подвиге Ланна. [Ibid. P. 308.] Да, все это было необходимо, чтобы поднять дух солдат, зажечь ту «нравственную искру, которою решается участь сражения». На волевой разряд в душе начальника отозвались бесчисленные волевые разряды в душе солдат. Точно искра упала в пороховой погреб, и он взорвался.

В течение трех дней после Арколя произошли такие чудеса, что храбрый, твердый, умный Альвинци как бы ошалел, не понимая, что происходит, почему солдаты Бонапарта вдруг точно взбесились, полезли на стену; и, ошалев, наделал глупостей: сошел с неприступных позиций Кальдьеро, отдал Верону, Мантую, всю Италию. Вот что получил Бонапарт, сидя в болоте. Арколь, Пирамиды, Маренго, Аустерлиц, Иена, Фридланд – бусы одного ожерелья: если бы нитка его оборвалась тогда, под Арколем, то и все ожерелье рассыпалось бы.

За несколько минут до смерти он бредил каким-то сражением на мосту – может быть, именно этим, Аркольским. [Anlommarchi F. Les derniers moments de Napol?on. T. 2. P. 110. Умирающий Наполеон произнес внятно только два слова – tete! arm?e. Вероятно, «tete» значит «tete de pont» – мостовое укрепление. Смысл бреда: мост – армия: сражение на мосту.] В ту минуту надо ему было перейти через другой, более страшный, мост. Перешел ли его или опять упал в болото? Если и упал – ничего: будет спасен, как тогда.

«Неприятель разбит под Арколем… Я немного устал», – писал он Жозефине, так же не упоминая о своем подвиге, как в письме к Карно. [Masson F. Mme Bonaparte (1796–1804). P., 1920. P. 91.] Вообще, храбростью не мог гордиться перед людьми уже потому, что храбрость его совсем не то, что люди называют этим словом. Если бы человек знал заранее все, что с ним произойдет до последнего смертного часа, то для него не существовало бы ни нашего человеческого страха, ни нашей храбрости. Но именно так знал Наполеон – «помнил» будущее. О, конечно, не всегда, а только редкие минуты, тоже очень страшные, но уже иным страхом, не человеческим, и, чтобы преодолевать его, нужно ему было не наше, не человеческое, мужество.

В эти минуты он чувствовал свою чудесную неуязвимость в боях. Дал шестьдесят больших сражений и без счета – малых; девятнадцать лошадей было убито под ним [O'M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 2. P. 304.], а ранен только два раза: довольно тяжело, при осаде Тулона, в 1793-м, и легко, под Ратисбонном, в 1809-м.

Всякое сражение есть как бы игра человека со смертью в чет и нечет; при умножении ставок шансы на выигрыш уменьшаются в геометрической прогрессии, а при сплошном выигрыше, в такой же прогрессии, возрастает сходство того, что мы называем «случаем», с тем, что мы называем «чудом». Чудом кажется неуязвимость Наполеона в боях.

Под грозной броней ты не ведаешь ран:

Незримый хранитель могучему дан.

Только при этом чувстве неуязвимости он мог играть со смертью так, как играл. Маршал Бертье, близко стоявший к нему на самой линии огня, под Эсслингом, долго терпел, но наконец воскликнул: «Если ваше величество не уйдет отсюда, я велю гренадерам увести его насильно!» [Constant de Rebecque H. B. M?moires. T. 2. P. 167.]

В сражении под Арсисом император сам строил гвардию в боевой порядок на участке земли, где непрерывно разрывались снаряды; когда один из них упал перед самым фронтом колонны, люди подались было назад, и, хотя тотчас поправились, Наполеон захотел дать им урок. Шпорами заставил свою лошадь подойти к дымящейся бомбе и остановил ее над нею. Бомба взорвалась, лошадь упала с распоротым брюхом, увлекая за собою всадника; он исчез в пыли и в дыму; но тотчас же встал, невредим, сел на другую лошадь и поскакал к следующим батальонам продолжать диспозицию. [Houssaye H. 1814. P., 1925. P. 312.]

Храбрость так же заразительна, как трусость. Храбрость зажигается о храбрость, как свеча о свечу. Но, чтобы вся армия вспыхнула, как сухой лес в пожаре, от одной «нравственной искры», молнии, решающей участь сражения, надо подготовить людей – высушить лес. Он это и делает; медленной, трудной и долгой работой усиливает восприимчивость солдат к заразе мужества; учит людей умирать.

Чтобы научить их, как следует, надо с ними жить душа в душу. Он так и живет с солдатами, и это ему легко; детское, простое в нем сближает его с простыми людьми: «утаил сие от мудрых и открыл младенцам». «Мудрецы» – «идеологи» Наполеона ненавидят, а простые люди любят. Он для них величайший из людей и Маленький Капрал; поклоняются великому и жалеют «маленького».

«На бивуаках я разговаривал и шутил с простыми солдатами. Я всегда гордился тем, что я человек из простого народа».

На острове Эльба проводит по шести часов в казармах; осматривает койки, пробует суп, хлеб, вино, беседует с нижними чинами как с равными и, по обыкновению, «с начальниками строг, добр с подчиненными». [Houssaye H. 1815. T. 1. P. 153.]

В самый горький и стыдный день своей жизни, 7 июня 1815 года, когда отрекся от власти – от себя – перед ничтожной Палатой, все забывает, чтобы думать о солдатских сапогах; пишет военному министру, маршалу Даву: «Я с грустью увидел, что отправленные сегодня утром войска имеют только по одной паре сапог, а на складе их множество. Надо им дать по две пары в мешок и одну на ноги». [Ibid. T. 2. P. 271.]

Каждого солдата узнает или делает вид, что узнает, в лицо: перед осмотром учит наизусть особые таблички с именами рядовых.

Революционное равенство осуществилось, может быть, только здесь, в Наполеоновой армии. «Старые усачи-гренадеры никогда не осмелились бы говорить с последним прапорщиком так, как говорили с императором». [Levy A. Napol?on intime. P. 279.]

В страшном зное Египетской пустыни, у развалин Пелузы, солдаты уступали ему единственную узкую тень от стены, и он понимает, что «это уступка огромная». [Ibid. P. 171.] Расплачивается с ними в пустыне Сирийской, когда всех лошадей, в том числе и свою, отдает

под больных и раненых. Помнит, язычник, христианскую заповедь: «Генерал должен поступать со своими людьми так, как хотел бы, чтобы с ним самим поступали». [O'M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 1. P. 311.]

Тут, может быть, даже нечто большее, чем революционное равенство, – уже почти религиозное братство.

Возвращаясь с Эльбы и подходя к Греноблю, на одной стоянке, пьет вино из того же ведра и того же стакана, из которых только что пили все его «усачи»-гренадеры. Вместе пьют из одной чаши вино и кровь.

Когда раненный в ногу под Ратисбонном и едва перевязанный император вскакивает снова на лошадь и кидается в бой, люди плачут от умиления. «Кровь есть душа» – это знали древние и все еще знает народ. С кровью «душа начальника переходит в души солдат». [Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 222.] Вся армия, от последнего солдата до маршала, – одна душа в одном теле.

Понятно, почему никогда никому солдаты не служили так верно, как Наполеону: «с последней каплей крови, вытекавшей из их жил, они кричали: „Виват император!“ Понятно, почему те два гренадера, под Арколем, защитили его телами своими от взрывавшейся бомбы; и генерал Ланн, дважды раненный, снова кинулся в бой на Аркольском мосту и получил третью рану, а полковник Мьюрон был убит на груди Бонапарта. Понятно, почему генерал Вандамм готов „пройти сквозь игольное ушко, чтобы броситься в огонь“ за императора, а генерал Гопуль, под Ландсбергом, когда Наполеон обнял его и поцеловал перед строем, воскликнул: „Чтобы быть достойным такой чести, я должен умереть за ваше величество!“ – и был убит на следующий день, под Эйлау». [Marbot M. M?moires. T. 2. P. 16.] И полковник Сур, под Женаппом, когда ему ампутировали руку, диктует письмо императору, только что произведшему его в генеральский чин: «Величайшая милость, какую вы могли бы мне оказать, это оставить меня полковником в моем уланском полку, который я надеюсь вести к победе. Я отказываюсь от генеральского чина. Да простит мне великий Наполеон. Чин полковника мне дороже всего». И только что наложили хирургический аппарат на кровавый обрубок руки его, он опять садится на лошадь и пускается в галоп к своему полку. [Houssaye H. 1815. T. 2. P. 271.] Понятно, почему граф Сегюр, во время хирургической операции, побеждает боль и страх смерти одною мыслью о вожде: «Хорошо умереть, быть достойным его!» [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 4. P. 285.] А старый солдат, участник Маренго, под Ватерлоо, сидя с раздробленными ногами на дорожной насыпи, повторяет громким и твердым голосом: «Ничего, братцы, вперед, и виват, император!»

Но, кажется, всего чудеснее эта зараза мужества в сражении под Эсслингом.

Когда приходит внезапная весть, что сломаны мосты на Дунае, соединяющие французскую армию с ее оперативной базой, островом Лобау, и резервы маршала Даву отрезаны, положение армии, на обширной равнине, без точки опоры, без боевых запасов и резервов, становится таким отчаянным, что на военном совете все маршалы подают голос за сдачу Лобау и отступление на правый берег Дуная. Император выслушивает их терпеливо, но решает не отступать. «Так, так! Так надо сделать!» – восклицает маршал Массена, революционный генерал, внук дубильщика, сын мыловара, бывший контрабандист и лавочник, неисправимый вор, лихоимец, грабитель собственных солдат, спаситель Франции, победитель Суворова, «возлюбленный сын Победы». «Так надо сделать, так, – повторяет он с восторгом, и тусклые глазки этого маленького, худенького человека разгораются чудным огнем. – А! Вот великое сердце, вот гений, достойный нами командовать!» Тогда Наполеон берет его под руку, отводит в сторону и ласково шепчет ему на ухо: «Массена! Ты должен защитить остров и кончить то, что начал с такою славою. Ты один можешь это сделать. Ты это сделаешь!» Да, сделает: душа Наполеона перешла в душу Массена – храбрый зажегся о храброго, как свеча о свечу.

А через несколько часов, когда положение становится еще более отчаянным и приходит последняя, страшная весть, что маршал Ланн смертельно ранен, у Наполеона опускаются руки; в первый раз в жизни он плачет в сражении, как будто теряет все свое мужество; но, только что опомнившись, посылает генерала Монтиона к Массене сказать, чтобы он продержался в Асперне, важнейшем подступе к Лобау, «хотя бы еще только четыре часа». «Скажите императору, – отвечает Массена, схватив руку Монтиона и сжав ее с такою силою, что следы пальцев долго потом оставались на ней, – скажите императору, что никакая сила в мире не заставит меня уйти отсюда. Я останусь здесь четыре часа – двадцать четыре часа – всегда!» И остался. Защита Асперна была так героична, что неприятель осмелился вступить в развалины его только на следующий день, когда французский арьергард давно уже покинул селение. [Ibid. T. 3. P. 351–359; Marbot M. M?moires. T. 3. P. 200.]

«Без меня он ничто, а со мной – моя правая рука», – говорит Наполеон о Мюрате [O'M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 2. P. 180.] и мог бы сказать о всех своих маршалах: все они члены Вождя.

Да, вся армия – одно тело, одна душа. «Он колдун», – говорили о Наполеоне египетские мамелюки Мурад-Бея. «Он связал своих солдат большой белой веревкой, и, когда дергает ее туда или сюда, все они движутся вместе, как одно тело». [Lacroix D. Histoire de Napol?on. P. 250.] Эта «белая веревка» и есть «магия» – молнийная воля Вождя. «Как ни велико было мое материальное могущество, духовное – было еще больше: оно доходило до магии». «Государь, вы всегда творите чудеса!» – по простодушно-глубокому слову помощника маконского мэра.

«Когда он хотел соблазнить, в словах его было неодолимое обаяние, род магнетической силы. Тот, кого он хочет увлечь, как бы выходит из себя», – вспоминает Сегюр. [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 4. P. 76.] В эти минуты своей наибольшей силы он уже не приказывает, как мужчина, а соблазняет, как женщина. Вот что значит в нем «полнота не нашего пола», странное сходство с «молодою красавицей», которое он сам в себе замечает, или со «старою гувернанткою» императрицы Марии-Луизы, которое обманывает провинциального лакея. Эта одна из колдовских «штук» его, так пугающих суеверного австрийца: «проклятый колдун – оборотень обернулся женщиной».

Бог Дионис тоже «оборотень». В Еврипидовых «Вакханках» он «Женоподобен», thelymorphos, а в Эсхиловом «Ликурге» – уже настоящий Андрогин. И в элевзинских таинствах Дионис-Вакх называется «двуестественным», diphyes: два естества в нем – мужское и женское. Что это значит? Значит, что божественная полнота человеческой личности есть соединение двух расколотых половин – половин двух противоположностей – «квадрат» гения; вышина квадрата – мужественность. Или, по слову Канта: «Erst Mann und Weib zusarnmen machen den Menschen aus. Человека составляют только мужчина и женщина вместе». Божественная искра человеческой личности вспыхивает только в соприкосновении двух полюсов – женского катода и мужского анода.

Наполеон ближе, чем думает сам, к своему прообразу: Александру Великому. Тот хотел быть вторым Дионисом. «Дионис» значит «сын божий»:

Dio – «бог»,

nysos – «сын». Вот почему старый инвалид наполеоновской армии, которого знал в детстве Леон Блуа, «не умел отличить императора от Сына Божьего». Вот почему солдаты Наполеона пьют вместе с ним из одной чаши, как в Дионисовых таинствах, вино и кровь, соединяясь в одно тело, в одну душу – Великую Армию.

Вся она движется с такой быстротой, в таком чудном порядке, когда в 1805 году император перекидывает ее одним мановением руки из Булонского лагеря, от берегов Ла-Манша к

берегам Рейна, что если бы кто-нибудь мог обозреть ее с высоты, то подумал бы, что это стройно пляшущий хор Диониса, где хоровожатый – сам бог.

И с высоты, как некий бог,

Казалось, он парил над ними,

И двигал всем, и все стерег

Очами чудными своими.

Тютчев Ф. И. Неман

Эти очи с «невыносимым блеском как бы расплавленного металла» – очи самого Диониса.

«Я хочу, чтобы мои знамена возбуждали чувство религиозное». [Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 200.] Какая же это религия?

Чей это голос? Кто зовет нас? Эвий! —

узнают вакханки Еврипида голос своего невидимого бога. Тот же голос и в этих словах Наполеона: «Когда в огне сражения, проезжая перед строем, я кричал: „Солдаты! Развертывайте ваши знамена, час пришел!" – надо было видеть наших французов: люди плясали от радости, сотни человек тогда стоил один, и с такими людьми, казалось, все возможно». [Ibid. P. 201.]

Люди плясали, как исступленные, одержимые богом, вакханты. «Солдаты Наполеона – одержимые», – говорит очевидец накануне Ватерлоо. [Houssaye H. 1815. T. 2. P. 82.] Эта «одержимость», katokhe, есть признак «богоприсутствия» в Дионисовых таинствах.

«Тот, кого Наполеон хочет увлечь, как бы

выходит из себя ». Это «выхождение из себя» – экстаз, ekstasis – признак того же богоприсутствия. Надо человеку выйти из себя, чтобы войти в бога; надо выйти из своего человеческого, мнимого, дробного, смертного «я», чтобы войти в божественное, подлинное, цельное, бессмертное. Это и значит: сберегающий душу свою потеряет ее, а потерявший – найдет.

Дионис – учитель экстаза; и Наполеон тоже. Дионис, сын Семелы, смертной женщины, – человек, становящийся богом; и Наполеон тоже. Дионис – завоеватель-миротворец; и Наполеон хочет соединить Запад с Востоком, чтобы основать мировое владычество – царство вечного мира. Дионис – страдающий бог-человек; и Наполеон на Св. Елене – прикованный к скале Прометей – тот же Дионис.

«Мир смотрит на нас. Мы остаемся и здесь мучениками великого дела… Мы боремся с насильем богов, и народы благословляют нас», – говорит он, как мог бы говорить Прометей. [Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 306.]

Может быть, именно здесь, на Св. Елене, у него наибольшее мужество – уже не внезапное, а непрерывное «мужество двух часов пополуночи».

«В жизни моей, конечно, найдутся ошибки, но Арколь, Риволи, Пирамиды, Маренго, Аустерлиц, Иена, Фридланд – это гранит: зуб зависти с этим ничего не поделает».

[Lacour-Gayet G. Napol?on. P. 570.] Нет, и это не гранит, а туман, призрак, но за этим – вечный гранит – Св. Елена, Святая Скала, Pietra Santa – вечное мужество.

«Что это говорят, будто бы он постарел? Да у него, черт побери, еще шестьдесят кампаний в брюхе!» – воскликнул старый английский солдат, увидев императора на Св. Елене. [Gourgaud G. Sainte-H?lene. T. 2. P. 346.] «Мне еще нет пятидесяти, – говорит он сам в 1817 году, – здоровье мое сносно: мне остается еще, по крайней мере, тридцать лет жизни». [Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 140.] – «Говорили, будто я поседел после Москвы и Лейпцига, но, как видите, у меня и сейчас нет седых волос, и я надеюсь, что вынесу еще не такие несчастья». [Ibid. T. 1. P. 296.] – «Вы, может быть, не поверите, но я не жалею моего величия; я мало чувствителен к тому, что потерял». [Ibid. T. 3. P. 267.] – «Кажется, сама природа создала меня для великих несчастий; душа моя была под ними, как мрамор: молния не разбила ее, а только скользнула по ней». [Ibid. T. 4. P. 243.] – «Моей судьбе недоставало несчастья. Если бы я умер на троне, в облаках всемогущества, я остался бы загадкой для многих, а теперь, благодаря несчастью, меня могут судить в моей наготе». [Ibid. T. 1. P. 300–309.]

Нагота его – Св. Елена, Святая Скала – непоколебимое мужество. «Я основан на скале. Je suis ?tabli sur un roc», – говорит он на высоте величия и мог бы сказать в глубине падения. [Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 212.] Кто из людей возвысился и падал, как он? Но, чем ниже падение, тем выше мужество. Все его славы могут померкнуть – только не эта:

учитель мужества . [Barr?s M. Les d?racines. P., 1897. Баррес называет Наполеона не совсем удачно профессором энергии, le professeur de l’?nergie. Менее всего Наполеон похож на профессора; да и само слово «энергия» слишком отвлеченно и механично для такого органического явления, как Наполеоново мужество. Но мысль верна.]

В этом он себе равен всегда: в щедрости, с какой отдает свою жизнь под Арколем, и в скупости, с какой дрожит над двадцатью сантимами в отчете министерства финансов или вспоминает о щепотке табака в табакерке, завещанной сыну, – одно и то же исступленное,

экстатическое мужество. Наполеон – учитель экстаза и мужества, потому что эти две силы неразлучны: надо человеку выйти из своего смертного «я» и войти в бессмертное, чтобы достигнуть того последнего мужества, которое побеждает страх смерти. «Лучше всего наслаждаешься собой в опасности», – говорит Наполеон [Bertaut J. Napol?on Bonaparte. P., s. a.]: наслаждаешься, упиваешься пьянейшим вином Диониса – своим божественным, пред лицом смерти бессмертным, «я».

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья —

Бессмертья, может быть, залог.

Пушкин А. С. Пир во время чумы

Вот почему тайное имя Диониса –

Лизей, Освободитель : он освобождает человеческие души от рабства тягчайшего – страха смерти. В этом, впрочем, как и во всем, Дионис – только тень Грядущего: «верующий в Меня не увидит смерти вовек».

Люди благодарны тому, кто учит их жить; но, может быть, еще благодарнее тому, кто учит их умирать. Вот почему солдаты Наполеона так благодарны ему и «с последней каплей крови, вытекающей из жил их, кричат: „Виват император!“ Он, воистину, – Вождь человеческих душ к победе над последним врагом – Смертью».

«Надо хотеть жить и уметь умирать», – говорит Наполеон. [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 2. P. 457.] И еще: «Надо, чтобы солдат умел умирать». [Thi?bault P. M?moires. T. 4. P. 250.] Каждому человеку надо быть солдатом на поле сражения, чтобы победить последнего врага – смерть. Это невозможно? «Невозможное – только пугало робких, убежище трусов», – отвечает Наполеон. Каждому человеку, чтобы умереть и воскреснуть, надо быть Наполеоном.

Все мы, извращенные мнимым «христианством», думаем, более или менее, как бедный Ницше, что быть добрым – значит быть слабым, а быть сильным – значит быть злым. Наполеон знает, что это не так: «Добродетель заключается в силе, в мужестве; сильный человек добр, только слабые злы». [Napol?on. Manuscrits in?dite, 1786–1791. P. 54.] Это говорит он в начале жизни, и в конце – то же. «Будьте всегда добрыми и храбрыми», – завещает своей Старой Гвардии, прощаясь с нею в Фонтенбло, после отречения, и мог бы завещать всем людям. [Fauvelet de Bourrienne L. A M?moires sur Napol?on. T. 5. P. 428.]

«Я показал, что может Франция; пусть же она это исполнит». Он показал, что может человечество, пусть же оно это исполнит.

Убыль экстаза – вина Дионисова – происходит сейчас в наших сердцах, как убыль воды в колодцах во время засухи. Американский «сухой режим» господствует во всем «христианском» человечестве. «Я есмь истинная лоза, а Отец Мой – виноградарь» – это мы забыли и ни от какой лозы уже не пьем. «Сухи», впрочем, на вино, но не на кровь: кровью только что залили мир и «сохнем» теперь, может быть, для того, чтобы снова «вымокнуть».

Наполеон тоже лил кровь, но не был «сух», как мы: он – последний, вкусивший от лозы Дионисовой; последний опьяненный – опьяняющий.

Дионис – только тень, а тело – Сын Человеческий. Не лучше ли тело, чем тень? Да, лучше, но, когда уходит тело – остается только тень. Мир без Сына жить не может, и если не телом Его, то тенью живет. Тень Сына – Наполеон-Дионис.

Первая, за память человечества, тень того же тела – Сына – есть древневавилонский герой Гильгамеш: сенаарские кочевники пели песни о нем, может быть, еще за тысячу лет до Авраама. Странствуя по всей земле в поисках за Злаком Жизни, дающим бессмертие людям, Гильгамеш, богатырь солнечный, совершает путь солнца с Востока на Запад, погружается, как солнце, в океан, – кажется, тот самый, где затонула Атлантида, и находит в нем Злак Жизни. [Мережковский Д. Тайна Трех. Прага: Пламя, 1925. С. 286–289, об отношении Гильгамеша к Атлантиде.]

Терну и розе подобен тот Злак.

[Gilgamesh. Tablet XI: La poeme chald?en du d?luge. P., 1885. P. 206.]

Терну страдания – Розе любви. Такова мудрость Диониса: через терзающий Терн смерти – к опьяняющей Розе бессмертия.

Путь солнца из дневной гемисферы в ночную совершает и Наполеон, последний богатырь солнечный, последний человек Атлантиды; погружается и он, как солнце, в океан и находит в нем тот же Злак Жизни – терзающий Терн, опьяняющую Розу Диониса.

Первый Дионис – Гильгамеш, последний – Наполеон. Можно сказать и о последнем то же, что

о первом. [Ibid. Tablet I. P. 1—51.]

Увидел он все, до пределов вселенной,

Все испытал и познал,

Взором проник в глубочайшие тайны,

С сокровеннейшей мудрости поднял покров…

Весть нам принес о веках допотопных;

Путь далекий прошел он, скорбя и труждаясь,

И повесть о том начертал на скрижалях…

На две трети он – бог, на одну – человек.

Commediante

Облака проносились так низко над подоблачными скалами Св. Елены, что цеплялись за них краями, как белые одежды призраков. «Главное занятие Наполеона состояло в том, чтобы следить за полетом облаков над остриями исполинских гор, наблюдать, как изменяются их облики, превращаются в развевающиеся над вершинами занавеси, сгущаются в темных ущельях или расстилаются вдали, над океаном: он точно хотел прочесть будущее в этих мимолетных и воздушных обликах». [Abell L. E. Napol?on a Sainte-H?lene. P. 112.]

Нет, не будущее, а прошлое: он уже знает, что будущее для него кончено; Св. Елена – гроб заживо. И эти мимолетящие облака – образы, облики, призраки – для него только видения прошлого, сон всей его жизни.

«Какой, однако, роман – моя жизнь!» – говорит он соузникам на Св. Елене. «Какой роман» – какой сон, призрак, мимолетящее облако.

«Мне иногда кажется, что я умерла, и у меня осталось только смутное чувство, что меня уже нет», – повторяла императрица Жозефина перед смертью. [Il me semble quelquefois que je suis morte et qu'il ne me reste qu'une sorte de faculte vague de sentir que je suis plus.]

То же мог бы сказать и Наполеон на Св. Елене.

«Только бы продлилось! Pourvou que ca doure!» – шептала, как вещая парка, на своем ломаном французском языке, мать Наполеона, скромная, тихая старушка, «мать царей – мать скорбей», как она сама себя называла. [Je suis la mere de toutes les douleurs.] Нет, не продлилось – пронеслось, как облако. «Летиция всегда твердо знала, что все огромное здание (империи) рушится». [Stendhal. Vie de Napol?on. P. 5.] – «Того и во сне не приснится, как она жила. On ne reve pas comme elle a v?cu», – сказал кто-то о ней; то же можно бы сказать и о сыне ее.

«После стольких лет смятений, жертв и крови Франция ничего не получила, кроме славы», – говорил наполеоновским маршалам русский император Александр I, в 1814 году, в занятом

союзными войсками Париже. [Macdonald J.-E.-J. Souvenirs du mar?chal Macdonald, duc de Tarente. P., 1910. P. 280.] «Ничего, кроме славы» – пустоты, призрака, мимолетящего облака.

Так ли это? Все ли дело исчезло, как сон? Нет, кое-что осталось: остался правовой костяк, заложенный в тело Европы Наполеоновым Кодексом, первым, после Рима, всемирным законодательством правового утверждения личности. И если современная Европа выдержит напор коммунистической безличности, то, может быть, только потому, что в ней все еще крепок этот Наполеонов позвоночный столб.

Внук уже не знает, не помнит деда, но все еще напоминает его, похож на него лицом: так Наполеон уже «неизвестен» современной Европе, но все еще у него наполеоновский профиль. Мало это или много? Много, по сравнению с тем, что он хотел и мог бы сделать, – так мало, что это ему казалось иногда «почти ничем». Он сам предвидел это свое умаление в истории: «Я буду почти ничем. Je ne serai presque rien».

Да, хотя и «существо реальнейшее», он смутно знал всегда, что весь реализм бытия призрачен и что он творит жизнь свою, как спящий – сновидения или художник – образы, музыкант – симфонию.

Власть над миром для того и нужна ему, чтобы творить из мира сон. «Я люблю власть, как художник, как скрипач любит скрипку. Я люблю ее, чтобы извлекать из нее звуки, созвучья, гармонии».

«Мир как представление». Die Welt, ais Vorstellung, он, может быть, понял бы, что это значит, когда поднималась облачная занавесь над скалами Св. Елены. «Представление» – трагедия, Дионисова игра на сцене мира. Он ее поэт, лицедей и герой вместе: сочиняет, играет ее и гибнет в ней.

Если он – «чудовище», то иной породы и иных размеров, чем Нерон; но, кажется, мог бы воскликнуть и он перед смертью, как тот: «Qualis artifex pereo. Какой художник во мне погибает!»

Сон мира творит, как бог Демиург; сон исчезает – умирает бог.

Простите, пышные мечтанья.

Осуществить я вас не мог…

О, умираю я, как бог

Средь начатого мирозданья!

Майков А. Н. Три смерти (1857)

«Commediante!» – воскликнул будто бы папа Пий VII, Фонтенблоский узник, жертва «нового Нерона-антихриста», в споре с императором из-за второго Конкордата 1813 года. Кажется, это легенда. Но слово, если даже не подлинно, очень глубоко: да, «комедиант» человечески-божественной комедии.

Когда он обдумывал чин коронации, художник Изабей (Isabey) и архитектор Фонтан принесли ему маленький театрик, изображавший внутренность собора Парижской Богоматери, где должна была происходить церемония, со множеством ряженых и нумерованных куколок. Наполеон восхитился этой игрушкой. Тотчас позвал Жозефину, собрал министров, маршалов,

сановников и начал репетицию священного венчания – кукольной комедии.

При отступлении от Москвы, узнав о заговоре полоумного генерала Малэ для низвержения династии, воскликнул: «Так вот как прочна моя власть! Одного человека, беглого арестанта, довольно, чтобы ее поколебать. Значит, корона чуть держится на голове моей, если дерзкое покушение трех авантюристов в самой столице может ее потрясти». [Lacour-Gayet G. Napoleon. P. 477; Masson F. Napol?on et son fils. P., 1912. P. 238; Masson F. Jos?phine repudi?e (1809–1814). P. 296.] Да, на голове его корона – как сусальная корона кукольного императора, и власть его прочна, как сон.

А за несколько месяцев перед тем, глядя с Поклонной горы на распростертую у ног его Москву, он утешается, после страшных бед, перед страшными бедами, этим волшебным зрелищем – театральной декорацией. «Рукоплескания всех народов, казалось, приветствовали нас». [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 5. P. 20.] Древние Фивы – Москва, вот какие дали пространства и времени захватывает этот исполинский сон. Но вдруг все улетает, рассеивается, как марево, как мимолетящее облако, от одного тихого веяния – вести: «Москва пуста!» [Ibid. P. 34.] Пуста, как сон пустой. И декорация меняется: «Москва исчезает, как призрак, в клубах дыма и пламени». [Ibid. P. 47.] «Это было самое величественное и ужасное зрелище, какое я видел в моей жизни», – вспоминает он на Св. Елене. [O'M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 1. P. 181.] Там же, на развалинах обгорелой Москвы, он устраивает Французский театр – зрелище в зрелище, сон во сне. [Gourgaud G. Sainte-H?lene. T. 1. P. 182.] Это уже вторая степень «мира как представления»: не число, а логарифм числа.

«Генерал Бонапарт видел

воображаемую Испанию,

воображаемую Польшу (Россию) и теперь видит

воображаемую Св. Елену», – говорит Гудсон Лоу. [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 5. P. 71.] Это значит: воля его к жизни, от начала до конца, есть воля к сновидению:

Вся наша жизнь лишь сном окружена,

И сами мы вещественны, как сны, —

эти слова Просперо-Шекспира он понял бы: строить сны свои из вещества мира, а мир свой – из вещества снов.

«Существо реальнейшее» – существо идеальнейшее – два лица его, и как решить, какое из них настоящее?

Это – в великом, это в малом.

«Он любил все, что вызывает мечтательность: Оссиана, полусвет, меланхолическую музыку. Жадно слушал шум ветра, говорил с восторгом о реве волн морских; склонен был верить в привидения и вообще был суеверен. Иногда, вечером, выходя из своего кабинета в салон г-жи Бонапарт, приказывал занавешивать свечи белым газом, и все мы должны были хранить молчание, пока он рассказывал нам истории о привидениях… Или, слушая тихую и медленную музыку, впадал в задумчивость, которой никто из нас не смел нарушить ни одним движением». [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 1. P. 102.]

Эти занавешенные дымкою свечи льют призрачный свет сновидений, как бы уже предрекают тот солнечный свет сквозь облака – призраки над Св. Еленою.

Однажды импровизирует и разыгрывает в лицах фантастическую повесть о двух несчастных любовниках, Терезе и Джулио, где, между прочим, действует таинственное существо, Андрогин-Сибилла, похожее на самого Наполеона или Диониса Оборотня. [Fauvelel de Bourrienne L. A. M?moires sur Napol?on. T. 3. P. 499. Guilio, conte improvis? par Napol?on. «On vit paraitre a Rome un etre myst?rieux qui pr?tendait d?voiler les secrets de l'avenir et qui s'enveloppait d'ombres si ?paisses que son sexs meme ?tait l'object de doute et de discussion. Les uns d?crivaient les formes et les traints d'une femme, tandis que les autres justifiaient leur effroi en lui donnant l'aspect d'un monstre hideux». Сам Наполеон – «корсиканское чудовище»: у него тоже «магнетическое предвидение» и «полнота не нашего пола», «un embonpoint qui n'est pas de notre sexe» (Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 88).]

«Джулио вонзил кинжал в сердце Терезы», – заключил он рассказ и, подойдя к императрице, сделал вид, что вынимает кинжал из ножен: иллюзия была так сильна, что фрейлины, вскрикнув от испуга, кинулись между ним и Жозефиной. А Бонапарт, как превосходный актер, не смущаясь и не замечая произведенного им впечатления, продолжает рассказ. – «Предаваясь полету воображения, он так увлекался, что все окружающее для него исчезало». Уверяли, будто бы он учился у великого актера, Тальма; но он, «пожалуй, сам мог бы его научить». [Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 513, 509.]

«Когда диктует воззвания к армии, похож на итальянского импровизатора или Пифию на треножнике». [Ibid. T. 4. P. 181.] Значит, и здесь, на полях сражений, лицедействует, сочиняет, как в салоне г-жи Бонапарт – «историю о привидениях», – всемирную историю; и пороховой дым клубится, как дым Пифийской расщелины или облака-призраки Св. Елены.

Маг, вызывающий видения, или, по-нашему, съемщик исполинских фильмов. Великий мастер художественных противоположностей.

Главнокомандующий Египетской армией, генерал Бонапарт, давая охранную грамоту инокам Синайской обители, «из уважения к Моисею и народу израильскому, чья космогония напоминает нам века незапамятной древности», вписывает имя свое в книгу почетных гостей, рядом с именем Авраама. [Fauvelet de Bourrienne L. A. M?moires sur Napol?on, T. 1. P. 326.] Что это, «комедиантство», «шарлатанство», световая реклама на облаках или апокалипсическое знамение? Может быть, все это вместе; может быть, он искренне чувствует выход свой из времени в вечность, из всемирной истории в космогонию – эсхатологию.

А вот и другие маски все той же «комедии». Мечтает, «на старости лет, объезжать вместе с императрицей, потихоньку, на своих лошадях, как супружеская чета поселян, все закоулки империи, принимая жалобы, исправляя обиды и сея всюду память о своих благодеяниях». [Las Cases E. Le memorial… T. 3. P. 298.] Тут, конечно, лев в овечьей шкуре: знает сам, что этого не будет, но, может быть, снилась ему и эта мещанская идиллия; мещанство в нем глубже, чем кажется.

В память знаменитых слов своих на поле сражения Эйлау: «Страшное зрелище! Вот что должно бы внушить государям любовь к миру и омерзение к войне», – заказывает живописцу Гро (Gros) картину этого поля с ним, Наполеоном, стоящим среди убитых и раненых и подымающим к небу глаза, полные слез. [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 3. P. 115.] Лучше бы не заказывал, не играл «комедии» хоть в этом; но и это еще не значит, что не чувствовал искреннего омерзения к войне.

Перед конвоем австрийских раненых, останавливая свиту и снимая почтительно шляпу, восклицает: «Честь и слава несчастным героям». [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 197.] Этому театральному жесту мог бы позавидовать Тальма, но и это не значит, что в самом

жесте не было ничего искреннего.

Бедного русского мальчика, графа Апраксина, попавшего в плен под Аустерлицем и просто, по-детски, плачущего, утешает пустыми словами: «Успокойтесь, молодой человек, и знайте, что нет стыда быть побежденным французами!» [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 2. P. 471.] Лучше бы не утешал! Но если бы Л. Толстой не в меру возмутился этой «комедией», то, может быть, только потому, что сам иногда участвовал в комедии, более тонкой – так называемой «правдивости».

Зная, что Жозефина бесплодна и из жалости не желая с ней разводиться, предлагает ей разыграть мнимую беременность, чтобы объявить наследником сына своего от другой женщины. Жозефина соглашается, и дело стало только за тем, что лейб-медик Корвизар отказывает наотрез участвовать в обмане. Тут все удивительно: искренняя жалость к стареющей жене, детская беспомощность обмана, странная в таком реалисте, мечта основать династию на призраке – наследнике-подкидыше и предел «комедиантства», «шарлатанства», которого ничем нельзя оправдать, ни даже объяснить, – разве только этим: если мир – сновидение, «представление» и все в мире обманчиво-призрачно, то что значит лишний обман, к тому же с доброю целью?

Жозефина жалуется, что «за долгие годы, проведенные ею с Бонапартом, не было у него ни одной минуты искренней». [Constant de Rebecque H. B. M?moires. T. 1. P. 280.] Так ли это? Может быть, он по-своему искренен, но искренность у него иная – иная правда, чем у нее. «Какой он смешной, Бонапарт! Il est drole Bonaparte!» – восклицала она при первом знакомстве с ним. Надо было быть такой мартиникской канарейкой, как Жозефина, чтобы не почувствовать, что он не «смешной», а страшный. Г-жа Ремюза это чувствует и, как ребенок, плачет от страха. [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 1. P. 337.]

«Комедиант», «лицедей», но не лицемер; вечно играет роль, но не чужую, а свою же собственную: Наполеон, играющий роль Наполеона. В этом смысле он – сама правда, но правда эта так ни на что не похожа, что никто ей не верит. «Тайные склонности мои, в конце концов, естественные, дают мне бесконечные возможности обманывать всех». В этих-то именно «естественных склонностях» он – иного творения тварь, человек иного космического цикла – зона – не 1800 года по Р. Х., а 18 000 – до Р. Х. или такого же далекого будущего; человек из «Атлантиды» или из «Апокалипсиса». Чтобы все обманывались в нем, ему надо только быть совершенно правдивым, самим собою.

В сущности, он никого не обманывает – только скрывает себя от всех, чтобы не слишком испугать людей своим «чудесным-чудовищным»; для того и носит маску, покрывает лицо свое, сходя к народу, из Синайского облака.

Никого не обманывает – сам обманут всеми. Кажется, ни один из государей не был так обманут и предан, как он, – министрами, маршалами, женами, любовницами, братьями, сестрами, врагами, друзьями. Как это ни странно сказать, он простодушен, бесхитростен; даже слишком правдив, обнажен до цинизма, например, в убийстве герцога Энгиенского или в «грязной истории» с испанским королем. Простодушно, бесхитростно отдается сначала «лукавому византийцу», Александру I, потом тестю своему, австрийскому императору, и, наконец, англичанам. Только на Св. Елене опомнился: «Дорого я заплатил за мое романтическое и рыцарское мнение о вас – англичанах». [O'M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 1. P. 363.]

«Эти люди не хотят со мной разговаривать, – жалуется Коленкуру во время Шатильонского конгресса 1814 года. – Роли наши переменились… Они забыли, как я поступил с ними в Тильзите… Великодушие мое оказалось просто глупостью… Школьник был бы хитрее моего». [Thibaudeau A.-C. M?moires. P. 455. Слово Фуше.] Может быть, оттого и погиб, что был слишком правдив.

Гибкостью спинного хребта, искусством «изменять маневр, changer de manoeuvre» [Levy A. Napol?on intime. P. 341.], которым обладают в таком совершенстве Талейран и Фуше, эти две беспозвоночные гадины, он не обладает вовсе. «Мужества нельзя подделать: это добродетель без лицемерия». [Bertaut J. Napol?on Bonaparte. P. 181.] А ведь это и есть его добродетель, по преимуществу – «Pietra-Santa», «Святой Камень», – хребет несгибаемый.

«Мы можем понять друг друга», – пишет император Павел I Бонапарту-консулу. [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 149.] Могут друг друга понять, потому что оба – «романтики», «рыцари» и, как это тоже ни странно сказать, «Дон-Кихоты».

«Наполеону в высшей степени свойственно было чувство военной чести, военного братства… Этот хитрый политик был всегда рыцарь без упрека», – говорит Вандаль, один из немногих справедливых судей Наполеона. [Vandal A. Napol?on et Alexandre I-er. T. 2. P. 164.]

Как это непохоже на тэновского «кондотьера» – Il principe Макиавелли – «помесь льва и лисицы»! Нет, помесь льва и дракона: львиная сила на крылах мечты.

Все для него призрачно, но это не значит, что все – «покров Майи» над абсолютным ничтожеством. Наполеон, так же как Гёте, – величайшая противоположность буддийской мудрости – воли к небытию и к безличности. Оба – вечное «да» против вечного «нет».

Alles Vergangliche

Ist nur ein Gleichniss.

Все преходящее

Есть только символ,—

высказывает Гёте, что Наполеон чувствует: временное – символ вечного. Спящему снится то, что было с ним наяву, а живущему во времени – то, что было и будет с ним в вечности. «Мир как представление» исчезает; остается «мир как воля». Волю эту отрицают Шопенгауэр и Будда; Наполеон и Гёте утверждают.

Облака, сновидения, призраки, а под ними – Св. Елена, Святая Скала, Pietra-Santa – вечный гранит. Явное, дневное имя его – мужество; тайное, ночное – Рок.

Рок

«Всю мою жизнь я жертвовал всем – спокойствием, выгодой, счастьем –

моей судьбе ». [Masson F. Le sacre et le couronnement de Napol?on. P., 1925. P. V.] Вот лицо Наполеона без маски – бесконечная правда его, бесконечная искренность. Когда он говорит: «судьба», он дает нам ключ к запертой двери – к тайной; но слишком тяжел для нас этот ключ! Дверь остается запертой. Наполеон – «неизвестным».

Что такое судьба? Случай, управляющий миром, le hasard qui gouverne le monde, как ему самому иногда кажется [Las Cases E. Le memorial… T. 1. P. 254.]; случай – слепой дьявол, и Наполеон, владыка мира, – только раб этого дьявола. Или что-то высшее, зрячее, согласное

с волей героя. Может быть, он сам никогда об этом не думал; но, кажется, думал всегда

около этого ; кажется, все его мысли уходили в эту глубину, где загадана людям загадка Судьбы. Прямо в лицо Сфинкса никогда не заглядывал, но чувствовал всегда, что Сфинкс смотрит ему прямо в лицо, и знал, что, если не разгадает загадки, чудовище пожрет его. Лицо Эдипа перед Сфинксом задумчиво, и лицо Наполеона тоже. Кажется, главное в этом лице, что отличает его от всех других человеческих лиц, – эта бесконечная задумчивость. Чем больше вглядываешься в него, тем больше кажется, что он задумался не только о себе, но и о всех нас, обо всем «христианском» человечестве, которое в своем великом отступлении не захотело Кроткого Ига и подпало железному игу Судьбы.

В ночь перед Иенским сражением император вышел один на аванпостную линию, чтобы осмотреть дорогу, прорубаемую в Ландграфенбергских скалах для подвоза артиллерии. Ночь была темная; в десяти шагах не видно. Когда он подходил к цепи часовых, один из них, услышав шаги, окликнул: «Кто идет?» – и взял на прицел. Наполеон так глубоко задумался о чем-то, что не слышал оклика и продолжал идти. Часовой выстрелил. Пуля просвистела мимо ушей императора. Он упал ничком наземь, и хорошо сделал; множество пуль пронеслось над его головой: вся цепь часовых дала по нему залп. Благополучно выдержав этот первый огонь, он встал, подошел к ближайшему посту и назвал себя. [Constant de Rebecque H. B. M?moires. T. 2. P. 56.]

Падает лицом на землю, как будто поклоняется, владыка мира, какому-то Владыке большему. Кому же именно – темному дьяволу, случаю или лучезарной «звезде» своей, ночному солнцу – Року? Может быть, за минуту перед тем, так глубоко задумался вовсе не об этом, а все же около этого, к этому близко, на один волосок, как был тогда на волосок от смерти.

За несколько дней до отречения и попытки самоубийства в Фонтенбло он был погружен в такую задумчивость, что, «когда входили в комнату им же самим вызванные лица – не замечал их присутствия; смотрел на них и как будто не видел, более получаса проходило иногда, прежде чем он с ними заговаривал; очнувшись с трудом от своего оцепенения, спрашивал их о чем-нибудь и как будто не слышал ответа». Ничто не могло нарушить эту «как бы летаргическую задумчивость, preoccupation pour ainsi dire lethargique». [Ibid. T. 4. P. 245.]

В 1810 году, тотчас после бракосочетания с Марией-Луизой, на большом вечернем приеме в Компьенском дворце, где присутствуют первые сановники империи, министры, маршалы, иностранные послы, владетельные князья, короли, эрцгерцоги, – Наполеон выходит из игорной залы в гостиную. Вся огромная свита кидается за ним по пятам. «Дойдя до середины комнаты, – вспоминает очевидец, генерал Тьебо, – император остановился, скрестил руки на груди, уставился глазами в пол, шагов на шесть перед собой, и так застыл, не двигаясь. Все тоже остановились, окружив его большим кругом, и замерли в глубоком молчании, не смея даже взглянуть друг на друга; но потом, мало-помалу, начали переглядываться, в недоумении, ожидая, чем это кончится». Так прошло пять, шесть, семь, восемь минут. Недоумение росло; никто не понимал, что это значит. Наконец маршал Массена, стоявший в первом ряду, подошел к нему потихоньку, как бы крадучись, и что-то сказал ему так тихо, что никто не расслышал. «Но, только что он это сделал, император, все еще не поднимая глаз и не двигаясь, отчеканил громовым голосом: „А вам какое дело? De quoi vous melez-vous?“ И оробелый маршал, патриарх военной славы, победитель Суворова, „возлюбленный сын Победы“, вернулся на свое место, почтительно пятясь. А Наполеон продолжал стоять, не двигаясь. Наконец,

„как бы пробуждаясь от сна“ , поднял голову, разнял скрещенные руки, обвел всех испытующим взором, повернулся молча и пошел назад в игорную залу. Здесь, проходя мимо императрицы, сказал ей сухо: „Пойдемте!“ – и вошел с ней во внутренние покои».

«Все это я вижу, как сейчас, – но до сих пор не могу понять,

что это было », – заключает Тьебо. Сцена эта кажется ему недостойным «шутовством, jonglerie». «Никогда я не чувствовал себя таким оскорбленным; деспот в Наполеоне никогда не являлся мне с большим бесстыдством и наглостью». [Thi?bault P. M?moires. T. 4. P. 390–393.]

Бедный Тьебо так оскорблен, что забыл другое свое впечатление от Наполеона: «Я ни с чем не могу сравнить чувства, испытанного мною в присутствии колоссального существа». Если бы вспомнил, то, может быть, понял бы, что и в компьенской сцене Наполеон не был ни «шутом», ни «деспотом». Из-за чего же «оскорбление»? Со стороны Наполеона оно, во всяком случае, невольное; никого не хочет он оскорблять, уже потому, что никого в такие минуты не видит: люди для него перестают существовать, исчезают, как тени. Но этим-то, кажется, они и оскорбляются.

Недоумение Тьебо – наше недоумение: что же, в самом деле, значит эта «летаргическая задумчивость», как бы летаргический сон? Видит, слышит, бодрствует, действует, как никто, – но все это извне, а внутри – спит, вечный сновидец, лунатик своего ночного солнца – Рока; идет по самому краю пропасти, – только проснется – упадет; но не проснется до последнего шага в пропасть.

Спит, и сердце чуть бьется, как в летаргическом сне. «Мне кажется, что сердце у меня не бьется: я его никогда не чувствовал». [O'M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 1. P. 152.] – «У меня точно вовсе нет сердца». [Gourgaud G. Sainte-H?lene. P., 1889.]

Спит наяву – бодрствует во сне. Сон переплетается с явью, сон входит в явь, не только метафизически, внутренне, но и внешне, физически.

24 декабря 1800 года, едучи в карете в Оперу, спит и видит во сне, будто бы тонет в итальянской речке, Тальяменто; просыпается от взрыва адской машины, на волосок от смерти.

Спит и на полях сражений, «во время самого боя, – далеко за чертой огня». Это даже входит у него в привычку: «Я привык спать на поле сражения». [Las Cases E. Le memorial… T. 2. P. 60.] Спит, убаюканный громами пушек, как дитя в колыбели. В самые роковые минуты, все решающие, вдруг засыпает, точно уходит куда-то, за чем-то.

Перед самым Аустерлицем так глубоко заснул, что «его с трудом разбудили». [S?gur P. P. Histoire et memoires. T. 2. P. 390.] В самом пылу сражения под Ваграмом, когда все решается, велит разостлать на голой земле медвежью шкуру, ложится на нее и засыпает глубоко; спит минут двадцать; проснувшись, продолжает отдавать распоряжения, как будто не спал вовсе. [Ibid. T. 3. P. 380.] Во время страшной эвакуации Лейпцига, когда рушится весь фронт, – спит спокойно в кресле два часа; только взрыв моста на Эльстере, которым отступление отрезано и армия погублена, разбудил спящего.

Это на войне – это и в мире. Любит работать, вставая с постели, между двумя снами. Кажется, гений Наполеона –

ясновидение – и есть этот узкий перешеек бодрствования между двумя пучинами снов.

«Что же подумать о Наполеоновом сне, длящемся от Вандемьера до Ватерлоо?» – спрашивает Леон Блуа. «Он проснулся только пред лицом Божьим». – «Величайшие несчастья и даже падение не могли его разбудить до конца. На Св. Елене он продолжает свой сон». [Bloy L. L'ame de Napol?on. P. 9, 97, 232.] И умирает во сне или просыпается в смерть.

«Он спросил меня, какой род смерти я считаю самым легким, и заметил, что, кажется, смерть от замерзания лучшая из всех, потому что, замерзая, умираешь во сне, si muore dormendo», – вспоминает доктор О’Меара свою беседу с Наполеоном на Св. Елене. [O’M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 1. P. 163.] Так во сне умер и он, замерзая от леденящего дыхания Рока.

И море, и буря качали наш челн;

Я, сонный, был предан всей прихоти волн;

И две беспредельно были во мне, —

И мной своевольно играли оне.

Кругом, как кимвалы, звучали скалы,

И ветры свистели, и пели валы.

Я в хаосе звуков летал оглушен;

Над хаосом звуков носился мой сон.

Сон на море – на «водах многих». – «Воды, которые ты видел, суть люди и народы, и племена, и языки», – говорит Ангел Апокалипсиса. Многие воды Запада – Атлантика, где погибла «Атлантида», зашло солнце первого человечества и солнце последнего «человека из Атлантиды» – Наполеона.

Над хаосом звуков носился мой сон,

Болезненно-яркий, волшебно-немой,

Он веял легко над гремящею тьмой.

В лучах огневицы развил он свой мир,

Земля зеленела, светился эфир…

Светом более ярким, чем наш, светится эфир; земля зеленеет зеленью более свежею – юностью первого мира, допотопного.

Сады, лабиринты, чертоги, столпы…

Древних атлантов титаническое зодчество.

И чудился шорох несметной толпы…

Я много узнал мне неведомых лиц…

Лица иного человечества.

Зрел тварей волшебных, таинственных птиц…

Иного творенья тварь.

По высям творенья я гордо шагал,

И мир подо мною недвижно сиял…

Сквозь грезы, как дикий волшебника вой,

Лишь слышался грохот пучины морской…

Существо Атлантиды – магия, и существо Наполеона тоже: он сам вызывает видения сна своего. Это сон всего человечества – начало и конец всемирной истории: Атлантида – Апокалипсис. Вот почему, как великий маг, волшебник, создает он свой сон.

И в тихую область видений и снов

Врывалася пена ревущих валов.

Тютчев Ф. И. Сон на море (1836)

Войны, победы, величие, падение, легкими клочьями пены, врываются в сон.

Сон его – пророческий. «У него был род магнетического предвидения своих будущих судеб, une sorte de pr?vision magn?tique de ses futures destin?es». [Fauvelet de Bourrienne L. A. M?moires sur Napol?on. T. 4. P. 389.] «У меня было внутреннее чувство того, что меня ожидает». [Las Cases E. Le memorial… T. 4.] Люди слепы на будущее – он зряч: знает –

помнит его, как прошлое. «Зрение есть среднепропорциональное между осязанием и предчувствием», – определяет он эти смутные предчувствия, со свойственной уму его математической точностью. – Рука говорит глазу: как ты можешь видеть за две версты, когда я не могу нащупать за два шага? Глаз говорит предчувствию: как ты можешь видеть в будущем, когда я не могу видеть за две версты? [Gourgaud G. Sainte-H?lene. T. 2. P. 362.]

В самую счастливую минуту жизни, в 1800 году, после Маренго, он говорит: «Со мной ничего не случалось, чего бы я не предвидел, и я один не удивлялся тому, что я сделал. Я угадываю все и в будущем и достигну моей цели». [Miot de Melito A. F. M?moires. P., 1880. T. 1. P. 289.] Если цель его – мировое владычество, то он ее не достиг. Путь ясен – цель темна; знает, что и как сделает, но не знает зачем. «Я чувствую, как что-то толкает меня к цели, которой я и

сам не знаю. Je me sens pouss? vers un but que je ne connais pas». [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 4. P. 74.] Как не поверить в своего рода

предназначение , видя, что часто самые благоприятные последствия происходят для него из событий, которые сначала как будто мешают ему и удаляют от цели. Не похож ли он на человека, которого неодолимая сила ведет, как слепого, за руку? [Marmont A. F. L. M?moires. T. 2. P. 42.] Слепой – ясновидящий:

Свершитель роковой безвестного веленья.

Перед Ватерлоо, ранним утром, на берегу реки Замбр, Наполеон, в сопровождении одного только дежурного генерал-адъютанта, подошел к бивуачному костру, на котором варился картофель в котле; «велел себе подать его и начал задумчиво есть. Кончил, произнес, не без видимой грусти, несколько отрывистых слов: „Это недурно… с этим можно прожить везде и всегда… может быть, уже близок час…

Фемистокл …“ „Генерал-адъютант, от которого я это слышал, – вспоминает Лас Каз, – говорил мне, что, если бы император победил под Ватерлоо, эти слова исчезли бы из памяти его, как столько других, не оставив в ней никакого следа; но после катастрофы и, особенно, после того, как прочел слово «Фемистокл» в знаменитом письме Наполеона к английскому принцу-регенту, он был поражен воспоминанием о Замбровском бивуаке, и выражение лица, поза, голос императора долго мучили его и все не могли изгладиться из памяти“». [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 162.]

«Ваше королевское высочество, я прихожу к вам, чтобы сесть, как Фемистокл, у очага британского народа. Я отдаюсь под защиту его законов, которой прошу у вашего королевского высочества, как самого могущественного, постоянного и великодушного из моих врагов», – писал Наполеон из Рошфора английскому принцу-регенту. [Houssaye H. 1815. T. 3. P. 393.]

Значит, накануне Ватерлоо знал, что сделает в Рошфоре.

Это, впрочем, не так удивительно, удивительнее то, что знал это за двадцать восемь лет. Около 1787 года семнадцатилетний Бонапарт начинает писать в своих ученических тетрадях повесть в письмах об австрийском авантюристе, бароне Нейгофе, объявившем себя в 1737 году корсиканским королем под именем Феодора I, арестованном англичанами, посаженном в лондонский Тауэр и через много лет освобожденном лордом Вальполем. «Несправедливые люди. Я хотел осчастливить мой народ, и это мне удалось на одно мгновение; но судьба изменила мне, я в тюрьме, и вы меня презираете», – пишет Феодор Вальполю, и тот отвечает ему: «Вы страдаете, вы несчастны: этого довольно, чтобы иметь право на сострадание англичан». «Дорого я заплатил за мое романтическое и рыцарское мнение о вас, господа англичане!» – как будто кончает Наполеон на Св. Елене неконченую повесть о корсиканском самозванце и английском узнике. [O'M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 1. P. 363.]

В тех же ученических тетрадях, делая выписки из «Современной Географии», «Geographie Moderne», аббата Лакруа, старинного учебника, об английских владениях в Африке, он пишет своим тогдашним, слитным и тонким, точно женским, почерком четыре слова:

Ste H?lene, petite isle…

Св. Елена, маленький остров…

Дальше пустая страница: начал писать и не кончил, как будто руку его остановил кто-то. [Napol?on. Manuscrits in?dite, 1786–1791. P. 367.]

«Вы фаталист?» – «Ну разумеется. Так же, как турки. Я был всегда фаталистом. Если чего-нибудь хочет судьба, надо ее слушаться». – «Судьба неотвратима. Надо слушаться своей звезды». [O'M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 1. P. 185.] И умирающий, он отказывается принимать лекарства. «Что на небе написано, – написано… Наши дни сочтены», – говорит, глядя на небо. [Ibid. P. 334.]

Вещее знаменье неба на земле повторяется,

Вещее знаменье земли повторяется на небе,—

эту древневавилонскую клинопись он понял бы.

Фатализм, религия звездных судеб, нынешний Восток получил от древнего – от Вавилона, а тот – от еще более глубокой, неисследимой для нас, может быть доисторической, древности, которую миф Платона называет «Атлантидой», а книга Бытия – первым допотопным человечеством. Звездною связью связан Наполеон с этой древностью. Можно бы сказать и о нем, последнем герое человечества, то же, что сказано о первом – Гильгамеше:

Весть нам принес о веках допотопных.

«Человек рока, l'homme du destin», – назвал его, после Маренго, австрийский фельдмаршал Мелас. Это одно из тех глубоких общих мест, которые становятся общей мудростью.

На нем треугольная шляпа

И серый походный сюртук,

и это имя: «человек рока».

Рок для него не отвлеченная идея, а живое существо, которое влияет на чужую мысль, чувство, слово, дело его, на каждое биение сердца. Он живет в роке, как мы живем в пространстве и времени.

Тотчас после взрыва адской машины на Никезской улице Первый Консул входит в Оперу и на рукоплескания двухтысячной толпы, еще не знающей о покушении, раскланивается с такой спокойной улыбкой, что никто не догадывается по лицу его, что за несколько минут он был на волосок от смерти. [Abrant?s L. S.-M. M?moires. T. 2. P. 53.] Это не бесстрашие в нашем человеческом смысле, не победа над страхом, а невозможность испытывать страх. Он знает, что судьба несет его на руках, как мать несет ребенка. «Ангелам Своим заповедает о себе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею». Это он знает или что-то похожее на это, но еще не знает, что это может сделаться искушением дьявола: «если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз».

Ангелы судьбы или дьяволы случая несут его до времени: и вся его тогдашняя жизнь – непрерывное чудо полета. «Как я был счастлив тогда, – вспоминает он первую Итальянскую кампанию. – Я уже предчувствовал, чем могу сделаться. Мир подо мной убегал, как будто я летел по воздуху». [Gourgaud G. Sainte-Hel?ne. T. 2. P. 54.]

Чудо полета продолжается до Русской кампании. «Вы боитесь, что меня убьют на войне? – говорит он накануне ее. – Так же пугали меня Жоржем во время заговоров. [Жорж Кадудаль, роялистский заговорщик 1804 г.] Этот негодяй будто бы всюду ходит за мной по пятам и хочет меня застрелить. Но самое большее, что он мог сделать, это убить моего адъютанта. А меня убить было тогда невозможно. Разве я исполнил волю судьбы? Я чувствую, как что-то толкает меня к цели, которой я и сам не знаю. Только что я достигну ее и буду бесполезен, атома будет довольно, чтобы меня уничтожить; но до того все человеческие усилия ничего со мной не сделают, – все равно, в Париже или в армии. Когда же наступит мой час – лихорадка, падение с лошади, во время охоты, убьет меня не хуже, чем людей снаряд: наши дни на небесах написаны». [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 4. P. 74.]

В это же время, перед Русской кампанией, когда дядя его, кардинал Феш, горячо спорил с ним о церковных делах, убеждая не восставать на Бога, довольно-де ему и людей, – Наполеон слушал его молча; потом вдруг взял его за руку, подвел к двери, открыл ее и вывел на балкон. Был зимний день, сквозь голые деревья Фонтенблоского парка бледно голубело декабрьское небо. «Посмотрите на небо. Что вы там видите?» – сказал Наполеон. «Ничего не вижу, государь», – ответил Феш. «Хорошенько смотрите. Видите?» – «Нет, не вижу». – «Ну так молчите и слушайтесь меня. Я вижу мою Звезду: она меня ведет!» [Marmont A. F. L. M?moires. T. 3. P. 340; S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 4. P. 81.]

Феш так и не понял, что великая звезда Наполеона – солнце.

Если в жизни его была такая минута, когда он вдруг почувствовал, что несущие руки уходят из-под него, – надо искать ее в самом зените его, в высшей точке полета. Накануне Аустерлица, когда он уже знал, что завтрашнее солнце «взойдет, лучезарное», – заговорив о древнегреческой трагедии, он сказал: «В наши дни, когда языческой религии уже не существует, для трагедии нужна другая движущая сила. Политика – вот ее великая пружина, вот что должно заменить в ней древний рок». [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 2. P. 457.] Чтобы заменить рок волей человеческой – политикой, надо человеку восстать на рок. Только Наполеон это подумал, как началось его падение: рок возносил его покорного, восставшего – низверг.

Кажется, впервые он ясно почувствовал, что уже не летит, а падает, перед самым началом Русской кампании. «Целыми часами, лежа на софе, он погружен был в глубокую задумчивость; вдруг вскакивал с криком: „Кто меня зовет?“ – и начинал ходить по комнате взад и вперед, бормоча: „Нет, рано еще, не готово… надо отложить года на три…“ [Ibid. T. 4. P. 87.] Но знал, что не отложит – начнет, увлекаемый Роком».

«Я потерпел неудачу в Русской кампании. Что же меня уничтожило… Люди… Нет, роковые случайности… Я не хотел войны, и Александр тоже; но мы встретились, обстоятельства толкнули нас друг на друга, и рок довершил остальное». Это он говорит на Св. Елене и «после нескольких минут глубокого молчания, как бы просыпаясь», говорит уже о пустяках – об измене Бернадотта – главной будто бы причине его, Наполеоновой, гибели. Зряч во сне – слеп наяву. [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 158–159.]

От Москвы до Лейпцига все яснее чувствует измену судьбы. «Мука моя была в том, что я предвидел исход; звезда моя бледнела, вожжи ускользали из рук, и я ничего не мог сделать». [Ibid. T. 2. P. 60.] Как бы в летаргическом сне, все видит, слышит, знает – и не может очнуться.

«Он так был изношен, так устал (под Лейпцигом), что, когда приходили к нему за приказаниями, он часто, откинувшись назад в кресле и положив ноги на стол, только посвистывал». [Stendhal. Vie de Napol?on. P. 287.] Но, может быть, не «изношен», а занят чем-то другим, о другом задумался, отяжелел иной тяжестью, прислушивался к иным голосам рока: «Кто меня зовет?» Только теперь, через двадцать семь лет, дописывал ту пустую страницу, которую начал словами: «Св. Елена, маленький остров».

«Чудесное в моей судьбе пошло на убыль. Это уже было не прежнее, неизменное счастье, осыпавшее меня своими дарами, а строгая судьба, у которой я вырывал их как бы насильно, и которая мне тотчас же мстила за них. Я прошел Францию (вернувшись с Эльбы); я был внесен в столицу на плечах граждан, при общем восторге, но только что я вступил в нее, как, словно по какому-то

волшебству , все от меня отшатнулось, охладело ко мне». Истощилась магия – магнит размагнитился.

«Наконец я побеждаю под Ватерлоо, и в ту же минуту падаю в бездну. И все эти удары, я должен сказать, больше убили меня, чем удивили. Инстинкт подсказывал мне, что исход будет несчастным, не то чтобы это влияло на мои решения и действия, но у меня было внутреннее чувство того, что меня ожидает». [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 160–161.] «Со мной никогда ничего не случалось, чего бы я не предвидел». Все предвидит, потому что он сам этот «волшебник», который вызывает видения сна своего:

Сквозь грозы, как дикий волшебника вой,

Лишь слышался грохот пучины морской.

«Мне надо было умереть под Ватерлоо, – говорит он на Св. Елене, с совершенною ясностью, как бы даже „веселостью“. – Но горе в том, что, когда ищешь смерти – ее не находишь. Рядом со мной, впереди, позади – всюду падали люди, а для меня ни одного ядра». [O'M?ara B. E. Napol?on en exil. T. 2. P. 191.]

«Падут подле тебя тысяча, и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится». Эта неуязвимость, некогда благословенная, теперь становится проклятою.

Под грозной броней ты не ведаешь ран;

Незримый хранитель могучему дан.

«Я полагаю, что обязан моей звезде тем, что попал в руки англичан и Гудсона Лоу». [Ibid. T. 1. P. 350.] Вот куда вел его «незримый хранитель».

«Страшная палица, которую он один мог поднять, опустилась на его же голову». [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 1. P. 383.] И он как будто знал – помнил всегда, что так будет, и, даже странно сказать, как будто этого сам хотел. О, конечно, хотел не хотя, как человек, глядящий в пропасть, хочет броситься в нее!

«Когда моя великая политическая колесница несется, надо, чтобы она пронеслась, и горе тому, кто попадет под ее колеса!» [Ibid. T. 3. P. 390.] Он сам под них попал. Понял ли тогда?

Круговращение великих колес,

Движущих каждое семя к цели его,

По воле сопутственных звезд.

Данте. Чистилище. Ч. XXV, 109

Глядя на звездное небо с южным созвездием Креста, понял ли, куда и в какой колеснице несется?

Жертву венчают и связывают, чтобы вести на заклание? Понял ли он, что Рок увенчал и связал его, как жертву?

«Я никогда не был господином моих собственных движений; я никогда не был по-настоящему самим собою… Мною всегда управляли обстоятельства, и это до такой степени, что, при начале моего возвышения, во времена Консульства, когда ближайшие друзья мои, самые горячие сторонники, спрашивали меня с наилучшими намерениями, для того чтобы знать, что им делать:

чего я хочу, куда иду , – я каждый раз отвечал им, что

этого я и сам не знаю . Они удивлялись и, может быть, досадовали, а между тем я говорил им правду… И потом, во времена Империи, я читал на лицах тот же безмолвный вопрос и мог бы на него ответить то же. Дело в том, что я не был господином моих действий, потому что не был так безрассуден, чтобы гнуть обстоятельства, и это часто давало мне вид непостоянства, непоследовательности, в чем меня и упрекали. Но разве это справедливо?» [Las Cases E. Le memorial… T. 4. P. 151–152.]

«Чего я хочу, куда я иду, – я этого и сам не знаю». Вот странное признание в устах Наполеона, умнейшего из людей. Как будто повторяет он вечное слово Гёте о нем: «Наполеон весь жил в идее, но не мог ее уловить своим сознанием». «Это выше моего разумения, cela me passe!» – как сказал он после покушения Фрид-Штапса. Не похож ли он на человека, которого неодолимая сила ведет, как слепого, за руку?

А вот признание еще более странное: «У меня нет воли. Чем больше человек, тем меньше ему надо иметь воли: он весь зависит от событий и обстоятельств. Plus on est grand, et moins on doit avoir de volent?». [Masson F. Le sacre et le couronnement de Napol?on. P. V.] Наполеон, человек бесконечной воли – без воли. Величие горя – свое величие – он измеряет отречением от воли. Мнимый владыка мира – настоящий раб. «Я говорю вам: нет больше раба, чем я: моя неумолимая владычица – природа вещей». Просто смиренно он говорит: «природа вещей», «обстоятельства», – чтобы не употреблять всуе святое и страшное слово: Рок.

Отречение, смирение, покорность, жертвенность – все это ему, казалось бы, столь чуждое, на самом деле, родственно. «Не моя, а Твоя да будет воля», – этого он сказать не может, как сын – Отцу, потому что не знает ни Отца, ни Сына; но, кажется, в смирении перед неведомым Божеством с покрытым лицом, упала на него тень Сына.

«Человек, упоенный Богом», – сказал кто-то о Спинозе; о Наполеоне можно бы сказать: «Человек, упоенный Роком».

«Бог мне дал ее; горе тому, кто к ней прикоснется! Dieu me l’a donnee; gare a qui la touche!» –

воскликнул он, венчаясь в Милане железной короной ломбардских королей. Бога вспомнил для других, а про себя мог бы сказать: «Мне дал ее Рок!»

Вот отчего на лице его такая грусть или то, что глубже всякой человеческой грусти, – нечеловеческая задумчивость: это запечатленность Роком, обреченность Року.

«Когда я в первый раз увидел Бонапарта в мрачных покоях Тюильрийского дворца, – вспоминает Редерер, – я сказал ему: как грустно здесь, генерал!» «Да, грустно, как величие!» – ответил он. [Roederer P. L. Atour de Bonaparte. P. 84.] «Есть у него всегда, даже на войне, в воззваниях к войску, что-то меланхолическое». [Ibid.] В самом пылу действия не покидает его ничем не утолимая, не заглушаемая грусть или задумчивость.

«В минуты откровенности он признавался, что был грустен, без всякого сравнения со всеми своими товарищами, во всех житейских положениях». [R?musat C.-?. G. de. M?moires. T. 1. P. 267.] «Я не создан для удовольствия», – говорил он меланхолическим тоном. [Ibid. P. 242.]

«Люди мне надоели, почести наскучили, сердце иссохло, слава кажется пресной. В двадцать девять лет я все истощил», – пишет он в самое счастливое время своей жизни – время Египетской кампании. Это уже «мировая скорбь». Кажется, он первый приоткрыл эту дверь в кромешную ночь, и стужа междупланетных пространств ворвалась в комнату.

Я в мире не оставлю брата,

И тьмой и холодом объята

Душа усталая моя.

Как ранний плод, лишенный сока,

Она увяла в бурях рока,

Под знойным солнцем бытия.

Лермонтов М. Ю. Гляжу на будущность с боязнью… (1838)

Наполеон улыбается или хохочет, но никогда не смеется. [Fain A. J. E. M?moires. P. 287.] «Кто заглянул в пророческую бездну Трофония, уже никогда не будет смеяться», – думали древние.

«Всегда один среди людей, я возвращаюсь домой, чтобы мечтать наедине с самим собою и предаваться меланхолии. О чем же я буду мечтать сегодня? О смерти», – пишет в своем дневнике семнадцатилетний артиллерийский подпоручик Бонапарт, в бедной комнатке Оксонских казарм. И на высоте величия император Наполеон носит на груди ладанку с ядом. Мысль о самоубийстве сопровождала его всю жизнь, хотя он и знал – «помнил», что себя не убьет. И не от каких-либо внешних несчастий приходит ему эта мысль, а от того, что он устает спать «летаргическим сном» жизни и хочет наконец проснуться, хотя бы в смерть.

«Бури ищет всегда твой беспокойный дух, – говорит ему Жозефина. – Сильный в желаниях, слабый в счастье, ты, кажется, только себя одного никогда не победишь». [S?gur P. P. Histoire et m?moires. T. 4. P. 70.]

Зачем ты обрек Гильгамеша покоя не знать,

Дал ему сердце немирное,—

жалуется Богу мать богатыря. И Наполеон, как Гильгамеш, – «друг печали».

От тебя даже жизни ищу я;

Для него прохожу через степи,

Через моря, через реки,

Через горные дебри.

Беды, муки меня изнурили,

Исказили мой образ прекрасный, —

мог бы он повторить древневавилонскую молитву к богине Иштар. И доныне путь Гильгамеша-Наполеона не кончен: вечно скорбящий, стенающий, как бы гонимый неведомой силой, все идет и идет он, остановиться не может, подобно Агасферу и Каину. Путь его – путь всего человечества.

Он движется не по своей воле: кто-то бросил его, как бросают камень. «Я обломок скалы, брошенной в пространство. Je suis une parcelle du rocher lanc?e dans l'espace». [Las Cases H. Le memorial… T. 3. P. 266.] Только продолжает на земле бесконечную параболу, начатую где-то там, откуда брошен, и нашу земную сферу пролетает как метеор.

8 августа 1769 года, за семь дней до рождения Наполеона, появилась комета, которую астроном Миссиэ наблюдал с Парижской обсерватории. Хвост ее, блестевший чудным блеском, достиг в сентябре 60 градусов длины и постепенно приближался к солнцу, пока наконец не исчез в лучах его, как бы сама комета сделалась солнцем – великой звездой Наполеона.

А в первых числах февраля 1821 года, за три месяца до смерти его, появилась над Св. Еленою другая комета. «Ее видели в Париже 11 января», – пишет астроном Фей (Faye). «В феврале сделалась она видимой простому глазу, и хвост ее достигал 7 градусов. Ее наблюдали по всей Европе, а с 21 апреля по 5 мая и в Вальпарайзо». Значит, в обеих гемисферах небес, по всей Атлантике, последнему пути Наполеона.

«Слуги его уверяют, будто бы видели комету на востоке, – записывает в дневнике своем доктор Антоммарки 2 апреля 1821 года. – Я вошел к нему в ту минуту, когда он был встревожен этим известием. „Комета, – воскликнул он в волнении. – Комета возвестила смерть Цезаря… И возвещает мою…“ [Antommarchi F. Les derniers moments de Napol?on. T. 2. P. 54.] „5 мая (день смерти Наполеона), – сообщает тот же астроном Фей, – можно было с острова Св. Елены видеть в телескоп, как эта комета, постепенно удаляясь от земли, исчезла в пространстве“». [Ibid.]

«Несчастный! Я его жалею, – писал никому еще не известный артиллерийский подпоручик Бонапарт в 1791 году о гениальном человеке – о самом себе. – Он будет удивлением и завистью себе подобных и

самым жалким из них , le plus miserable de tous…

Гении суть метеоры, которые должны сгорать, чтобы освещать свой век». [Napol?on. Manuscrits in?dite, 1786–1791. P. 567.]

Сгорать, умирать, быть жертвою – таков удел его, – это он знает уже в начале жизни и еще лучше узнает в конце, на Св. Елене, под созвездием Креста: «Иисус Христос не был бы Богом, если бы не умер на Кресте». Но знание это темно для него, как солнце слепых: свет солнца не видят они, только теплоту его чувствуют – так и он.

Богу солнца Молоху приносил он жертву на острове Горгоне, а на Св. Елене приносится в жертву сам – кому – этого он не знает; но думает – Року.

В солнце померкла звезда его. Что это за солнце, он тоже не знает и тоже думает, – Рок.

Роком называли древние то, что мы называем «законом природы», «необходимостью». Существо обоих – смерть, уничтожение личности, ибо закон природы так же безличен, как рок. Надо было выбрать жизнь или смерть, кроткое иго Сына или железное – Рока. Мы выбрали последнее и падаем жертвами его, так же как наш герой. Наполеон самый великий из нас и «самый жалкий».

Кажется, вещий сон его подобен сну Иакова. «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления зари. И увидел, что не одолеет его, сказал ему: отпусти Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня». Иаков борется с Богом, а Наполеон – с Сыном Божьим. Борется с Ним Наполеон-Человек, так же как все отступившее от Христа человечество.

«Удалось ли христианство?» – нечестивый вопрос. Надо бы спросить: удалось ли наше европейское христианство? Спасется ли оно со Христом или без Него погибнет, как вторая Атлантида? Этот вопрос и задал нам «человек из Атлантиды» – Наполеон.

Он последний герой Запада.

Придя на запад солнца,

увидев свет вечерний,

поем Отца, Сына и Духа, Бога! —

пели христиане первых веков. Мы уже никому не поем, глядя на вечерний свет Запада, окружающий нашего последнего героя сиянием славы. Свет вечерний – за ним: вот почему лицо его так темно, невидимо, неизвестно для нас и, по мере того как свет потухает, все темнее, все неизвестнее. Но, может быть, недаром оно обращено к Востоку: первым лучом озарит его восходящее солнце Сына, и мы тогда увидим, узнаем его.

Да, только узнав, что такое Сын Человеческий, люди узнают, что такое Наполеон-Человек.

Примечания

1

Впоследствии Наполеон еще немного подрос, и рост его в итоге достиг значения в 5 футов 2 дюйма и 4 линии. Это составляет примерно 169 см. Учитывая, что мы приводим цифры роста конкретного человека, жившего в XVIII – первой трети XIX в., нельзя не развеять одного из самых нелепых мифов о Наполеоне. Принято почему-то считать, что Наполеон был маленького роста. Даже сегодня это заявление прозвучало бы не вполне корректно, а уж применительно к физическим константам эпохи Бонапарта вообще является глупостью. Вердикт не вызывает сомнений: император был реально выше среднего роста! И даже более того: добавить бы ему всего 3 см, и его (будь он не Наполеоном Бонапартом!) с радостью зачислили бы в славные ряды гренадеров, куда брали только самых рослых представителей мужского племени. –

Здесь и далее примеч. Г. Благовещенского.

2

Как отмечает Фридрих Кирхайзен: «…Наполеон отблагодарил впоследствии за доброту Марбёфа его сына, родившегося у старого губернатора от его молодой жены, на которой он женился на семьдесят первом году своей жизни. В 1807 году император произвел молодого Марбёфа в свои адъютанты и помог ему сделать блестящую карьеру. Точно так же относился он и к дочери Марбёфа, графине д’Амбрюжак».

3

Туаз – около 2 м.

4

Лье – старинная французская единица измерения длины, имевшая различные значения: 4444,4 м, 5555,5 м, 6172,78 м, равные соответственно длине дуги земного меридиана в 1/25°, 1/20° и 1/18°.

5

То есть довести начатую атаку до конца.

6

Тариф, в силу которого колониальные товары облагалась пошлиной до 50 % их стоимости.

7

Без сомнения, намек на взаимные гарантии, которые Наполеон предлагал установить в 1809 г. между Францией, Россией и Австрией.

8

«Где ваши барышни? Где ваши барышни?» (

Франц.)

9

Если он разучился делать свои дела, то пусть идет с… в Тюильри; мы обойдемся и без него (

франц.).

10

Современные ученые, в частности Стен Форсхувуд и Бен Вейдер, полагают на основании анализа чудом сохранившихся волос Наполеона, что тот был отравлен мышьяком. Подлое деяние это приписывается вовсе не англичанам, а графу Шарлю Монтолону, бывшему соузником Наполеона на острове и не простившему императору того, что его жена питала к Бонапарту чувство, несколько большее, нежели простая симпатия. Впрочем, далеко не все их коллеги разделяют подобное мнение.